

В. А. Звегинцев

ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ XIX И XX ВЕКОВ В  
ОЧЕРКАХ И ИЗВЛЕЧЕНИЯХ

Часть II

Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства  
просвещения РСФСР  
Москва, 1960

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Вторая часть «Истории языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях» посвящена в основном современному периоду в истории языкознания, который характеризуется активными и разнонаправленными поисками новых методов лингвистического исследования.

Вторая часть составлена по тем же принципам, что и первая, и ориентируется только на две (и, несомненно, важнейшие) проблемы: проблему предмета науки о языке (природа и сущность языка) и проблему метода научного исследования. Выход за эти пределы привел бы к нарушению единства книги и значительному увеличению её объема.

Приношу благодарность А.А. Реформатскому за ценные замечания, сделанные им при рецензировании книги.

По техническим причинам в данную книгу не включен справочник языковеда, о котором говорилось в предисловии к первой книге. Он будет опубликован отдельно.

В.А. Звегинцев

## I. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЯЗЫКА XX в.

Концепции включенных в данный раздел ученых не образуют внутреннего единства. Они объединены по внешнему признаку, обозначенному в названии раздела, хотя вместе с тем в них можно обнаружить определенное сближение в понимании некоторых проблем языкознания. Несмотря на свою относительную изолированность, эти концепции вместе с тем оказали известное влияние на формирование ряда направлений современного языкознания, и без них история лингвистической мысли была бы неполной.

Антон Марти (1847 — 1914), первоначально католический священник, в качестве теоретических основ своих многочисленных работ по философии языка использовал концепцию своего учителя Ф. Brentano, представителя идеалистического направления (так называемой «вюрцбургской и венской школы») эмпирической психологии. Основной работой А. Марти является «Исследования к обоснованию всеобщей грамматики и философии языка» (1908). При жизни он выпустил только первый том этого широко задуманного труда; но в 1950 г. его ученик Отто Функе посмертно опубликовал фрагменты второго тома — «Предложение и слово» и «О значении и методе всеобщей описательной семасиологии». В 1916 — 1920 гг. вышло собрание его сочинений (в двух томах и четырех книгах), в которое, однако, не включена указанная его основная работа.

Предметом философии языка А. Марти (или, как он сам называет ее, всеобщей семасиологии) является все то, что можно отнести к всеобщим и нормативным феноменам. В этом отношении А. Марти можно рассматривать как прямого предшественника глоссематических построений Л. Ельмслева, исходящего, как и А. Марти, из априорных и выведенных логическим путем норм. Стремясь создать логическую в своих основах грамматику, опирающуюся, как и известная «Универсальная и рациональная грамматика» Пор-Рояля, на заранее заданные схемы, А. Марти всячески отграничивает ее от элементов историчности и лишает связей с конкретными языками.

В своей всеобщей семасиологии А. Марти выделяет материю, которую в языке представляют значения, и форму. Форма в свою очередь подразделяется на внешнюю (звуковая сторона языка) и внутреннюю, которой А. Марти уделяет особое внимание. Под внутренней языковой формой он разумеет всю совокупность связей, существующих между значением и выражением. Внутренняя форма может быть образной, воплощая в себе результат метафоризации как определенного вида психической деятельности, или же конструктивной. Роль конструктивной внутренней формы заключается в упрощении и экономии языковых знаков. По характеру значений А. Марти подразделяет слова на автосемантические, обла

дающие значениями сами по себе, и синсемантические, получающие свое значение только в связи с другими словами.

В настоящую книгу включена (с некоторыми сокращениями) статья, написанная А. Марти в порядке полемики с К. Фосслером. В этой статье А. Марти вкратце излагает основные положения своей теории и указывает те общие принципы, из которых он исходит.

Алан Гардинер, видный современный египтолог, опубликовал две работы, посвященные общей теории языка. Одна из них, «Теория имен собственных» (1940), носит в значительной степени философский характер и примыкает к работам по теории познания Бертрانا Рассела. Вторая, «Теория речи и языка» (первое издание в 1932 г., второе в 1951 г.), трактует собственно лингвистические вопросы. В этой второй своей книге А. Гардинер противопоставляет язык, как явление внеиндивидуальное и «постоянное», речи, как явлению хотя и укладывающемуся в схемы языка, однако зависящему от субъективного фактора. С точки зрения этого противопоставления он подвергает рассмотрению традиционные категории языкознания, а также теорию предложения, которое он относит к явлениям речи («Предложение — единица речи». «Предложение управляется намерением как в количественном, так и в качественном отношении, и если возникает необходимость в его количественном определении, то можно принять следующее: предложение — это высказывание настолько длинное по коммуникации, насколько это входит в намерения говорящего, прежде чем он сделает паузу».) В настоящую книгу включен доклад А. Гардинера на международном лингвистическом конгрессе в Риме, в котором он с большой ясностью и четкостью излагает сущность своей теории.

Карл Бюлер, представитель немецкой школы психологии мышления, после ряда работ, посвященных собственно психологическим проблемам («Духовное развитие ребенка», 1918; «Кризис психологии», второе издание в 1929; «Теория выражения», 1933), обратился к рассмотрению природы языка, исходя из своих психологических позиций. Свои взгляды он суммировал в книге «Теория языка» (1934), ставшей предметом многочисленных дискуссий.

К. Бюлера, так же как и А. Марти и А. Гардинера, не интересуют генетические вопросы. Фактически он занимается не столько языком, сколько речью, которую он изучает с точки зрения функций, которые она способна выполнять в конкретной ситуации. К. Бюлер выделяет при этом три функции: выражение, обращение и сообщение, которые он переносит в сферу категорий, обуславливающих сущность языка. Тем самым природа языка определяется у него функциональными моментами, устанавливаемыми в процессе речи.

Его книга включает четыре раздела: 1. Принципы исследования языка; 2. Поле указания языка и слова-указатели; 3. Символическое поле языка и называющие слова; 4. Строение человеческой речи: элементы и сложные образования. В первом из этих разделов устанавливаются методологические предпосылки, на основе которых проводится дальнейшее исследование (кстати говоря, из трех названных функций он фактически рассматривает только одну — функцию сообщения). «Теория языка» К. Бюлера не излагает сколько-нибудь оригинальной концепции и в большей мере суммирует и комбинирует взгляды других ученых (Марти, Гуссерля, Кассирера, Гардинера), интересовавшихся в первую очередь нормативными, логическими и психологическими построениями, главным образом априорного порядка. Это обстоятельство признает и сам К. Бюлер, подчеркивавший, что он оперирует старыми истинами, об этом свидетельствуют и его четыре аксиомы, образующие существенную часть его методологического вооружения: А. Модель органа языка; В. Знаковая природа языка; С. Разграничение речевого акта и языкового образования и Д. Противопоставление слова и предложения.

Понимание работ К. Бюлера затрудняется полемическим тоном, содержащим намеки на актуальные ко времени дискуссий, но ныне во многом забытые вопросы, и сложной терминологией, которая в значительной мере наполнена не столько лингвистическим, сколько философским или психологическим содержанием.

В настоящую книгу включены извлечения из первого (методологического) раздела «Теории языка», излагающие его понимание природы языка и теоретические предпосылки исследований, и также статьи «Структурная модель языка», которая уточняет, конкретизирует и пополняет приведенные извлечения.

## **А. МАРТИ**

### **О ПОНЯТИИ И МЕТОДЕ ВСЕОБЩЕЙ ГРАММАТИКИ И ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА<sup>1</sup>**

Когда я включил наименование «всеобщая грамматика» в название моей работы «Исследования к обоснованию всеобщей грамматики и философии языка», я прекрасно понимал, что как сам предмет, так и его наименование не пользуются общей любовью. Но так как я поставил своей задачей совместно с выдающимися языковедами, имеющими подобные же намерения, воздать должное тому правильному, что, по моему мнению, лежало в основе ранних стремлений к установлению «всеобщей грамматики», и, насколько это в моих силах, пополнить его и развить дальше, то мне казалось целесообразным сохранить также и данное наименование, несмотря на то что оно вызывает ироническое отношение со стороны некоторых ученых.

Но как можно говорить о научной описательной грамматике отдельных языков, так возможно это и в отношении всеобщей грамматики, которая точным образом описывает общие черты и элементы всех форм человеческой речи. А то, что эти последние, несмотря на все частные различия, можно обнаружить повсюду, гарантируется совпадением подлежащего выражению содержания, а также общностью средств и путей, которыми человек, вследствие равных способностей и психофизической организации, располагает для выражения. Эта описательная всеобщая грамматика является необходимым добавлением к учению о всеобщих особенностях и законах развития языка, которое более правильно называть учением о принципах истории языка; между ними существуют такие же отношения, какие имеют место между описанием организмов и их частей, с одной стороны, и учением об органических изменениях или о генезисе и последовательности соответствующих явлений, с другой стороны. Как там, так и здесь совершенно невозможно удовлетворительное объяснение процессов становления и развития, кроме как на основе возможно более точного анализа и описания их компонентов, точно так

<sup>1</sup> А. Marty, Über Begriff und Methode der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie, «Zeitschrift für Psychologie», Bd. 55, 1910. Статья приводится с сокращениями.

же, как и особенностей и функций этих последних. Оба разветвления этого лингвистического учения о принципах, ориентированных на генетическое и описательное изучение, можно называть также «философской грамматикой» и разделом философии языка, постольку поскольку при этом речь идет о проблемах, решение которых является по преимуществу делом психологов, как это имеет место в описательных и генетических вопросах общей семасиологии.

Понятие философского и философии я определяю таким образом, что включаю в него все те направленные на вскрытие всеобщего и закономерного исследования, которые касаются либо вопросов психологии, либо в интересах дальнейшего своего прогресса в такой мере вынуждены обращаться к психологическому познанию и методам, что объединение их в руках психологов обуславливается требованиями правильной организации и распределения труда.

В соответствии с этим общим понятием философии и философского, по моему мнению, надо толковать и специфическое понятие философии языка. Она охватывает все направленные на всеобщее и необходимое или закономерное языковые исследования и вопросы, главная трудность которых и поиски ответов на которые лежат в психологической области и где в соответствии с принципами практического разделения работы представляется желательным, чтобы в поисках решений психология принимала преимущественное участие.

Эти исследования в области философии языка можно далее, как это вообще имеет место в философии, подразделить на теоретические и практические. Теоретические исследования нечто иное, как то, что также можно назвать психолингвистическими исследованиями или «философской грамматикой», и львиная доля принадлежит здесь вопросам всеобщей описательной и генетической семасиологии.

Специально для описательной части всеобщей семасиологии мне представляется наиболее удачным наименование «философской грамматики».

Но я, как уже отмечалось, и ее причисляю к «психологии языка» и считаю неправильным и вводящим в заблуждение, когда эти исследования часто называют «логическими» или даже относящимися к теории познания. О последней точке зрения нет надобности распространяться. Что же касается первой, то, конечно, правильно поступают те, кто значение средств выражения, в противоположность грамматическим явлениям, часто называет «логическими явлениями». Точно так же не вызывает сомнения, что логика в качестве руководства к правильным суждениям оказывает влияние и на языковое выражение (и в особенности выражение понятий и суждений) и тем самым предоставляет место для определенных описательно-семасиологических соображений. Но было бы неправильно последние считать такими, которые представляют ценность и являются предметом этой практической дисциплины только в упомянутом объеме. Не только в отношении выражения понятий и суждений (чем непосредственно должны заниматься логики), но и имея в виду всю совокупность психической жизни они также представляют теоретический

интерес, и называть их просто «логическими исследованиями» значило бы недооценивать их теоретическое значение.

Еще более неправильно, с моей точки зрения, при описательных исследованиях говорить о «логическом» методе в противоположность психологическому. Подобные методы не в большей мере «логические», чем те, которые применяются при каждом точном научном анализе и расчленении, и такой описательный анализ явлений точно так же относится к основам всякой точной психологии и тем самым к подлинно психологическому методу.

Выше я употреблял наименование «психология языка». Я хочу отметить, однако, что я при этом не разумел какого-то особого ответвления психологии. Я должен согласиться с Г. Паулем, когда он говорит, что языкознание, конечно, должно быть насквозь психологическим даже тогда, когда речь идет о констатации отдельных фактов, но об особой «психологии языка» не больше оснований говорить, чем об особой психологии права или экономики. И если бы игры (шахматы, карточные игры и пр.) были бы не только играми, но и серьезным занятием, так что стоило бы заняться сопровождающими их психологическими проблемами и явлениями, то можно было бы с таким же самым правом говорить и о «психологии шахмат» или «психологии бриджа». В этом я полностью согласен с названным замечательным исследователем, которому «психология языка» обязана более, чем кому-либо, хотя он и не выдавал себя за ее представителя.

На этой так называемой «психологии языка», так же как и на общей психологии, строятся и практические исследования. Я разумею под этим «руководство к правильной речи», но не в том смысле, что оно должно устанавливать стандарты для того или иного времени и места (такое руководство не имеет философского характера и вообще не является предметом науки), а в смысле того, что в идеале является правильным или целесообразным. И эта «правильность» имеет много значений соответственно целям, которым более или менее совершенным образом может служить употребление языковых знаков. Так, речь может быть об идеальном языке, которому индивидуальные и коммуникативные логика и учение о методе предъявляют требования с учетом качеств языка, наиболее важных для формирования и сообщения элементов познания. Далее — об идеальном языке, которому дает предписания и указания ориентация на обычаи и право, а также примыкающие к ним социальная экономия и мировая политика. Наконец, и о таком идеальном языке, когда дается право эстетике определять, какие качества языка превращают его в наиболее совершенное средство на службе красоты и искусства. Именно для этих целей, по моему мнению, существуют практические разделы философии языка, которые занимаются исследованием и изложением общих закономерностей и методов, в соответствии с которыми происходит образование такого рода идеального языка. Я назвал их глоссономией и глоссотехникой и упоминаю их во вводной части своих «Исследований» в связи с их положением во всей системе философии языка, но из дальнейшего изло-

жения моей книги исключаю. Моя книга — теоретическое исследование и, исключая вводную часть и приложение, специально посвящена обоснованию всеобщей описательной семасиологии, которую я считаю для философов основой всех теоретических и практических исследований языка.

Среди вопросов этой области центральное место, по моему мнению, надо отвести тем, которые устанавливают различие между явлениями, называемыми в области семантики материей и формой. Они возникают в каждом языке, и на их основе среди языковых знаков различают материальные слова и формальные слова, или «формы», имея при этом в виду все средства выражения, которые действительно употребляются для обозначения тех или иных элементов значения, или же только такие способы и средства обозначения, которые по своему значению особенно пригодны для выражения формы или же материи и считаются «адекватными» им<sup>1</sup>. При этом обычно говорят: материальные слова означают «понятия» или «предметы», а формальные слова, или «формы», — «отношения» (понятий или предметов). Иногда вторая часть этой формулы имеет такой вид: формальные слова, или «формы», обозначают «отношения слов».

Все это представляется мне малоубедительным и вовсе не противопоставляется тому положению, что материальные слова означают понятия, а следовательно, должны обозначать и предметы. Более естественным противопоставлением всему этому является положение, что такие явления, как отношения предметов (или понятий), обозначаются формами, причем это точно так же будет характеристикой, несомненно, семантического порядка.

Но если эта констатация относительно того, что, собственно, в значении является материальным или же формальным элементом, как-то приближается к истине, то она все же еще не есть совершенная истина. И здесь мы оказываемся перед вопросом, который с очевидностью нам показывает, что обычные понятия грамматики, поскольку они носят семасиологический характер, для своего разъяснения, более точного толкования и отграничения нуждаются именно в таких исследованиях, которые Фосслер называет лишь «логическими», не относящимися к грамматике и «гетерогенными» ей. Я имею в данном случае в виду точный анализ и описание психических функций, а также их содержания, без чего данные о значении наших языковых средств будут в такой же степени неполными и туманными, как это имело место в отношении медицинского познания органов и функций человеческого тела, до того, как оно оперлось на научную анатомию и физиологию.

<sup>1</sup> В связи с этим последним термином некоторые говорят о формальных и материальных языках, разумея под первыми такой языковой тип, где также и для так называемых формальных элементов значения имеются пригодные и «адекватные» средства выражения (такowymi могут быть, например, так называемые флексии), а материальными языками называют такие, у которых среди их средств выражения отсутствуют «действительные формы», иными словами, такие, которые формальные элементы значения выражают так же одинаковыми или сходными средствами, как и «материальные» элементы значения.



Что же касается понятия формы и материи в области значения, то более детальное изучение показывает, что в это различие вносят много путаницы и что если избавиться от нее и обратиться к рациональному зерну, то мы неизбежно натолкнемся на различие автосемантических и синсемантических составных частей человеческой речи, которое обнаруживается в каждом языке и рассмотрение которого находится в центре описательной семасиологии. Под автосемантическими языковыми средствами я разумею такие, которые сами по себе способны на полное выражение обладающих коммуникативными качествами психических явлений (или содержаний); как мне кажется, они распадаются соответственно основным классам видов психической деятельности (различаемых мною) на вызывающие представления (среди которых «имена» в широком смысле этого слова играют ведущую роль), высказывания и связанные с экспрессией выражения, или эмотивы. Поэтому главная задача всеобщей, или философской, грамматики в смысле всеобщей описательной семасиологии заключается в разрешении вопроса о функциях этих автосемантических элементов как в отношении того, что они выражают или (непосредственно) обнаруживают, так и того, что они (опосредствованно) значат. А это, естественно, приводит к обсуждению еще более глубоких психологических вопросов, а именно: о сущности сознания, о различии акта и содержания и о природе и подразделениях этого содержания в различных классах функций сознания.

Если отойти от функций и значения автосемантических языковых средств, как мы их каждодневно употребляем, и обратиться к вопросу о их форме и образовании, то мы неизбежно столкнемся с синсемантическими явлениями, т. е. частями речи, которые сами по себе ничего не значат и способны на это только в соединении с другими, и именно тогда, когда они помогают образовывать автосемантические элементы (высказывание, эмотив, имя и т. д.), хотя нашим языковым чувством воспринимаются как отдельные части речи. Короче говоря, мы сталкиваемся с фактом, что наши автосемантические средства выражения почти всегда обнаруживают соединение «частей речи», или «слов», что они образуются синтаксически и что очень многие из этих синтаксически объединенных для выражения целого частей функционируют только синсемантически. А так как вполне понятные причины, действующие во всех формах речи, всегда стимулировали и продолжают стимулировать синтаксические образования, то и явление синсемантики в том или ином виде свойственно всем языкам, а потому по праву является предметом исследования всеобщей грамматики. Однако эта последняя проводит при этом определенные различия. В частности, надо различать два важных класса — такой, где соединению знаков соответствует аналогичное соединение в мыслях или вообще в значении, где, следовательно, наличествует повод к синсемантическому образованию, и такой класс, где это не имеет места. Ориентация на экономию знаков и деятельность памяти проявляется и в первом классе, но она не является решающим фактором. Напротив того, это является характерным для второго из названных

классов. Учитывая то, что в противоположность грамматическому, или языковому, значению языковых средств этот тип значений часто именуют просто «логическим», я называю первый случай «логически обоснованной» синсемантикой, а второй — «логически необоснованной». Естественно, что всеобщая грамматика в первую очередь интересуется первой и ставит своей задачей выяснить и перечислить все причины, которые приводят к тому, что все факты человеческой духовной жизни и ее содержания, поскольку они поддаются языковому выражению, образуют синсемантические явления посредством соединения предназначенных для сообщения элементов.

Что касается логически необоснованной синсемантики, то в отношении нее всеобщая грамматика ограничивается тем, что приводит ее общие типы и иллюстрирует их примерами из существующих языков. Это будет сделано во втором томе наших «Исследований» и там же будут рассмотрены по отдельности причины разных случаев логически обоснованной синсемантики, но общая характеристика как первой, так и второй содержится уже и в первом томе.

Мы выше указывали, что неправильному пониманию того фактического, что лежит в основе традиционного разграничения формальных и материальных элементов в значении, способствовало смешение понятий. Со значением и его элементами путают то, что именуется также «формой», в частности явление так называемой внутренней формы языка, которая в действительности относится не к выражаемому содержанию, а к средствам выражения и понимания<sup>1</sup>. Она также является важным предметом всеобщей грамматики не только потому, что ее так или иначе можно обнаружить во всех языках (как то, что я называю «образной», так и конструктивной внутренней формой языка), но и потому, что для семасиологии очень важно четко и последовательно отграничить явления, которые так легко смешать со значением и фактически очень часто смешиваются с ним, от самого значения. О природе этих явлений и их отличии от «внешней формы языка», с примерами того, как они путаются и смешиваются со значением, также говорится в первом томе моих «Исследований», который, таким образом, посвящен главным образом описательно-семасиологическим вопросам и проблемам самого общего порядка. Второй том, кроме уже упомянутых задач, будет стремиться к критическому рассмотрению иных учений о формальных и материальных элементах в значении — на основе вскрытых нами отношений между автосемантическими и синсемантическими языковыми средствами.

<sup>1</sup> А. Тумб жалуется, что выдвинутое Гумбольдтом понятие «внутренней формы» каждым толкуется по-своему. Это замечание не лишено основания. Но это происходит потому, что, начиная от самого Гумбольдта, вплоть до настоящего времени, подлинная природа этого явления (и особенно образная внутренняя форма языка, сущность и важность которой для различного формирования языков Гумбольдт только предугадывал) всегда понималась неправильно.

Различие внутренних форм языка (и особенно той, которую я называю конструктивной внутренней формой языка) и связанные с ними различные методы синсемантического выражения играют, разумеется, определенную роль в разных «типах языкового строя».

## АЛАН ГАРДИНЕР

### РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ «РЕЧЬЮ» И «ЯЗЫКОМ»<sup>1</sup>

Фердинанду де Соссюру принадлежит заслуга в привлечении внимания к различию между «речью» и «языком», различию настолько важному по своим последствиям, что, по моему мнению, оно рано или поздно станет неизбежной основой всякого научного изучения грамматики. Впрочем, только в посмертном «Курсе общей лингвистики», составленном учениками де Соссюра по записям лекций, это различие получило печатное выражение. Составители великолепно справились со своей задачей, но, вне всякого сомнения, сама природа их материала создавала для них определенные трудности, и, кроме того, они не чувствовали себя вправе развить тезисы с такой же ясностью, с какой это сделал бы сам учитель. Я не имею возможности установить, насколько де Соссюр был бы согласен с теми идеями, которые возникли после его смерти и были стимулированы его теориями. Совершенно очевидно, однако, что устанавливаемое Ш. Балли и Г. Пальмером различие в некоторых отношениях отличается оттого, которое проводил де Соссюр, и точно так же я не могу приписать де Соссюру все выводы, которые я сам сделал в своей недавней книге «Теория речи и языка». Но в одном, впрочем, я уверен: высказанные де Соссюром взгляды, несомненно, очень отличаются от тех, которые были развиты профессором Есперсеном в его лекциях «Человечество, нация и индивид с лингвистической точки зрения», опубликованных в 1925 г. в Осло.

Профессор Есперсен поправит меня, если я в свою очередь неправильно истолкую его точку зрения. Если я не ошибаюсь, различие между «речью» и «языком» представляет для него лишь различие между лингвистическими привычками индивида и общества, к которому он принадлежит. Это явствует из многих утверждений его книги, из которых я приведу только некоторые. На странице 16 мы читаем: «В различии, проводимом между «речью» и «языком», я не вижу ничего другого, как вариант теории «народного разума», «коллективного разума» или «стадного разума», противопоставляемого индивидуальному разуму (или же возвышающегося над ним), тео-

<sup>1</sup> Alan H. Gardiner, The distinction of «Speech» and «Language». Atti del III congresso internazionale dei linguisti, Firenze, 1935.

рии, которая содержится во многих немецких исследованиях и с которой среди прочих совершенно справедливо боролся Герман Пауль». На странице 19 мы обнаруживаем следующее: «Таким образом, каждый индивид обладает нормой для своей «речи», которая дается ему извне; фактически он получает ее посредством своего наблюдения над индивидуальной «речью» других. В известном смысле мы можем сказать, что язык (*la langue*) есть нечто вроде множественного числа речи (*le parole*), так же как «много лошадей» есть множественное число от «одной лошади», т. е. оно означает одну лошадь + лошадь № 2, которая несколько отличается от первой, + лошадь № 3, в свою очередь немного отличающаяся и т. д. Все различные индивидуальные языки в своей совокупности образуют национальный язык». В дальнейшем профессор Есперсен, как кажется, делает догадку, что в соссюрском понимании речь есть «мгновенное лингвистическое функционирование индивида», но он, по-видимому, все еще думает, что небольшое расширение этой точки зрения приведет к толкованию «речи» как совокупности лингвистических привычек индивида, и в подтверждение этого ссылается на то, что мы располагаем гомеровскими словарями и гомеровскими грамматиками.

Я должен сознаться, что испытываю большие затруднения относительно утверждения того, что де Соссюр думал или не думал, но в одном я уверен: между индивидуальным «языком» и «речью» он устанавливает такие же большие различия, как и между языком общества и речью каждого из его членов. Разумеется, де Соссюр не мог не понимать, что индивиды обладают своими лингвистическими привычками, так же как и группы индивидов. Существует английский язык Шекспира, Оксфорда, Америки и английский без всяких уточнений. Мы можем рассматривать язык ограниченным как географическими, так и временными пределами; когда мы говорим об английском, мы иногда разумеем английский на протяжении всей его истории, а иногда только английский какого-либо индивида, как, например, тогда, когда говорим, что английский Джона отвратительный. Но все видоизменяющееся собрание лингвистического материала есть «язык», а не «речь» в том смысле, в каком употреблял этот термин де Соссюр. Любое такое собрание, т. е. любой словарь и любая совокупность синтаксических моделей, образует «язык». «Язык» представляет основной капитал лингвистического материала, которым владеет каждый, когда осуществляет деятельность «речи». Но что такое тогда «речь»? Речь, как я ее понимаю и как, несомненно, понимал ее де Соссюр, есть кратковременная, исторически неповторимая деятельность, использующая слова. Речь имеет место, когда человек делает замечание или записывает предложение. Акт неповторим, закончен в себе, происходит только однажды и в силу этого диаметрально противоположен любому языку, любому собранию лингвистического материала. Поскольку, следовательно, деятельность речи и собрание лингвистических привычек, которое мы называем «языком», — совершенно несовместимые вещи, само проведение различий между ними может показаться бесполезным.

С тем чтобы сделать его полезным для грамматиков, это различие, по-видимому, следует свести к более простым терминам, и в соответствии с этим я устанавливаю, что «речь» в своем конкретном смысле означает то, что филологи называют «текстом». Этим словом обычно определяют то, что было написано каким-либо автором, но я хочу расширить его значение до обозначения всего, что написано или сказано. Как только будет усвоена эта точка зрения, будет невозможно не увидеть, к чему стремился де Соссюр, устанавливая свое различие. Возьмем любое предложение, любой кусочек «текста». Я приведу мою любимую цитату из Вольтера: *Il faut cultiver notre jardin*. В этом предложении, типичном образце речи, плоде мгновенного импульса литературного вдохновения, отчетливо выступают два ряда явлений и именно слова, ни одно из которых Вольтер не создавал, и грамматическая схема, воплощенная в предложении, — употребление инфинитива после *il faut* и объект, следующий за инфинитивом. Эти два вида фактов совместно образуют первый из упомянутых мною рядов явлений; они являются фактами «языка». Они принадлежат языку Вольтера, языку его времени и его общества; они также являются фактами французского языка. Вместе с тем совершенно очевидно, что мы не исчерпываем состава этого предложения, когда перечисляем указанные факты языка. Не язык Вольтера подсказал ему данное конкретное утверждение, выбор *cultiver* в качестве конкретного инфинитива, следующего за *il faut*, или употребление конкретного сочетания *notre jardin* в виде объекта к *cultiver*. Эти явления — продукты его «речи», результат его целеустремленной мысли.

Все, что я сейчас сказал, ясно и понятно, но грамматисты могут все еще недоумевать, какое значение для них может иметь различие между «речью» и «языком». С моей точки зрения, — первостепенное значение. Даже в пределах короткого предложения, выбранного мною в качестве примера, я обнаружил грамматические термины двух порядков. Во-первых, эти определения слов, которые постоянно свойственны им, могут быть установлены независимо от контекста и соответственно являются составной частью их структуры, как она обуславливается «языком». Так, *cultiver* есть инфинитив, *notre* — прономинальное прилагательное, а *jardin* — имя существительное. Совершенно отличными являются факты «речи» и именно те характеристики, которые прилагаются к словам и сочетаниям слов каждым конкретным говорящим. В нашем примерном предложении это был Вольтер, кто сделал *notre jardin* объектом к *cultiver*, а *notre* — эпитетом к *jardin*. Итак, мы должны применять наименование «язык» ко всему тому, что является традиционным и органическим в словах и сочетаниях слов, и «речь» — ко всему тому в них, что обуславливается конкретными условиями, к «значению» или «намерению» говорящего.

Наблюдение тотчас покажет, что все грамматические термины относятся либо к первой, либо ко второй из этих категорий. Таким образом, «язык» и «речь» образуют основную дихотомию в грамматических явлениях. Я хочу, однако, предупредить возможные возраже-

ния. Я вовсе не предполагаю, что язык не используется в речи. Конечно, он функционирует в речи и главным образом для этой цели и существует. Когда я говорю, что определенные явления в данном тексте принадлежат «речи», но не «языку», я понимаю, что, если вы исключите из текста все те традиционные элементы, которые следует называть элементами языка, получится остаток, за который говорящий несет полную ответственность, и этот остаток и является тем, что я понимаю под «фактами речи». Следует также отметить, что к «языку» я отнес грамматические схемы, обнаруживаемые конкретными языками. Так, для английского языка является правилом, что адъективный эпитет обычно ставится между артиклем и существительным, к которому он относится. Но только что я говорил о термине «эпитета как о явлении, скорее относящемся к «речи», чем к «языку». И все же здесь нет противоречия, и я объясню — почему. Я вовсе не отрицаю, что термины «объект», «эпитет», «аппозиция», «предложение» и т. д. являются грамматическими терминами, и поскольку они встречаются в английской грамматике, которая является описанием существующих в английском языке лингвистических условий и привычек, они необходимы для описания английского, так же как и других языков. Но они постольку являются терминами языка, поскольку они — термины общих схем, лингвистических моделей, которые можно выразить алгебраическими символами и которые в языке не связаны с определенными словами. Термин «эпитет» относится к языку постольку, поскольку он имеет в виду все английские прилагательные, помещенные между артиклем и существительным, но к «речи» постольку, поскольку он относится к конкретному слову, реализующемуся только в речи, как например в сочетании *a good man*. Самым недвусмысленным формулированием моих тезисов было бы такое: терминами языка и грамматики, относящимися к фактам «языка», являются такие, которые имеют дело с постоянным строением слов, и соответственно терминами «речи» являются такие, которые, относятся *ad hoc*<sup>1</sup> к функциям слов, обусловленным причудой каждого говорящего в отдельности. Менее многословно и достаточно понятно определять термины вроде «прилагательное», «множественное число», «условное наклонение», «винительный падеж» как «термины языка», а такие термины, как «предикат», «объект», «настоящее историческое», «предложение», как «термины речи».

Больше всего я боюсь упрека не в том, что различие между «языком» и «речью», как я его попытался объяснить, неправильно, а в том, что оно слишком известно и очевидно, чтобы упоминать о нем. Именно подобной критике подверглась моя книга со стороны одного весьма известного ученого. Я беру на себя смелость не согласиться с этим. Просматривая грамматику, я снова и снова нападаю на ошибки, которые возникают вследствие неразличения явлений, связанных с функциями в речи и с постоянным характером языка. Как часто «восклицание» путают с «междометием», а «субъект» — с «именитель-

<sup>1</sup> *ad hoc* (лат.) — для данного случая. (Примечание составителя.)

ным падежом»! Чтобы подкрепить мою точку зрения, я приведу несколько случаев, когда различие «терминов речи» и «терминов языка» обнажает истинные противоречия и требует того или иного решения. Возьмем для начала вечные споры о природе «предложения». Большинство грамматиков ныне считает, что предложения можно сгруппировать, в четыре категории в зависимости от того, содержат ли они утверждение, вопрос, требование или восклицание. Но многие из них в то же время придерживаются точки зрения, что предложением является всякое сочетание слов, имеющее субъект и предикат или содержащее глагол с личным окончанием<sup>1</sup>. Такие взгляды едва ли возможны для тех из нас, кто пришел к заключению, что каждый точный грамматический термин должен быть термином либо «речи», либо «языка». Классифицируя предложения по четырем упомянутым мною категориям, грамматики фактически придерживаются того взгляда, что наименование «предложения» соотносится с функцией, обусловленной речью. Слово или сочетание слов только тогда предложение, когда из них самих явствует, что говорящий утверждает, спрашивает, требует или восклицает. Мнение, что предложение создается наличием субъекта и предиката или же глагола с личным окончанием, напротив того, имеет в виду черты, которыми данное сочетание слов обладает постоянно, т. е., следовательно, черты, которые являются фактом «языка». Таким образом, грамматики, которые одновременно придерживаются обеих точек зрения, считают, что термин «предложение» есть термин как языка, так и речи, а это невозможно, поскольку определения терминов «речи» и «языка» взаимоисключающи. Нельзя идти двумя путями. Либо мы должны считать, что термин «предложение» относится к функции в речи и тогда нужно его расширить и вместе с тем ограничить его применение всеми словами или сочетаниями слов, когда говорящий действительно утверждает, действительно спрашивает, действительно требует или действительно восклицает, либо мы должны с определенностью решить, что этот термин соотносится с постоянными чертами и в этом случае наличие субъекта и предиката дает основание для определения сочетания слов как предложения. В последнем случае мы должны сочетание слов *Mary has a new hat* (У Мери новая шляпа) называть предложением даже в том случае, если эти слова составляют только часть вопроса: *Are you sure that Mary has a new hat?* (Вы уверены, что у Мери новая шляпа?). Старые грамматики поступали вполне логично, когда они использовали термин «подчиненное предложение» (*Nebensatz*) для слов *Mary has a new hat* в вопросах, подобных настоящему, но их современные последователи, сталкиваясь с

<sup>1</sup> Я должен признаться, что с логической точки зрения не может вызывать возражения определение предложения как «слова или сочетания слов, выражающих утверждение, вопрос, требование или восклицание и содержащих также субъект и предикат». Но этот термин останется все еще термином «речи», поскольку функция *ad hoc* будет *conditio sine qua non*. Мне только кажется, что от такого определения будет мало пользы. «Clause» является таким же функциональным термином, соединенным с формальной оговоркой.

подобными примерами, вступают в противоречие с самими собой, поскольку существуют случаи, когда *Mary has a new hat* не выражает ни утверждения, ни вопроса, ни требования, ни восклицания. Что касается меня, то я знаю, что четырехзначная классификация предложений привилась, но я считаю гораздо более удобным соотносить термин «предложение» с фактической функцией в речи. В соответствии с этим я без колебаний расширяю применение термина «предложение» и к таким случаям, как *Of course! Really? Attention!* и *Alas!* (Конечно! Действительно? Внимание! и Увы!), но считаю неправильным прилагать это к *Mary has a new hat* в вопросе *Are you sure that Mary has a new hat?*

Другим спорным вопросом, в связи с которым различие «языка» и «речи» может оказать значительную помощь, является вопрос о количестве падежей в современном французском и английском. Является «падеж» категорией «языка» или «речи»? Если бы покойный профессор Зонненшайн осознал важность этого основного вопроса, он без всякого сомнения не стал бы настаивать на парадоксальном положении, что французское существительное имеет четыре отдельных падежа, а английское — пять. В классических языках, которым мы обязаны самим понятием «падежа», он, несомненно, был категорией «языка». В латинских и греческих существительных, местоимениях и прилагательных существовало столько падежей, сколько было форм внешних различий, соответствующих группам синтаксических и семантических отношений, в которые могут вступать слова или обозначаемые ими предметы. Эти различия форм являются постоянными и основными чертами слов, обнаруживающих их, и, следовательно, фактами «языка». Вы можете взять слова вроде *rosam* или *fontet*, и рассматривать их вне контекста, и только на основании морфологических данных вы можете отнести их к винительному падежу. Конечно, существуют сомнительные случаи вроде *res* и *impedimenta*, но даже и в подобных примерах отличие от других форм того же самого слова (*rebus*, *rerum*, *impedimentis*) позволяет нам отнести их к тому или другому падежу. Можно ли то же самое сказать в отношении французских и английских существительных? Во французском, поскольку дело касается существительных, вообще невозможно говорить о падеже, если слово рассматривается вне контекста. Например, существительное *chapeau* получает полную грамматическую характеристику, когда мы говорим, что это существительное мужского рода в единственном числе. Если термин «падеж» брать в том значении, какое он имеет в латинском и греческом, слово *chapeau* в *Elle a acheté un chapeau* не является винительным падежом, хотя оно есть объект к глаголу *acheté*. Говорящий сделал из *chapeau* объект, но он не в состоянии сделать из этого слова винительный падеж; термин «объект» — термин «речи», но им не является термин «винительный падеж». В английском положение несколько иное, но применимы те же самые критерии. Возьмем английское слово *John's*. Совершенно независимо от контекста мы тотчас можем сказать, что *John's* стоит в родительном падеже. Но в отношении



формы John мы не столь уверены. Давая грамматическую характеристику этому слову, мы скажем, что это существительное мужского, рода в единственном числе, имя собственное, номы, наверно, забудем сказать что-либо относительно его падежа. Спорным является вопрос

О том, можем ли мы приписывать слову как факту языка черты, которые не подлежат немедленному определению на основании его внешней формы или того, что я назвал бы его «ощущением». Совершенно очевидно, что, если в нашем сознании возникает форма John's, мы тотчас устанавливаем, что John не соотносится с ней. Что касается меня, то я склонен в чисто описательных грамматиках английского языка называть существительные, подобные John, horse или turpitude, основными формами и добавлять при этом, что английские существительные знают только одно изменение падежа и именно родительный падеж. Придерживаясь этой линии, мы будем следовать за древнегреческими грамматиками, для которых «падеж» (πτῶσις) есть «отпадение» от такого состояния, которое не является падежом. Но, может быть, лучше идти за профессором Есперсеном и обозначать формы вроде John, horse и т. д. термином «общий падеж», для которого и в качестве альтернативных можно предложить также термины «неродительный падеж» или «основной падеж» (general case).

Я совершенно уверен, однако, в одном: говорить, что John в I gave John a shilling является дательным падежом, — большая ошибка. Мы, правда, можем думать об изолированном из контекста John как о падеже, отличном от слова John's, но совершенно очевидно, что нам никогда не придет в голову считать его дательным падежом. Поступать так — значит игнорировать факт, что «падеж» есть прежде всего видоизменение внешней формы и что это — категория «языка». Называть John в приведенном мною предложении дательным падежом — это значит полагать, что функции слова в «речи» достаточно, чтобы возвести его в ранг соответствующего падежа. В грамматиках, написанных для детей, знающих латинский или немецкий, вполне допустимо указывать, что John в I gave John a shilling имеет функции дательного падежа и что своим местом в предложении оно обязано позиции дательного на древних этапах развития языка, но было бы в высшей степени неправильным использовать наименование падежа «дательный» с целью описания самого слова.

Различие между «языком» и «речью» может также привлечь внимание к лакунам в нашей грамматической номенклатуре. Что такое «фраза»? Я отвлекусь от того факта, что французские грамматикологи используют термин «фраза» в значении английского грамматического термина «предложение» и ограничусь только рассмотрением того, какое применение имеет оно в английской лингвистической литературе. Это термин «языка» или «речи»? Если это термин «речи», то он соответствует немецкому Wortgruppe (словосочетание) и может использоваться для обозначения любой ad hoc комбинации тесно связанных слов, которые могут быть продиктованы фантазией или потребностями говорящего. Если это термин «языка», то тогда он должен быть ограничен комбинациями слов, которые язык так тесно-

сплотил вместе, что невозможны никакие варианты их. В этом последнем случае термин «фраза» можно будет соотносить только со стереотипными выражениями вроде комбинаций *in order to of course, take stock of, have recourse to*<sup>1</sup>. Я склонен думать, что было бы лучше ограничить термин «фраза» такими фиксированными выражениями, а комбинации слов, подобные *this unconstitutional act*<sup>2</sup>, называть «словесной группой» или просто «группой». Таким образом, «фраза» стала бы лишь термином «языка», а «группа» лишь термином «речи». Я уверен, что такое различие будет иметь большое значение, несмотря на то что существует много сочетаний слов, которые помещаются где-то между этими двумя категориями. Я, например, не знаю точно, следует ли немецкое *er wird gehen* относить к категории «фразы» или же «группы».

Надеюсь, я смог показать, что различие между «речью» и «языком» представляет большой жизненный интерес, чем думают некоторые ученые. Но мы только приступаем к выявлению его возможностей. На долю других исследователей, вооруженных лучше, чем я, выпадает задача полностью исчерпать возможности этого различия и тем самым внести порядок в нашу хаотическую номенклатуру.

<sup>1</sup> Русскими эквивалентами подобных выражений являются: *с целью, не подлежит сомнению, может быть, имея в виду* и пр. (Примечание составителя.)

<sup>2</sup> В русском языке такой «группой» является сочетание: *день открытых дверей* и пр. (Примечание составителя.)

## КАРЛ БЮЛЕР

### ТЕОРИЯ ЯЗЫКА<sup>1</sup>

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ РАЗДЕЛА «ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА»)

У истоков теории языка, нечетко различимые, стоят две задачи; мы намереваемся первую только набросать, а вторую разрешить. Первой является описание полного содержания и характера специфически лингвистического наблюдения, а второй — систематическое выявление наиболее определяющих исследовательских идей, которые руководили собственно языковедческими умозаключениями и стимулировали их.

Нет надобности подвергать обсуждению то, что лингвистика вообще строится на наблюдении; ее репутация как хорошо обоснованной науки частично зависит от надежности и точности ее методов констатации. Когда отсутствуют письменные памятники или когда их свидетельства можно пополнить живыми наблюдениями, исследование не медлит с обращением к непосредственному и подлинному источнику сведений. В наши дни оно, например, не колеблясь, делает на местах диалектологические записи, обращается к живым звукам и закрепляет на пластинках редкие и трудно наблюдаемые явления речи, чтобы затем повторно подвергнуть их наблюдению. На пластинках можно закреплять, конечно, только речевые явления, которые воспринимаются на слух, и уже это обстоятельство имеет огромное значение для методов дискуссии. Ведь к полным, а это почти то же, что к «значимым» или «наделенным значением», речевым явлениям относятся отнюдь не только те, которые воспринимаются на слух. Каким же образом устанавливаются и делаются доступными точному наблюдению соответствующие явления? Как бы ни обстояло дело, но лингвист-наблюдатель должен иначе, чем физик, понимать воспринимаемое ушами и глазами (будь это, как говорят, изнутри или извне). И это понимание необходимо с такой же тщательностью подвергнуть методической обработке, как и записи *flatus vocis*<sup>2</sup>, звуковых волн, звуковых образов.

Было бы ограниченным и не соответствующим многообразию средств и путей представлять себе требования понимания одинаково

<sup>1</sup> Karl Bühler, *Sprachtheorie*, Jena, 1934.

<sup>2</sup> *Flatus vocis* (лат.) — дыхание голоса. (*Примечание составителя.*)

исполнимыми для каждой из многих лингвистических задач. Речь идет не о том, что все базируется на «проникновении» и самовыражении. Психология животных и детей создала новый способ обработки и тем самым достигла величайших успехов в своей области; разгадка иероглифов не тотчас нашла третий путь, но в силу необходимости блестящим образом использовала единственно успешный. Понимание и понимание, которое по природе вещей в языковом изучении имеет по крайней мере тройное истолкование.

Первые исследователи иероглифов имели перед собой непонятные рисунки и предполагали, что это символы, которые, возникнув из человеческого языка, должны читаться как наши письменные знаки; они думали, что совокупность рисунков образует текст. И действительно, шаг за шагом тексты были расшифрованы и на основе этого изучен язык народа фараонов. Этот язык имеет слова и предложения, как и наши языки, а первоначально непонятные фигуры оказались символами предметов и ситуаций. В нашу задачу не входит подробное прослеживание того, как познали значение этих символов; важно, что в данном случае было выполнено требование первого понимания, исходя из значения символа. Присоединим к этому, ради контраста, второй мыслимо наиболее отличный исходный пункт исследования. Это не памятники на камне и папирусе, это существующие в социальной жизни чуждых нам существ определенные явления, процессы, относительно которых можно предполагать, что они функционируют как наши человеческие коммуникативные сигналы. Чуждыми существами могут быть муравьи, пчелы, термиты, ими могут быть птицы или другие социальные животные, это могут быть также люди, а «сигналы» — человеческим языком. Когда я слышу команду, то мне по поведению воспринимающих его начинает открываться и предполагаемое его «значение» или же, точнее, содержание сигнала. Здесь, следовательно, дело обстоит совершенно иначе, чем в случае с расшифровкой текстов. И, в-третьих, новый исходный пункт обнаруживается тогда, когда воспринимаемое истолковывается как выражение. Выражение заключается у человека в мимике и жесте, но также в голосе и языке; оно дает новый ключ к пониманию.

Насколько успешно обходились пионеры языкознания этими ключами понимания, об этом можно прочесть в их работах. Но как эти ключи использовались в процессе все углубляющегося анализа того или иного языка, это систематически и исчерпывающе еще никогда не описывалось. Логическое обоснование исходных данных при построении науки о языке, приложение ее положений к наблюдению над конкретными явлениями речи — все это чрезвычайно сложная задача. Но было бы совершенно неправильным при этом в качестве образца для языкового исследования брать совершенно чуждый ему методический идеал физики.

Но как бы то ни было, настоятельной потребностью лингвистической науки остается все же раскрытие первых умозрительных построений исследователей языка. И для физики и для языкознания

одинаково важны слова, которыми открывается «Критика чистого разума»: «Не подлежит никакому сомнению, что все наше познание начинается с опыта: так как каким же образом были бы пробуждены познавательные потенции, если бы предметы не затрагивали наших чувств...» Мы назовем, что затрагивает или способно затронуть чувства языковеда, конкретным речевым явлением. Подобно грому и молнии, переход Цезаря через Рубикон — это единственное в своем роде явление, событие *hic et nunc*<sup>1</sup>, которое занимает определенное место в географическом пространстве и грегорианском календаре. Языковед производит свои основные наблюдения над конкретными языковыми явлениями и фиксирует их результаты в научных положениях. До этого момента все эмпирические науки находятся в равных условиях. Однако характер наблюдаемых явлений в физике и в языкознании совершенно различен (относительно чего дает сведения аксиома о знаковой природе языка), а вместе с этим оказывается отличным и способ наблюдения, а также логическое содержание научных положений.

Как обстоит дело с принципами языкового исследования? В дальнейшем мы формулируем некоторое количество принципов, которые претендуют на то, чтобы рассматриваться либо в качестве аксиом языкового исследования, либо по крайней мере служить исходным пунктом для теоретических изысканий, направленных на построение замкнутой системы таких аксиом. По своей форме это предприятие ново, но содержание этих принципов отнюдь не ново и не может быть таковым по природе самих вещей. Ведь отношение к языку, когда формулировались эти принципы, было определено языковедами чуть ли не с самого начала существования языкознания. Вопросы, которые возможно было поставить, исходя из этой позиции, давно поставлены и разрешены; другие, которые не ставились, так как они были бессмысленны в этих условиях, вообще не подвергались рассмотрению. Можно с полным основанием утверждать, что также и исследование языка, особенно в свой последний более чем столетний период истории, было хорошо осведомлено о правильных путях изучения. Все, что было сформулировано теоретиками науки и носило характер предположительно столь же плодотворных концепций, как и концепция математического анализа естественных процессов, хотя и не всегда получало завершённую форму, было в общем и целом использовано исследованием. А в этой связи на первое место выдвигается функция аксиом в исследовательской методике отдельных эмпирических наук. Аксиомы являются конструктивными, определяющими предмет тезисами, проникновенными индуктивными идеями, в которых нуждается каждая область исследования.

Предварительный взгляд на последующее изложение открывает читателю, что мы формулируем, разъясняем и рекомендуем четыре принципа. Если какой-либо критик заметит, что они (употребляя

<sup>1</sup> *Hic et nunc* (лат.) — здесь и теперь. (Примечание составителя.)

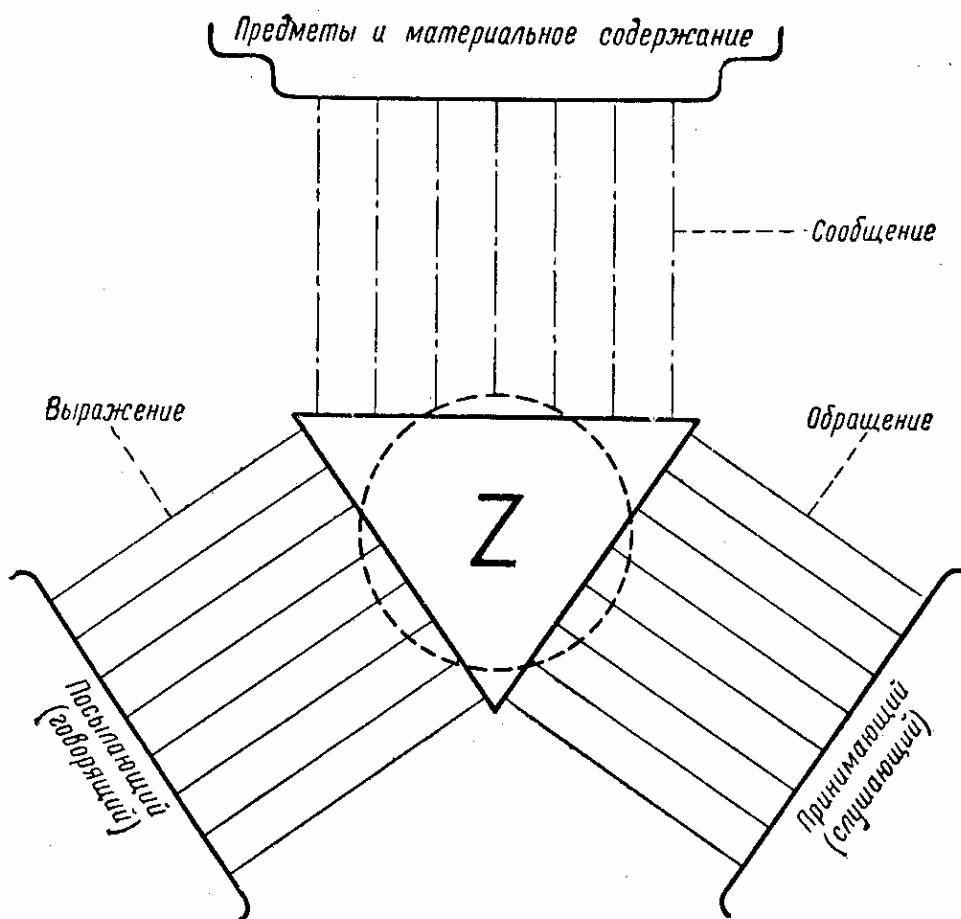
слово Канта) лишь подобраны и что предположительно существует еще много подобного рода аксиоматических или близких к аксиомам принципов относительно человеческого языка, то встретит абсолютное наше согласие; эти принципы в действительности только собраны из концепций успешного языкового исследования и, конечно, оставляют место и для других...

Два из этих четырех принципов настолько тесно связаны друг с другом, что возникает вопрос, нельзя ли их объединить в один: это — А (модель органа<sup>1</sup> языка) и В (знаковая природа языка). Мне самому не сразу стало ясно, почему необходимо иметь здесь два принципа. Модель органа языка представляет добавление к тем старым грамматикам, которое считали необходимым рекомендовать исследователи вроде Вегенера, Бругмана, Гардинера, а до них в известной мере и другие, вроде Г. Пауля. Модель органа делает ясным многообразие отношений, которое вскрывается только в конкретном речевом явлении. Вначале мы установили положение о трех смысловых функциях языкового образования. Интересной попыткой, где последовательно проводится нечто подобное, является книга Гардинера «Теория речи и языка». Анализ Гардинера направлен на создание ситуативной теории языка.

Следует ли выдвигать лозунг, что старая грамматика нуждается в категорическом реформировании под знаком ситуативной теории языка? Я считаю, что существуют известные имманентные границы, которые должны уважаться всеми реформаторами. В такой же степени несомненным, как и конкретные речевые ситуации, является факт, что существует внеситуативная речь и даже целые книги, наполненные внеситуативной речью. И если отнестись без предубеждений к этому факту широкого распространения внеситуативной речи, то для решительного представителя ситуативной теории это прежде всего даст основание для философского размышления по поводу многообразия фактов. А затем если он не будет упрямо настаивать на своих догмах и считать, что можно ограничиться изученными им случайными анализами, но отдастся руководству языка и обратится к рассмотрению таких внеситуативных предложений, как «Рим расположен на семи холмах» или «Дважды два — четыре», то он неизбежно вынужден будет вернуться на старые и почтенные дороги описательной грамматики. Логическое обоснование этого содержится в нашем учении и символическом поле языка, и это учение должно также иметь аксиоматический характер. Оно является таковым, если признаются аксиомы В и D (различие слова и предложения).

Наконец, аксиома С (различие речевой деятельности и языкового образования) содержит выводы о давно произошедшей в языкознании дифференциации областей исследования. Филологи и лингвисты, психологи и литературоведы смогут найти кое-что специфически интересное для них в нашей схеме четырех полей...

<sup>1</sup> *Органон* — собрание правил (Примечание составителя.)



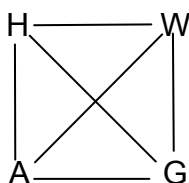
...[На прилагаемом рисунке] дается модель органа языка (см. схему). Круг в середине символизирует конкретный звуковой феномен. Три исходящих от него направления линий призваны показать три различных пути превращения в знак. Стороны врисованного треугольника символизируют эти три пути. Треугольник в некоторых частях занимает меньше пространства, чем круг (принцип абстрактной релевантности). В других частях он выходит за пределы круга, чем указывается, что чувственно данное всегда получает апперцепционное добавление. Группы линий символизируют семантические функции (сложного) языкового знака. Это — символ в силу своей ориентации на предметы и материальное содержание, симптом (указание) — в силу своей зависимости от посылающего (говорящего), внутреннюю сущность которого он выражает, и сигнал — в силу своего обращения к слушающему, внешнее и внутреннее поведение которого направляется им, как и другими коммуникативными знаками.

Эта модель языка со своими тремя независимо варьирующимися чувственными отношениями впервые была приведена в моей работе о предложении (1918) и начиналась словами: «Человеческий язык имеет три функции — извещение (Kundgabe), побуждение (Auslösung) и сообщение (Darstellung)». Ныне я предпочитаю термины: выражение (Ausdruck), обращение (Appel) и сообщение (Darstellung), так как слово Ausdruck в кругу теоретиков языка приобретает все более и более требуемое точное значение, а латинское слово appellare (англ. appeal, немецк. нечто вроде ansprechen) более подходяще для второго.

Каждый, кто основывается на знаковой природе языка, должен во всяком случае придерживаться гомогенности в своих понятиях; все три основных понятия должны быть семантическими понятиями.

Существуют не две, а четыре стороны, или, так сказать, четыре фронта, в языкознании, которые необходимо показать и разъяснить в аксиоме С. Четыре потому, что этого требует сам предмет, и если ограничиться только какими-либо двумя, то их нельзя достаточно точно определить. Гумбольдт говорил об *energeia* и *ergon*, де Соссюр ухватился за существующее во французском противопоставление *la parole* и *la langue* (в английском *speech* и *language*), чтобы произвести разграничение между лингвистикой языка и лингвистикой речи. Со времени Гумбольдта не существовало ни одного сколько-нибудь крупного ученого, который не чувствовал бы, что с различием *energeia* и *ergon* связано что-то существенное, а со времени де Соссюра ни одного языковеда, который не высказал бы ряд мыслей о *la parole* и *la langue*. Но ни старое, ни новое парное деление не оказалось подлинно продуктивным в области языковедческих принципов. То тут, то там сегодня еще пытаются, исходя из принципов психологии или теории познания, приписать приоритет одному из членов пары *energeia* и *ergon*. Теория языка должна рассматривать подобные стремления как трансцендентные ей, а в качестве эмпирической науки принять четырехчленное деление; результаты изучения языка — свидетельство тому, что это давно уже чувствовалось исследователями и только ждало своего научного формулирования.

Так как это в одинаковой мере касается как отношений, существующих между этими четырьмя понятиями, так и определений каждого в отдельности, чисто формальным путем, посредством схемы символов, можно показать, что в группе из четырех членов H, W, A, Q существует не больше и не меньше, чем шесть основных отношений. Представляются ли они в пространственном отношении в виде тетраида или четырехугольника, — это безразлично. Я предпочитаю четырехугольник, с помощью которого мы можем предпринять первый решающий шаг из области наивысшей формализации в осязаемую реальность. Итак:



Порядок первоначально произвольный, но мы придаем ему форму схемы четырех полей с намерением наглядно показать две пересекающиеся дихотомии:



	I	II
1	H	W
2	A	G

Какова точка зрения, на основе которой речевая деятельность (Sprechhandlungen = H) и речевые акты (Sprechakte = A) относятся к I, а языковые средства (Sprachwerke = W) и языковые структуры (Sprachgebilden = G) — ко II? И какова точка зрения, на основе которой речевая деятельность и языковые средства относятся к I, а речевые акты и языковые образования ко II? Конечный результат гласит, что языковые явления можно определять;

I. Как соотносимые с субъектом явления.

II. Как лишённые связи с субъектом явления.

Оба являются возможными и необходимыми.

А что касается другой дихотомии, то языковед всё то, что в состоянии «затронуть его чувства», может определить:

1. На более низкой ступени формализации как деятельность и средства [деятельности].

2. На более высокой ступени формализации как акты и образования.

Языковыми образованиями являются слова и предложения. Тот или другой термин нельзя поднимать до ранга категории; оба связаны друг с другом и определять их можно только в корреляции.

## СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКА<sup>1</sup>

1. Все еще существуют теоретики, которые одним махом пытаются определить понятие «язык» обычным способом — *per genus proximum et differentiam specificam*<sup>2</sup>. Напротив того, современные логики осознали безнадежность таких попыток и поступают иным образом. Если немецкое слово *Sprache* французы переводят то как *la parole*, то как *la langue*, то уже одного этого факта достаточно, чтобы признать правильность их позиции. Надо учесть, что речевая деятельность и язык — неравнозначные явления и структурный анализ обоих никогда не может дать полного совпадения. Возьмем для примера понятие предложения. Джон Рис приводит в своей прилежной

<sup>1</sup> Karl Bühler, *Das Strukturmodell der Sprache*, «Travaux du Cercle Linguistique de Prague», 6, Prague, 1936.

<sup>2</sup> *Per genus proximum et differentiam. specificam* (лат.) — посредством ближайшего рода и видового различия. (Примечание составителя.)

книге 139 определений предложения. Если среди них было хотя бы шесть, которые давали бы специалистам что-либо существенное, то это должно было бы привести их в полное изумление и подвергнуть сомнению все традиционные методы. Что такое предложение? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо предварительно решить: имеете ли вы в виду явление, относящееся к области *la langue* или *la parole*.

В первом случае я определяю структуру законченного образования, во втором случае — структуру речевой деятельности. И мои анализы будут так же мало совпадать, как если бы я, например, последовательно расчленил друг от друга сначала образование «молоток», а затем деятельность «удар». Если я в молотке различаю рукоятку и сам молоток, а в ударе две фазы — размах и сам удар, то в обоих случаях все в порядке. Предположим далее, что орудующему молотком мы предоставляем свободу браться иногда за молоток, а ударять рукояткой, — это тоже будет в порядке, и никакой педагог-мастер не станет отговаривать ученика от этого.

Столь же проста в своей основе неразрешимая «загадка» понятия предложения. Существует много возможностей так оформить речевой поток и настолько однозначно включить в контекст поля, что мы, интерпретируя его, сможем сказать — это «предложение». Но существует только одна из этих многих возможностей, которая представляет интерес для грамматиков как таковых. И если превращение речевого потока в предложение и осуществляется в символическом поле языка, то все же существует известная степень свободы, подобная той, которую мы наблюдали при действии с молотком, так как структура речевой деятельности не полностью совпадает со структурой языкового образования. Можно даже сказать, что в отношениях между грамматическим строем языка и психологическим построением речи заключено столько притягательной силы для каждого человека, относящегося творчески к речи, что становится вполне понятным, почему он постоянно допускает некоторое отклонение в стилистических и выразительных языковых средствах (в разумных границах).

Различие речевой деятельности и языкового образования дает уже многое. Если принять еще и другую точку зрения, в соответствии с которой в совокупности понятий языкознания имеются предметы разной степени абстрактности и формализации, то тем самым делается следующий шаг в сторону прояснения существующего положения. Я фиксировал все это в схеме четырех полей (аксиома С «Теории языка») и здесь больше не буду касаться этого.

2. Напротив того, вопрос о функциях и строении языка будет еще раз подвергнут обсуждению. Модель органа языка изображает на схеме функции, а структурная модель языка призвана сделать наглядным строение. Функции и строение чего? Не случайно оказываются вынужденными устанавливать основные функции языка на основе обычной ситуации, когда некто говорит другому о чем-либо.

Такова была схема мышления уже в платоновском «Кратиле»<sup>1</sup>, и кто в этом пункте хочет отойти от Платона, должен привести доказательства того, что он нашел другой путь, обнаруживающий столь же полно или еще полнее все богатство чувственных отношений в языке. Отсюда начинаются мои возражения Диогену в его бочке, Лейбницу, Гуссерлю и Демпе. Лишенная окон монада<sup>2</sup> — великое и импонирующее сооружение, не ясно только одно: случилось ли во всей истории западной мысли, чтобы когда-либо в область социального вступало обиталище монад без чуда предустановленной гармонии. Но зачем начинать с чудес? Социальное возникло тогда, когда в Адаме пробудилось человеческое и он дал вещам имена, каждой согласно ее характеру; и полная мера социального, вскрываемого уже у животных, проникает, подобно жизненным сокам, также и человеческий язык. Дело идет о том, чтобы спасти в модели органа языка «выражение» (Ausdruck) и «обращение» (Appel).

Демпе выступает против этого и отвлекает внимание лингвистов на «образующую язык потребность» в функции наименования. Он относится к тем логикам, которые верят в старые методы и надеются постигнуть «образующую язык потребность» одним ударом. И он настолько привязался к этой идее, что вообще не допускает других возможностей. Поэтому его реферат о моей аксиоматике начинается предложением: «Аксиома А обнажает костяк человеческого языка» и далее: «Особое выделение знакового характера языка в аксиоме В обуславливается для Бюлера потребностью в обеспечении единого характера его трем чувственным и знаковым измерениям». О, нет, дело, конечно, обстоит иначе. Просто модель органа языка могла бы быть неправильной, если бы структурная модель в аксиомах В и D была правильной, и наоборот. Подобного рода независимость всячески стимулируется в наиболее точной и наиболее развитой аксиоматике, которую только знает наука, и именно в математической аксиоматике. В ней ни одна из аксиом, принадлежащих к одной системе, не может быть предпосылкой или следствием другой. Этот пример еще раз свидетельствует о различии веры в единство и множество в вопросах теории языка.

На пользу модели органа может послужить еще одно указание, которое я хочу привести. Следует ли и должна ли вообще теория языка полагаться на анализ социальной речевой ситуации? Я предлагаю обратить внимание на тот факт, что в каждом человеческом языке существует поле указания и соответственно имеются слова, обслуживающие это поле, слова-указатели. Имеются в виду как слова — указатели положения (hier, da, dort — здесь, тут, там), так и слова — указатели участия (ich, du, er — я, ты, он). Когда латиняне изменяли свой глагол и образовывали «формы» вроде amo,

<sup>1</sup> «Кратил» — один из диалогов Платона, в котором разбирается вопрос о происхождении имен. (Примечание составителя.)

<sup>2</sup> Монада — философский термин, означающий единицу, неделимое вещество. В философии Лейбница — первичные, самостоятельные, бестелесные и вечные единицы, образующие якобы все вещи мира. (Примечание составителя.)

amas, amat, какое к этому имеет отношение данный метод? Здесь трижды и каждый раз по-разному некто не называется (как это делают знаки-названия), а указывается либо посылающий, либо воспринимающий известие, либо tertius<sup>1</sup>. Правда, persona tertia<sup>2</sup> встречается не во всех языках, но «я» и «ты» знает каждый язык. И как же иначе можно определить функции всех слов-указателей, как не посредством анализа конкретной речевой ситуации? Кто ищет предложения без поля указания, должен в латинском избегать всяких личных глагольных форм. Cui bono?<sup>3</sup> Поле указания в такой же степени является частью языка, как и символическое поле; язык есть орудие ориентации в общественной жизни также и тогда, когда один подводит другого к тому, что доступно восприятию, и направляет его бодрствующие чувства, дабы он видел и слышал, что происходит вокруг него. Язык знал еще до Канта, что понятия без представления пусты, и устанавливал контакт между нами и пестрым миром чувств; лучшим и простейшим средством для этого является языковой знак.

Если это признается, то тогда «выражение» и «обращение» должны будут также заслужить прощение у чистого логика, нацеливающегося на открытие «образующей язык потребности». Но таковых существует ни одна, а несколько; и императив и оптатив в составе форм многих языков с полным правом требуют адекватного понимания со стороны теоретиков языка. Точно так же, как и мир форм предложения, среди которых на равных правах рядом с повествовательным предложением стоит приказание, и восклицание. Демпе это должно быть так же хорошо известно, как и другим специалистам; я полагаю, что остальная часть различий во взглядах, разделяющих нас, проистекает из его веры в единство в отношении определений.

3. Положение о знаковой природе языка защищает от всяческих промахов и блужданий. То, что по воздуху передается от рта говорящего к уху слушающего, есть не Ousia<sup>4</sup>, а звуковые волны со знаковой функцией для психофизической системы участника речевого акта. Правда, все еще встречается магическое обращение со словами и предложениями, но к концепции теории языка оно имеет такое же далекое отношение, как и молитвы заклинателей погоды к метеорологии. С другой стороны, посредством принципа знаковой природы языка можно элегантно выудить flatus vocis номинализма. Этого достаточно и больше нечего ожидать, пока не будут исполнены требования всеобщей сематологии. Но ныне еще не существует всеобщей сематологии

К области знакового, а также символического из всего того, что мы находим в жизненном пределе человека, относится гораздо боль-

<sup>1</sup> tertius (лат.) — третий, (*Примечание составителя.*)

<sup>2</sup> persona tertia (лат.) — третье лицо. (*Примечание составителя.*)

<sup>3</sup> Cui bono? (лат.) — Кому это надо? (*Примечание составителя.*)

<sup>4</sup> Ousia (греч.) — состояние, существо. (*Примечание составителя.*)

шее, чем только языковые явления. Даже если мы ограничимся лишь звуковыми образованиями, эта область значительней по своему объему, так как включает все акустические коммуникативные сигналы. Боюсь, картина структуры языка, набросанная Демпе, не сможет избежать упрека, что она слишком широка по своему объему. Столбовой дороги к «формуле сущности» нет; структурная модель должна включать все почерпнутые из обычной эмпирической деятельности лингвистов атрибуты человеческого языка в единственном числе. Эта модель должна быть схемой, которая отводит почетное место в центре слову и предложению человеческого языка. Тогда слева от этих двух почетных мест расположится фонема как вспомогательный знак, а справа — более высокое единство сложноподчиненного предложения. Еще раз: фонема, слово, предложение, сложноподчиненное предложение; эти элементы должны наличествовать в структурной модели языка и быть правильно «настроены» друг на друга. Меньшее, чем это, было бы недостаточно; это была бы, грубо говоря, халтура, а не структурная модель языка.

Каждое из этих образований последовательно должно быть подвергнуто тщательному анализу и обсуждению со специалистами. Фонологи, например, достигли действительно решающих успехов, и вспомогательный принцип о знаковой природе языка блестяще оправдал себя в их области. Именем фонемы названы ведь звуковые знаки, образующие звуковой облик слова. Тот факт, что в каждом языке имеется ограниченное количество таких звуковых знаков и что они составляют внутреннюю систему, относится к важнейшим выводам, которыми мы обязаны языковедению нашего времени. Выводы необходимо заново пересмотреть, так как они были искажены под влиянием односторонне-импрессионистической фонетики. Все, что теоретики со своей стороны способны предпринять, заключается в выявлении и рассмотрении всего класса знаков, к которому принадлежат фонемы; они относятся к знакам и метам, которые создаются и используются человеком далеко за пределами языка в качестве диакритик. Не подлежит сомнению, что они создают звуковой облик слова и тем самым являются знаками знаков, не более и не менее. Можно представить себе звуковые символы (подобные словам), которые узнавались бы и отличались друг от друга лишь по своей форме и звуковому характеру. Следует ли такие системы причислять к системам, подобным языковым, или нет, — это академический вопрос. Ведь, насколько мы знаем, не существует человеческих языков, в которых не было бы фонем. Не существует также языков, в которых систематически реализовалась бы другая из существующих возможностей, в соответствии с которой звуковая характеристика привлекалась бы непосредственно для передачи качеств предметов. Но во всех языках мы знаем изолированные случаи подобных явлений в форме так называемых звукописующих слов.

Я повторяю: можно представить, что фонемы отсутствуют. Подобное говорили о сложноподчиненных предложениях все те, кто

соглашался с Кречмером, устанавливающим: «Решающее для истории сложноподчиненного предложения и восходящее, впрочем, к Аделунгу положение заключается в том, что первоначально существовало лишь простое предложение и гипотаксические синтаксические отношения развились из паратаксических». Если это так, то новые языки в структурном отношении более богаты; я заимствую образное определение греческих грамматиков и говорю: связь предложений повсюду оснащена как бы суставными сочленениями. Все устроено так, что между двумя следующими друг за другом предложениями находится разрыв поля: кончается одно символическое поле и начинается другое. Вывод от противоположного: где нет разрыва поля, там не может начинаться новое предложение. Если такой разрыв поля перекрывается сочлененными словами или иным способом, паратаксически или гипотаксически возникает сложноподчиненное предложение. Может ли такой чрезвычайно важный и конструктивный фактор отсутствовать в структурной модели языка? Конечно, нет, если стремится к удовлетворительной модели. И опять-таки этот последний структурный фактор согласуется с принципом о знаковой природе языка. Ведь если обратиться к тому, что в области сложноподчиненного предложения было чревато наиболее важными последствиями, то мы в первую очередь должны, назвать возникновение относительных местоимений со всем тем, что из этого вытекает. А возникновение относительных местоимений означает, что древние слова-указатели используются анафорически; в символическом поле следующих друг за другом предложений делается указание назад или вперед на уже упомянутое или же предстоящее быть упомянутым и тем самым осуществляется сочленение предложения.

Конечно, существуют и другие типы связи предложения. Кто признает совершенно иной, реконструированный Кречмером тип, тот вынужден признать в качестве автохтонных видов предложения наряду с повествовательным предложением также и волеизъявляющие и восклицательные, так как, по Кречмеру, говорящий дважды применяется и однажды повествует, а другой раз выражает желание или восклицает. Здесь, следовательно, имеется в виду модель органа языка, в которой систематически проявляются эти три возможности. Кроме того, существует еще тип сложноподчиненного предложения Пауля; кто обратится к теоретическому анализу этого третьего типа, столкнется с удобным способом расширения предложения, встречающимся, по видимому, повсюду в языках земного шара.

4. Теперь краткое разъяснение о двуединстве слова и предложения. Никому из лингвистов не придет в голову, что возможны предложения без слов, хотя это звучит не более парадоксально, чем предложение о существовании слов без предложения. В действительности слово и предложение — два коррелятивных фактора в построении речи. На вопрос, что такое слово, удовлетворительно может ответить только тот, кто держит в уме предложение, когда он произносит данное слово, и обратно. Не приходится возражать, когда о слове пер-

вым произносит суждение теоретик из школы Гуссерля<sup>1</sup> и преподносит нам краткие и меткие определения простых и сложных слов, почерпнутые из «Логических исследований». При этом должно полностью замереть благоговейное удивление относительно «образующей язык потребности». Ибо шагом по направлению к человеческому является уже то, что звуки подчинены вещам, процессам, качествам, отношениям в пределах языка. Но тогда, когда надлежащим образом окончится это вызванное своеобразием человека удивление, тогда на сцену выступят данные эмпириков о пестром многообразии слов. И если теории не хотят потерпеть кораблекрушения — будь это в центральных или периферийных областях языка, — то очень рекомендуется держаться поближе к поучениям эмпириков. Ведь и *hier, jetzt, ich* (здесь, теперь, я) также слова, а на границе языкового существуют еще так называемые междометия.

Только тот, кто внутренне склонился к учению о поле указания языка, может полностью постигнуть функции слов-указателей. И только тот, кто для сравнения привлечет всю совокупность звуковых выражений в жизни животных и человеческих детенышей, сможет сказать что-либо разъясняющее о «промежуточных» частицах речи (междометиях). Формально говоря, также и понятие слова нельзя подвергнуть определению *per genus proximum* и одной единственной *differentia specifica*, его надо многосторонне обсудить. Почему здесь не использовать достижения фонологии и не провести различие между фонематически оформившимися и фонематически неформившимися звуковыми образованиями? Опыт учит, что в человеческом общении существуют лишённые значения звуки среди «неартикулированных» звуков. Лишённые смысла, но тем не менее фиксируемые в письме слоги являются, конечно, искусственными продуктами, но зато другие, вроде «гм» или откашливания, вместо ответа нередко говорят больше, чем целые предложения, и охотно используются на сцене. Для того, кто намеревается построить последовательное, ступенчатообразное сооружение признаков, это готовит немало трудностей в отношении понятия слова. Ведь он вынужден будет отбросить лишённые смысла слоги в силу первого признака и наделённые значением, но фонематически неформившиеся звуки в силу второго признака.

Но на этом мы еще не кончаем с понятием слова; необходимо присоединить еще третий признак. Слово должно быть звуковым символом, способным включиться в поле. Мейе говорит, что оно должно обладать грамматической применимостью и выражает точно ту же мысль. Я кончаю на этом и, не занимаясь выяснением, посредством чего слово оказывается способным включаться в поле (предложение), обращаюсь к общему понятию поля в языке.

<sup>1</sup> Э. Гуссерль (1859 — 1938) — немецкий философ-идеалист, выступавший против психологизма в философии и логике и стремившийся создать систему «чистой» логики. В своих «Логических исследованиях» (особенно во втором томе) он подвергает логическому анализу семантическую сторону языка. (Примечание составителя).

5. Понятие «поле» составляет обязательный компонент современной психологии; я рекомендовал его лингвистам и уверен, что оно постепенно заменит заношенный реквицит в языковедческих сокровищницах понятий. И в первую очередь аристотелевское понятие формы. Уже давно чувствовалась потребность избавиться от этого набальзамированного трупа и заполучить вместо него что-либо живое. Слово «форма» также часто являлось еще современникам Вундта, как и говорящим по-немецки вспомогательный глагол *sein* (быть); неутомимый Антон Марта заполнил больше сотни страниц своей «Всеобщей грамматики» доказательствами протееобразного изменения значения понятия формы в лингвистических работах Вундта. Должно ли сохраняться такое положение вечно?

Остроумная логистика нашего времени знает и с лучшим успехом применяет в своей области «понятие структуры»; на простом латинском предложении, вроде *Caius amavit Camillam*, можно без труда осуществить отвлечение, позволяющее познать структурные качества в логистическом смысле. Я пишу *-us*, *-avit*, *-am* и знаю, что опущенные части можно заполнить другими словами соответствующих классов. Тем самым сказано самое существенное; расширения за счет различных рядов склонения и спряжения в латинском понятны сами по себе. Можно также исходить из видов слов и использовать в качестве точки опоры старое понятие коннотации<sup>1</sup>, чтобы достичь тех же конечных результатов. Например, прилагательное *albus* подвергает коннотации носителя качества, активный глагол *amare* подвергает коннотации два лица (кто? кого?), которые подлежат названию. Последний (или первый) вопрос при теоретическом истолковании таких комплексов отношений (структур) является мировоззренческим вопросом в первичном смысле этого слова. Широкое распространение активных глаголов свидетельствует, например, о склонности к толкованию вещественного по образцу человеческого акта или (если говорить шире и осторожней) человеческого и животного действия (*actio*). Ведь в данном случае вещественно ощущается прототип субъектно-объектных отношений, подвергнувшихся коннотации в активном глаголе.

Последнее подобно анализу внутренней сущности. Если мы обратимся к такому само собой разумеющемуся для языковеда вопросу, как способ проявления этой внутренней сущности, то возникает понятие поля. Какое-либо поле в широком смысле этого слова всегда наличествует; соотношение с ним имеется всегда, когда рождается речевой звук и когда он, наделенный значением, вступает в мир. В иных случаях оно находится в контексте определенного действия и в качестве эмпрактического выражения требует истолкования на основании местоположения в осмысленном поведении посылающего его (говорящего). Или же знак оказывается хотя и полностью изолированным от подобного жизненного опыта, но зато при-

<sup>1</sup> Коннотация — дополнительное обозначение, включение в значение добавочного элемента к существующим. (*Примечание составителя.*)



крепленным к какой-либо вещи, подобно наименованию памятника и т. д. Здесь допустима такая симфиза<sup>1</sup>. Или (еще по-другому): отдельный знак находит опору и смыслонаполнение в структурном образовании с себе подобными. В этом случае физическое окружение, в котором он всегда выступает, отходит на задний план и становится несущественным, точно так же как это имеет место с поверхностью бумаги, когда мы читаем книгу. Так же исчезает и жизненный опыт производителя знака, в котором этот последний занимает определенное место; он становится неузнаваем, например, тогда, когда знак производится печатной машиной типографии. Но зато всячески поддерживается и сохраняется синсемантическая опора знака; он толкуется и отлично понимается на основе контекста. В крайних случаях синсемантические факторы являются его единственным релевантным полем.

Язык (*la langue* в единственном числе) располагает целой сокровищницей средств выражения и уточнения символического поля. Очень нетрудно систематизировать их по классам. Тот же язык (*la langue* в единственном числе) располагает также и средствами осуществления указания. Тогда, когда *demonstratio ad oculos*<sup>2</sup> оказывается исключенным, как это имеет место при каждом рассказе (повествовании об отсутствующем), активно действует воображение и воздействует на внутреннее зрение и слух воспринимающего (слушающего) таким образом, что посредством воспоминания, фантазии способствует его видению и слышанию. Поле указания, систему координат с *origo*<sup>3</sup>: *hier, jetzt, ich* (*здесь, теперь, я*) каждый приносит с собой, оно неотчуждаемо для каждого бодрствующего человека, который «в себе». Дело идет только о том, что он в своем представлении отсутствующее может включить в свое действительное *hier, jetzt, ich* или что он с указанной смещенной схемой порядков может почувствовать, куда направляет его говорящий.

В этом заключается мое учение о двух полях, освобожденное от всего ненужного. Я уверен, что понятие поля в будущем станет для лингвистов столь же необходимым, как и для нас, психологов. Что же касается слова «форма», то пусть его и дальше живет в потускневшем и уже более не специальном аристотелевском смысле «класса», «группы» и употребляется тогда, когда появляется необходимость *ad hoc* и последовательно противопоставлять два компонента, как форму и содержание.

6. Подведем итоги: «образующих язык потребностей» существует больше, чем одна. Еще ни один теоретик не находил пути к логическому построению символического поля на основе «образующей язык потребности» в функции называния или (скажем мы) одной только символической функции. Он и не найдет такого пути, так как можно

<sup>1</sup> *Симфиза* — явление совместного существования, развития.

<sup>2</sup> *Demonstratio ad oculos* (лат.) — показ, воспринимаемый зрением. (*Примечание составителя.*)

<sup>3</sup> *Origo* (лат.) — начало, происхождение. (*Примечание составителя.*)

доказать существование способных к функционированию символических образований, лишенных какой-либо синсемантики; я разумею при этом морскую сигнализацию флажками, привлекавшуюся уже мною для сравнения, или изучение так называемых однословных предложений в жизни детей. Убедительным, наоборот, представляется возникновение языка из полеобразования под влиянием требований, которые его потребитель ставит перед ним, когда все новые и новые предметы он намеревается уловить и фиксировать посредством ограниченного количества называющих и указывающих знаков. Убедительно также толкование фонем как совокупности знаков и средств связи предложений. Но логически получить эти явления нельзя, они должны быть отвлечены от языка, каков он есть. Поэтому структурная модель действительного языка должна быть синтетическая, а не аналитическая. Во всяком случае ни одному абстрактному теоретику до сегодняшнего дня не удалось дать такого построения, из которого могли бы извлечь какую-либо пользу или практические выводы знатоки бесконечно сложного строя действительного языка. Это относится и к идее (ценной в других отношениях) «априорной» грамматики в духе «Логических исследований» Гуссерля; это относится также и к опытам Демпе, которые, кстати говоря, сам заслуженный автор в другом месте своей статьи ограничивает монологичной речью. При этом следует иметь в виду, что монолог представляет редуцированную речевую ситуацию, а из более бедной (по своим отношениям) схемы логически нельзя вывести более богатую, скорее наоборот: из более богатой надо выводить более бедную.

## II. ГЛОССЕМАТИКА (ДАТСКИЙ СТРУКТУРАЛИЗМ)

Лингвистические школы и направления при формировании своих теоретических принципов и специальных методов обычно опирались, во-первых, на выводы методологических наук и, во-вторых, на научные подходы (общие рабочие принципы), применяемые также и другими науками. Эти методологические основы и общие рабочие принципы лингвистические направления стремились согласовать со спецификой языкового материала.

Для примера можно сослаться на кантианские основы учения В. Гумбольдта, биологический эволюционизм концепции А. Шлейхера, использование социологии Дюркгейма в системе Ф. де Соссюра и т. д. Точно так же языкознание разделяло с рядом других наук общий рабочий принцип сравнительного и исторического изучения соответствующих явлений (естественно, допускающих его применение). С начала XX в. в ряде наук (психологии, философии, литературоведении, естествознании и др.) начал выработываться новый подход к изучению явлений, основывающийся на понимании их как элементов сложной структуры. При этом термин «структура» употреблялся «... для обозначения целого, состоящего, в противоположность простому сочетанию элементов, из взаимообусловленных явлений, из которых каждое зависит от других и может быть таковым только в связи с ним» (Лалланд). Понятие структуры было перенесено и на язык.

Общетеоретическое обоснование необходимости структурального подхода к изучению языка с большой ясностью было сформулировано Виге Брёндалем в статье «Структуральная лингвистика», помещенной в 1939 г. в первом номере журнала «Acta Linguistica» (Копенгаген), который был создан в качестве международного органа нового лингвистического направления. Однако в действительности структуральные методы изучения языка стали использоваться отдельными языковедами значительно раньше опубликования этого манифеста структурализма. Вместе с тем лингвистический структурализм никогда не представлял собой однородного явления. Так же как на основе сравнительно-исторического подхода к изучению языка оформились такие далеко не равнозначные лингвистические направления, как натурализм, младограмматизм, неолингвистика и др., так и структуральный принцип воплощается в различных системах исследовательских приемов, соединяясь одновременно с различными философскими (методологическими) концепциями. Обычно выделяют следующие структуральные в своей основе направления в лингвистике: глоссематику, или датский (называемый также копенгагенским) структурализм, функциональную лингвистику (Пражский лингвистический кружок, или пражский структура-

лизм) и дескриптивную лингвистику (американский структурализм). Хотя все эти лингвистические направления исходят из структурного понимания языка, их ни в коем случае не следует рассматривать как равнозначные и давать им всем единую оценку.

Глоссематика (первоначально она именовалась фонематикой) является производным от лингвистической концепции Ф. де Соссюра, хотя и представляет собой, чрезвычайно одностороннюю интерпретацию его идей. Наименование «глоссематика» (от греческого γλῶσσα — «язык») возникло с целью противопоставления нового направления традиционному языкознанию, которое в понимании глоссематиков страдает чрезмерным субъективизмом и поэтому является ненаучным. Несмотря на то, что глоссематика получила в зарубежном языкознании довольно широкую известность, это очень тесное объединение лингвистов, включающее фактически только двух видных языковедов — Х. Ульдалля и Л. Ельмслева (В. Брэндалль имеет к нему косвенное отношение). Так как местом деятельности глоссематиков в основном является Копенгаген, то глоссематика именуется иногда также датским или копенгагенским структурализмом.

Среди работ Х. Ульдалля, относящихся к описанию принципов глоссематики как «алгебры языка», следует назвать только одну — «Основы глоссематики», написанную и известную в рукописи сравнительно давно, но опубликованную только в 1957 г. Действительным создателем глоссематики был Луи Ельмслев, автор значительного количества работ. Первой его большой работой, в которой уже намечались теоретические основы нового направления, была книга «Принципы всеобщей грамматики» (1928). За ней последовали «Категория падежа» (в журнале «Acta Jutlandica» за 1935 г. — I т. и за 1937 г. — II т.) и отдельные статьи, из которых наибольший интерес в теоретическом отношении представляют: «Понятие управления», «Язык и речь», «Метод структурного анализа в лингвистике». Все три указанные статьи представлены в настоящей книге. Итоговой работой Л. Ельмслева являются «Основы лингвистической теории» (1943 г.; в 1953 г. вышла в переводе с датского на английский язык под названием *Prolegomena to a Theory of Language*).

Л. Ельмслев стремится к построению универсальной лингвистической теории, и эта универсальность достигается у него посредством полной дематериализации языка и лишения его всяких элементов развития. Глоссематика представляет язык как имеющую только синхроническую плоскость абстрактную систему чистых отношений, игнорирующую как специфику структуры каждого языка в отдельности, так и конкретные формы их существования. В соответствии с теорией Л. Ельмслева исследователь должен изучать не взаимоотношения реальных языковых элементов, а лишь структуру наличествующих в языке отношений. Таким образом, отдельные элементы языка оказываются не чем иным, как пучками функций, а весь язык — сетью функций (сам Л. Ельмслев дает следующее определение языка: «Язык — это иерархия, каждая часть которой допускает дальнейшее членение на классы, определяемые посредством взаимных отношений, так что каждый из этих классов поддается членению на производные, определяемые посредством взаимной мутации»). Всякая структура, которая удовлетворяет этому определению, есть язык. Язык, каким мы его понимаем из нашей практики, есть лишь частный случай такого рода структуры).

Следовательно, «лингвистика отношений» есть нечто первичное, по отношению к чему реальные языки с их звуковой материей и значениями суть вторичные явления, интересные для языковеда в той мере, в какой они отражают стоящую за ними универсальную структуру абстрактных категорий. В этой трактовке приходится говорить даже не о синхроническом изучении языка (т. е. его системы в данном состоянии), а о таком изучении, которое не знает никаких временных и пространственных ограничений (панхрония, или ахрония). Стремясь к выведению панхронических категорий и абстрагируясь от реальных и конкретных систем языков, глоссематика фактически поднимается над языком и выходит за пределы тех проблем, которые составляют науку о языке. Последнего обстоятельства не скрывает и Л. Ельмслев, но особенно отчетливо оно предстает в названной выше работе Х. Ульдалля, где глоссематика излагается как определенное мировоззрение или философская система, сближающаяся с позициями логического позитивизма. Что касается «надъязыкового» характера теории Л. Ельмслева, то он прояв-

ляется, в частности, в том, что ее вплоть до последнего времени не удалось применить к изучению какого-либо конкретного языка.

Особо следует оговорить своеобразное понимание Л. Ельмслевым в его работах общеупотребительных научных терминов. Так, например, он говорит о том, что свой метод строит в соответствии с принципом максимальной простоты и как эмпирический. Однако в действительности дело обстоит совершенно наоборот. В свое изложение Л. Ельмслев вводит большое количество новых понятий и терминов, а сам метод получает у него форму чрезвычайно сложного логического, построения. Точно так же теория глоссематики является отнюдь не эмпирической, а чисто умозрительной и априорной, где выводы идут впереди предпосылок, а сами доводы подбираются в зависимости от их пригодности для теории. А. Мартине совершенно справедливо говорит, что теория Л. Ельмслева представляет собой башню из слоновой кости и критиковать эту теорию ввиду ее полной оторванности от языковой реальности можно только посредством построения другой башни из слоновой кости.

#### ЛИТЕРАТУРА

О. С. Ахманова, Основные направления лингвистического структурализма, изд. МГУ, 1955.

В. А. Звегинцев, Глоссематика и лингвистика. Сб. «Новое в лингвистике», вып. I, изд. ИЛ, 1960.

А. С. Чикобава. Проблема языка как предмета языкознания, Учпедгиз, 1959.

См. также материалы к дискуссии о структурализме на страницах журнала «Вопросы языкознания» за 1957 — 1959 гг., статьи М. И. Стеблина-Каменского, А. А. Реформатского, З. Штибера, М. Козна и др.

## В. БРЁНДАЛЬ

### СТРУКТУРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА<sup>1</sup>

Сравнительная грамматика — детище XIX века. Ее сильные и слабые стороны носят отпечаток этого века.

Вдохновляемая интересом романтизма к далекой древности, к идее непрерывности ряда поколений, она прежде всего исторична. Она изучает преимущественно происхождение и жизнь слов и языков, и ее внимание сосредоточено главным образом на этимологии и генеалогии. Благодаря ее авторитету постепенно теряет свое значение общая и рациональная грамматика и даже грамматика нормативная и практическая начинает черпать вдохновение у истории. Некоторые теоретики (как Герман Пауль) приходят в конце концов к утверждению, что всякая наука о языке должна носить исторический характер.

Вдохновляемая интересом к *мельчайшим фактам*, к точному и скрупулезному наблюдению который характерен и для литературных течений эпохи — натурализма и реализма, сравнительно-историческая грамматика становится чисто позитивистской. Она интересуется почти исключительно явлениями, доступными непосредственному наблюдению, и, в частности, звуками речи. Более детальным изучением их занимается фонетика — дисциплина, прежде всего физическая и физиологическая, а затем психофизиологическая и частично даже психологическая. Всюду исходят из конкретного и чаще всего этим и ограничиваются. Даже в семантике, науке скорее исторической и психологической, чем логической, конкретный и осязаемый смысл постоянно рассматривается не только как первоначальный, но и как основной в настоящий момент. Речевая деятельность в целом понимается как сумма речевых актов, т. е. исключительно как явление физиологическое и психологическое.

Вдохновляемая, далее, естественными науками этого века и соперничая с ними в методической точности, сравнительная грамматика становится наукой законополагающей (*légale*). Свои достижения (большей частью исторические и фонетические одновременно) она формулирует в форме законов, т. е. в форме постоянных связей меж-

<sup>1</sup> Acta linguistica (Copenhagen). Vol. I, fasc. 1, 1939.

ду установленными фактами. Число этих законов постоянно увеличивается; они усложняются добавлением все более и более специфических условий (места, времени, сочетания элементов). Этим законам приписывается абсолютный характер: с одной стороны, полагают, что они не имеют исключений (они якобы не зависят от значения слов), а с другой — в них видят истинные законы лингвистической природы, непосредственное отображение действительности, явления, которые существуют и функционируют, не исчезая с течением времени.

В этом стремлении компаративистов подчеркнуть (а очень часто и преувеличить) значение истории, значение конкретного и законов легко можно распознать идеи, столь дорогие *позитивизму*, идеи, которые в течение долгого времени и, несомненно, также и в наше время приносили и приносят большую пользу практике науки (т. е. для ее подготовки, организации и применения к действию), но которые — и это тоже не вызывает сомнений — создают огромные и даже непреодолимые трудности теоретического порядка.

Лингвистика, как и естествознание того времени, имела своих преобразователей. Для них всякий язык постоянно изменяется, эволюционирует. Эволюция, которую, как полагал Герберт Спенсер, возможно определить раз и навсегда, осуществляется, по их мнению, в одном единственном направлении; так, в морфологии и семантике часто допускали постоянный переход от конкретного к абстрактному. Эти переходы, которые считали непрерывными, объясняются, как у Дарвина, накоплением отклонений, приобретением новых особенностей. Между тем нет ничего более произвольного, чем это в течение долгого времени распространенное представление; поэтому Лалланд с полным правом отказался от *эволюционистских иллюзий*. В действительности же более важным для любой науки является постоянное, устойчивое, тождественное; сущность этимологии, так же как и лингвистической генеалогии, состоит в том, чтобы найти общую отправную точку, т. е. обнаружить тождество. Впрочем, эволюция (если таковая имеется) далеко не всегда одинакова. Система языка то усложняется, то упрощается. Нужно, наконец, признать очевидную прерывистость всякого существенного изменения.

Многие лингвисты (в согласии со своими собратьями по позитивизму) полагали, что можно обнаружить, установить, а затем и зарегистрировать явления (например, фонетические), не подвергая их предварительному или одновременному анализу, что единственно ценным методом является метод индукции, т. е. переход от частного к общему, и что за этими голыми фактами и непосредственными явлениями ничего не скрывается. Здесь важно отметить (и это со все возрастающей ясностью доказали все учения современной философии), что опыт и экспериментирование покоятся на гипотезах, на начатках анализа, абстракции и обобщения; следовательно, индукция есть не что иное, как замаскированная дедукция, и за чистыми связями, установленными между наблюдаемыми явлениями, совер-

шенно неизбежно предполагается реальность, специфический объект данной науки.

Стремление позитивистов к установлению законов (сформулированное, в частности, Огюстом Контом) обнаруживается в лингвистике в школе, называемой младограмматической. Она приписывает правилам, возводимым в законы, огромное значение для точности этимологических и генеалогических исследований. Она склонна расценивать эти правила как наивысшую и единственно законную цель науки и имеет явную тенденцию их гипостазировать и превращать в законы. И все же, как показал выдающийся мыслитель Эмиль Мейерсон (и это *лейтмотив* всех его значительных работ), изолированный закон имеет только относительную и предварительную ценность. Закон, даже общий, не что иное, как средство для понимания, для объяснения изучаемого предмета; законы, которые нужно рассматривать только как наши формулировки, часто несовершенные, всегда вторичны по отношению к необходимым связям, к внутренней когерентности объективной действительности.

Можно сказать, что в XX в. виднейшие гносеологи почувствовали и раскрыли слабость позитивистской точки зрения. Более того, стало очевидным, что эта концепция не способствует более прогрессу современной науки. В лингвистике, так же как и в ряде других областей, новый научный дух является ярко выраженным антипозитивистским.

Прежде всего становится очевидной необходимость изолировать, выделить в потоке времени предмет науки, т. е. показать, с одной стороны, состояния, которые нужно рассматривать как постоянные, а с другой — резкие скачки из одного состояния в другое. Прерывистые изменения, на которые до сих пор не обращали серьезного внимания из-за прочно укоренившейся веры в медленную и постепенную эволюцию, приобрели теперь огромное значение. Так, в физике, в форме все более и более обобщенной, появляются *кванты* Планка, т. е. постоянные количества, без которых никакое движение не оказывается возможным; в биологии — *мутации* (изучавшиеся сначала де Фризом), т. е. изменения особого типа, происходящие путем резких скачков, без промежуточных форм между этими изменениями и начальными формами. Точно так же в лингвистике после Ф. де Соссюра различается *синхрония* и *диахрония*, причем синхрония понимается как план, помещенный вне времени и перпендикулярно оси времени, где элементы в своей совокупности должны и могут рассматриваться как одновременные и современные — первое условие для их устойчивости и, следовательно, для их единства и связи. С другой стороны, стала ясной необходимость некоего общего понятия, только одной возможной единицы для частных случаев, для всех отдельных проявлений одного и того же явления. Эта единица должна пониматься как тип, полностью идеальный и независимый от сознания ученого. Так, например, биология ввела понятие *генотипа* — совокупности факторов родового наследства, реализацией которого являются самые различные фенотипы (В. Иогансен).



Точно так же в социологии *социальный факт* определяется своей независимостью в отношении своих индивидуальных проявлений и своей внеположностью в отношении сознания (Дюркгейм). Независимо от них, но параллельно с ними де Соссюр, идеи которого были развиты Аланом Гардинером, упорно настаивал на понятии *языка* как совершенно отличного от понятия *речи*. Язык — здесь одновременно и *вид* (как в биологии) и *институт* (как в социологии). Это — сущность чисто абстрактная, верховная норма для индивидов, совокупность существенно важных типов, которые посредством речи реализуются с бесконечным разнообразием.

В целом ряде наук появилась необходимость теснее сблизить рациональные связи внутри изучаемого объекта. Почти везде приходят к убеждению, что реальное должно обладать в своем целом тесной связью, особенной структурой (тонкой или волокнистой, по оригинальному выражению Бальфура). Так, например, широко были использованы глубокие и оригинальные идеи Кювье о связи признаков или необходимой взаимообусловленности черт, образующих данный род. В теории физики, необычайные успехи которой в XX в. хорошо известны (необычайные по своей объединяющей силе внутри науки и по своему особенному философскому интересу), изучается в настоящее время не только структура кристаллов и атомов, но даже света. Можно сказать, что и в психологии понятие *структуры* (нем. Gestalt, англ. pattern) стоит в центре внимания. Слово структура употребляется в этой науке согласно Лалланду, «в специальном и новом смысле слова... для обозначения целого, состоящего, в противоположность простому сочетанию элементов, из; взаимообусловленных явлений, из которых каждое зависит от других и может быть таковым только в связи с ними»<sup>1</sup>.

Именно в таком смысле Соссюр говорит о системах, где все элементы поддерживают друг друга, а Сепир — о модели лингвистических целых. Заслуга Трубецкого заключается в создании и разработке структуралистического учения о фонологических системах.

Эта новая лингвистическая концепция, которой мы обязаны не только Соссюру, но и другим ученым, среди которых почетное место, занимает Бодуэн де Куртене, обнаруживает значительные и очевидные преимущества. Она удачно избегает трудностей, свойственных узкому позитивизму, и принимает идеи тождества, единства и целостности, которые играли и играют решающую роль в развитии науки. Что касается отдельных сторон исследования, то можно уже кон-

<sup>1</sup> Vocabulaire technique et critique de la Philosophie, III, Париж, 1932, под: словом «structure». Ср. там же под словом «forme» определение структурализма Клапаредом: «Сущность этой концепции состоит в том, что явления необходимо рассматривать не как сумму элементов, которые прежде всего нужно изолировать, анализировать и расчленивать, но как целостности, состоящие из автономных единиц, проявляющие внутреннюю взаимообусловленность и имеющие свои собственные законы. Из этого следует, что форма существования каждого элемента зависит от структуры целого и от законов, им управляющих».

статировать, что понятие синхронии языка (*langue*) и структуры обнаружили свою необычайную важность.

Под знаком синхронии (или тождества данного языка) объединяется все, что относится к одному и тому же состоянию. Учитываются полностью все элементы каждого раздела грамматики, и беспощадно отбрасывается все чуждое этому состоянию.

Для установления *языка* (или единицы языка, отождествленной посредством синхронического изучения) собираются все варианты в виде минимального количества основных и абстрактных типов, реализацией которых эти варианты являются. Опускается решительно все, что с этой точки зрения может расцениваться как незначительное или неустойчивое и чисто индивидуальное.

Чтобы проникнуть затем в *структуру* (или языковое целое, тождество и единица которого уже известны), нужно установить между отождествленными и приведенными к единице элементами постоянные, необходимые и, следовательно, определяющие соотношения.

К этим достижениям, выявленным путем целого ряда исследований, вероятно, прибавятся и другие, которые только намечаются. В самом деле, если хорошо присмотреться, то даже конкретные явления исторического, диалектального и стилистического порядка (излюбленная и часто единственная область позитивистов) будут лучше объяснимы в свете новой концепции. Только после установления двух последовательных языковых состояний, двух различных и замкнутых, как монады, друг для друга миров, несмотря на непрерывность во времени, можно будет изучить и понять пути преобразования, вызванные переходом одного состояния в другое, и исторические факторы, обуславливающие этот переход. Точно таким же образом вариант может быть понят только как вариант определенного типа, а диалект — как диалект определенного языка. Если под стилем понимается более или менее произвольное употребление возможных оттенков, то стилистика предполагает не только знание частных тонкой структуры (самое условие оттенков), но и всего ее целого (по отношению к которому произвольное есть произвольное).

Новая точка зрения, известная уже под названием *структурализма*, — название, которое подчеркивает понятие целостности, являющейся наиболее характерной чертой структурализма, — дала свои плоды в морфологии, так же как и в фонологии. Лингвисты, которые ее принимают, вынуждены применять ее *mutatis mutandis* к любому разделу грамматики (нельзя забывать здесь ни культуры национального языка, ни изучения языка поэтического) и к самой типологии языков. Самый принцип и частные случаи применения этой системы вызовут новые проблемы: везде ли основные различия будут иметь одинаково резко выраженный характер и до какого предела они будут сохранять свою значимость?

Что касается различия между синхронией и диахронией, то нужно допустить, что время (препятствие для всякой рациональности) проявляется и внутри синхронии, где нужно различать статический и динамический момент; последний составляет основу существования

слога, изучение которого с точки зрения структуральной чрезвычайно важно как для подробного описания (ударение, метрика), так и для истинно углубленного изучения, истории языков. В этом плане равным образом может возникнуть и другой вопрос: нельзя ли предположить наряду с синхронией и диахронией панхронию или *ахронию*, т. е. факторы общечеловеческие, стойко действующие на протяжении истории и дающие о себе знать в строе любого языка.

В связи с различием между языком и речью часто возникает вопрос о месте языкового обычая (*usage*). Это понятие можно допустить как промежуточное между языком и речью при условии понимания языкового обычая как некоей второстепенной нормы, допускаемой высшей и абстрактной системой языка, однако без возможности упразднить или только изменить эту систему. В этой же связи обсуждается и будет еще долго обсуждаться вопрос о взаимосвязи различных разделов грамматики: фонологии (или фонематики) и фонетики, параллельно морфологии и синтаксису.

Различение структуры и элементов также выявит наиболее интересные проблемы; все ли одинаково необходимо в одной системе или нужно допустить наличие ступеней в целом и, следовательно, существование элементов относительно независимых. Изучение структуры сочетаний, которое, несомненно, сможет и должно будет черпать вдохновение у соответствующей математической теории, будет здесь решающим.

С другой стороны, возникнет вопрос и о том, всюду ли обязательно встречаются структуры, иначе говоря, в какой степени и в каких условиях форма (будь то внешняя или внутренняя) слова, языка может быть сведена к нулю. Старая проблема возможности аморфности в лингвистике будет, таким образом, обновлена и обобщена с точки зрения структуралистической.

Синтетическая концепция, которую мы здесь защищали, из-за очевидной недостаточности практики и особенно традиционной теории поневоле подчеркивала значение абстракции и обобщения — орудий, одинаково необходимых для всех стадий научной работы. Однако из этого не следует, что мы недооцениваем значения опыта; напротив, чтобы конкретизировать и оживить проблемы, поставленные теоретическими построениями, потребуются все более и более тщательные наблюдения, основательная проверка. Мы не намерены выводить разнообразие лингвистических явлений из абстрактных схем.

Выше было показано, что нельзя выводить состояние языка и в особенности отдельного явления (редко известного) из его истории. Именно из этой предпосылки вытекает основная ошибка в описании диалектов на исторической основе, по существу неверном из-за ложной перспективы, с другой стороны, было бы заблуждением приписывать состоянию данного языка лишь одну возможную линию развития; это значило бы закрывать глаза на действительность и разнообразие исторических фактов.

Мы считаем, что единство языка не вытекает из его диалектального разнообразия, что тип каждого элемента не дан механически в локальных, социальных и смешанных вариантах. Для того чтобы подняться от разнообразия к единству и от вариантов к типам, простая индукция, даже расширенная, не оказывается достаточной; необходимо истинно научное чутье, при котором действия, называемые индуктивными, переплетались бы с подсознательной дедукцией. С другой стороны, реализация, основная форма которой определяется типами, не может рассматриваться как вытекающая из этих типов во всей своей сложности. Именно в этом опыт, который является неизбежной отправной точкой всякого исследования, сохраняет свое неотъемлемое право.

Структура понималась здесь как самостоятельный объект, следовательно, не как производная в своих элементах, агрегатом и суммой которых она не является; поэтому изучение возможных систем и их формы нужно рассматривать как дело исключительной важности. Кроме того, нельзя рассматривать входящие в систему элементы как простые производные структурных отношений или противоположений. Здесь важно уметь различать чисто формальные свойства системы и ее материю, или субстанцию, которая, будучи приспособленной к данной системе (поскольку она в нее входит), продолжает тем не менее оставаться относительно независимой. Точно так же не менее важным, чем изучение формальной структуры, является и изучение реальных категорий, содержания или основы системы. Глубокие мысли Гуссерля о феноменологии явятся здесь источником вдохновения для всякого ученого, занимающегося логикой речи.

ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНИЯ<sup>1</sup>  
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ.)

Предстоит проделать огромную работу по упорядочению лингвистических фактов с точки зрения языка как такового.

А. Мейе.

Понятие «структуральной лингвистики» относится скорее к программе исследований, нежели к их результатам. Возникнув совсем недавно, структуральная лингвистика еще не достигла своего полного развития и даже не определилась окончательно. Впрочем, на сегодняшний день еще не представляется возможным ясно и детально говорить даже и о программе, которой она руководствуется. Пока речь может идти лишь о наименовании, содержание которого поддается только весьма общему и предварительному определению: структуральная лингвистика — это такая лингвистика, которая рассматривает язык как структуру и это понятие кладет в основу всех своих построений.

Ранее мы уже указывали<sup>2</sup> на те существенные выводы, которые обуславливает эта точка зрения, а также и на рамки, ограничивающие новое направление, отмечая различия между ним и традиционной лингвистикой. Как представляется, нам удалось обосновать, что структура языка представляет собой сеть зависимостей, или, говоря более четким, специальным и точным языком, сеть функций. Структура характеризуется иерархией, основанной на своем внутреннем порядке и имеющей одну единственную исходную точку. Эту иерархию можно вскрыть посредством дедуктивной и необратимой процедуры, переходя постепенно от самых абстрактных (общих и простых) явлений ко все более конкретным (частным и сложным). Такой метод, предназначенный для изучения только подобной дедуктивной иерархии, мы называем эмпирическим. Следует оговорить, что такого рода метод не способен привести к какой-либо метафизике. В соответствии с принципом простоты, который желателен в каждой науке, из всех возможных методов надо выбирать

<sup>1</sup> La notion de rection, «Acta linguistica», v. I, 1939.

<sup>2</sup> Vme Congrès international des Linguistes, 1939.

такой, который приводит к решению задачи путем наиболее простой процедуры. Эмпирический, или имманентно семиологический, метод, рассматривающий знаковую функцию в качестве основного предмета изучения лингвистики, и является таким наиболее простым методом. Его достоинство очевидно при сравнении с любым априорным методом, где на семиологические явления накладываются несемиологические; из-за невозможности проверки последних на чисто семиологическом материале неизбежно возникают бесконечные усложнения. Отсюда следует, что эмпирический метод — это метод, построенный на принципе простоты<sup>1</sup>.

Нет надобности говорить о тех выводах, которые вытекают из применения структурального метода в лингвистике. Достаточно указать, что лишь благодаря структуральному методу лингвистика, окончательно отказавшись от субъективизма и неточности, от интуитивных и глубоко личных заключений (в плену у которых она находилась до самого последнего времени), оказывается способной, наконец, стать подлинной наукой. Только структуральный метод в состоянии покончить с тем печальным положением, которое так хорошо охарактеризовал А. Мейе: «Каждый век обладал особой грамматикой философии... Существует столько же лингвистик, сколько лингвистов».

Как только лингвистика станет структуральной, она превратится в объективную науку.

Из того, что структуральная лингвистика есть новое направление в науке о языке, а ее метод, использующий одновременно дедуктивный и эмпирический принципы, еще не нашел своего последовательного применения, вовсе не следует, что она противопоставляет себя всему предшествующему развитию лингвистики. Хотя традиционная лингвистика в основном следовала индуктивным и априорным методам, это не значит, что она не делала попыток применять дедукцию и принцип эмпиризма. Некоторые из семиологических функций не могли остаться незамеченными. Ведь семиологическая функция не новое понятие; новым является лишь структуральный подход, который выносит семиологическую функцию на первый план и рассматривает ее как конституирующее качество языка. В силу этого, приняв структуральную точку зрения со всеми вытекающими отсюда последствиями, следует сохранять преемственную связь с предшествующими этапами развития науки о языке и использовать те достижения традиционной лингвистики, которые доказали свою плодотворность...

<sup>1</sup> Эмпирический метод рассматривает все лингвистические явления с точки зрения знаковой функции. Однако также и априорные методы могут рассматривать лингвистические явления в этом же аспекте. Иными словами, возможна лингвистика одновременно априорная и функциональная, оперирующая функциями, но не соблюдающая основного внутреннего принципа языковой структуры. В силу этого нередко используемый термин «функциональная лингвистика» представляется слишком широким и поэтому не способным применяться в качестве синонима к термину «структуральная лингвистика».

На протяжении всей своей истории традиционная наука о языке в общем претерпела незначительную эволюцию и представляет собой законченную доктрину, которую ныне предстоит связать со структуральной лингвистикой.

## МЕТОД СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА В ЛИНГВИСТИКЕ<sup>1</sup>

Швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр (1857 — 1913) во многих отношениях может считаться основоположником современного языковедения. Он первый требовал структурного подхода к языку, т. е. научного описания языка путем регистрации соотношений между единицами независимо от таких особенностей, которые, может быть, и представлены ими, но безразличны для указанных соотношений или невыводимы из них. Другими словами, де Соссюр требовал, чтобы звуки живого языка или буквы письменного языка определялись не чисто фонетически или чисто графологически, а только путем регистрации взаимных соотношений и чтобы единицы языковых значений (языковых содержаний) тоже определялись не чисто семантически, а путем такой же регистрации взаимных соотношений. Согласно его взглядам было бы поэтому ошибочно смотреть на языковедение просто как на ряд физических, физиологических и акустических определений звуков живой речи или же определений значения отдельных слов и — прибавим — возможных психологических интерпретаций этих звуков и значений. Напротив, реальными языковыми единицами являются отнюдь не звуки или письменные знаки и не значения; реальными языковыми единицами являются представленные звуками или знаками и значениями элементы соотношений. Суть не в звуках или знаках и значениях как таковых, а во взаимных соотношениях между ними в речевой цепи и в парадигмах грамматики. Эти именно соотношения и составляют систему языка, и именно эта внутренняя система является характерной для данного языка в отличие от других языков, в то время как проявление языка в звуках, или письменных знаках, или значениях остается безразличным для самой системы языка и может изменяться без всякого ущерба для системы. Можно, впрочем, указать на тот факт, что эти взгляды де Соссюра, вызвавшие настоящую революцию в традиционном языковедении, интересовавшемся только изучением звуков и значений, тем не менее вполне соответствуют популярному пониманию языка и совершенно покрывают представления рядового человека о языке. Будет почти банальной истиной, если мы скажем, что датский язык, будь то устный, или писанный, или телеграфированный при помощи азбуки Морзе, или переданный при помощи международной морской сигнализации флагами, остается во всех этих случаях все тем же датским языком и не представляет четырех разных языков. Единицы, составляющие

<sup>1</sup> «Acta linguistica» (Copenhagen) vol. VI, fasc. 2 — 3, 1950 — 1951.

его, правда, меняются во всех четырех случаях, но самый остов соотношений между ними остается тем же самым, и именно это обстоятельство и дает нам возможность опознавать язык; следовательно, остов соотношений и должен быть главным предметом языковедения, в то время как конкретное проявление и манифестация остова соотношений будут безразличны для определения языка в строгом смысле этого слова. Не следует, однако, забывать, что де Соссюр отнюдь не желал совершенно отказаться от помощи фонетики и семантики. Он только желал подчинить их изучению системы языковых соотношений и предоставлял им более скромную роль подсобных дисциплин. Звуки и значения он хотел заменить лингвистическими ценностями, определяемыми относительным положением единиц в системе. Он сравнивал эти ценности с ценностями экономического порядка; точно так же, как монета, бумажная банкнота и чек могут быть разными конкретными проявлениями или манифестациями экономической ценности, а сама ценность, скажем червонец или рубль, остается одной и той же независимо от разных манифестаций, точно так же единицы языкового выражения остаются теми же самими независимо от представляющих их звуков, а единицы языкового содержания остаются теми же независимо от представляющих их значений. Излюбленным сравнением де Соссюра было сравнение языковой системы с шахматной игрой: шахматная фигура определяется исключительно своим соотношением с другими шахматными фигурами и своими относительными позициями на шахматной доске, внешняя же форма шахматных фигур и материал, из которого они сделаны (дерево, или кость, или иной материал), совершенно безразличны для самой игры. Любая шахматная фигура, например конь, имеющий обыкновенно вид лошадиной головки, может быть заменена любым другим предметом, предназначенным условно для той же цели; если во время игры конь случайно упадет на пол и разобьется, мы можем взять вместо него какой-нибудь другой предмет подходящей величины и придать ему ценность коня. Точно так же любой звук может быть заменен иным звуком, или буквой, или условленным сигналом, система же остается той же самой. Мне думается, что в силу этих тезисов де Соссюра можно утверждать, что в процессе исторического развития данного языка звуки его могут подвергаться и таким изменениям, которые имеют значение для самой системы языка, и таким изменениям, которые не имеют никакого значения для системы; мы, таким образом, будем принуждены отличать принципиально изменения языковой структуры от чисто звуковых перемен, не затрагивающих системы. Чисто звуковая переменная, не затрагивающая системы, может быть сравнена с таким случаем в шахматной игре, когда пешка, дойдя до противоположного конца доски, по правилам шахматной игры принимает ценность ферзя и начинает исполнять функции ферзя; в этом случае ценность ферзя перенимается предметом совершенно иной внешности, ферзь же совершенно независимо от этой внешней перемены продолжает быть ею в системе.



К таким воззрениям де Соссюр пришел, изучая индоевропейскую систему гласных. Уже в 1879 г. предпринятый им анализ этой системы (в знаменитом исследовании «Mémoire sur les voyelles») показал ему, что так называемые долгие гласные в известных случаях могут быть условно сведены к комбинации простого гласного с особой единицей, которую де Соссюр обозначал буквой \*А. Преимущество такого анализа перед классическим состояло, во-первых, в том, что он давал более простое решение проблемы, устраняя так называемые долгие согласные из системы, а с другой стороны, в том, что получалась полная аналогия с чередованиями гласных, которые до тех пор рассматривались как нечто фундаментально отличное. Если интерпретировать, например, τίθημι: θωρός: θετός как содержащие корни \*dheA: \* dhoA : \* dhA, эта серия чередований окажется фундаментально тождественной с серией чередований \*derk1: \*dork1: \*drk1 в греческих формах δέρκομαι, δέβορκα, έδραков. Следовательно, \*еА относится к \*оА, как \*ег к \*ог, и \*А играет ту же роль в указанных чередованиях, что г в \*drk,. Этот анализ был произведен исключительно по внутренним причинам, с целью проникнуть глубже в основную систему языка; он не был основан на каких-нибудь очевидных данных самих сравниваемых языков; он был внутренней операцией, произведенной в индоевропейской системе. Прямое доказательство существования такого \*А было действительно найдено позже, но уже по смерти де Соссюра, при изучении хеттского языка. Чисто фонетически его определяют как гортанный звук. Нужно, однако, подчеркнуть, что де Соссюр сам никогда бы не решился на такую чисто фонетическую интерпретацию. Для него \*А не было конкретным звуком, и он остерегался определить его с помощью фонетических примет просто потому, что это не имело для него никакого значения; его единственно интересовала система как таковая, а в этой системе \*А определялось своими определенными соотношениями с другими единицами системы и своей способностью занимать определенные положения в слоге. Это совершенно ясно высказано самим де Соссюром, и именно тут-то мы и находим у него знаменитое изречение, в котором он впервые вводит термин фонема для обозначения единицы, не являющейся звуком, но могущей быть реализованной или представленной в виде звука<sup>1</sup>.

Теоретические последствия такой точки зрения де Соссюр разработал в своих лекциях «Cours de linguistique générale» («Курс общей лингвистики»), опубликованных его учениками уже после

<sup>1</sup> См. Bulletin du Cercle linguist, de Copenhague, VII, стр. 9 — 10, и Mélanges linguistiques offerts á M. H. Petersen, Orxys (Aarhus), 1937 (Acta Jutlandica, IX, I), стр. 39 — 40. Термин фонема был введен де Соссюром независимо от Н. Крушевского и одновременно с ним (см. И. А. Бодуэн де Куртене, Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen, Страсбург, 1895, стр. 4 — 5). Значение, в котором употреблял Крушевский этот термин (назв. соч., стр. 7, подстрочн. прим.), а позднее Бодуэн де Куртене (назв. соч., стр. 9), совершенно разнится от того значения, в котором он использован у де Соссюра. Традиция пражской лингвистической школы восходит к вышеназванным польским ученым.

смерти учителя (в 1916г.). Здесь мы находим весь фонд его теоретических взглядов, вкратце охарактеризованных нами во вступительных словах настоящей статьи. Следует, однако, помнить, что теория де Соссюра в том виде, в каком она выступает в его лекциях, читанных при разных обстоятельствах и с известными промежутками времени, не является целиком однородной. Наблюдения де Соссюра открывали перед лингвистами совершенно новый путь, и поэтому нечего удивляться, что де Соссюр сам был принужден внутренне бороться с традиционными представлениями; его лекции по общей лингвистике являются скорее выражением его собственной борьбы за достижение твердой точки опоры на открытой им новой почве, чем окончательным оформлением его последних взглядов. В его книге можно найти некоторую несогласованность между отдельными утверждениями. Де Соссюр проводит принципиальное разграничение между понятиями формы и субстанции, между языком (*langue*) в более узком смысле слова и речью (*parole*), включающей, между прочим, и письмо, как подчеркивает сам де Соссюр. Де Соссюр в ясных словах утверждает, что язык (*langue*) является формой, а не субстанцией, и это действительно соответствует его общим взглядам. Однако это разграничение не вполне выдержано во всех частях его книги, и термин у него в действительности имеет несколько значений. В одной из моих ранее вышедших работ я попытался вскрыть, насколько это вообще возможно, разные наслоения, наблюдаемые в мыслях де Соссюра, и показать, что я считаю совершенно новым и плодотворным в его труде. А это, если не ошибаюсь, и есть его понимание языка как чистой структуры соотношений, как схемы, как чего-то такого, что противоположно той случайной (фонетической, семантической и т. д.) реализации, в которой выступает эта схема.

Ясно, с другой стороны, что теория де Соссюра, если правильно мое изложение этой теории, должна была остаться недоступной для большинства живших в его время и после него лингвистов, воспитанных в совершенно отличной традиции официального языковедения. Поэтому они переняли у него в первую очередь те места его книги, где понятие *langue* выступает не как чистая форма, но где язык понимается как форма в субстанции, а совсем не как нечто от субстанции независимое. Так, учение де Соссюра было, например, использовано или, если позволено так выразиться, усвоено пражской фонологической школой, которая понимает фонему как фонетическую абстракцию и, следовательно, резко отличается от того понимания фонемы, какое, по-моему, должен был иметь де Соссюр. Этим-то и объясняется, почему структурный подход к языку в собственном смысле этого слова, т. е. как изучение чистых отношений в языковой схеме независимо от проявления или реализации ее, стал применяться языковедами только в наше время.

Если мне будет позволено высказаться о своей собственной работе, то я со всяческой скромностью, но вместе с тем со всей твердостью подчеркнул бы, что считаю и всегда буду считать именно такой

структурный подход к языку как схеме взаимных соотношений своей главной задачей в области науки. Чтобы провести принципиальную грань между традиционным языковедением и чисто структурным методом лингвистического исследования, для этого метода предлагаю особенное название: глоссематика (от греческого слова γλωσσα — язык). Я убежден в том, что это новое направление даст нам чрезвычайно ценные сведения о самой интимной природе языка и, вероятно, не только послужит нам полезным дополнением к старым исследованиям, но также прольет совершенно новый свет на старые представления и идеи. Что касается меня, то мои устремления будут направлены на изучение языка — *langue* — в смысле чистой формы или схемы независимо от практических реализаций. Де Соссюр сам следующими словами определил главную идею своих лекций: «Единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя». Этими словами заканчиваются его лекции. Профессор Шарль Балли, наследник де Соссюра на кафедре лингвистики Женевского университета, за несколько месяцев до своей смерти в письме ко мне писал: «Вы следуете идеалу, сформулированному Ф. де Соссюром в заключительной фразе его «Курса общей лингвистики». Следует, действительно, удивляться, что это не было сделано раньше».

С другой стороны, я считаю нужным подчеркнуть, что не следует отождествлять теорию глоссематики с теорией де Соссюра.

Трудно сказать, как в деталях оформлялись концепции де Соссюра в его мыслях, а мой собственный теоретический метод начал оформляться много лет тому назад, еще до моего знакомства с теорией де Соссюра. Повторное чтение лекций де Соссюра подтвердило многие из моих взглядов, но я, конечно, смотрю на его теорию со своей собственной точки зрения и не хотел бы слишком углубляться в свою интерпретацию его теории. Я упомянул его здесь, чтобы подчеркнуть, насколько я лично ему обязан.

Структурный метод в языковедении имеет тесную связь с определенным научным направлением, оформившимся совершенно независимо от языковедения и до сих пор не особенно замеченным языковедами, а именно с логической теорией языка, вышедшей из математических рассуждений и особенно разработанной Вайтхэдом (Whitehead) и Берtrandом Расселем (Bertrand Russell), а также венской логической школой, специально Карнапом (Carnap), в настоящее время профессором Чикагского университета, последние работы которого по синтаксису и семантике имеют неоспоримое значение для лингвистического изучения языка. Некоторый контакт между логистами и лингвистами был недавно создан в Международной Энциклопедии Объединенных наук (International Encyclopedia of Unified Science). В одной из своих более ранних работ профессор Карнап определил понятие структуры совершенно так же, как я попытался сделать это здесь, т. е. как явление чистой формы и чистых соотношений. По профессору Карнапу, каждое научное утверждение должно быть утверждением структурного порядка в указанном значении;

по его мнению, каждое научное утверждение должно быть утверждением о соотношениях, не предполагающим знания или описания самих элементов, входящих в соотношения. Мнение Карнапа вполне подтверждает результаты, достигнутые за последние годы языковедением. Ясно, что каждое описание языка должно начинаться с установления соотношений между значимыми в этом отношении единицами, а такое установление соотношений между единицами не будет содержать никаких высказываний о внутренней природе, сущности или субстанции этих единиц. Это должно быть предоставлено фонетическим и семантическим наукам, которые со своей стороны предполагают структурный анализ языковой схемы. Но ясно также, что и фонетика и семантика как науки будут принуждены пойти по тому же самому пути; утверждения фонетического и семантического порядка со своей стороны также окажутся структурными утверждениями, например физическими утверждениями о звуковых волнах, являющихся частью тех единиц, которые уже заранее были установлены путем анализа языковой схемы. И это тоже будет делаться посредством определения соотношений, определения формального, а не субстанционального; надеюсь, что я не ошибаюсь, говоря, что физическая теория сама по себе не высказывается никогда о субстанции или материи, кроме как в критическом духе. Мы можем закончить разбор этого вопроса, сказав, что лингвистика описывает схему языковых соотношений, не обращая внимания на то, чем являются самые элементы, входящие в эти соотношения, в то время как фонетика и семантика стремятся высказаться о сущности именно элементов, входящих в соотношения, однако опять-таки с помощью определения соотношений между частями элементов или между частями частей элементов. Это значило бы, выражаясь логистически, что лингвистика является мета-языком первой степени, а фонетика и семантика мета-языком второй степени. Эту мысль я постарался развить в деталях в недавно опубликованной книге<sup>1</sup>, и я поэтому не буду вдаваться глубже в этот предмет. В настоящей статье я только интересуюсь вопросом о языковой схеме.

Я выше указал на некоторые очевидные связи между логистической теорией языка и лингвистической. Связь эта, к сожалению, позднее оборвалась. Логистическая теория языка была разработана без всякого внимания к результатам лингвистики, и совершенно очевидно, что логисты, постоянно высказываясь о языке, довольно непростительным образом игнорируют достижения лингвистического изучения языка. Это имело плачевные последствия для логистической теории языка. Так, например, понятие знака, на которое ссылаются сторонники этой школы, имеет у них значительные недостатки и, несомненно, менее удачно, чем у де Соссюра; логисты не понимают, что

<sup>1</sup> Omkring sprogteoriens grundlaeggelse, Копенгаген, 1943. Французское издание этой книги готовится к печати. Критический реферат дали А. Martinet в Bulletin de la Société de linguistique de Paris, XLII, стр. 19 — 42 и (по-датски) Eli Fischer-Jørgensen в «Nordisk tidsskrift for tale og stemme».

языковой знак имеет две стороны — сторону содержания и сторону выражения, причем обе эти стороны могут быть предметом чисто структурного анализа. И поэтому логисты не обращают также должного внимания на явление коммутации, которое следует считать самым основным языковым соотношением, прямым ключом к пониманию языка в лингвистическом значении этого слова.

Если понимать язык как структуру, то уже нельзя довольствоваться определением его с помощью понятий звук и значение, как это постоянно делалось и делается в традиционном языковедении. Де Соссюр ясно понимал, что структурное определение языка должно привести к тому что структуры, до сих пор не признававшиеся традиционным языковедением как языки, будут признаны как таковые и что те языки, которые рассматривались как таковые традиционным языковедением, будут признаны только как разновидности языков вообще. Де Соссюр поэтому стремился к тому, чтобы превратить языковедение или лингвистику в одну из ряда возможных дисциплин в составе более широкой науки о знаковых системах вообще, которая оказалась бы действительной теорией языка в структурном значении этого слова. Такую более широкую науку он назвал семиологией.

По указанным выше причинам эта сторона теории де Соссюра не произвела впечатления на языковедов, и семиология в действительности осталась неразработанной с лингвистической точки зрения. Совсем недавно опубликованная книга бельгийского лингвиста Е. Buysens'a<sup>1</sup> является первой такой попыткой подойти к семиологии, но она именно только может рассматриваться как первая попытка в этом направлении.

Языковые структуры, не являющиеся языками, в традиционном смысле этого слова, правда, до некоторой степени изучались логистами, но по вышеуказанным причинам эти работы не будут в состоянии принести результаты, полезные для лингвистических исследований. С другой стороны, было бы чрезвычайно интересно изучить именно такие структуры с помощью чисто лингвистического метода первым долгом потому, что такие структуры дали бы нам простые образчики-модели, показывающие элементарную языковую структуру без всех тех осложнений, которые характерны для высокоразвитой структуры обыкновенных языков.

В вышеназванной своей работе, вышедшей в 1943 г., я и попытался дать такое структурное определение языка, которое имело бы силу для основной структуры каждого языка в обычном смысле этого слова. Впоследствии я проделал глоссематический анализ ряда весьма несложных структур, взятых из повседневного быта и не являющихся, правда, языками в традиционном смысле этого слова, но удовлетворяющих (частью или полностью) моему определению основной языковой структуры. Я подверг следующие пограничные явления теоретическому разбору: во-первых, световые сигналы на

<sup>1</sup> Les langues et la discours, Брюссель, 1943.

перекрестках улиц для регулирования движения, имеющиеся в большинстве больших городов и в которых чередование света красного, желтого, зеленого и желтого в плане выражения соответствует чередованию понятий «стой», «внимание», «свободный ход», «внимание» в плане содержания; во-вторых, телефонный диск в городах с автоматическим обслуживанием аппаратов; в-третьих, бой башенных часов, отбивающих часы и четверти. Кроме этих случаев, я в своих исследованиях привел ряд еще более простых примеров, как-то: азбука Морзе, стучевая азбука заключенных в тюрьме и обыкновенные стенные часы, бьющие только каждый час. Эти примеры я ближе разобрал в лекциях, недавно читанных мною в Лондонском и в Эдинбургском университетах, не столько забавы ради или по чисто педагогическим соображениям, сколько именно для того, чтобы глубже вникнуть в основную структуру языка и языкоподобных систем; сравнивая их с языком в традиционном смысле слова, я использовал их для того, чтобы пролить свет на пять основных черт, входящих по моему определению в основную структуру каждого языка в традиционном смысле слова, а именно:

1. Язык состоит из содержания и выражения.
2. Язык состоит из последовательного ряда (или текста) и системы.
3. Содержание и выражение взаимно связаны в силу коммутации.
4. Имеются определенные соотношения в тексте и в системе.
5. Соответствие между содержанием и выражением не является прямым соответствием между определенным элементом одного плана и определенным элементом другого, но языковые знаки могут разлагаться на более мелкие компоненты. Такими компонентами знаков являются, например, так называемые фонемы, которые я предпочел бы назвать таксемами выражения и которые сами по себе не имеют содержания, но могут слагаться в единицы, имеющие содержание, например в слова.

## ЯЗЫК И РЕЧЬ<sup>1</sup>

1. В эпоху, когда Фердинанд де Соссюр читал свой курс по общему языкознанию, лингвистика занималась исключительно изучением языковых изменений под физиологическим и психологическим углом зрения. Всякий иной подход рассматривался как невежество или дилетантизм.

Поэтому, чтобы правильно оценить «Курс общей лингвистики», нужно подходить к нему как к продукту соответствующей эпохи. Только тогда можно объяснить некоторые особенности использо-

<sup>1</sup> Langue et parole, «Cahiers Ferdinand de Saussure», II, 1942. Перевод И. А. Мельчука.

ванных терминов и понятий. В этих особенностях отражен известный компромисс, необходимый, чтобы сохранить контакт с прошлым и настоящим, и вместе с тем там отражена реакция автора «Курса» на влияния окружавшей его научной среды<sup>1</sup>.

Сущность учения де Соссюра, выраженная в самой краткой форме, — это различие между языком (*langue*) и речью (*parole*). Вся остальная теория логически выводится из этого основного тезиса. Главным образом именно этот тезис и противостоит традиционным взглядам. Соссюр, по сути дела, открыл язык как таковой; одновременно он показал, что современная ему лингвистика изучала не язык, а речь и тем самым обходила «свой единственно подлинный предмет».

С точки зрения истории науки открытие Соссюра является всего лишь вторичным открытием, что, однако, нисколько не уменьшает объективной ценности научного подвига Соссюра. Ему пришлось отчетливо сформулировать и утвердить забытый и брошенный принцип. Для этого он должен был создать совершенно новую базу. Дело в том, что лингвистика, оставившая в XIX в. изучение языка как такового, глубоко отличалась от той лингвистики, которая до того занималась языком. В течение XIX в. были открыты закономерности языковых изменений, изучен физиологический механизм речи и ее различные психологические факторы и т. д. Все это привело к окончательному краху античной грамматики и сделало невозможным простое возвращение назад.

Соссюр должен был создать теорию языка как такового, в которой нашлось бы соответствующее место для всех новейших открытий.

До Соссюра любая лингвистическая проблема формулировалась в терминах индивидуального акта говорения. В качестве главной и окончательной цели исследований выдвигались причины языковых изменений; эти причины отыскивались в видоизменениях и сдвигах произношения, в стихийных психических ассоциациях, в действии аналогии. В дососсюровской лингвистике все сводилось в конце концов к поведению индивидуума; речевая деятельность представлялась как сумма индивидуальных актов.

Именно в этом пункте лежит принципиальное расхождение, а также соприкосновение между традиционной точкой зрения и новой теорией. Ф. де Соссюр признает всю важность индивидуального акта говорения и его решающую роль в языковых изменениях, тем самым перекидывая мостик к традиционным взглядам. Однако одновременно он формулирует существенно отличающийся от них принцип: создание структуральной лингвистики — *Gestaltlinguistik*, которая должна заменить или по крайней мере дополнить традиционное языкознание.

<sup>1</sup> Ценность того, что сделал де Соссюр, заключается одновременно в простоте, цельности и очевидности его учения, которое он молчаливо противопоставил принятым мнениям.

Теперь, когда принцип структурности введен в лингвистику, необходимо проделать весьма трудоемкую работу, чтобы вывести из этого принципа все возможные логические следствия. В настоящее время эта работа еще далека от своего завершения.

Приступая к этой работе, мы будем руководствоваться следующим положением, которое столь удачно сформулировал А. Сешэ<sup>1</sup>: наша цель — это сотрудничество с автором «Курса общей лингвистики», чтобы «во-первых, вслед за ним углублять и расширять фундамент лингвистической науки, а во-вторых, продолжать строительство здания, первые и еще несовершенные эскизы которого содержатся в «Курсе».

2. Поскольку структура является, по определению, сетью зависимостей или функций (понимая это слово в логико-математическом смысле), основная задача структуральной лингвистики состоит в изучении функций и их типов. Мы должны выделить такие типы отношений (связей), которые были бы необходимы и достаточны для описания любой семиологической структуры самым простым и одновременно самым полным образом. Эта задача логически предшествует всем прочим. Здесь, однако, мы ограничимся тем, что из всех возможных типов функций укажем те, которые понадобятся нам в дальнейшем изложении<sup>2</sup>.

Мы будем различать: 1) двусторонние зависимости, или интердепенденции, — между такими двумя элементами, каждый из которых предполагает обязательное наличие другого; 2) односторонние зависимости, или детерминации, — между такими двумя элементами, один из которых («детерминирующее») предполагает обязательное наличие другого («детерминируемого»), но не наоборот. Кроме того, мы будем различать коммутации и субституции. В пределах одной парадигмы коммутация имеет место между двумя элементами означающего, если их взаимная замена вызывает замену соответствующих элементов означаемого, или между двумя такими элементами означаемого, взаимная замена которых влечет за собой взаимную замену соответствующих элементов означающего. Если два члена парадигмы не удовлетворяют указанному условию, между ними имеет место субституция. Между вариантами всегда имеет место субституция, между инвариантами — коммутация<sup>3</sup>.

Эти исходные понятия позволяют нам приступить к нашей основной проблеме: выяснить, какого рода функция имеет место между языком (*langue*) и речью (*parole*). Эта проблема была поднята недавно в упомянутом выше труде А. Сешэ. Мы будем решать ее,

<sup>1</sup> A. Séchehayе, *Les trois linguistiques saussuriennes*, p. 3. («Vox romanica», V, 1940).

<sup>2</sup> Разъяснение употребляемых здесь терминов и понятий, а также примеры можно найти в «Acta Linguistica», 1939, I, стр. 20 и сл.

<sup>3</sup> Дальнейшие детали см. в наших работах «Die Beziehungen der Phonetik zur Sprachwissenschaft» («Archiv für vergleichende Phonetik», 1938, II) и «Neue Wege der Experimentalphonetik» («Nordisk Tidskrift for Tale og Stemme», 1938, II).



оставив в стороне вопрос о разграничении синхронии и диахронии и ограничившись только рамками синхронии.

Тщательный анализ понятий покажет, что термины «язык» и «речь», введенные в «Курс общей лингвистики» Соссюра, допускают несколько толкований. Именно отсюда, по нашему мнению, проистекает большинство трудностей.

3. Начнем с языка (*langue*). Его можно рассматривать:

а) как чистую форму, определяемую независимо от ее социального осуществления и материальной манифестации;

б) как материальную форму, определяемую в данной социальной реальности, но независимо от деталей манифестации;

в) как совокупность навыков, принятых в данном социальном коллективе и определяемых фактами наблюдаемых манифестаций.

Нужно строго различать эти три подхода. В дальнейшем выяснится, насколько полезны и удобны указанные различия.

Мы будем называть:

а) схемой — язык как чистую форму;

б) нормой — язык как материальную форму;

в) узусом — язык как совокупность навыков.

Чтобы освоиться с понятиями, возьмем простой пример: рассмотрим французское *r* точки зрения трех указанных возможностей.

а) Прежде всего французское *r* можно определить: 1) через его принадлежность к категории согласных: сама категория определяется как детерминирующая категорию гласных<sup>1</sup>; 2) через его принадлежность к подкатегории согласных, встречающихся как в начальной, так и в конечной позиции (ср. *r-ue* и *ра-r-ti-r*); 3) через его принадлежность к подкатегории согласных, всегда граничащих с гласными (в начальных группах *r* стоит на втором месте, но не на первом<sup>2</sup>; в конечных группах — наоборот<sup>3</sup>; ср. *tr-арре* и *ро-rте*); 4) через его способность вступать в коммутацию с другими элементами, которые принадлежат к тем же категориям, что и *r* (например, *l*).

Такое определение французского *r* позволяет выявить его роль во внутреннем механизме языка, рассматриваемого как схема, т. е. в сетке синтагматических и парадигматических отношений. *R* противопоставляется прочим элементам той же категории функционально — с помощью коммутации. *R* отличается от прочих элементов не в силу своих собственных конкретных качеств и особенностей, а только в силу того факта, что *r* не смешивается с другими элементами. Наше определение противопоставляет категорию, содержащую *r*, остальным категориям только с помощью функций, определяющих эти категории<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> «Acta linguistica», 1, стр. 22.

<sup>2</sup> Случаи типа [rsy] (-реси в беглом произношении) следует интерпретировать как *r*∅: sy (:граница слога).

<sup>3</sup> Случаи типа *katr* следует интерпретировать как *ka-tr*∅.

<sup>4</sup> Между начальной и конечной позицией (п. 2), а также между позицией рядом с гласным и позицией не рядом с гласным (п. 3) существует детерминация.

Таким образом, французское *r* определяется как чисто оппозитивная, релятивная и негативная сущность: определение не приписывает ему никаких позитивных свойств. Оно указывает, что это — элемент, способный реализоваться, но ничего не говорит о его реализации. Оно совсем не касается вопроса о его манифестации, т. е. для данного определения безразлично, воплотится ли определяемый элемент в звучании или в графике, будет ли он выражен какой-либо фонемой или буквой алфавита (латинского, азбуки Морзе или какого-либо другого), жестом (азбука для глухонемых) или сигналом (например, в системах сигнализации флажками).

Если аналогичным образом определить все необходимые элементы, их совокупность будет представлять собой французский язык, рассматриваемый как схема. С этой точки зрения французский язык всегда остается идентичен сам себе, независимо от манифестации элементов. Кто бы ни пользовался французским языком — глухонемые с помощью жестов, моряки с помощью флажков, телеграфисте помощью азбуки Морзе или просто люди с помощью обычной речи, — с указанной точки зрения этот язык остается самим собой. Если бы даже совершенно изменилось французское произношение, все равно сам французский язык, рассматриваемый как схема, не изменился бы — при условии, что сохраняются различия и сходства, определяющие его элементы.

б) Французское *r* можно определить и как вибрант, допускающий в качестве факультативного варианта щелевой звук с задней артикуляцией (*r roulé* и *r grassayé*).

Такое определение французского *r* позволяет выявить его роль в языке, рассматриваемом как норма. Теперь *r* отличается от других элементов того же порядка не просто чисто негативными чертами. *R* определяется как оппозитивная и релятивная сущность, но уже имеющая и позитивные свойства: *r* как вибрант противопоставляется не-вибрантам, *r* (*grassayé*) как щелевой звук противопоставляется взрывным и, наконец, *r* как звук с задней артикуляцией противопоставляется звукам с передней артикуляцией. Данное определение предполагает определенную звуковую манифестацию, обязательно связанную с органами речи. Однако позитивные свойства элемента в этом определении сведены к дифференциальному минимуму: так, в этом определении ничего не говорится о конкретной точке артикуляции.

Если бы французское произношение изменилось, но в пределах, предписанных данным определением, французский язык, рассматриваемый как норма, не изменился бы.

При таком понимании термина «язык» оказалось бы столько французских языков, сколько есть различных манифестаций, приводящих к различным определениям: устный французский, письмен-

Мы не приводим здесь детального доказательства, поскольку это потребовало бы полного анализа французского слогоделения и консонантизма (наиболее сложный и вместе с тем самый важный пункт в этом анализе — вопрос об элементах  $\Theta$  и  $h$ ).

ный французский в латинском алфавите, французский в азбуке Морзе и т. Д.

в) Французское *r* можно определить, наконец, как альвеолярный раскатистый плавный вибрант или как щелевой увулярный плавный.

Это определение включает все позитивные свойства *r* в обычном французском произношении и представляет, таким образом, элемент языка, рассматриваемого как узус. Оно не является ни оппозитивным, ни релятивным, ни негативным, а просто перечисляет все позитивные свойства, характерные для данного узуса. На этом оно и останавливается, оставив открытым вопрос о возможности варьировать произношение в пределах, указанных определением. Однако, если произношение варьируется именно в этих пределах, язык, рассматриваемый как узус, остается тем же самым. С другой стороны, всякое изменение данного определения приводит к изменению языка: французский язык превратился бы в другой язык, если бы *r* превратилось в ретрофлексный фарингальный свистящий.

4. Легко заметить, что из трех возможных толкований термина «язык» больше всего приближается к обычному употреблению слова первое толкование (язык как схема). В повседневной жизни «нормальный» французский, французский в виде телеграфного кода и французский в азбуке глухонемых считаются безусловно одним и тем же французским языком. Поэтому, если мы хотим, чтобы в нашем определении отражались основные моменты значения, приписываемого слову «язык» в повседневной практике, мы должны выбрать первое толкование.

По-видимому, именно это толкование термина «язык» предлагается в основном в «Курсе общей лингвистики». Только такое толкование позволяет лишить язык всякого материального характера, например, звукового) и дает возможность отделять существенное от второстепенного. Только такое толкование оправдывает знаменитое сравнение с шахматами, где материальное воплощение фигур не имеет никакого значения, поскольку все определяется их числом и взаимным расположением. Только при таком толковании допустима аналогия между языковой величиной и серебряной монетой, которая может обмениваться на монету из другого металла, на банкноту, на ценные бумаги, на чек. Наконец, это толкование стоит за основным тезисом Соссюра: язык есть форма, а не субстанция. Можно добавить, что это толкование стоит за всей работой «Исследование о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках», где вся система индоевропейского языка рассматривается как чистая схема, состоящая из элементов (автор назвал их «фонемами» за неимением более подходящего термина), которые определяются только своими внутренними взаимными функциями<sup>1</sup>.

Эта концепция языка была принята и развита А. Сешэ, который правильно указывал в своей работе 1908 г., что язык можно пред-

<sup>1</sup> Мы обращали внимание на этот факт еще в 1937 г. (Mélanges H. Pedersen, стр. 39 и сл.).

ставлять себе в виде алгебраической записи или геометрических изображений и что можно изображать элементы языка любым произвольным образом, лишь бы сохранялась их индивидуальность, но не их материальный характер.

С другой стороны, идея схемы, отчетливо преобладающая в соссюрсовском понимании языка, не является единственным пониманием. «Акустический образ», о котором идет речь в нескольких местах «Курса», — это, очевидно, психическое отражение материального факта; таким образом, язык связывается со звуковой материей и начинает рассматриваться как норма.

В других местах говорится, что язык — это совокупность языковых навыков; здесь слово «язык» понимается как узус<sup>1</sup>.

Подводя итог, мы приходим к выводу, что единственное определение, которое подходит всюду, это — определение языка как знаковой системы. Данное общее определение допускает различные оттенки; Соссюр, вероятно, осознавал это<sup>2</sup>, но по тем или иным причинам на этом вопросе он специально не остановился.

5. Различия, введенные в § 3, позволяют нам осветить вопрос о возможных отношениях между языком и речью в соссюрсовском смысле. Определить сразу все эти отношения не удастся; язык-схема, язык-норма и язык-узус ведут себя неодинаково по отношению к речи, которая является индивидуальным актом.

1) Норма детерминирует (т. е. предполагает) узус и акт речи, но не наоборот. Это, как нам кажется, было показано А. Сешэ: акт речи и узус логически и практически предшествуют норме; норма рождается из узуса и акта речи, но не наоборот. Непроизвольный возглас — это акт без нормы; однако этот акт происходит в силу определенного узуса (наша психофизиологическая природа обуславливает некоторый узус — те или иные рефлексии и реакции; но за этим узусом не обязана стоять система оппозитивных и релятивных элементов, из которой можно вывести норму). Таким образом, тезис Сешэ оправдывается тогда и только тогда, когда язык рассматривается как норма.

2) Между узусом и актом речи имеет место интердепенденция: каждый из них предполагает обязательное наличие другого. Там, где Соссюр говорит о взаимной зависимости языка и речи, он имеет в виду «языковые навыки». Проведя различие между нормой и узусом, мы устранили кажущееся противоречие между высказываниями «Курса» и точкой зрения, которую выдвинул А. Сешэ: *Diuersi respectus tollunt omnem contradictionem*. (Различные подходы устраняют всякое противоречие.)

<sup>1</sup> Данный термин (фр. usage) встречается в нескольких местах соссюрсовского «Курса». Это явное наследие дососсюрсовской теории (ср., например, Н. Paul, *Prinzipien der Sprachgeschichte*, 5. Aufl., стр. 32 и сл., стр. 405 и т. д.). С другой стороны, кажется, что термин «норма» (употребляемый Паулем и его современниками) тщательно избегается во всем «Курсе».

<sup>2</sup> В «Курсе» говорится, что язык «одновременно является социальным продуктом речевой способности и совокупностью необходимых условностей, принятых данным обществом, чтобы индивидуум мог использовать эту способность».

3) Схема детерминируется (т. е. предполагается) актом речи, узусом и нормой, но не наоборот. Чтобы понять это, надо обратиться к теории значимостей, выдвинутой Соссюром. Эта теория тесно связана с концепцией языка как схемы и заслуживает самого пристального изучения.

При поверхностном рассмотрении возникает соблазн непосредственно сопоставить лингвистическую «значимость» (*valeur linguistique*) со «значением» (в логико-математическом смысле этого слова; *valeur logico-mathématique*): как 4 — это возможное значение величины: *a*, так звуки и значения (смысл) — это возможные «значения» неких форм; формы являются тогда переменными, а материальные факты — константами. Однако более правильным является другое сравнение — лингвистические «значимости» гораздо ближе к ценностям (меновым стоимостям) экономических наук (*valeur d'échange des sciences économique*).

В этой точки зрения значением (значимостью, ценностью, *valeur*) и константой является форма, а переменные заключены в субстанции; этим субстанциальным переменным могут приписываться различные значения, в зависимости от обстоятельств. Так, монета или банкнота могут изменить свою стоимость (*valeur*) точно так же, как меняют свою значимость звук или единица смысла; при этом фактически изменяется интерпретация единиц по отношению к различным схемам.

Однако сравнение с меновой стоимостью политэкономии имеет слабую точку, что отмечал уже сам Соссюр: меновая стоимость определяется тем, что она равна некоторому количеству какого-либо товара; таким образом, меновая стоимость основана на материальном факторе, тогда как для лингвистической значимости материальный фактор роли не играет. Экономическая стоимость является двусторонним элементом: она играет роль постоянной по отношению к конкретным денежным единицам и одновременно — роль переменной по отношению к фиксированному количеству товара, которое служит эталоном. В лингвистике же этому эталону ничто не соответствует. Именно поэтому в качестве самой близкой аналогии языку Соссюр выбрал шахматы, а не экономические понятия. Язык-схема в конечном счете это игра и больше ничего. Впрочем, когда в различных странах вместо металлического денежного эталона был принят бумажный эталон, в экономическом мире сложилась ситуация, более похожая на структуру игры или грамматики. Однако самым точным и простым остается сравнение языка-схемы с игрой.

С другой стороны, именно понятие значимости (стоимости, *valeur*), как в игре, так и в грамматике, заимствованное у экономических наук, позволяет разобраться в различных функциях, связывающих схему с другими ярусами языка. Как монета является таковой в силу стоимости, но не наоборот, так и звук и значение обусловлены чистой формой, но не наоборот. Здесь, как и повсюду, переменная детерминирует постоянную, но не наоборот. В любой семио-

логической системе схема является постоянной, т. е. детерминируемым членом; по отношению к схеме норма, узус и акт речи суть переменные, т. е. детерминирующие члены.

Используя введенные раньше определения, мы строим следующую таблицу:



(где  $\longleftrightarrow$  означает интердепенденцию, а  $\longrightarrow$  — детерминацию; постоянная  $\longleftrightarrow$  постоянная, переменная  $\longrightarrow$  постоянная, постоянная  $\longleftarrow$  переменная).

б. Схема, норма, узус и акт речи не лежат в одной плоскости. Это видно хотя бы из рассмотрения функций, связывающих эти факторы. Схема, норма, узус и акт речи разделяются определенными границами, которые нам предстоит выявить и описать.

В соответствии с «Курсом» Соссюра главной и решающей границей является граница между языком и речью. До сих пор мы сознательно избегали оба эти термина; теперь мы введем их и будем рассматривать их проекции на полученную нами картину (соотношение четырех описанных выше понятий). Начать удобнее с речи.

По учению Соссюра, речь отличается от языка тремя свойствами: 1) речь — это реализация, а не установление; 2) речь индивидуальна, а не социальна; 3) речь свободна, а не фиксирована.

Все эти три свойства являются взаимно независимыми: реализация может не быть ни индивидуальной, ни свободной; индивидуальные явления могут не быть ни реализацией, ни свободными; то, что свободно, не обязательно является индивидуальным, и т. д. Таким образом, все три свойства необходимы для определения и ни одно из них не может быть устранено.

Оказывается, что понятие речи столь же сложно, как и понятие языка. Попытаемся подвергнуть понятие речи анализу аналогично тому, как это было сделано для языка. Для этого мы должны выяснить, что получится, если в определении речи мы отбросим какие-либо два свойства и оставим только одно. Нам будет достаточно рассмотреть одно из трех возможных упрощений определения: мы возьмем речь как реализацию, абстрагируясь от различий между индивидуальным и социальным, между свободным и фиксированным.

Тогда схема оказывается установлением, а все остальное — реализацией.

Перед научной дисциплиной, изучающей реализацию схемы, встали бы две следующие задачи, отчетливо сформулированные в «Курсе» Соссюра: 1) описать комбинации, с помощью которых го-

ворящие используют код схемы; 2) описать психофизический механизм, позволяющий осуществлять эти комбинации.

С общесемантической точки зрения Соссюр прав, относя психофизический механизм к речи и определяя «фонологию» как дисциплину, связанную только с речью. Именно здесь и проходит основная граница — между чистой формой и субстанцией, между мысленным и материальным. Иными словами, теория установления — это теория схемы, а теория реализации включает в себя всю теорию субстанции и имеет в качестве объекта норму, узус и акт речи. Норма, узус и акт речи тесно связаны и составляют по сути дела один объект: узус, по отношению к которому норма является абстракцией, а акт речи — конкретизацией. Именно узус выступает в качестве подлинного объекта теории реализации; норма — это искусственное построение, а акт речи — преходящий факт.

Реализация схемы обязательно является узусом: коллективным и индивидуальным. Мы не знаем, как возможно с этой точки зрения сохранить и отдельно исследовать различие между социальным и индивидуальным. Речь в целом может рассматриваться как факт языка, акт речи — как факт индивидуального узуса, а индивидуальный узус — как факт коллективного узуса; бесполезно рассматривать их иначе. Могут возразить, что при таком подходе смазывается свободный и произвольный характер акта, а также его творческая роль. Но это не так: ведь узус — это множество возможностей, из которых в момент акта речи совершается свободный выбор. Описывая узус, надо всегда учитывать пределы, в которых допускаются колебания и отклонения; если эти пределы зафиксированы точно, в актах речи не имеет места выход за них. Если это произойдет, описание узуса надо перестроить. Таким образом, из определения следует, что в акте речи не может содержаться ничего, что не было бы предусмотрено узусом.

Что касается нормы, то это — фикция, и притом единственная фикция среди интересующих нас понятий. Узус вместе с актом речи и схема отражают реальности. Норма же представляет собой абстракцию, искусственно полученную из узуса. Строго говоря, она приводит к ненужным усложнениям и без нее можно обойтись. Норма означает подстановку понятий под факты, наблюдаемые в узусе; но современная логика показала, к каким опасностям приводит гипостазирование понятий и попытки строить из них реальности. По нашему мнению, некоторые течения современной лингвистики напрасно прибегают к реализму, плохо обоснованному с точки зрения теории познания; лучше было бы вернуться к номинализму. Реализм не упрощает, а усложняет вещи, не расширяя сколько-нибудь существенно наших знаний. Лингвист, изучающий соотношения между именем и вещью, должен особо стремиться к тому, чтобы имя и вещь не смешивались.

Выполненный анализ показал, как нам кажется, что есть ценного и поистине нового в соссюрском определении языка (*langue*): это то, что мы назвали схемой. Этот результат приводит нас к

мысли считать различие между схемой и узусом<sup>1</sup> основным семиологическим подразделением. Думается, что это подразделение могло бы заменить противопоставление языка и речи, которое, по нашему мнению, является лишь первым приближением, исторически очень важным, но теоретически еще несовершенным.

<sup>1</sup> Можно предложить такие соответствия этим терминам: фр. schéma и usage, англ. pattern и usage, нем. Sprachbau и Sprachgebrauch (или Usus), датск. sprogbygning и sprogbrug (или usus). По-французски вм. schéma можно говорить charpente (de la langue).



### III. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА (ПРАЖСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КРУЖОК)

Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра отличалась значительной противоречивостью и наряду с положениями, которые дали основания Л. Ельмслеву сделать его крайние выводы, бесспорно, содержала ряд замечательных мыслей, наблюдений и заключений. Именно положительные стороны учения Ф. де Соссюра стремились развить и воплотить в конкретных исследованиях содружество работавших в Праге языковедов, получившее название Пражского лингвистического кружка (ПЛК). Очень скоро это объединение вышло далеко за локальные признаки и сложилось в оригинальное лингвистическое направление, представители которого после некоторого пересмотра и уточнения своих теоретических положений (подчеркивая свое принципиальное отличие от глоссематики Ельмслева и дескриптивной лингвистики) придерживаются ныне наименования функциональной лингвистики.

Пражский лингвистический кружок организационно оформился в 1926 г., объединив ряд русских лингвистов — Н. Трубецкого (1890 — 1938), Р. Якобсона, С. Карцевского (1884 — 1955), чехословацких языковедов — В. Матезиуса (1882 — 1945), В. Скаличку, Ф. Травничека, Б. Гавранека и других, а также учеников В. Матезиуса — И. Вахека, Б. Трнка и пр. С 1929 по 1939 г. Пражский лингвистический кружок издавал свои «Труды» («Travaux de Cercle linguistique de Prague»). В первом томе этих «Трудов», приуроченном к 1-му съезду славистов, были опубликованы «Тезисы» ПЛК, содержащие теоретическую программу недавно возникшего лингвистического объединения (с небольшими сокращениями они приводятся в настоящей книге). В 1951 г. на страницах журнала «Tvorbа» в Чехословакии развернулась дискуссия, затрагивавшая в первую очередь структуралистские основы ПЛК. Эта дискуссия способствовала окончательному формулированию теоретических положений ПЛК, основная методическая направленность которых характеризуется и самим наименованием — «функциональная лингвистика». Именно с точки зрения этой характерной черты и следует рассматривать и оценивать данное лингвистическое направление.

Функциональная лингвистика исходит из структурного понимания языка и в соответствии с этим полагает необходимым опираться на структуральные методы лингвистического исследования. Однако само понимание структурализма (и способа его приложения к изучению языковых явлений) резко отличается от той его трактовки, которую он получает у Л. Ельмслева или в дескриптивной линг-

вистике. «Структурализм, — устанавливая представители функциональной лингвистики, — является, на наш взгляд, направлением, рассматривающим языковую действительность как реализацию системы знаков, которые обязательны для определенного коллектива и упорядочены специфическими законами. Под знаком пражская школа понимает языковой коррелят внеязыковой действительности, без которой он не имеет ни смысла, ни права на существование». Учитывая тот факт, что «структура языка тесно связана с окружающими ее структурами», пражские структуралисты большое внимание уделяют изучению различных функциональных и стилистических слоев языка и отношений языка к литературе, искусству, культуре. Такого рода соотносительное изучение структуры языка исходит из того положения, что языковой знак нельзя рассматривать независимо от его реализации: это нераздельные явления и сами противопоставления, складывающиеся внутри структуры языка, поэтому следует изучать как отношения реальных элементов, имеющих реальные качества и признаки.

Чрезвычайно характерной чертой функциональной лингвистики является то, что она не ограничивается в своей исследовательской работе синхронической плоскостью языка, но применяет структуральные методы к изучению процессов развития языка, т. е. к его диахронии. В этом последнем случае внимание исследователя обращается не на описание изменений фактов языка (исторический или даже хронологический дескриптивизм), а на вскрытие причин этих изменений. Такое интересное и многообещающее направление в современной языковедческой работе, как диахроническая фонология, является прямым производным основных теоретических положений функциональной лингвистики.

В тесной и логической связи с изложенными теоретическими принципами находится и трактовка, с одной стороны, взаимоотношений синхронической и диахронической плоскостей языка, а с другой стороны, — сосюрковского противопоставления «языка» и «речи». Синхрония и диахрония не представляют в функциональной лингвистике независимых областей и аспектов изучения языка, но взаимопроникают друг в друга. «Диахронные законы отличаются в структурном языкознании от синхронных только тем, что они ограничены во времени относительной хронологией и приводятся в исторической последовательности». А что касается дихотомии «язык/речь», то «языковые факты, толкуемые де Соссюром как речь (*parole*), пражская школа считает высказываниями, т. е. языковым материалом, в котором языковедам следует определять законы «интерсубъектного» характера».

Направляя свои усилия на анализ языковой действительности, данной в высказываниях, представители функциональной лингвистики основной своей задачей считают вскрытие действующих в языковой действительности законов. Лингвистические законы, будучи законами абстрактными, «в отличие от законов естествознания, действующих механически, являются нормирующими (нормотетическими) и, следовательно, имеют силу только для определенной системы и в определенное время».

Традиционные методы лингвистического исследования функциональная лингвистика стремится соединить с количественными («математическая лингвистика»). «Для полного познания языковой действительности, — говорится в ее научной программе, — следует сочетать качественный анализ элементов языка с количественным (статистическим) анализом». Подобного рода количественный подход к изучению языка во многом способствовал становлению и развитию математических методов лингвистического исследования, ныне широко применяемых в прикладной лингвистике.

#### ЛИТЕРАТУРА

- О. Лешка, К вопросу о структурализме, «Вопросы языкознания», 1953, № 5.  
К. Хансен, Пути и цели структурализма, «Вопросы языкознания», 1959, № 4.

## ТЕЗИСЫ ПРАЖСКОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КРУЖКА<sup>1</sup>

### ПРОБЛЕМЫ МЕТОДА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЯЗЫКЕ КАК О СИСТЕМЕ, И ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

**(Синхронический метод и его отношение к методу  
диахроническому; сравнение структуральное и сравнение  
генетическое; случайный характер или закономерная связь явлений  
в лингвистической эволюции)**

#### а) Представление о языке как о функциональной системе

Являясь продуктом человеческой деятельности, язык вместе с тем имеет целевую направленность. Анализ речевой деятельности как средства общения показывает, что наиболее обычной целью говорящего, которая обнаруживается с наибольшей четкостью, является выражение. Поэтому к лингвистическому анализу нужно подходить с функциональной точки зрения. С этой точки зрения *язык есть система средства выражения, служащая какой-то определенной цели*. Ни одно явление в языке не может быть понято без учета системы, к которой этот язык принадлежит. Славянская лингвистика также не может игнорировать этот актуальный комплекс проблем.

#### б) Задачи синхронического метода. Его отношение к методу диахроническому

Лучший способ для познания сущности и характера языка — это синхронный анализ современных фактов. Они являются единственными фактами, дающими исчерпывающий материал и позволяющими составить о них непосредственное представление. Первоочередная задача славянской лингвистики (задача, которой до сих пор пренебрегали) заключается в том, чтобы сформулировать лингвистические характеристики современных славянских языков, без чего сколько-нибудь углубленное изучение их абсолютно невозможно.

Представление о языке как о функциональной системе должно приниматься также во внимание и при изучении прошлых языковых состояний независимо от того, предстоит ли их воссоздать или опи-

<sup>1</sup> Theses. «Travaux du cercle linguistique de Prague», I. Prague, 1929. Тезисы были напечатаны к I съезду славистов.

сать их эволюцию. Но нельзя воздвигать непреодолимые преграды между методом синхроническим и диахроническим, как это делала женевская школа. Если в синхронической лингвистике элементы системы языка рассматриваются с точки зрения их функций, то о претерпеваемых языком изменениях нельзя судить без учета системы, затронутой этими изменениями. Было бы нелогично полагать, что лингвистические изменения не что иное, как разрушительные удары случайные и разнородные с точки зрения системы. Лингвистические изменения часто имеют своим объектом систему, ее упрочение, перестройку и т. д. Таким образом, диахроническое изучение не только не исключает понятия системы и функций, но, напротив, без учета этих понятий является неполным.

С другой стороны, и синхроническое описание не может целиком исключить понятия эволюции, так как даже в синхронически рассматриваемом секторе языка всегда налицо сознание того, что наличная стадия сменяется стадией, находящейся в процессе формирования. Стилистические элементы, воспринимаемые как архаизмы, во-первых, и различие между продуктивными и непродуктивными формами, во-вторых, представляют явления диахронические, которые не могут быть исключены из синхронической лингвистики.

#### в) Новые возможности применения сравнительного метода

До настоящего времени сравнительное изучение славянских языков ограничивалось одними генетическими проблемами, в частности поисками общего прототипа. А между тем сравнительный метод должен быть использован гораздо шире; он позволяет вскрыть законы структуры лингвистических систем и их эволюции. Ценный материал для такого рода сравнения мы находим не только в неродственных или отдаленно родственных языках, различных по своей структуре, но и в языках одной семьи, например в славянских, обнаруживающих в ходе своей эволюции наряду с многочисленными и существенными соответствиями также и резкие различия.

*Значение структурального сравнения родственных языков.* Сравнительное изучение эволюции славянских языков постепенно разрушает представление о случайном и эпизодическом характере конвергирующей и дивергирующей эволюции, которые проявляются на протяжении истории этих языков. Оно обнаруживает законы единства конвергирующих и дивергирующих явлений (пучок явлений). Таким образом, эволюция славянских языков создает свою типологию, т. е. группирует ряд взаимообусловленных явлений в одно целое.

Давая, с одной стороны, ценный материал для общей лингвистики, а с другой, обогащая историю, в частности, славянских языков, сравнительное изучение решительно отбрасывает бесплодный и ложный метод исследования изолированных фактов. Сравнительное изучение раскрывает основные тенденции развития того или иного

языка и позволяет с большим успехом использовать принцип относительной хронологии, более надежный, чем косвенные хронологические указания отдельных памятников.

*Территориальные группы.* Определение тенденций эволюции различных славянских языков в разные эпохи и сопоставление этих тенденций с другими, засвидетельствованными в эволюции соседних славянских и неславянских языков (например, в угро-финских, немецком, балканских любого происхождения), дают материал для изучения целого ряда важных вопросов, связанных с «региональными объединениями» различного масштаба, к которым разные славянские языки примыкали в ходе своей истории.

#### г) Законы связи явлений лингвистической эволюции

В науках, имеющих дело с эволюцией, к числу которых принадлежит и историческая лингвистика, представление о произвольном и случайном характере возникновения явлений (даже если они реализуются с абсолютной регулярностью) постепенно уступает место понятию связи согласно законам развивающихся явлений (номогенез). Точно так же в объяснении грамматических и фонологических изменений теория конвергирующей эволюции отодвигает на второй план представление о механическом и случайном характере распространения явлений. Последствия этого таковы:

1. *Для распространения языковых явлений.* Распространение языковых явлений, изменяющих лингвистическую систему, не происходит механически, а определяется склонностями воспринимающих эти изменения индивидов; эти склонности проявляются в полном соответствии с тенденциями эволюции. Таким образом, споры о том, имеют ли в данном случае место изменения, распространяющиеся из общего источника, или же факты, являющиеся результатом конвергирующей эволюции, теряют всякое принципиальное значение.

2: *Для проблемы членения общего «праязыка».* Изменяется смысл проблемы членения «общего праязыка». Единство этого языка проявляется лишь в той мере, в какой диалекты оказываются способными развивать общие изменения. Вопросом второстепенного значения, едва ли разрешимым, становится вопрос о наличии общего источника, как отправной точки этих конвергенции. Если конвергенции получают преобладание над дивергенциями, то имеется основание предполагать, правда условно, общий «праязык». Такой же подход позволяет разрешить и вопрос о распаде славянского прототипа. Понятие лингвистического единства, употребленное здесь, является, конечно, только вспомогательным понятием, предназначенным для исторического исследования, и неприемлемо в практической лингвистике. В последней критерием единства языка служит отношение говорящего коллектива к этому языку, а не объективные лингвистические признаки.

## ЗАДАЧИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И СЛАВЯНСКОЙ СИСТЕМЫ В ЧАСТНОСТИ

### а) Исследования, относящиеся к звуковому аспекту языка

*Важность акустической стороны.* Проблема целевой обусловленности фонологических явлений приводит к тому, что в лингвистическом исследовании на первый план выступает не двигательный, а акустический образ, так как именно последний имеет своей целью говорящий.

*Необходимость различать звуки как объективный физический факт, как представление и как элемент функциональной системы.* Регистрация с помощью инструментов объективных акустико-двигательных факторов субъективных акустико-двигательных образов представляет большую ценность, как показатель объективных соответствий лингвистических значимостей. Однако эти объективные факты имеют только косвенное отношение к лингвистике, и их нельзя отождествлять с лингвистическими значимостями.

С другой стороны, субъективные акустико-двигательные образы являются элементами лингвистической системы лишь в той мере, в какой они выполняют функцию различителя значений. Материальное содержание таких фонологических элементов менее существенно, чем их взаимосвязь внутри системы (*структуральный принцип фонологической системы*).

*Основные задачи синхронической фонологии.* К числу этих задач относятся:

1. Характеристика фонологической системы, т. е. составление перечня наиболее простых и значимых акустико-двигательных образов данного языка (фонем). При этом необходимо установить существующие между этими фонемами связи, т. е. наметить структурную схему рассматриваемого языка; в частности, важно определить фонологические корреляции как особый тип значимых различий. Фонологическая корреляция устанавливается рядом противопологающихся фонематических пар, различающихся между собой согласно одному и тому же принципу, который может мыслиться отвлеченно от каждой пары (в русском языке, например, имеются следующие корреляции: ударность — неударность гласных, звонкость — глухость согласных, мягкость — твердость согласных; в чешском: долгота — краткость гласных, звонкость — глухость согласных).

2. Определение сочетаний фонем, встречающихся в данном языке, по сравнению с теоретически возможными сочетаниями этих фонем; определение вариаций в порядке их группировки и степени распространенности этих сочетаний.

3. Установление степени использования и объема реализации данных фонем и сочетаний фонем различной распространенности; равным образом изучение функциональной нагрузки различных фонем и их сочетаний в данном языке.

Важной проблемой лингвистики (в частности лингвистики славянской) является, кроме того, морфологическое использование фонологических различий (или *морфофонология*, сокращенно *морфонология*). *Морфонема* играет первостепенную роль в славянских языках. Это образ, состоящий из двух или нескольких фонем, способных замещать друг друга, согласно условиям морфологической структуры, внутри одной и той же морфемы (например, в русском языке морфонема *к/ч* в комплексе *рук*: *рука*, *ручной*). Необходимо определить строго синхронически как все морфемы, существующие в данном языке, так и место, занимаемое данной морфемой внутри морфемы.

Фонологическое и морфонологическое описание всех славянских языков — насущная проблема славистики.

#### б) Исследование слова и сочетания слов

*Теория лингвистической номинации. Слово.* Слово, рассматриваемое с функциональной точки зрения, есть *результат номинативной лингвистической деятельности*, неразрывно связанной иногда с синтагматической деятельностью. Лингвистика, анализирувшая речевую деятельность как объективный факт механического характера, часто полностью отрицала существование слова. Однако с функциональной точки зрения *самостоятельное существование слова совершенно очевидно*, хотя оно и проявляется в различных языках с разной определенностью и даже может находиться в потенциальном состоянии. Посредством номинативной деятельности языковая деятельность расчленяет действительность (безразлично, внешнюю или внутреннюю, реальную или абстрактную) на элементы, лингвистически определимые.

*Каждый язык имеет свою особую систему номинации:* он употребляет различные номинативные формы, притом с различной интенсивностью, например словообразование, словосложение, застывшие словосочетания (так, в славянских языках, особенно в народной речи, новые существительные образуются большей частью путем словообразования). Каждый язык имеет свою собственную классификацию способов номинации и создает свой особый словарь. Эта классификация определяется, в частности, системой категорий слов, точность, объем и внутренняя структура которой должны изучаться для каждого языка особо. Кроме того, внутри отдельных частных категорий тоже существуют классификационные различия: для существительных, например, категория рода, одушевленности, числа, определенности и т. д., для глагола категория залога, вида, времени и т. д.

Теория номинации частично анализирует те же языковые явления, что и традиционное учение об образовании слов и «синтаксис» в узком смысле слова (значение частей речи и форм слов). Но функциональная концепция позволяет связать разрозненные явления, установить систему данного языка и дать объяснение тому, что

прежний метод мог только констатировать, например объяснить функции временных форм славянских языков.

Анализ форм лингвистической номинации и классификация способов номинации не определяют еще в достаточной мере характер словаря данного языка. Чтобы охарактеризовать его, нужно изучить еще объем и точность значений в лингвистической номинации вообще и в различных категориях номинации в частности; определить понятийные сферы, фиксированные в элементах данного словаря; указать, с одной стороны, роль эмоциональных факторов, а с другой стороны, все возрастающую интеллектуализацию языка; установить, каким образом пополняется словарь (например, заимствования и кальки), т. е. исследовать явления, обычно относящиеся к семантике.

#### в) Теория синтагматических способов

*Сочетание слов*, если речь идет не об устойчивом сочетании, *возникает в результате синтагматической деятельности*. Впрочем, эта деятельность проявляется иногда и в форме отдельного слова. *Основное синтагматическое действие*, создающее вместе с тем и предложение, *выражается предикацией*. Поэтому функциональный синтаксис изучает прежде всего типы сказуемых, учитывая при этом функцию и формы грамматического подлежащего. Функция подлежащего лучше всего может быть выявлена при сравнении современного деления предложения на тему и высказывание с формальным разделением предложения на грамматическое подлежащее и сказуемое (в чешском языке грамматическое подлежащее не столь тематично, как во французском и английском языках; возможное вследствие незастьявшего порядка слов деление чешского предложения на тему и высказывание позволяет избежать противоречия между темой и грамматическим подлежащим, устраняемого в других языках при помощи пассивной конструкции).

Функциональная концепция позволяет *распознать взаимные связи различных синтагматических форм* (ср. связь между тематической природой грамматического подлежащего и развитием пассивной сказуемости) и, следовательно, их единство и концентрацию.

*Морфология (теория системы форм слов и их групп)*. Лексические образования и образования лексических групп, вытекающие из номинативной и синтагматической лингвистической деятельности, группируются в языке в системы формального порядка. Эти системы изучаются морфологией в широком смысле слова, которая существует не как дисциплина, параллельная теории номинации и синтагматической теории (традиционное деление на словообразование, морфологию и синтаксис), а перекрещивается как с той, так и с другой.

*Тенденции, создающие морфологическую систему, имеют двоякое направление*: с одной стороны, они стремятся держать в формальной системе различные формы в зависимости от функций, в



которых проявляется носитель одного и того же значения, а с другой — удержать также и формы носителей различных значений, объединяемых одной и той же функцией. Необходимо установить для каждого языка силу и степень распространения этих тенденций, а также расположение систем, управляемых ими.

Равным образом в характеристике морфологических систем нужно определить силу и степень распространения аналитического и синтетического принципов в выражении различных частных функций.

## ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ

### а) Функции языка

Изучение языка требует в каждом отдельном случае строгого учета разнообразия лингвистических функций и форм их реализации. В противном случае характеристика любого языка, будь то синхроническая или диахроническая, неизбежно окажется искаженной и до известной степени фиктивной. Именно в соответствии с этими функциями и формами изменяется как звуковая, так и грамматическая структура языка и его лексический состав.

1. Необходимо различать *внутреннюю речевую деятельность и выраженную речевую деятельность*. Последняя для большинства говорящих является только частным случаем, так как лингвистические формы чаще употребляются мысленно, чем в речевом процессе. Поэтому не следует обобщать и переоценивать важность для языка чисто внешней звуковой стороны, а нужно принимать во внимание также и потенциальные лингвистические явления.

2. Важным показателем характеристики языка служат *интеллектуальность и аффективность лингвистических проявлений*. Эти показатели либо переплетаются друг с другом, либо один из них господствует над другим.

3. Реализованная *интеллектуализованная речевая деятельность* имеет прежде всего социальное назначение (связь с другими). То же можно сказать и об *аффективной речевой деятельности*, если она стремится вызвать у слушателя известные эмоции (эмоциональная речевая деятельность); кроме того, она служит для выражения эмоции вне связи со слушателем.

*В своей социальной роли* речевая деятельность различается в зависимости от связи с внеморфологической реальностью. При этом она имеет либо *функцию общения*, т. е. направлена к означаемому, либо *поэтическую функцию*, т. е. направлена к самому знаку.

*В функции речевой деятельности как средства общения* следует различать два центра тяготения: один, в котором язык является «ситуативным языком» (практический язык), т. е. использует дополнительный внеморфологический контекст, и другой, где язык стремится образовать целое, насколько возможно замкнутое, с тенденцией

стать точным и полным, используя слова-термины и фразы-суждения (*теоретический язык*, или *язык формулировок*).

Необходимо изучать как те формы языка, где преобладает исключительно одна функция, так и те, в которых переплетаются различные функции; в исследованиях последнего рода основной проблемой является установление различной значимости функций в каждом данном случае.

*Каждая функциональная речевая деятельность имеет свою условную систему* — язык в собственном смысле; ошибочно, следовательно, отождествлять одну функциональную речевую деятельность с языком, а другую — с «речью» (по терминологии Сосеюра), например интеллектуализованную речевую деятельность — с языком, а эмоциональную — с речью.

4. *Формы лингвистических проявлений* следующие: с одной стороны, *устное проявление*, подразделяемое в зависимости от того, видит ли слушающий говорящего или не видит его; с другой — *письменное проявление*; наконец, *речевая деятельность, чередующаяся с паузами, и монологизированная непрерывная речевая деятельность*. Важно определить, каким функциям соответствуют те или иные формы и степень этого соответствия.

Следует систематически изучать *жесты*, сопровождающие и дополняющие устные проявления говорящего при его непосредственном общении со слушателем, жесты, имеющие значение для проблемы лингвистических региональных союзов (например, общие балканские жесты).

5. Важным фактором для подразделения речевой деятельности служат *взаимоотношения говорящих, находящихся в лингвистическом контакте*: степень их социальной, профессиональной, территориальной и родственной связи, их принадлежность к нескольким коллективам, порождающая смешение лингвистических систем в городских языках.

Сюда же примыкают: проблема *межъязыковых связей* (языки, называемые общими), проблема *специальных языков*, проблема *языков, приспособленных для связи с иностранной языковой средой*, а также проблема *распределения лингвистических пластов в городах*.

Необходимо также (даже в диахронической лингвистике) обращать внимание на глубокие взаимовлияния различных лингвистических образований, причем не только с точки зрения территориальной, но и с точки зрения функциональных языков, различных форм лингвистического проявления, определенных языков различных групп и целых языковых групп.

К изучению этой функциональной диалектологии в области славянских языков еще не приступлено; до настоящего времени отсутствуют, например, сколько-нибудь систематические исследования лингвистических средств выражений эффективности; следовало бы незамедлительно приступить также и к изучению языковой дифференциации в городах.

## б) Литературный язык

В образовании литературного языка *политические, социальные, экономические и религиозные условия являются только внешними факторами*; они помогают объяснить, почему данный литературный язык возник именно из определенного диалекта, почему он образовался и утвердился в данную эпоху, но они не объясняют, чем и почему этот литературный язык отличается от языка народного.

Нельзя сказать, что это различие обусловлено исключительно *консервативным характером литературного языка*; если, с одной стороны, он и является в действительности консервативным в своей грамматической системе, то, с другой — он всегда проявляет себя творчески в отношении своего словаря; кроме того, он никогда не представляет только прошедшее состояние данного местного диалекта.

*Особый характер литературного языка* проявляется в той роли, которую он играет, в частности, в выполнении тех высоких требований, которые к нему предъявляются по сравнению с народным языком: литературный язык отражает культурную жизнь и цивилизацию (работу и результат научной, философской и религиозной мысли, политической и социальной, юридической и административной). Эти функции литературного языка способствуют *расширению и изменению* (интеллектуализации) и *его словаря*; необходимость говорить о материях, не имеющих отношения к практической жизни, и о новых понятиях требует новых средств, которыми народный язык не обладает; равным образом необходимость говорить о некоторых предметах практической жизни точно и систематично приводит к созданию слов-понятий и выражений для логических абстракций, так же как и к более точному определению логических категорий посредством лингвистических средств выражения.

*Интеллектуализация языка* вызывается также необходимостью выражать *взаимозависимые и сложные мыслительные операции*; поэтому литературный язык обладает не только выражениями для абстрактных понятий, но и особыми синтаксическими формами (фразы с разного рода придаточными предложениями).

Интеллектуализация литературного языка проявляется *во все возрастающем контроле над эмоциональными элементами* (эвфемизмы).

*С повышенными требованиями* к литературному языку связан и более упорядоченный и нормативный его характер. Литературный язык характеризуется более широким функциональным употреблением лексических и грамматических элементов (в частности, большая лексикализация групп слов и стремление избежать двусмысленностей, а в связи с этим большая точность средств выражения) и избытком социальных лингвистических норм.

Развитие литературного языка предполагает и увеличение роли сознательного вмешательства; последнее проявляется в различных формах реформаторских попыток (в частности, пуризма) в лингви-

стической политике и в более ярко выраженном влиянии лингвистического вкуса эпохи (эстетика языка в своих последовательных изменениях).

Характерные черты литературного языка особенно хорошо представлены в письменных формах языка. Они оказывают сильное воздействие на разговорные формы языка.

Разговорно-литературная форма языка менее отдалена от народного языка, хотя и сохраняет четкие границы. Более удалена от нее монологическая речь, особенно в публичных выступлениях, лекциях и т. д. Ближе всего к народному языку подходит диалогическая речь, образующая целую гамму переходных форм от нормированного литературного языка до языка народного.

Литературный язык обнаруживает две характерные тенденции: с одной стороны, тенденцию к распространению (expansion), стремясь играть роль койнэ, и, с другой — тенденцию к монополюльному положению, являясь вместе с тем *отличительной чертой господствующего класса*. Обе эти тенденции проявляются в характере изменений и сохранении звукового аспекта языка.

Все эти свойства литературного языка следует учитывать как при синхроническом, так и при диахроническом изучении славянских языков. Их исследование не должно строиться по принципу изучения народных диалектов, а тем более ограничиваться рассмотрением только внешних условий жизни и эволюции литературного языка.

### в) Поэтический язык

Поэтический язык долгое время оставался областью, которой лингвистика пренебрегала, и только совсем недавно было положено начало углубленному изучению его основных проблем. Это можно сказать и о большинстве славянских языков, тоже не изученных до сих пор с точки зрения поэтической функции. Правда, историки литературы время от времени затрагивали эти проблемы, но, не имея достаточной подготовки в области лингвистической методологии, впадали в ошибки. Естественно, что без устранения этих ошибок успешное изучение частных явлений поэтического языка невозможно.

1. *Разработка основ синхронического описания поэтического языка* должна стремиться освободиться от ошибок, заключающихся в отождествлении языка поэтического с языком общения. Поэтическая речевая деятельность с точки зрения синхронической принимает форму речи, т. е. индивидуального творческого акта, приобретающего свою значимость, с одной стороны, на основе современной поэтической традиции (поэтический язык), а с другой — на основе современного языка общения. Взаимоотношения поэтического творчества с этими двумя лингвистическими системами крайне сложны и разнообразны, почему их необходимо исследовать как с точки зрения диахронии, так и с точки зрения синхронии. Специфические свойства поэтической речевой деятельности проявляются в отклоне-

нии от нормы, причем характер, тенденция и масштаб этого отклонения очень различны. Так, например, приближение поэтической речи к языку общения может быть обусловлено противодействием существующей поэтической традиции; четкие в известные периоды времени взаимоотношения поэтической речи и языка общения в другие периоды как бы не ощущаются вовсе.

2. Различные стороны поэтического языка (например, морфология, фонология и т. д.) настолько тесно связаны друг с другом, что изучение одной из них без учета других, как это часто делали историки литературы, невозможно. *В соответствии с положением о том, что поэтическое творчество стремится опереться на автономную ценность языкового знака, вытекает, что все стороны лингвистической системы, играющие в деятельности общения только подсобную роль, в поэтической речевой деятельности приобретают уже самостоятельную значимость. Средства выражения, группируемые в этом аспекте, равно как и их взаимоотношения, стремящиеся в деятельности общения автоматизироваться, в поэтическом языке стремятся, наоборот, к актуализации.*

Степень актуализации различных элементов языка в каждом данном отрезке поэтической речи и в поэтической традиции различна, чем и объясняется специфическая для каждого случая градация поэтических ценностей. Естественно, что отношение поэтической речи к поэтическому языку и к языку общения является в функции различных элементов каждый раз иным. Поэтическое произведение — это функциональная структура, и различные элементы ее не могут быть поняты *вне связи с целым*. Элементы объективно тождественные могут приобретать в различных структурах совершенно различные функции.

В поэтическом языке акустические, двигательные и графические элементы данной речевой деятельности, не применяемые в ее фонологической системе и графическом эквиваленте, могут актуализироваться. Однако бесспорно, что фонетические особенности поэтической речевой деятельности находятся в связи с фонологией языка общения и *только с фонологической точки зрения можно раскрыть фонетические принципы поэтических структур*. Под поэтической фонологией понимаются особенности употребления фонологического инвентаря в сравнении с языком общения, принципы сочетания фонем (особенно в sandhi), повторения сочетаний фонем, ритм и мелодия.

Язык стихов характеризуется особой иерархией ценностей; *ритм* является организующей основой, с которой тесно связаны другие фонологические элементы стиха: мелодическая структура, повторение фонем и групп фонем. Эта комбинация различных фонологических элементов с ритмом порождает канонические приемы стиха (ритм, аллитерация и т. д.).

Ни акустическая точка зрения, ни двигательная точка зрения, независимо от того, будут ли они субъективными или объективными, не могут служить основой для разрешения проблем ритма; они могут

быть разрешены лишь сточки зрения фонологической, устанавливающей разницу между фонологической основой ритма, внеграмматическими сопровождающими элементами и автономными элементами. Только на фонологической основе можно сформулировать законы сравнительной ритмики. Две ритмические структуры, по виду тождественные, но принадлежащие двум различным языкам, могут быть по существу различны, если они образованы из элементов, играющих разную роль в фонологической системе каждого из языков.

*Параллелизм* звуковых структур, реализуемый рифмой стиха, составляет один из наиболее продуктивных приемов для актуализации различных лингвистических аспектов. Художественное сопоставление сходных между собой звуковых структур выявляет сходства и различия синтаксических, морфологических и семантических структур. Даже рифма не представляет собой абстрактно фонологического явления. Она вскрывает морфологическую структуру и тогда, когда подчеркиваются схожие морфемы (грамматическая рифма), и тогда, когда, наоборот, этого сопоставления нет. Рифма тесно связана также с синтаксисом (элементы синтаксиса, выделяемые и противопоставляемые в рифме) и с лексикой (важность слов, выделяемых рифмой, и степень их семантического родства). Синтаксические и ритмические структуры находятся в тесной связи независимо от того, совпадают или не совпадают их границы. Самостоятельная значимость этих двух структур выделяется в том и в другом случае. И ритмическая структура и структура синтаксическая оказываются акцентированными в стихах не только посредством форм, но также и ритмико-синтаксическими отклонениями. Ритмико-синтаксические фигуры имеют характерную интонацию, повторение которой составляет мелодическое движение, изменяющее обычную интонацию языка общения; тем самым вскрывается автономная значимость мелодических и синтаксических структур стиха.

*Словарь поэзии* актуализируется таким же образом, как и другие стороны поэтического языка. Он выделяется либо из существующей поэтической традиции, либо из языка общения. Неупотребительные слова (неологизмы, варваризмы, архаизмы и т. д.) имеют поэтическую значимость, поскольку они отличаются своим звуковым действием от обычных слов языка общения, которые вследствие своего частого употребления воспринимаются не во всех своих деталях звукового состава, а целиком; кроме того, неупотребительные слова обогащают семантическое и синтаксическое многообразие поэтического словаря. В неологизме бывает актуализирован, в частности, морфологический состав слова. Что касается отбора самих слов, то в словарь вносятся не только неупотребительные и редкие слова, но и целые лексические пласты, которые своим вторжением приводят в движение весь лексический материал поэтического произведения.

Неограниченную возможность поэтической актуализации представляет *синтаксис* благодаря его многообразным связям с другими аспектами поэтического языка (ритмика, мелодическая и семантиче-

екая структура). Особое значение приписывается именно тем синтаксическим элементам, которые редко употребляются в грамматической системе данного языка; например, в языках с изменчивым порядком слов последний несет основную функцию в поэтическом языке.

3. *Исследователь должен избегать эгоцентризма, т. е. анализа и оценки поэтических явлений прошлого и других народов с точки зрения своих собственных поэтических навыков и художественных норм, привитых ему воспитанием.* Впрочем, художественное явление прошлого может сохраниться или возродиться как активный фактор в другой среде, стать неотъемлемой частью новой системы художественных ценностей, причем, естественно, его функция изменяется; самое явление также подвергается соответствующему изменению. Однако история поэзии не должна переносить в прошлое это явление в его измененном виде, а должна восстановить его в первоначальной функции в рамках системы, внутри которой он зародился. Для каждой эпохи нужно иметь ясную, присущую ей классификацию специальных поэтических функций, т. е. перечень поэтических жанров.

4. С точки зрения методологической менее всего разработана *поэтическая семантика* слов, фраз и композиционных единиц любого размера. Не изучалось также и разнообразие функций, выполняемых тропами и фигурами. Кроме троп и фигур, представленных как прием красноречия автора, не менее важными и, однако, слабее всего изученными являются объективные семантические элементы, перенесенные в поэтическую реальность и объединенные построением сюжета. Так, например, метафора представляет собой сравнение, перенесенное в поэтическую реальность. Сам сюжет представляет семантическую композицию, а поэтому проблемы структуры сюжета не могут быть исключены из изучения поэтического языка.

5. Вопросы, связанные с поэтическим языком, играют в исследованиях истории литературы в большинстве случаев подчиненную роль. *Организирующий признак искусства, которым последнее отличается от других семиологических структур, — это направленность не на означаемое, а на самый знак.* Организующим признаком поэзии служит именно направленность на словесное выражение. Знак является доминантой в художественной системе, и если историк литературы имеет объектом своего исследования не знак, а то, что им обозначается, если он исследует идейную сторону литературного произведения как сущность независимую и автономную, то тем самым он нарушает иерархию ценностей изучаемой им структуры.

6. Имманентная характеристика эволюции поэтического языка часто подменяется в истории литературы характеристикой истории социологических и психологических идей, т. е. использованием явлений, чужеродных по отношению к изучаемому явлению. Вместо изучения отношений причинности между разнородными системами *нужно изучать поэтический язык как таковой.*

Поэтические нормы славянских языков дают ценный материал для сравнительного изучения, так как существование дивергентных структуральных явлений показывается здесь на основе многочисленных конвергентных явлений. Нашей неотложной задачей является сейчас установление сравнительной ритмики и эвфонии славянских языков, сравнительной характеристики славянских рифм и т. д.

## ПРИНЦИПЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И СВЯЗЬ С НЕЮ НА СЛАВЯНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

а) *Определение пространственных (или временных) границ* отдельных языковых явлений представляет собой *необходимое условие метода лингвистической географии* (или истории языка); однако этот метод не следует превращать в самоцель.

Нельзя понимать территориальную локализацию лингвистических явлений как анархию отдельных автономных изоглосс. Рассмотрение изоглосс показывает, что некоторые из них могут быть связаны в пучки, что позволяет определить как источник или центр распространения группы лингвистических новшеств, так и периферические области этого распространения.

Изучение изоглосс, перекрывающих друг друга, показывает, какие лингвистические явления находятся *в регулярной связи*.

Наконец, сравнение изоглосс представляет собой основную проблему географической лингвистики, именно проблему *научного определения лингвистических ареалов* или разделения языка на зоны согласно наиболее рациональным принципам этого деления.

б) Если ограничиться явлениями, входящими в лингвистическую систему, то можно констатировать, что *изолированные изоглоссы являются, так сказать, фикциями*, так как явления, внешне тождественные, но принадлежащие двум разным системам, функционально могут различаться (например, и может иметь в различных украинских диалектах разную фонологическую значимость; в тех языках, где согласные смягчаются перед *i* <о, *и* и *ы* являются вариантами одной и той же фонемы; там же, где они не смягчаются, они представляют две различные фонемы).

Лингвистическое истолкование изолированных изоглосс невозможно, так как лингвистическое явление как таковое, а также и его генезис и распространение не могут быть поняты без учета системы.

в) Подобно тому как в истории языка допустимо сопоставление разнородных эволюционных явлений, так и *территориальное распространение лингвистических явлений может быть сопоставлено с другими географическими изолиниями*, в особенности с антропогеографическими (границы распространения явлений, относящихся к экономической и политической географии или к материальной и духовной культуре), а также с изолиниями физической географии (изолинии почвы, растительности, климата, геоморфологические явления).



При всем этом не следует пренебрегать частными условиями той или иной географической единицы; так, например, сопоставление лингвистической географии с геоморфологией, необычайно плодотворное в условиях Европы, на восточнославянской территории имеет значительно меньшее значение, чем сопоставление изоглосс с климатическими изолиниями. Сопоставление изоглосс с другими антропогеографическими изолиниями возможно как с точки зрения синхронической, так и с точки зрения диахронической (данные исторической географии, археологии и т. д.); однако эти точки зрения не должны смешиваться.

*Сопоставление разнородных систем может быть плодотворным только в том случае, если сравниваемые системы рассматриваются как эквивалентные; если же установить между ними механическую причинную связь и выводить явления одной системы из явлений другой, то синтетическое сочетание данных систем будет искаженным и научный синтез окажется подмененным односторонним суждением.*

г) При составлении карты лингвистических или этнографических явлений следует учитывать, что *распространение рассматриваемых явлений не покрывает генетического родства лингвистического или этнического порядка* и занимает часто более обширную территорию.

## ПРОБЛЕМЫ МЕТОДА СЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Изучение происхождения отдельных слов и изменения их значения необходимо как для лексикологии в узком смысле слова, так и для общей психологии и истории культуры; однако это изучение не образует лексикологии как науки о словарном составе языка. Он не является простым конгломератом некоего количества отдельных слов, напротив, это сложная лексическая система, в которой все слова без исключения тем или иным образом связаны друг с другом или противопоставляются друг другу.

Значение слова определяется прежде всего его отношением к другим словам, т. е. его местом в лексической системе; определение же места слова в лексической системе возможно только после изучения *структуры* данной системы. Этим изучением и нужно заняться в первую очередь, тем более что до последнего времени слова как части лексических систем и как проявление структуры данных систем почти не изучались. Многие лингвисты полагали, что в противоположность морфологии, образующей строгую систему, словарь представляет из себя хаос, в котором, пользуясь алфавитом, можно навести только чисто внешний порядок. Это очевидное заблуждение. Правда, лексические системы намного сложнее и шире систем морфологических, так что лингвистам вряд ли удастся когда-либо представить их с такой же ясностью и точностью, как последние; однако *если слова действительно противопоставлены друг другу или взаимосвязаны, то они образуют системы, формально аналогичные системам морфологическим, и, следовательно, тоже могут изучаться лингви-*

*стами*. В этой области, еще мало разработанной, лингвист должен работать не только над исследованием самого материала, но и над разработкой правильных методов.

Каждый язык в каждую эпоху обладает своей особенной лексической системой. Но оригинальный характер каждой из этих систем выступает с особенной ясностью только при сопоставлении одной системы с другой. Большой интерес в этом отношении представляют языки, находящиеся в тесном родстве, так как именно при наличии большого сходства лексического материала индивидуальные признаки структуры различных систем выявляются с наибольшей ясностью. В этом отношении славянские языки предоставляют такие удобные и благоприятные условия для исследований, каких почти нет в других языках.

### ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ И КРИТИКИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Под культурой языка понимается выраженная тенденция языка к *развитию в литературном языке (как разговорном, так и книжном) качества, требуемых его специальной функцией*.

Первым из этих качеств является устойчивость; литературный язык должен избегать всяких бесполезных отклонений и получить точное лингвистическое определение; вторым качеством является *способность передавать ясно и точно, со всеми тонкостями, без напряжения, самые разнообразные оттенки*; третье качество — это *оригинальность языка*, т. е. подчеркивание признаков, придающих ему специфический характер. Развивая эти качества, приходится принимать одну какую-либо из различных возможностей, существующих в языке, или же превращать скрытую тенденцию языка в намеренно используемые средства выражения.

Что касается произношения, то из вышеуказанных основных качеств вытекает необходимость установить определенное произношение там, где еще допускается сосуществование нефункциональных вариантов (например, в чешском *sh* имеет двойное произношение — *sch* или *zh*: *shoda* и т. д.; *ě* в сербском — тройное: *ije*, *je* или *e*).

*Орфография*, являясь продуктом чистой условности и практики, должна быть легкой и ясной в той мере, в какой это позволяет ее функция зрительного различения. Частое изменение орфографических правил, особенно если это не служит их упрощению, находится в противоречии с принципом устойчивости. Однако в тех случаях, где орфографические несоответствия исконных и иностранных слов вызывают колебания в произношении (например, чешское *s* в иностранных словах имеет двойную значимость — *s* и *z*), они должны быть устранены.

*В номинативных формах* нужно учитывать индивидуальность языка, т. е. не следует при отсутствии настоятельной необходимости в этом использовать неупотребительные или малоупотребительные в языке формы (например, в чешском составные слова). Что

касается *источников пополнения словаря*, то лексическому пуризму нужно противопоставить стремление к максимальному обогащению словаря и его стилистическому разнообразию; однако наряду с богатством словаря нужно добиваться также точности его смысла и устойчивости там, где этого требует функция литературного языка.

В области *синтаксиса* необходимо стремиться не только к индивидуальной лингвистической экспрессивности, но и к богатству возможных дифференциаций значений. Таким образом, с одной стороны, следует выделять черты, свойственные данному языку (глагольное выражение в чешском языке), а с другой — нельзя из-за синтаксического пуризма уменьшать число такого рода возможностей, которые в зависимости от функции языка (номинальная конструкция в юридическом и других технических языках) находят свое подтверждение даже в синтаксисе.

Для индивидуальной экспрессивности языка морфология имеет значение только в своей общей системе, но не в частностях. Поэтому с функциональной точки зрения она не играет той роли, какую приписывали ей пуристы старого типа. Необходимо, следовательно, следить за тем, чтобы бесполезные морфологические архаизмы не увеличивали без надобности расстояния, существующего между книжным и разговорным языком.

Очень важен для культуры языка упорядоченный разговорный язык. Он представляет собой источник, к которому всегда можно обращаться для оживления книжного языка.

Как и разговорный литературный язык, книжный литературный язык тоже служит средством для выражения умственной жизни. При этом он заимствует многое из ценностей в данной области культуры у других языков; естественно поэтому, что общность этой культуры отражается в литературном языке и было бы неправильно бороться против этого во имя чистоты языка.

*Забота о чистоте языка* находит свое отражение в культуре языка, как это и вытекает из предыдущих объяснений, но всякий преувеличенный пуризм вредит истинной культуре письменного языка независимо от того, какой это пуризм: с логическими, историческими или народническими тенденциями.

### КУДА МЫ ПРИШЛИ В ЯЗЫКОЗНАНИИ<sup>1</sup>

В истории каждой науки бывают переходные времена, возбуждающие в современных деятелях чувство тревожной неопределенности. Это вызывается тем, что в такие периоды ослабевает плодотворность традиционных методов и утрачивается вера в их надежность. Однако вместе с тем множатся попытки найти новую базу для дальнейшего научного исследования, хотя уверенность в успехе появляется лишь со временем, так как единственное доказательство правильности новых методов — положительные результаты — достигается, как правило, медленно. Для надежной ориентации в такие переходные периоды необходимо тщательно выяснять современное состояние научной теории и практики.

Все черты нового переходного периода появляются в языкознании с начала двадцатого столетия. Это факт, который не может игнорировать никто из лингвистов, по-настоящему размышляющих над основными проблемами своей науки. Поскольку мы пришли к этому убеждению, то напрашивается все-таки вопрос, можем ли мы уже чувствовать под ногами новую почву и близится ли к концу переходный период, переживаемый языкознанием. Чтобы можно было ответить на этот вопрос, следует рассмотреть современное состояние лингвистических исследований в исторической перспективе.

Никто не может отрицать, что в девятнадцатом веке центром языкознания была Германия. Новые лингвистические положения находили там наибольший отклик, а новые методы лингвистических исследований использовались там с удивительной последовательностью. Хотя и в других странах в то время были выдающиеся лингвисты, внесшие большой вклад в общее развитие своей науки и часто прокладывающие новые пути своими новаторскими идеями, но нигде языкознание не развивалось столь органически и столь связно, как в Германии. Именно поэтому на развитии языкознания в Германии лучше всего можно показать движение основных идей, определявших прогресс лингвистических исследований, и оценить актуальное значение основывающихся на них методов.

<sup>1</sup> V. Mathesius, Kam jsme dospěli v jazykozpytu, «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947. Перевод Н. А. Кондрашева.

В немецком языкознании сосуществовали две различные теоретические и методические точки зрения, опирающиеся на двойное понимание задач, разрешаемых языкознанием, и путей, ведущих к этому решению. Одним из таких взглядов был исторический и генетический. То обстоятельство, что знакомство с санскритом пришло в Европу в конце XVIII в., существенным образом способствовало появлению этого взгляда, но не было его необходимым условием. Для немецкого основоположника этого направления Франца Боппа санскрит был весьма важным материалом, но его датский соратник Расмус Раск самостоятельно пришел к тождественным проблемам и сходным методам, хотя и не опирался на древнеиндийский язык. Оба названных основателя сравнительного языкознания исходили из того факта, что индоевропейские языки являются в генетическом отношении родственными друг другу, и были убеждены, что путем сравнения их древнейших форм можно прийти к более глубокому познанию грамматических явлений.

Бопп и Раск занимались морфологией индоевропейских языков и стремились разрешить ее проблемы сравнительным методом. Для них морфология имела задачей освещение грамматических фактов одного языка посредством грамматических фактов другого, родственного первому, языка. Последующее развитие исторического и генетического направления было связано с изменением обеих его сторон. Сравнительная фонетика стала центральной частью сравнительной грамматики вместо сравнительной морфологии, а сравнительный метод получил новые задачи. Языковеды уже не удовлетворяются тем, чтобы посредством сравнительного метода объяснять грамматические факты родственных друг другу языков; возникает надежда, что им этим путем удастся реконструировать незасвидетельствованные древние формы, которые можно было бы рассматривать в качестве общего источника засвидетельствованных сравниваемых форм. Итак, в этот период развития, важнейшим представителем которого является Август Шлейхер, в сравнительно-историческом направлении подчеркивалась генетическая и даже палеонтологическая тенденция.

Высший этап в развитии этого направления был ознаменован деятельностью младограмматической школы. Важнейшие положения этой школы гласили, что фонетические изменения управляются фонетическими законами, каждый из которых действует без исключений в пределах данного языка, в данный отрезок времени. На базе этой идеи начался новый этап сравнительно-исторических исследований, результаты которых поражали богатством и точностью. Кто нуждается в перечне имен, пусть вспомнит Карла Бругманна и его обширный компендиум, в двух изданиях которого сосредоточены основные итоги работы младограмматиков.

Это общеизвестные вещи, и я кратко напоминаю о них здесь по двум специальным причинам. Во-первых, мне хочется перейти к общей характеристике сравнительно-генетического направления, ибо его основная идея проявилась у младограмматиков в наибо-

лее зрелом и чистом виде. Сравнительный метод применяется здесь лишь в кругу родственных языков, чтобы, с одной стороны, объяснить возникновение грамматических фактов одного языка посредством грамматических фактов другого, родственного ему, языка, а с другой — чтобы путем сравнения древнейших форм родственных языков реконструировать их общий, гипотетический источник. Интерес исследователей сосредоточивается на исторической фонетике и исторической морфологии, рассматриваемой лишь как практическое применение фонетики. Историческое изучение считается единственным научным методом лингвистической работы; даже если изучаются живые диалекты, то итоги этого изучения используются преимущественно для решения исторических проблем. Хотя иногда и отмечается, что язык представляет собой систему знаков, но поскольку изучаются лишь изолированные языковые факты, постольку единственно исторический метод мешает осознанию важности языковой системы. Изоляция отдельных языковых явлений препятствует также пониманию важной роли, которой обладает в языке функция. Подобные односторонние тенденции не вызывали в младограмматической школе возражений и противодействия, поскольку период ее успехов характеризовался необычайным безразличием к вопросам общего языкознания.

Эти принципы и тенденции младограмматической школы встречали с начала двадцатого столетия в среде лингвистов растущее сопротивление. Однако стремление заменить младограмматическую теорию другой лингвистической теорией не может ограничиваться только идейной стороной. Я дал выше краткую характеристику младограмматического направления также и потому, чтобы указать, что оно может быть заменено лишь новым лингвистическим направлением, которое по крайней мере сравнялось бы с ним в отношении плодотворности и точности.

Памятуя об этой необходимости, обратимся теперь ко второму главному лингвистическому направлению, которое можно проследить в истории немецкого языкознания XIX в. Это направление не развивалось столь органически, как направление генетическое и историческое, поэтому порой на него не обращают внимания или вообще забывают. Примером этого отношения может служить книжка известного датского языковеда В. Томсена, вышедшая в 1927 г. в немецком переводе в Галле под названием «История языкознания». Возникновение этого направления тесно связано с именем Вильгельма Гумбольдта; мы можем назвать его аналитическим направлением, Я не буду касаться здесь философской стороны творчества Гумбольдта и того, что часто именуется мистической системой Гумбольдта. Нас интересуют языковедческие проблемы, а в этом отношении творчество Гумбольдта характеризуется особенностями, находящимися в остром противоречии с тем, с чем мы познакомились при описании генетического и исторического направления. Гумбольдт много занимался так называемыми примитивными языками, и его целью было стремление углубить общие принципы лингвистического ис-

следования. Именно поэтому он мало интересовался историческим развитием языка, а сравнивал различные языки с чисто аналитической точки зрения, не обращая внимания на их генетическое родство. Мысль о том, что анализировать язык означает анализировать деятельность (*energeia*), а не результат деятельности (*ergon*), хотя и помогла ему понять значение функции в языке, но вместе с тем принуждала его слишком высоко оценивать психологическую точку зрения. Он живо чувствовал особый характер каждого языка и был способен быстро отмечать его особенности. Тем самым он еще тогда подготавливал современную лингвистическую характерологию, но отчетливость соответствующих лингвистических проблем, к сожалению, затемнялась его стремлением выводить характер языка из характера говорящего им народа. Благодаря всему этому Вильгельм Гумбольдт, который стоит наряду с Францем Боппом на пороге языкознания, не разработал методов, достаточно ясных и достаточно точных для синхронической функциональной лингвистики, хотя основные ее положения содержатся в его работах.

В довершение всего методические ошибки Гумбольдта повторялись его последователями вплоть до начала XX в. Последние находим у Г. Штейнталя и его группы во второй половине XIX в. и у Ф. Н. Финка в конце века и в начале двадцатого столетия. Вследствие этого труды Штейнталя и Финка не стали базой новой лингвистической ориентации, хотя труды обоих ученых содержат черты, которые были предназначены стать их характерными приматами. И Штейнталь, и Финк с интересом изучали неиндоевропейские языки; подобная работа вела их к аналитическому сравнению языков и к их синхронному анализу и оценке роли, которую имеет в языке функция.

Идеи аналитического направления могли бы стать плодотворными в развитии языкознания, если бы их авторы смогли ясно и чисто лингвистическим способом сформулировать последние и на базе их создать точные исследовательские приемы. Этого не случилось; ни Штейнталь, ни Финк не стали творцами нового языкознания, а остались лишь его предшественниками.

Мы приблизились к рубежу, когда необходимо обратиться к языковедческой ситуации и за пределами Германии. Вначале следует отметить, что, помимо обоих главных лингвистических направлений, которые мы прослеживали в Германии, т. е. направлений Боппа и Гумбольдта, как в Германии, так и за ее пределами всегда работали выдающиеся языковеды, сохранившие в лингвистических исследованиях в противовес преобладающему направлению свою собственную независимую точку зрения, и что разные причины поддерживали подобную самостоятельность лингвистического мышления. Так, из области фонетики, работая синхронным методом и используя аналитическое сравнение, Генри Свит перенес подобный подход на научный анализ языка вообще. Благоприятное положение романиста, для которого источник романских языков дан в вульгарной латыни, и преимущества стран, в которых сталкиваются

языки различного характера, позволили Гуго Шухардту сохранить собственное отличное мнение и в период наивысшего расцвета младограмматической школы. Свойственное Иосефу Зубатому тонкое художественное понимание мельчайших оттенков позволило ему оценить даже и незначительные языковые факты и привело к сомнению относительно многих положений, рассматриваемых прочими языковедами как устоявшиеся. К этим трем именам можно было бы присоединить множество других, в особенности если поискать представителей независимого исследовательского типа и среди лингвистов, которые, к счастью, до сих пор живы и работоспособны. Все эти самостоятельно мыслящие лингвисты способствовали тому, что обстановка в языкознании в наше время созрела к принятию новых идей, которые позволили бы ему прийти к новым результатам. Мы замечаем у них возрастающий интерес к проблемам общего языкознания, огромное недоверие к излишней механистичности младограмматического мышления и живой интерес к индивидуальному характеру конкретного языка как системы, что уже само по себе ведет к ослаблению чисто исторических методов. Все это по преимуществу черты, противоречащие отточенным генетическим понятиям и приближающиеся к пониманию, названному мною аналитическим. И, несмотря на это, нас постигнет разочарование, если мы будем искать в трудах этих выдающихся лингвистов надежную базу нового этапа языковедческих исследований. Это труды, богатые правильными наблюдениями и плодотворными идеями, но в них нет (об исключениях мы сейчас выскажемся) теории, в достаточной степени точной и многообещающей, которая могла бы стать живительной основой чего-то нового.

Исключением являются два лингвиста, один из Восточной Европы, другой из Западной, выдающиеся представители того, что мы назвали типом независимого лингвистического исследователя. В богатом идеями языковедческом творчестве И. Бодуэна де Куртене (см. некролог Щербы в «Известиях по русскому языку», III, 1930, стр. 311 и след.) выдающуюся роль играет понятие функции. Бодуэн подчеркнул роль, которой обладает в данном языке звук и которая не тождественна с его физиологическим характером, и создал понятие фонемы, принадлежащее к основам современной лингвистики. Однако он не смог из своей новаторской концепции сделать все выводы для лингвистического метода и лингвистической системы, ибо был введен в заблуждение изменчивым светом психологии и слишком большое внимание уделял факту постоянного изменения в языке.

Что не увидел Бодуэн, то отчетливо отметил Фердинанд де Соссюр. Выдающийся швейцарский лингвист стал строго различать в языкознании диахроническую (динамическую) и синхронную (статическую) точку зрения, и эту идею в ее методическом значении трудно переоценить. Те, которые подобно Бодуэну постоянно подчеркивают изменчивость языковых явлений, возражают против строгого понимания синхронии, хотя в методическом отношении без



него обойтись невозможно, ибо иными путями мы никогда не расположим факты изучаемого языка в одной плоскости. Противоречие между требованием синхронного анализа и непрерывным изменением речи я попытался в 1911 г. снять теорией потенциальности языковых явлений, которая, собственно, предшествует учению структуральной лингвистики о фактах языковой системы и их различной реализации в речи. Разграничение диахронической и синхронной точек зрения не является, однако, единственным вкладом де Соссюра в новую лингвистику. Синхронная точка зрения позволила ему также установить, что элементы, существующие в данном языке в данную эпоху, образуют систему, члены которой друг с другом тесно связаны. Естественно, что даже Фердинанд де Соссюр не продумал свое учение до конца и что нельзя согласиться со всем, что содержится в его знаменитом «Курсе общей лингвистики», изданном в 1916 г. после смерти учителя его учениками. Однако обе главные идеи де Соссюра, требование синхронного анализа языка и идея языковой системы, языковой структуры, вместе с идеей языковой функции, выдвинутой Бодуэном еще до Соссюра, несомненно, являются основными опорными пунктами при построении новой лингвистики. Эти идеи в значительной степени противоречат тому, что является сущностью теории и особенно практики младограмматиков, но они могут быть базой строгого лингвистического исследования. Речь идет о их научной плодотворности, ибо история идей Гумбольдта в Германии показывает, что в языкознании, как ни в одной науке, для развития исследований недостаточно лишь правильных наблюдений. Удовлетворительных результатов в тщательном анализе сложных языковых явлений можно достигнуть сотрудничеством многих исследователей, а подобное сотрудничество возможно лишь тогда, когда будет создана теоретическая и методическая база, на которую в принципе могут опираться все. Именно такая общая теоретическая и методическая база сделала генетическую теорию столь плодотворной в исследовательском отношении. Функциональная и структуральная точки зрения, основанные на идеях Бодуэна де Куртене и Фердинанда де Соссюра, ныне являются единственной теорией, предоставляющей для будущего языкознания такую плодотворную базу. Она соединяет в себе гумбольдтовскую свежесть наблюдений с бопповской строгостью и методической точностью.

**КОПЕНГАГЕНСКИЙ СТРУКТУРАЛИЗМ И «ПРАЖСКАЯ ШКОЛА»<sup>1</sup>**

Вторая мировая война чувствительно коснулась международных лингвистических связей, которые так многообещающе развивались. Новые взаимоотношения устанавливаются медленно. При этом происходит сопоставление различных точек зрения, которые развивались независимо друг от друга. Поэтому будет полезно, если мы рассмотрим взгляды копенгагенского профессора Луи Ельмслева и его школы и сопоставим их со взглядами, которые в настоящее время характерны для пражских структуралистов.

После смерти В. Брёндаля Ельмслев является главой датского общего языкознания, которое он значительно превосходит своим значением.

Датское общее языкознание всегда развивалось в дружеских взаимоотношениях с пражской лингвистической школой, тем не менее у них были определенные различия во взглядах. Пражские лингвисты хотя, по-видимому, и не имеют общей точки зрения, но тем не менее представляют известное единство. В силу этого сравнение двух этих школ может быть полезным. Исходным для нас является последняя фаза развития пражской лингвистической мысли.

Поводом для написания этой статьи послужило следующее:

1. Прежде всего совершенно бесспорно, что лингвистический метод, проповедуемый Л. Ельмслевым, получает все большее распространение как у себя на родине, в Дании, так и за границей. В этой связи можно процитировать высказывание В. Милевского, который в своей книге «Очерк общего языкознания» провозглашает Ельмслева самым крупным из современных лингвистов.

2. Ельмслев всегда считал себя структуралистом и всегда говорит от имени структурализма. Таким образом, встает вопрос: адекватен ли структурализм Ельмслева пражскому структурализму? Если нет, то встает другой вопрос: кто является подлинным структуралистом — Ельмслев или Пражский лингвистический кружок?

<sup>1</sup> V. Skalička, Kadaňsky structuralismus a «pražska škola» «Slovo a Slovesnost», т. X, 1948, № 3. Сокращенный перевод с чешского А. Г. Широковой.

3. В «Известиях отделения литературы и языка АН СССР» (1947, VI, 2, стр. 115 и др.) вышла статья Н. С. Чемоданова «Структурализм и советское языкознание». Эта статья свидетельствует о явно недостаточном знании материала. Под общее наименование структурализма автор подводит работы пражского лингвистического кружка, насколько они ему известны, работы Брёндаля, Ельмслева и Бенвениста. Является ли правильным для всех этих работ одно общее наименование?

4. Современное положение таково, что позиции младограмматиков окончательно оставлены. Новые направления борются между собой, и нужно, чтобы в этой борьбе каждое направление определило свое отношение не только к младограмматизму, как это обычно делалось до недавнего времени, но также и прежде всего к другим направлениям. В своей статье мы разберем эти отношения. Чтобы лучше понять проблемы, о которых идет речь, мы должны вернуться к Фердинанду де Соссюру, к его «Курсу общей лингвистики». Именно Ельмслев постоянно возвращается к этой основополагающей книге женевского учителя.

В данном случае имеются в виду два противопоставления, которые де Соссюр ввел или, вернее сказать, вернул в языкознание. Это противопоставление *langue* и *parole* (т. е. «языка» и «речи») и противопоставление *signifiant* и *signifie* (т. е. «означающего» и «означаемого»). Эти противопоставления совершенно бесспорны и мало кто их отрицает. Однако после прочтения книги Соссюра становится очевидным, что нужно сожалеть о том, что он не мог сам подготовить к печати издание своих лекций (они вышли после его смерти). Он не мог предвидеть, как подробно будут разбираться его взгляды. А в его объяснениях мы находим ряд непоследовательностей и неясностей. Это обнаруживается прежде всего в противопоставлении *langue* и *parole*. В одном месте мы читаем (стр. 37), что «язык» (*langue*) — это совокупность наших навыков, а в другом (157), что «язык» (*langue*) — это форма, а никоим образом не субстанция. Также неясно и противопоставление «означающего» и «означаемого» (*signifiant* и *signifie*). Означаемое, говорит Соссюр, — это не *la chose* («вещь»), но только *le concept* («понятие») (98). Таким образом, остается неясным отношение знака к действительности.

Идеи Соссюра были развиты затем, как известно, тем направлением, которое называют структурализмом. Фонология, т. е. структуральная фонетика, стала вскоре общепринятой наукой. Здесь нет необходимости объяснять, что значит для языкознания фонология и что она ему принесла. Напротив, посмотрим на то, чего она ему не дала.

Фонология совершенно правильно подчеркивает всегда свой функциональный характер. Но что она дает для решения вопросов семасиологических, т. е. для решения основных, почти жизненно необходимых вопросов современного языкознания? Скажем прямо — почти ничего. И это вполне естественно. Фонема, в отличие от единиц более высокого уровня, как например морфемы, слова, предло-

жения и т. д., является единицей, не имеющей значения. Функцией фонемы является создание морфем, слов, предложений и т. д. Поэтому вся фонология построена на проблеме «означающего» (signifiant). Все проблемы знака здесь, собственно, отодвинуты в сторону. Поэтому во взглядах на фонологию среди структуралистов существует относительное согласие. Даже Ельмслев и Ульдалль, которые в так называемой фонематике, а позже в глоссематике задались целью преобразовать фонологию, вовсе не намеревались изменять ее до основания. Они хотели лишь сделать ее более точной посредством перенесения в область чистых отношений.

При переходе от фонологии к проблемам языка вообще нас начинает покидать то единомыслие, которое было нам свойственно. Пути отдельных исследователей расходятся. Если сравнить результаты работы пражских лингвистов и школы Ельмслева, мы увидим, что Ельмслев и его последователи дали большое количество теоретических работ, в то время как в Праге велась работа прежде всего над конкретными вопросами. Поэтому по работам пражских языковедов иногда бывает трудно определить их общие принципы.

Теперь мы перейдем к главным принципам лингвистики Ельмслева и будем их сопоставлять с результатами работ пражской школы. Концепцию Ельмслева мы будем оценивать главным образом по его книге «Основы теории языка» (Копенгаген, 1943), а также по некоторым его статьям, опубликованным в «Acta linguistica», «Cahiers Ferdinand de Saussure» и др.

Переходим к отдельным пунктам.

I. Профессор Ельмслев хочет подвести под языковую теорию прочную основу. Он справедливо считает, что нынешние языковедческие работы являются *membra disjecta* («разобщенные части») различных явлений, из которых одни близки к истории, другие — к психологии, физике, логике и философии. От этой раздробленности Ельмслев хочет избавиться посредством освобождения языкознания от груза других наук.

Основным требованием Ельмслева является, как он говорит, требование имманентного изучения языка, т. е. требование лингвистики чисто лингвистической. Он полагает, что язык в настоящее время является средством для трансцендентного познания, т. е. для познания явлений внеязыковых. Подобное отношение является естественным в практической жизни. Но это повторяется и в науке о языке. Ельмслев приводит следующие примеры: классическая филология занималась скорее изучением литературы и культуры, чем изучением языка; сравнительное языкознание занималось скорее изучением истории. Лингвистическая теория должна стремиться к познанию языка не как конгломерата неязыковых (т. е. физических, физиологических, психологических, логических и социологических) явлений, а как замкнутой в себе целостной структуры, как структуры *sui generis* (особого рода).

Уже здесь мы видим первое основное отличие между пражской лингвистикой и копенгагенской. Мы согласны с Ельмслевым в том

отношении, что наивное и естественнонаучное знание видит в языке только средство к познанию внеязыковых явлений. Но с точки зрения пражских языковедов и при научном познании языка следует исходить из этого же. Сам Ельмслев подчеркивает, что язык представляет собой определенное орудие. Но мы не имеем права его изменять. Если при научном изучении мы пренебрегаем его реальностью, мы ее деформируем. Лингвистическое мышление в понимании Ельмслева становится свободным от всех ограничений. Он сбрасывает с плеч весь огромный груз многообразных отношений к действительности (что учитывают пражские лингвисты). Однако при таком понимании язык становится всего лишь бесцельной игрой. Для характеристики позиции пражских исследователей мы процитируем начало статьи Вилема Матезиуса «Язык и стиль», опубликованной в книге «Лекции о языке и литературе», I (1942): «Не знаю, задумывался ли кто-нибудь над тем, с какой определенностью и с какими подробностями мы в состоянии при помощи языковых средств выражать многообразие действительности. Это обстоятельство может удивить вдумчивого наблюдателя и оно заслуживает самого пристального нашего внимания. При ближайшем рассмотрении мы видим, что выразительность языка обуславливается двумя моментами. Во-первых, при помощи языка мы выражаем действительность не во всей ее действительной полноте, но всегда в определенных границах, которые определяются целями коммуникации; во-вторых, для языкового выражения мы используем замечательную систему взаимосвязанных знаков, т. е. язык» и т. д. Несмотря на популярность изложения, основная позиция автора совершенно ясна.

II. Мы здесь употребили слово «игра» для обозначения языка, лишенного его отношения к действительности. Тем самым мы подходим к понятию «язык» (*langue*), которое Л. Ельмслев пытается по-новому осветить в «*Cahiers F. de Saussure*», II. Он различает в своей статье «язык» как схему, которая является чистой формой, не зависящей от социальной реализации и материальной манифестации, и «язык» — как узус, который является совокупностью навыков, принятых в данном социальном коллективе и определяемых фактами наблюдаемых манифестаций.

Ельмслев подчеркивает, что де Соссюр в своем известном сравнении для объяснения того, что такое «язык» (*langue*), использовал игру в шахматы, а не экономические понятия. Язык как схема в конечном счете — это игра и больше ничего, говорит Ельмслев.

Но именно против подобного понятия игры мы и возражаем. Игра в шахматы не сводится к нескольким правилам, которым может легко научиться десятилетний школьник. Смысл шахматной игре придают трудно уловимые и постоянно изменяющиеся ситуации, которые надо осмысливать, чтобы успешно закончить партию. Зависимость от социальной реализации здесь также очевидна, как и в экономической жизни. Совершенно естественно, что шахматная игра изменяется в зависимости от того, является ли она развлечением для небольшого числа людей, или же она носит массовый характер

и т. д. Эта зависимость от социальной реализации имеет тем большее отношение к языку.

III. Для Ельмслева основой теоретического изучения является эмпирический принцип, который заключается в том, что при анализе текста применяются три требования (заимствованные из теории математики, как на это любезно обратил наше внимание проф. Б. Трнка): 1) Непротиворечивость. 2) Полнота описания. 3) Простота. Для характеристики позиции Ельмслева наиболее важным является второй пункт — полнота описания. Это требование совершенно естественно, если смотреть на язык как на самостоятельную структуру, оторванную от всего социального, лишенную взаимоотношений с другими структурными образованиями. Но, поскольку нам известны все сложнейшие отношения языка к литературе, к обществу, культуре, искусству и т. д., мы не можем говорить об изолированном, исчерпывающем описании текста. Мы знаем, что в тексте мы можем полностью проследить в лучшем случае развитие отдельных букв или же звуков. Значение же текста постоянно меняется. Один и тот же текст кажется иным старому человеку и молодому, человеку с образованием и без образования, современному человеку и человеку, который будет жить через сто лет. Гомер кажется совершенно иным для современника, для афинянина V века, для комментатора аллегорий, для К. Лахманас его теорией миннезанга, для филолога-классика нашего времени и для студента, который читает «Илиаду». Можно только пожалеть, что Ельмслев недостаточно хорошо знаком с работами Я. Мукаржовского и его школы.

IV. Эмпирический принцип не означает для Ельмслева индукцию. Наоборот, против нее Ельмслев резко выступает. Он считает, что индукция приводит к опасному пути реализма в средневековом его понимании (номинализму). Латинский и греческий генитив, перфект, конъюнктив в каждом конкретном случае означают разное. И, таким образом, если мы применяем термин «генитив» в отношении очевидной фикции, мы становимся на позицию такого рода реализма. Напротив, Ельмслев выдвигает то, что можно назвать дедукцией. Под этим он понимает переход от целого к части. От целого, т. е. от целого текста к абзацу, от абзаца к предложению, далее к слову и к звуку. Этот переход безусловно полезен: целое всегда больше, чем совокупность частей. Но это не может нас удовлетворить, так как части не являются всего лишь частями целого, у них своя самостоятельная жизнь и свое самостоятельное отношение к внеязыковому миру.

V. У нас много говорят об отношении языка к действительности. Тем более нас удивит содержание главы, посвященной теории языка и действительности. Языковая теория является для Ельмслева, с одной стороны, целесообразной, реалистической, т. е. она должна быть таковой, чтобы быть исчерпывающей; с другой стороны, она произвольна и нереалистична, так как она оперирует данными, добытыми эмпирическим путем, причем процедура оперирования не обусловлена самими данными.

VI. Чрезвычайно важным является понятие функции. Для нас функция примерно то же, что и целеустановка. Гавранек в статье «О структурализме в языкознании» говорит о языке, что «он постоянно и как правило выполняет определенные цели или функции».

Для Ельмслева и его школы понятие функции близко к понятию функции в математике. У него функция представлена как выражение строгой зависимости. В своих «Основах теории языка» он говорит, что функция — это зависимость, которая обуславливает условия для анализа.

В понимании пражских лингвистов термин «функция» употребляется тогда, когда речь идет о значении (функция слова, предложения) или о структуре смысловых единиц (функция фонемы). В понимании Ельмслева функция имеет много разновидностей. Функцией, например, является категория слов и глагольное управление, функцией является отношение подлежащего и сказуемого, одной из функций является также отношение планов выражения и содержания, как говорит Ельмслев, употребляя это вместо «означающего» и «означаемого». В языке, по мнению Ельмслева, огромное множество функций. Ельмслев устанавливает также типы этих функций. Мы не будем их здесь рассматривать одну за другой. Будет достаточно, если мы укажем, например, на отношение планов «выражения» и «содержания». Эта функция относится к разряду «солидарности», т. е. функции двух постоянных величин.

Совершенно очевидно, что понимание термина «функция» у Ельмслева тесно связано с его общим взглядом на язык и лингвистику.

Ельмслев не допускает в язык ничего, что не является чистым отношением. Таким образом, от языка у него ничего не остается, кроме множества отношений, которые он называет функциями.

VII. Переходим к проблеме семасиологии. Здесь Ельмслев находится в полной зависимости от Соссюра. Соссюр представляет себе язык как соединение двух аморфных масс — мира мыслительного и мира звукового. В результате соединения этих двух миров возникает язык, который является только формой, но никоим образом не субстанцией. На этом положении Ельмслев и его сотрудники строят все. Чтобы еще более подчеркнуть свою точку зрения, Ельмслев вместо терминов *signifiant* и *signifié* употребляет термины *udtryk* и *inhold*, фр. *expression* и *contenu*, т. е. «выражение» и «содержание». Тем самым он полностью изолируется от внешнего мира. В качестве доказательства он, помимо всего прочего, ссылается на цветовой спектр. Тут, согласно Ельмслеву, имеет место аморфная непрерывность, которая в разных языках по-разному оформляется. Нечто подобное можно наблюдать и в отношении чисел. В одних языках представлена категория единственного и множественного числа, другие языки различают единственное, двойственное и множественное число, третьи — единственное, двойственное, тройственное и множественное.

Попытаемся посмотреть на эти вещи с точки зрения пражских лингвистов. Им, насколько мне известно, никогда не приходило в голову размышлять над тем, является ли язык формой или субстанцией. Однако пражские лингвисты решительно не могут согласиться с тем, что внеязыковой мир является аморфной субстанцией. Гавранек указывает, что структуральная лингвистика «понимает язык как структуру языковых знаков, т. е. систему знаков, имеющих прямое отношение к действительности».

VIII. Наконец, мы хотим заняться еще одним пунктом, а именно языковым различием, которому Ельмслев также уделяет внимание и которое он решает в соответствии со своими тезисами. Он говорит, что сходство и различие языков являются взаимно дополняющими сторонами одного и того же явления. Сходство языков является принципом их структуры. Различие языков является воплощением этого принципа *in concreto*. Все языки в принципе сформированы одинаково, различия касаются только частных случаев. Может показаться, что в тождественных элементах языка проявляется общее значение. Но это только иллюзия. Значение не оформлено и недоступно познанию.

Ясно, что взгляды Ельмслева значительно отличаются от взглядов пражских лингвистов. Работы, которые у нас ведутся над проблемами языкового развития, исходят из того принципа, что отдельные языки имеют прямое отношение к действительности. Отдельные языки стремятся постичь и передать действительность как можно точнее, но к этой цели, разумеется, они идут разными путями. У Матезиуса в книге «Чешский язык и общее языкознание» (Прага, 1947, стр. 157) мы читаем: «Чтобы с успехом пользоваться методом аналитического сравнения, мы должны подходить к отдельным языкам исключительно с точки зрения функциональной, ибо только таким образом можно произвести точное сравнение различных языков. Общие потребности в выражении и коммуникации, свойственные всему человечеству, являются единственным общим знаменателем, под который мы можем подвести выразительные и коммуникативные средства, различные в каждом языке».

Этим я заканчиваю краткое сопоставление взглядов Ельмслева со взглядами, которые в последние годы были характерны для Пражского лингвистического кружка.

Проблематика языка — вещь сложная. Если принять во внимание положение, занимаемое языком, можно увидеть три типа от ношений и три разные проблемы: 1. Прежде всего отношение языка к внеязыковой действительности, т. е. проблему семасиологическую. 2. Отношение языка к другим языкам, т. е. проблему языковых различий. 3. Отношение языка к его частям, т. е. проблему языковой структуры.

В различные времена лингвистика решала эти проблемы по-разному. В одни эпохи занимались одними проблемами, в другие — другими. Так, например, античная лингвистика занималась только проблемами семасиологии и структуры, в то время как проблему язы-



ковых различий она обходила. В эпоху младограмматизма на первом плане была проблема языковых различий (решенная исторически).

Лингвистика Ельмслева также идет под знаком ограничения проблематики. Прежде всего в ней очень редуцируется проблема семасиологическая. Семасиологическая проблема подчиняется проблеме структуры: семасиологическая функция является просто одной из функций языка, причем функция есть не что иное, как отношение составных частей языка. Проблема языковых различий также занимает в ней незначительное место. Языки являются разными потому, что один и тот же формулирующий их принцип в деталях по-разному разработан. Следовательно, проблема различия здесь сводится к проблеме структуры.

Таким образом, вся языковая проблематика здесь сводится к проблеме структуры, или, придерживаясь терминологии Ельмслева, к форме. В этом состоит сила и слабость всей теории. Она способна односторонним образом решать отдельные проблемы; большинство же проблем она не видит во всей их полноте. Можно ожидать, что этот метод будет иметь большой успех. Уже сейчас у Ельмслева есть свои ученики, готовые работать по его методу. Особенно большое признание теория Ельмслева найдет там, где сильна логическая традиция, как например в Дании. Нет сомнения в том, что при всем своем резком и одностороннем взгляде на язык теория Ельмслева кое-что может осветить. Другое дело, что на это скажем мы, в Праге. Пражское направление в языкознании имеет два названия, которые одинаково важны и оба они подчеркивают то новое, что приносит в лингвистику пражская школа. Это прежде всего структуральность. Это означает, что пражские языковеды вносят в языкознание проблему структуры, т. е. ставят вопрос о том, как язык образован и каким образом соотносятся его части. Во-вторых, и об этом нельзя забывать, пражская лингвистика функциональна, где, однако, слово «функция» означает целеустановку, а не зависимость. Это означает, что пражская лингвистика изучает проблему семасиологическую. Проблема языкового различия является для нее наследием научной традиции и рассматривается как сама собой разумеющаяся, что видно из работ Матезиуса, Трнки и др. Возможно, что школа Ельмслева и заслуживает наименования структуральной. Но тогда пражская школа должна получить другое наименование или по крайней мере подчеркнуть свое старое название: функционально-структуральная. Цели обеих школ — датской и пражской — разные.

## **К ДИСКУССИИ ПО ВОПРОСАМ СТРУКТУРАЛИЗМА<sup>1</sup>**

Пражская лингвистическая школа считает, что предметом лингвистики является анализ языковой действительности, данной в высказываниях (как устных, так и письменных). Языковую действительность, как и любую другую комплексную действительность объективных фактов (например, физических, психологических и др.), можно познать и освоить только вникнув в ее закономерности. Таким образом, законы, управляющие высказываниями в данном языке, как и законы естественных наук, следует считать законами абстрактными, но действующими и поддающимися контролю. По своему характеру они — в отличие от законов естествознания, действующих механически, — являются нормирующими (нормотетическими) и, следовательно, имеют силу только для определенной системы и в определенное время. Если эти законы закрепляются, например, в грамматике, они оказывают обратное нормирующее влияние на индивидуумов, усиливая обязательность и единство языковой нормы. Нормирующий характер языковых законов не исключает возможности того, что некоторые из них действуют для ряда языков или даже для всех языков в исторически доступные для исследования эпохи (ср., например, закон минимального контраста смежных фонем в слове). Все языки мира имеют, помимо своих особенностей, и основные сходства; сходства эти следует подвергать научному анализу и сводить к научным законам.

Определяя структурализм как лингвистическое направление, считающее главным и самостоятельным предметом лингвистики отношения между отдельными «элементами» в системе языка, необходимо иметь в виду, что отношения и носители отношений («элементы») являются коррелятивными понятиями, обязательно сосуществующими. Решение проблемы взаимосвязи этих последних невозможно на основе одних лишь лингвистических данных и может

<sup>1</sup> Журнал «Вопросы языкознания», 1957, № 3. Настоящая статья является совместной работой коллектива языковедов, объединенных в специальную группу по функциональной лингвистике в рамках Кружка по современной филологии (Kruh moderních filologu) при Чехословацкой Академии наук в Праге. В группу входят следующие ученые: проф. д-р Б. Трнка, проф. д-р И. Вахек, проф. д-р П. Трост, д-р С. Лир, д-р В. Полак, доц. О. Духачек, д-р И. Крамский, д-р И. Носек, д-р М. Ренский, д-р В. Горжейши, д-р З. Виттох, Л. Душкова. Редактирование статьи провел проф. д-р Б. Трнка.

быть осуществлено только путем использования данных других наук (например, логики). Несомненно, что отношения мы познаем путем исследования свойств их носителей и что каждый носитель определяется только своими свойствами, элиминация которых приводит нас не к какому-либо субстрату, а к уничтожению самого носителя. Структурализм является, на наш взгляд, направлением, рассматривающим языковую действительность как реализацию системы знаков, которые обязательны для определенного коллектива и упорядочены специфическими законами. Под знаком пражская школа понимает языковой коррелят внеязыковой действительности, без которой он не имеет ни смысла, ни права на существование.

Отметим, что под структурализмом часто понимаются самые различные направления в лингвистике, возникшие в период между обеими мировыми войнами. Однако типичными можно считать лишь три направления структурализма: структурализм пражской лингвистической школы, структурализм Л. Ельмслева и структурализм американских школ, считающих себя последователями Л. Блумфильда. Общим для всех этих направлений является отход от младограмматических методов с характерными для них психологизмом и атомизированием языкового анализа. Общим для них следует признать и стремление рассматривать языкознание (которое младограмматики считают конгломератом психологии, физиологии, логики и социологии) как самостоятельную науку, опирающуюся на понятие «языкового знака». Впрочем принципы и методы работы указанных школ во многом значительно отличаются друг от друга, и поэтому нам кажется целесообразным применять для них особые названия, а именно: «функциональная лингвистика» для пражской лингвистической школы, «глоссематика» для направления Л. Ельмслева и «дескриптивная лингвистика» для направления Л. Блумфильда. В настоящей статье мы остановимся именно на этих трех школах. Другие структуралистические направления, в равной мере отличающиеся от этих трех основных, в статье рассмотрены не будут.

Направление Л. Ельмслева вводит в языкознание дедуктивный метод алгебраического исчисления (калькуляции) и провозглашает свою теорию не зависимой от языковой действительности. Оно не хочет быть суммой гипотез, а стремится «суверенным образом» определить свой предмет на основе предпосылок, число которых должно быть минимальным и которые должны быть возможно более общими, чтобы удовлетворять условиям применимости к возможно большему количеству конкретных языковых данных. Правильность языковой теории рассматриваемого направления зависит, следовательно, не только от правильности дедукции, но и от правильности общих предпосылок, из которых оно выводит свои положения. Однако эти предпосылки («текст» и «система», «содержание» и «выражение», «форма содержания» и «форма выражения», понятие знака как обозначения «субстанции содержания» и «субстанции выражения» и т. д.), более или менее напоминающие принципы Ф. де Соссюра, не являются ни обязательными, ни вполне очевидными, и вся

теория производит впечатление логически продуманного механизма, искусственно упорядоченной системы понятий.

Пражская школа не могла принять ничего из глоссематики Л. Ельмслева и особенно неприемлемым считает его понятие фонемы как простой «таксемы», тождество которой якобы заключается только в тождественности ее дистрибуции в словах данной языковой системы. Л. Ельмслев считает релевантные (или различительные) черты звуков, как и остальные нерелевантные их черты, «звуковой субстанцией» и, таким образом, создает искусственную преграду между звуком и «таксемой». Пражская же школа учитывает все свойства звука, обращая особое внимание на их релевантные черты, сумма которых обеспечивает тождество звука как фонемы. Например, англ.  $p^h$  и  $p$  в слове *paper* «бумага» являются единой фонемой, определяемой суммой следующих релевантных черт: билабиальностью, взрывностью, ртовостью и глухостью, но не придыхательностью, так как эта последняя не является релевантной чертой в английском языке. Напротив,  $p^h$  в древнеиндийском языке является самостоятельной фонемой в отличие от  $p$ , так как придыхательность в этом языке — релевантная черта. Даже целые слова, например чешек. *ten* — *den*, могут отличаться друг от друга только одной релевантной чертой (т. е. звонкостью). Этот факт теория Л. Ельмслева не в состоянии объяснить.

В своих общих взглядах на фонологию теория дескриптивной лингвистики Л. Блумфильда отчасти соприкасается с пражской лингвистической школой. Но и здесь, вследствие своей бихейвиористской основы, дескриптивная лингвистика отличается от структурализма пражской школы как в использовании определений и терминологии, так и в деталях фонемного анализа. Оба направления пользуются фонемой как единицей фонологического языкового плана, однако в то время как последователи Л. Блумфильда (Блок, Дж. Трейджер, З. Хэррис) уделяют основное внимание дистрибутивным чертам фонемы, пражская школа считает фонему пучком релевантных (или различительных) черт, а нефункционально неразложимой «таксемой» (термин Ельмслева), оторванной от этих черт.

Обе школы пришли теперь (хотя каждая из разных исходных пунктов и разными путями) к убеждению, что психологические критерии не могут быть использованы фонологией. Что касается семантических критериев, большинство представителей американской дескриптивной лингвистики не считает их решающими. Пражская же школа подчеркивает способность фонем различать слова и морфемы (ср. русск. *точка* — *дочка*, *курить* — *бурить* — *бурил*). Следовательно, при анализе языка в фонологическом плане необходимо учитывать границы слов и морфем, так как в противном случае фонологический анализ мог бы привести к ошибочным результатам (например, при фонологической оценке аффрикат или при определении нейтрализации фонологических противоположностей). С другой стороны, пражская школа подчеркивает, что фонемы как единицы фонологического плана языка не имеют значения (ср., на-

пример, английское слово *hand*, которое является не простой совокупностью фонем [h+æ+n+d], а чем-то иным). Хотя фонемы не служат различению слов и морфем, но не всегда используют эту способность (ср. английские согласные [h] и [ɱ], которые, несомненно, являются фонемами, хотя по отношению друг к другу не различают слов) и не являются даже единственными дифференциальными признаками слов и морфем. Так, омонимы можно определить как два или несколько слов с одинаковой фонемной структурой. По указанным причинам некоторые лингвисты пражской школы теперь считают более правильным определять фонемы только на основе ее способности отличаться от остальных фонем суммой своих релевантных свойств. Английские звуки *p<sup>h</sup>* и *p* отличаются друг от друга придыхательностью, но так как придыхательность в английском языке зависит от ударности следующего гласного или же от эмфазы (ср. /*hope!*), она не является релевантной чертой, и оба звука характеризуются одними и теми же релевантными свойствами, т. е. они являются двумя позиционными вариантами одной фонемы. Русские гласные *и* и *ы* являются позиционными вариантами одной фонемы, так как существование заднего *ы* механически обусловлено смежностью с предшествующим твердым согласным *и*, следовательно, определено внешним образом; вариант *ы* является вторичным, так как после мягких согласных и в изолированном положении стоит *и*. По мнению пражской школы, фонема является абстракцией, но абстракцией не менее необходимой, чем понятие «слова» в высказывании или «морфемы» в слове. Только такая абстракция (ею, впрочем, пользуются все говорящие на данном языке, хотя бы и несознательно) дает возможность свести большое количество моторно и акустически различных звуков к определенному числу фонем, а на письме пользоваться более или менее последовательно только небольшим инвентарем различительных знаков.

В деталях изложения основных принципов фонологии между последователями дескриптивной лингвистики Блумфильда и пражской школой существует немало разногласий. Разногласия наблюдаются также и среди представителей каждой из этих школ, так как они — во всяком случае пражская школа, — в отличие от структурализма Ельмслева, не считают языковую теорию априорной наукой, а усматривают в ней сумму общих закономерностей, к познанию которых лингвисты приходят путем исследования конкретного языкового материала. Характерной чертой пражской школы, в отличие от де Соссюра и женеvской школы, а в известной мере и от школы Блумфильда, является также и структурное понимание исторического развития языка. Уже с самого начала своего существования пражская школа выдвигала, в противоположность женеvской школе, мысль о том, что язык представляет собой не только синхронную систему, в которой «*tout se tient*», но и систему, находящуюся в определенном временном движении. Это движение затрагивает все компоненты языковой системы (фонологию, лексику, синтаксис).

В истории языкознания структуралистское лингвистическое на-

правление, несомненно, представляя собой реакцию на «атомизирующие» методы и приемы младограмматической школы, стремится постигнуть языковую действительность более точно, чем это удалось сделать при помощи младограмматических методов. Некоторые идеи структуралистского характера появлялись уже в прошлом (например, в грамматике Панини, в трудах грамматиков эпохи Возрождения — в особенности итальянских — и в работах языковедов XIX в.). Однако ни одна из этих идей не могла стать основой законченной теории языкового анализа.

Оппозиция против младограмматизма, конечно, принимала в разных странах разные формы, так что структуралистское понимание языка имело в разных странах разные основания. Что касается пражской школы, то почва для ее возникновения была подготовлена, с одной стороны, научной деятельностью И. Зубатого (1855 — 1931)<sup>1</sup>, выступившего против механистического понимания языка, а с другой стороны, стремлением В. Матезиуса (1882 — 1945) и его учеников (Б. Трнки, И. Вахка и др.) углублять методы синхронной и диахронной лингвистики. Во взглядах русских представителей пражской школы (Н. Трубецкого, Р. Якобсона, С. Карцевского) проявилось главным образом влияние Щербы, школы Шахматова и де Соссюра; кроме того, Трубецкой и Якобсон в своих работах учитывали результаты исследования неиндоевропейских языков, не поддающиеся анализу на основе традиционных методов, применяемых в сравнительной грамматике индоевропейских языков. Подобно этому опыт, полученный при анализе индейских языков, способствовал основанию структурализма американского типа.

Творческое развитие лингвистического структурализма может оказаться возможным лишь в том случае, если его представители будут стремиться, с одной стороны, постигнуть языковую действительность во всех ее существенных связях с внелингвистической действительностью, а с другой — уяснить все средства, которыми пользуется язык. Ввиду того что структуралистские методы находятся пока только в стадии разработки (причем в разных областях языкового анализа они разработаны в неодинаковой мере), ни одной из школ не удалось до сих пор создать вполне удовлетворительное описание какого-либо языка как целого.

Основой морфологического исследования языка в понимании пражской школы являются понятия слова и морфемы. Слово представляет собой наименьшую единицу значения, реализованную фонемами (вернее, релевантными свойствами фонем) и способную перемещаться в предложении. Морфемы являются наименьшими единицами значения, на которые можно разделять слова (например, *рук-а*, *руч-н-ой*, *голос-ить*). Если оставить в стороне словообразование, задачи структурной морфологии по существу можно свести к двум моментам: с одной стороны, структурная морфология определяет

<sup>1</sup> Некоторые ученики И. Зубатого (Б. Гавранек, И. М. Коржинек и др.) стали известными представителями Пражского лингвистического кружка.

морфологические оппозиции (например, оппозиции падежей, оппозиции числа и рода существительных, оппозиции глагольных форм времени и др.), их взаимоотношения в системе языка (например, образование так называемых пучков, характеризующих отдельные «части речи») и их нейтрализацию (например, нейтрализацию родительного и винительного падежей одушевленных существительных мужского рода в словацком языке; нейтрализацию числа существительных, не выступающих в качестве подлежащего, в дравидском языке; нейтрализацию родов во множественном числе в немецком языке; нейтрализацию числа в третьем лице глаголов в литовском языке и др.); с другой стороны, задачей структурной морфологии является определение средств, при помощи которых морфологические оппозиции данного языка выражаются в его фонологическом плане.

Пражская школа подчеркивает необходимость рассматривать морфологическую структуру данного языка с точки зрения его собственной морфологической действительности, а не с точки зрения традиционной латинской или любой другой грамматики. Если при изучении какого-либо языка исходить из морфологических норм другого языка или же из норм более ранних стадий развития изучаемого языка, то языковая действительность искажается или толкуется ошибочно. При морфологическом сравнении языков решающей является не норма какого-либо одного языка, а одинаковая оценка фактов каждого языка в отдельности. В понимании пражской школы, например, так называемые «части речи» (*partes orationis*) являются не априорными окаменевшими словесными формами, существование которых необходимо в каждом языке, а группами слов, выделяемыми в данном языке на основании участия их в морфологических оппозициях. Так, существительным в русском языке является каждое слово, способное участвовать: 1) в оппозиции падежей, 2) в оппозиции чисел, 3) в оппозиции родов, даже если морфологическая основа слова выражает свойство (например, *доброта*) или деятельность (например, *бдение*). Из того, что деление слов на «части речи» обуславливается различиями между совокупностями морфологических оппозиций, в которых в данном языке участвует «часть речи», следует, что количество частей речи в разных языках не одинаково и что даже при одинаковом количестве они могут находиться в разных взаимоотношениях. По мнению представителей пражской школы, деление слов на «части речи» по другим критериям (семантическим или фонологическим) при изучении морфологии языка не может привести к плодотворным результатам. Пражская школа расходится с грамматической традицией и в другом отношении, а именно в понимании морфологической аналогии. Для сторонников младограмматической школы аналогия представляла фактор, нарушающий закономерности звуков; для пражской же школы аналогия является реализатором морфологических оппозиций. Определенная связь и взаимодействие морфологических оппозиций с фонологической системой языка не нарушает закономерностей указанной системы. Морфологическая аналогия, таким образом, не дает

возможности возникновения и развития в языке новых фонем или новых комбинаций фонем в слове, так как последние возникают лишь на основе развития самой фонологической системы.

Различие между синтаксисом и морфологией представляется некоторым структуралистам (сторонникам женеvской школы, Карцевскому, Трубецкому, Брёндалю, Гардинеру) как различие между анализом «синтагматическим» и «парадигматическим». Другие выводят это различие из того факта, что единицей морфологии является слово или морфема, между тем как единицей синтаксиса является предложение. Именно в предложении, по мнению этих лингвистов, происходит деление на синтагматические отношения (основным из которых является отношение подлежащего к предикации) и видоизменение значений как морфологических оппозиций, так и слов. Пражская школа склоняется к последнему взгляду, более близкому грамматической традиции; однако она еще не выработала для синтаксического анализа языка особого метода, какой она создала для фонологического, а в известной степени и морфологического анализов.

Пражская школа в особенности подчеркивает тот факт, что нельзя противопоставлять синтаксис как науку об изменчивых, индивидуальных элементах (*parole*) морфологии как науке о постоянных, коллективных, или социальных, элементах (*langue*), так как в обеих областях грамматики (в синтаксисе и морфологии) действуют как нормирующая закономерность, так и индивидуальная актуализация нормирующих элементов. Пражская школа видит здесь две разные степени грамматической абстракции в анализе языкового материала (т. е. высказываний). В результате деления предложения на части не получаются элементы морфологического порядка (т. е. слова и морфемы) и, наоборот, сложение элементов морфологического плана не приводит к единице синтаксического плана — предложению, так как предложение (например, *отец лежит больной*) представляет собой нечто большее, чем простую совокупность изолированных слов, так же, как здание больше, чем сумма кирпичей, или начатая шахматная игра больше, чем совокупность функций фигур. Слова и формы слов, выражающие морфологические оппозиции, представляют лишь средства, которыми пользуется предложение как знаменательная единица высшего порядка. В этой связи основной задачей синтаксиса следует признать, с одной стороны, определение синтагматических отношений и морфологических средств их выражения<sup>1</sup> (последние в предложении подвергаются различным знаменательным видоизменениям), а с другой — выявление комбинации этих отношений (сложное предложение и синтаксические отношения в сложном предложении).

Пражская школа, следовательно, точно отличает морфологию от синтаксиса как два раздела науки о двух различных языковых планах. В отличие от женеvской школы, пражская школа, однако,

<sup>1</sup> Имеются в виду морфологические оппозиции.



не делит языковой анализ на «синтагматику» и «парадигматику», так как оба эти отношения проходят через все слои языка. Так, например, фонологический аспект охватывает не только состав фонем и их релевантных свойств, но и систему их комбинаций в слове и в морфеме. Подобно этому, при изучении морфологии мы рассматриваем как морфологические оппозиции и их фонологические реализации, так и комбинации этих оппозиций в предложении, не смешивая при этом элементы морфологического плана с элементами плана синтаксического. Пражская школа не признает выдвинутое американскими лингвистами положение о так называемых «непосредственно составляющих» (*immediate constituents*) (которое следует считать завершением концепции синтагмы де Соссюра), так как оно приводит лишь к механическому анализу дистрибуции языковых единиц без учета различий морфологических и синтаксических единиц. Понятие синтагмы никогда не было исходным методическим принципом пражской школы (конечно, если оставить в стороне труды некоторых ее русских представителей — Карцевского и Трубецкого)<sup>1</sup>. Основным пороком синтагматики пражская школа считает, помимо смешения разных языковых планов, стремление сводить взаимоотношения всех языковых элементов к отношению «определяющее / определяемое» и попытки вместить в эту схему также отношение «подлежащее / сказуемое».

Из сказанного следует, что пражская школа преодолевает резкую дихотомию «язык/речь» (*langue/parole*) де Соссюра. Языковые факты, толкуемые де Соссюром как речь (*parole*), пражская школа считает высказываниями, т. е. языковым материалом, в котором лингвистам следует определять законы «интерсубъектного» характера.

Предположение взаимных связей между морфологией и синтаксисом, с одной стороны, и лексикой — с другой оказывается для лингвистического исследования необходимым хотя бы по той причине, что элементы всех этих трех областей языка взаимодействуют в процессе общения. Законы, управляющие элементами указанных трех частных систем, должны иметь объективный характер и гармонизировать друг с другом. Структурная связь лексики с морфологией обуславливается тем, что любая морфема (основа, суффикс, префикс) должна иметь значение, без которого она представляла бы лишь группу фонем. Связь лексики с синтаксисом, в свою очередь, определяется тем, что различные значения слов проявляются в предложении. С точки зрения пражской школы, лексикология имеет дело с более или менее исчерпывающей совокупностью фактического материала из фонологической, морфологической, синтаксической и стилистической областей языка. Материал этот обычно располагается в алфавитном порядке, чаще всего без контекста и сопровождается либо приблизительными определениями, либо при-

<sup>1</sup> Отметим, что Карцевский принадлежал скорее к женеvской, чем к пражской школе.

близительными иноязычными эквивалентами. Решение проблемы применения структурных методов в области лексикологии является одной из будущих задач пражской школы.

С применением структурного принципа описание исторических языковых изменений, приводимое современной исторической грамматикой, превращается в описание исторического движения всего языка, всех его релевантных составных частей и взаимоотношений (в том числе и тех, которые на первый взгляд оказываются не затронутыми такими «изменениями»). Даже при реконструкции элементов языка следует учитывать всю систему языка в целом, т. е. следует синхронизировать рассматриваемые элементы языка с другими его элементами в той мере, в какой они доступны для диахронического исследования в отношении данного периода времени. Структурный принцип анализа, следовательно, приводит языковедов к более реальному пониманию языковых реконструкций и дает возможность правильнее оценить надежность результатов, полученных при исследованиях, основанных на других принципах. Конечные цели исторического и реконструктивного структурного исследования по существу не отличаются от задач синхронного структурного исследования: и в том и в другом случае необходимо выявить определенные языковые закономерности. Диахронные законы отличаются в структурном языкознании от синхронных только тем, что они ограничены во времени относительной хронологией и приводятся в исторической последовательности. Например, закон нейтрализации звонкости щелевых *f*, *þ*, *χ* и появление варианта *z* после неударяемых гласных в германском языке-основе (так называемый закон Вернера) может рассматриваться как диахронный в связи с определением причины его действия (перенос германского ударения :на первый слог основы).

Нет сомнения в том, что ни одна из трех структуралистских концепций не учитывала в достаточной мере взаимные связи между языком и обществом. У копенгагенской школы этот недостаток обусловливается самим существом ее теории, созданной дедуктивным путем и независимо от языковой действительности. Известно, что проблема связи языка и общества нашла некоторое отражение в работах Э. Сепира. Однако американские дескриптивисты, которые часто ссылаются на него как на своего предшественника, оставили без внимания соответствующую проблематику — прежде всего вследствие узкого практицизма своих синхронических исследований.

Тенденция некоторых представителей пражской школы рассматривать язык как имманентную систему проявлялась, в частности, в чрезмерном подчеркивании по существу правильного положения о терапевтическом характере многих языковых изменений. Однако эта тенденция в пражской школе с самого начала уравнивалась функциональным пониманием языка как системы, удовлетворяющей выразительным потребностям членов данного языкового коллектива. Так как выразительные потребности в процессе развития данного коллектива растут и дифференцируются, то исследование этого роста

и дифференциации неизбежно привело к осознанию взаимных связей между историей языка и историей языкового коллектива<sup>1</sup>. Как правильно заметил К. Горалек, основной ошибкой структурализма Пражского лингвистического кружка являлся как раз «недостаток структурализма», а именно неполный учет того факта, что структура языка тесно связана с окружающими ее структурами.

С другой стороны, следует отметить, что воздействие истории языкового коллектива касается не всех планов языка в одинаковой мере. История коллектива, несомненно, больше всего воздействует на лексический состав языка, в котором появляются все новые наименования для новых или же по-новому осознанных внелингвистических фактов, возникающих в языковом коллективе на протяжении его истории. Менее интенсивно проявляется влияние истории в грамматическом плане (синтаксис и морфология), хотя и здесь имеют место хорошо известные явления, как например заимствование английского местоимения *they* из скандинавского, смена местоимения *thou* современным *you* и т. п. Слабее всего влияние истории языкового коллектива отражается в звуковой области. Основной особенностью звуковой системы какого-либо языка является то, что эта система как бы представляет в распоряжение языкового коллектива определенный круг четко отличающихся друг от друга единиц (например, фонем). Эти единицы, в свою очередь, используются лексикой и грамматикой, непосредственно служащими данному языковому коллективу для удовлетворения его потребностей общения. Отмеченная особенность звуковой области языка оказывается по существу постоянной для всех языков и всех времен. Именно сравнительно слабой связью между звуковой областью языка и историей языкового коллектива можно объяснить тот факт, что, вопреки определенным тенденциям имманентизма у некоторых представителей Пражского лингвистического кружка, результаты большинства фонологических трудов, выполненных его членами, до сих пор остаются полезным вкладом в конкретное исследование звуковой области языка. Однако было бы ошибочным предполагать, что влияние истории языкового коллектива на звуковую структуру языка вообще не проявляется. Встречаются интересные доказательства такого влияния, конечно лишь косвенного; это касается главным образом адаптации и изменений в фонологической системе, вызванных (или по крайней мере ускоренных и облегченных) освоением лексических заимствований, в которых отдельные звуки находятся в иных фонологических отношениях, чем в исконных словах данного языка. В английском языке, например, фонологизации противопоставления по глухости-звонкости щелевых (*f* — *v*, *s* — *z*), которое сначала носило нефонологический характер, способствовало освоению заимствованных слов из французского языка, где звуки *f* и *v*, *s* и *z* являлись самостоятельными фонемами.

<sup>1</sup> См. В. Havránek, *Vývoj spisovného jazyka českého*, «Československá vlastivěda», řada II, Praha, 1936.

Из приведенного с полной очевидностью вытекает, что при исследовании связей истории языка с историей народа вполне возможно использование методов структурной лингвистики, но, конечно, лишь в той мере, в какой позволяет характер отдельных планов языка.

Для полного познания языковой действительности следует сочетать качественный анализ элементов языка с количественным (статистическим) анализом. Только учитывая, помимо качественной стороны элементов языка, также и их количественные отношения к другим элементам языка, мы можем их полностью познать. Так, например, определение средств образования множественного числа в английском языке окажется неполным, если оставить без внимания их продуктивность. По существу количественный характер имеет и так называемая типология языков, так как она стремится обнаружить продуктивность определенных морфологических приемов и других явлений в рассматриваемых языках. Количественный анализ, однако, не должен стать самоцелью; он должен, наоборот, широко применяться при решении проблем качественного характера. Языкознание, как и остальные общественные науки, применяет количественный анализ для познания сложной и разнородной действительности, отражаемой в языке посредством связных высказываний; исследование здесь обнаруживает или подтверждает скрытые взаимные отношения и тенденции.

Количественное (статистическое) исследование (независимо от того, служит ли оно определению частоты или периодичности данных языковых явлений в связном языковом материале), следовательно, имеет также эвристическое значение не только для синхронного, но и для диахронного исследования. Количественное исследование может обнаружить противоречия между численными отношениями, ожидаемыми на основании существующих познаний, и между действительными численными отношениями, что заставляет предпринять новое исследование и пересмотреть результаты качественного исследования. Статистическое исследование, например, показывает, что глухие согласные в чешском языке встречаются гораздо чаще, чем соответствующие звонкие, не только в связных текстах, но и в фонологической структуре чешского словаря; однако чешский глухой согласный *ch*, как ни странно, встречается реже, чем соответствующий звонкий *h*. Это неожиданное исключение объясняется, во-первых, происхождением *ch*, а во-вторых, тем, что оппозиция *h/ch* возникла только после изменения *g>h* и что она более позднего происхождения, чем пары *t/d*, *p/b*, *s/z* и т. п. Точные цифры, применяемые количественным языкознанием, могут явиться полезным, а иногда и необходимым вспомогательным материалом как при анализе языковых фактов, так и при реконструкции развития языка. Что касается применения «математического языка» в лингвистическом исследовании, то, по нашему мнению, такой прием иногда оказывается нецелесообразным, так как создает трудности для читателей, преимущественно филологов.

## IV. ДЕСКРИПТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА

Дескриптивную лингвистику обычно рассматривают как одно из разветвлений структурализма. И действительно, дескриптивная лингвистика строит свои рабочие приемы также на структуральном принципе. Но не отграничиваясь от структурального направления в целом, а на последних своих этапах в отношении методологических основ идя на прямое сближение со школой Л. Ельмслева, дескриптивная лингвистика вместе с тем обладает рядом особенностей, которые позволяют рассматривать ее как отдельное направление. Сравнительно с другими направлениями лингвистического структурализма она обладает более разработанной системой исследовательской работы. На ее формирование оказал влияние и тот лингвистический материал, с которым она по преимуществу имела дело. Наконец, она основывается и на ином исходном принципе и, в частности, не является прямым производным теоретических положений, выдвинутых Ф. де Соссюром.

Дескриптивная лингвистика выросла из практических потребностей изучения языков американских индейцев (и также этим отличается от структурализма копенгагенской школы, исходящего из абстрактных категорий и схем), и в дальнейшем, когда стала применять свои методы к изучению английского языка, а также других индоевропейских, тюркских и семитских языков, она стремилась сохранить свою практическую направленность, установив тесные связи также и с методикой преподавания языков. В развитии принципов дескриптивной лингвистики можно установить несколько этапов, связанных с научной деятельностью ряда языковедов.

В качестве истоков дескриптивной лингвистики обычно называют работы выдающегося американского лингвиста и антрополога (в американском понимании этой науки) Франца Боаса (1858 — 1942). В большом теоретическом введении к коллективному «Руководству по языкам американских индейцев» (извлечение из этого введения приводится в книге) он, основываясь на опыте своей работы, показывает непригодность выработанных на материале преимущественно индоевропейских языков научных принципов для изучения индейских языков. Эти языки обладают иными языковыми категориями, к ним неприменимы приемы исторической их интерпретации, так как они «не имеют истории» (т. е. прошлых этапов своего развития, засвидетельствованных памятниками письменности). Отсюда, по мнению Ф. Боаса, возникает необходимость создания объектив-

ного метода изучения языков, покоящегося на описании формальных качеств языка.

Леонард Блумфильд (1887 — 1949) такие объективные методы изучения языков ориентировал на положения «поведенческой» психологии (бихейвиоризм). Он сформулировал в своем основном теоретическом труде «Язык» (опубликован в 1933 г.; данная работа представляет собой расширенное и переработанное издание вышедшего в 1914 г. «Введения в изучение языка») и в ряде статей (одна из них — «Ряд постулатов для науки о языке» приводится в книге) принципы так называемой «механистической» лингвистики, которая процесс речевого общения расчленяет на ряд физиологических в своей основе стимулов и реакций и на их основе изучает речевое поведение человека (см. включенную в книгу главу из книги «Язык»). Соответственно этой общетеоретической установке решаются Л. Блумфильдом все основные теоретические проблемы языкознания и вырабатывается методика научного исследования.

Наибольшей формализации методы настоящего лингвистического направления достигают в работах группы современных американских лингвистов (Блок, Трейджер, Хокитт, Хэррис), считающих себя последователями Л. Блумфильда. Эта группа выдвинула и сам термин — «дескриптивная лингвистика». Как показывает сам термин, лингвисты данного направления сосредотачивают свое внимание на «описании» формальных элементов структуры языка, причем в основу такого описания кладется дистрибуция (порядок расположения) речевых черт (отсюда и другое наименование этого направления — дистрибутивная лингвистика). Зеллиг Хэррис определяет общие задачи данного лингвистического направления следующими словами: «Дескриптивная лингвистика есть особая область исследования, имеющего дело не с речевой деятельностью в целом, но с регулярностями определенных признаков речи. Эти регулярности заключаются в дистрибуционных отношениях, существующих между признаками исследуемой речи, т. е. в повторяемости этих признаков относительно друг друга, в пределах высказываний». Уже и из одной этой цитаты становится ясным, что «дескриптивисты» понятие речи, истолковываемое как поток определенным образом организованных голосовых звуков и их комплексов, полностью отождествляют с языком. Сосредоточивая свое внимание на описании дистрибуционных черт речевого высказывания, они всячески стремятся изгнать из лингвистики значение, которое якобы приносит психологические, философские и вообще внелингвистические элементы и тем самым нарушает классификационную ясность структурных черт речевых сигналов. Блок и Трейджер, например, пишут по этому поводу: «Хотя важно делать различие между грамматическим и лексическим значением, и при систематическом описании языка приходится по необходимости определять с возможной точностью по крайней мере грамматические значения, однако все наши классификации должны основываться исключительно на форме — на различиях и сходствах в фонетической структуре основ и аффиксов или на функционировании слов в конкретных типах словосочетаний и предложений. При осуществлении классификаций не должно быть никакого обращения к значению, абстрактной логике или философии» («Очерк лингвистического анализа», 1942, стр. 68).

В соответствии с такой установкой успешней всего дескриптивные методы применяются к тем элементам структуры языка, «значимая» сторона которых лишена связи с понятиями, т. е. к фонетической системе языка. Выход за эти пределы и обращение к морфологии и синтаксису, попытка установить единые схемы изучения для разных сторон языка (фонетики, морфологии, синтаксиса), а через их посредство универсальные категории для всех языков обнаружили всю слабость и недостаточность чисто дескриптивных методов изучения языка. Выяснилось, что смысловую сторону языка нельзя выбросить за борт в лингвистическом исследовании и что, следовательно, необходимо считаться также и с «вторжением в язык философии», культурных и исторических факторов. Именно по этой линии и идет главным образом критика дескриптивных методов как в США (Пайк, Хойер), так и со стороны европейских лингвистов, даже и придерживающихся структуральных принципов (например, А. Дидерихсен). Неясными также остаются границы дистрибуции.

В самые последние годы даже такой крайний дескриптивист, как З. Хэррис, вынужден был допустить определенное отступление от некоторых первоначально

декларированных принципов и при описании речевых черт обратиться к фактору значения. Ныне он, например, формулирует такие правила: «Если мы устанавливаем, что слова или морфемы *A* и *B* более различны по своим значениям, чем *A* и *B*, мы часто обнаруживаем, что дистрибуция *A* и *B* также более различна, чем дистрибуция *A* и *B*. Иными словами, различие значения координируется с различием дистрибуции» («Дистрибуционная структура», журнал «Word, 1954, № 2 — 3).

В настоящую книгу включена глава из книги З. Хэрриса, излагающая методологические предпосылки дескриптивной лингвистики.

#### ЛИТЕРАТУРА

О. С. Ахманова, Основные направления лингвистического структурализма, изд. МГУ, 1955.

Г. О. Винокур, Эпизод идейной борьбы в западной лингвистике, «Вопросы языкознания», 1957, №2.

В. А. Звегинцев, Дескриптивная лингвистика. Вступительная статья к книге Г. Глисона «Введение в дескриптивную лингвистику», 1959.

Г. Мюллер, Языкознание на новых путях. (Дескриптивная лингвистика в США.) Сб. «Общее и индоевропейское языкознание», изд. ИЛ, 1956.

А. С. Чикобава, Проблема языка как предмета языкознания, Учпедгиз, 1959.

**ВВЕДЕНИЕ К «РУКОВОДСТВУ ПО ЯЗЫКАМ АМЕРИКАНСКИХ  
ИНДЕЙЦЕВ»<sup>1</sup>  
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)**

**РАЗЛИЧИЕ КАТЕГОРИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКАХ**

Во всех видах артикулированной речи группы произносимых звуков служат для передачи идей, и каждая группа звуков имеет фиксированное значение. Языки различаются не только по характеру составляющих их фонетических элементов и по звуковым группам, но также и по группам идей, находящих выражение в фиксированных фонетических группах.

**ОГРАНИЧЕННОСТЬ КОЛИЧЕСТВА ФОНЕТИЧЕСКИХ ГРУПП,  
ВЫРАЖАЮЩИХ ИДЕИ**

Общее количество возможных комбинаций фонетических элементов ограничено. В свою очередь, только ограниченное количество этих последних употребляется для выражения идей. Отсюда следует, что общее количество идей, выражаемых отдельными фонетическими группами, ограничено в количестве.

Поскольку общая сфера индивидуального опыта, который язык призван выражать, беспредельно видоизменяется и вся его совокупность должна выражаться ограниченным количеством фонетических групп, постольку очевидно, что все виды артикулированной речи должны основываться на широкой классификации опыта.

Это совпадает с основной чертой человеческого мышления. В нашем фактическом опыте два чувственных впечатления или эмоциональных состояния никогда не бывают тождественными. Тем не менее мы классифицируем их соответственно сходным чертам в более широкие или узкие группы, пределы которых можно устанавливать на основе разных точек зрения. Вне зависимости от их индивидуальных различий мы распознаем в нашем опыте общие элементы и рассматриваем их как соотносимые или даже идентичные при условии, что достаточное количество характерных черт является

<sup>1</sup> Franz Boas, Handbook of American Indian Languages (Introduction), Washington, 1911.



для них общим. Таким образом, ограничение количества фонетических групп, выражающих отдельные идеи, есть выражение того психологического факта, что множество различных индивидуальных опытов представляется нам в виде представителей одной и той же категории мышления.

Эту черту человеческого мышления и речи можно сравнить известным образом с ограничением всей серии возможных артикуляционных движений посредством отбора ограниченного количества привычных движений. Если бы вся масса понятий со всеми их вариантами выражалась в языке посредством совершенно разнородных и несоотнесимых звуковых комплексов, возникло бы положение, при котором весьма близкие идеи не обнаруживали бы своей близости с помощью соответствующей близости своих фонетических символов, и для выражения потребовалось бы неограниченно большое количество отдельных фонетических групп. При этом положении ассоциация между идеей и представляющим ее звуковым комплексом стала бы недостаточно стабильной, чтобы автоматически и без раздумий воспроизводиться в любой момент. Так как автоматическое и быстрое употребление артикуляций привело к тому, что только ограниченное количество артикуляций (каждая с ограниченной способностью видоизменяться) и звуковых групп было избрано из неограниченно большой сферы возможных артикуляций и групп артикуляций, то чрезвычайно большое количество идей было посредством классификации сведено к меньшему количеству, которое на основе постоянного употребления установило прочные ассоциации; они приводятся в действие автоматически.

В этом месте нашего рассуждения представляется необходимым подчеркнуть тот факт, что группы идей, выражаемых особыми фонетическими группами, обнаруживают большие материальные различия в разных языках и ни в коем случае не подчиняются тем же самым принципам классификаций. Если взять пример из английского языка, то увидим, что идея воды (water) выражается большим разнообразием форм: один термин употребляется для выражения воды как жидкости (liquid); другой представляет воду в виде большого скопления (lake — озеро); третий — в виде текущей в большом (river — река) или малом (brook — ручей) количестве воды; еще другие — в виде rain (дождя), dew (росы), wave (волны), foam (пены). Совершенно очевидно, что это многообразие идей, каждая из которых выражается в английском языке посредством независимого термина, в других языках может выражаться с помощью производных одного и того же термина.

В качестве другого примера можно привести слова для снега в эскимосском языке. Здесь мы обнаруживаем одно слово arut для выражения снега на земле, другое — qana для падающего снега, третье — pīqsīroq для уносимого ветром снега и четвертое — qītuqsuq для снежных сугробов.

В том же языке тюлень в разных условиях выражается различными терминами. Одно слово — общий термин для тюленей, дру-

гое обозначает тюленя, греющегося на солнце, третье — тюленя, плывущего на льдине, не говоря уже о множестве имен для тюленей различных возрастов и полов.

В качестве примера способа, которым термины, выражаемые независимыми словами, объединяются в одно понятие, можно привлечь язык дакота. Термины *nahta'ka* «брыкать», *pahta'ka* «связывать в пучки», *yahta'ka* «кусать», *ic'a'xtaka* «быть вблизи», *bahta'ka* «толочь» являются производными общего элемента *xtaka* «хватать», который и объединяет их, в то время как мы употребляем отдельные слова для выражения указанных видоизменяющихся идей.

Совершенно очевидно, что выбор подобных элементарных терминов должен до известной степени зависеть от основных интересов народа, и там, где необходимо различать определенные явления во многих аспектах, играющих в жизни народа совершенно независимую роль, могут развиваться независимые слова, в то время как в других случаях оказывается достаточной простая модификация единого термина.

В результате получилось, что каждый язык с точки зрения другого языка весьма произволен в своих классификациях. То, что в одном языке представляется единой простой идеей, в другом языке может характеризоваться целой серией отдельных фонетических групп.

Тенденцию языка выражать сложную идею посредством единого термина называют «холофразисом», и в соответствии с этим каждый язык с точки зрения другого может быть холофрастическим. Холофразис едва ли можно рассматривать как основную черту примитивных языков.

Мы уже имели возможность убедиться, что тот или иной тип классификации выражений можно обнаружить в каждом языке. Эта классификация идей на группы, каждая из которых выражается независимой фонетической группой, делает необходимым, чтобы те понятия, которые не передаются одним из доступных звуковых комплексов, выражались комбинациями или модификациями того, что можно назвать элементарными фонетическими группами в соответствии с элементарными идеями, к которым сводится данная конкретная идея.

Эта классификация, а также необходимость выражать один опыт посредством соотносимого другого, что в силу взаимного ограничения способствует определению подлежащей выражению конкретной идеи, обуславливают наличие определенных формальных элементов, определяющих отношения отдельных фонетических групп. Если бы каждая идея выражалась отдельной фонетической группой, было бы возможно существование языков без форм. Но поскольку, однако, идеи выражаются тогда, когда они сводятся к некоторому количеству соотносительных идей, сам тип их отношений становится важным элементом артикулированной речи. Отсюда следует, что все языки должны обладать формальными элементами и что их количество должно быть тем больше, чем меньше элементарных фонети-

ческих групп, определяющих конкретные идеи. В языке, обладающем очень обширным лексическим запасом, количество формальных элементов может быть весьма незначительным.

## ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Важно отметить, что во всех языках мира количество процессов, применяемых для выражения отношений между терминами, ограничено. Предположительно, это объясняется общими характеристиками артикулированной речи. Единственными методами, употребляемыми для выражения отношений между определенными фонетическими группами, являются их расположение в определенном порядке (что может комбинироваться с взаимным фонетическим влиянием составляющих элементов) и внутреннее видоизменение самих фонетических групп. Оба эти метода обнаруживаются у очень многих языков, но иногда употребляется только последовательность расположения.

## СЛОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С тем чтобы понять значение идей, выражаемых независимыми фонетическими группами, и элементов, выражающих их взаимные отношения, мы должны обсудить здесь вопрос о том, что образует единицу речи. Уже отмечалось, что фонетические элементы как таковые можно изолировать только посредством анализа и что в речи они встречаются только в комбинациях, являющихся эквивалентами понятий.

Поскольку все виды речи служат для сообщения идей, постольку естественной единицей выражения является предложение или, иными словами, группа артикулированных звуков, передающих законченную мысль. Может показаться, что речь можно подразделять и дальше и что слово тоже образует естественную единицу, из которой строится предложение. В большинстве случаев, однако, легко показать, что это не так и что слово как таковое познается только в результате анализа. Это, в частности, ясно в случаях, когда мы имеем дело с предлогами, союзами и глагольными формами, относящимися к придаточным предложениям. Так, в высшей степени трудно представить себе употребление слов вроде *and* (и), *for* (для), *to* (к), *were* (был) таким образом, чтобы они передавали какую-либо ясную идею, может быть только за исключением форм вроде лаконичного *if* (если), когда остальная часть предложения предполагается и достаточно отчетливо указывается одним *if*. Таким же образом мы, хорошо вытренированные в грамматическом отношении, можем употребить одну форму, чтобы поправить только что выраженную мысль. Так, утверждение *He sings beautifully* (он красиво поет) может вызвать реплику *sang* (пел). Склонный к лаконичности человек в ответ на утверждение *He plays well* (он играет хорошо) может даже ограничиться одним окончанием *-ed* (-ал), что тем не менее

может быть понято его друзьями. Во всех этих случаях ясно, что отдельные элементы выделяются вторичным процессом из законченной единицы предложения.

Менее ясна искусственность слова как самостоятельной единицы в тех случаях, когда слово обозначает понятие, ясно отделяемое от других. Такими словами являются, например, имена существительные. Может показаться, что слово вроде *stone* (камень) представляет естественную единицу. Однако понятно, что одно слово *stone* в лучшем случае передает объективную картину, а не законченную мысль.

Таким образом, мы подходим к важному вопросу об отношениях слова и предложения. Основывая ход нашего рассуждения на языках, чрезвычайно различающихся по своим формам, мы можем, очевидно, определить слово как фонетическую группу, которая в силу своего постоянства формы, ясности значения и фонетической независимости легко выделяется из предложения. Это определение, по-видимому, содержит значительное количество произвольных элементов, которые согласно принятой нами общей точки зрения могут позволить нам иногда определять данную единицу как слово, а иногда отрицать ее независимое существование. Позднее, при рассмотрении американских языков, мы увидим, что эта практическая трудность будет многократно стоять перед нами и что невозможно с объективной уверенностью решить, правомерно ли считать определенную фонетическую группу независимым словом или же подчиненной частью слова.

Тем не менее в нашем определении есть известные элементы, которые представляются существенными для трактовки звукового комплекса как независимого слова. Фонетическая независимость рассматриваемого элемента с грамматической точки зрения наименее важна, но с фонетической точки зрения наиболее существенна. Выше отмечалось, как трудно установить независимость английского *s*, выражающего множественное число, посессивность и третье лицо единственного числа в глаголе. Это обусловливается фонетической слабостью этого грамматического элемента. Если бы идея множественности выражалась таким же фонетически сильным элементом, как слово *many* (много), посессивная часть слова таким же сильным элементом, как предлог *of*, и третье лицо единственного числа элементом вроде *he* (он), то тогда бы мы, может быть, с большей легкостью признали эти элементы независимыми словами; фактически мы так и поступаем. Например, *stones* (камни), *John's* (Джона), *loves* (любит) — отдельные слова, в то время как *many sheep*, *of stone*, *he went* рассматриваются как сочетания из двух слов. Трудности подобного рода встречаются постоянно в американских языках. Так, в языках вроде чинук мы обнаруживаем, что модифицирующие элементы выражаются отдельными звуками, фонетически объединяющимися в группы, которые произносятся без всякого разделения. Например, слово *aniä'lōt* «я дал его ей» можно расчленить на следующие элементы: *a* (время), *n* «я», *i* «его», *a* «ей», *l* «к», *ō* (направив

ление прочь), *t* «давать». Здесь опять-таки слабость составляющих элементов и их тесная фонетическая связь не позволяют нам рассматривать их как отдельные слова, и только все выражение в целом представляется нам независимой единицей.

В том случае, если мы руководствуемся только одним этим принципом, определение границ словесной единицы представляется чрезвычайно неясным делом в силу уже различия впечатлений о фонетической силе составляющих ее элементов.

Случается, что определенные элементы кажутся нам фонетически настолько слабыми, что не представляется возможным рассматривать их как независимые единицы предложения, в то время как близко родственные формы или даже те же самые формы в других конструкциях приобретают силу, которая у них отсутствует в других случаях. В качестве примера подобного рода может быть приведен язык квакиутл, в котором многие прономинальные формы представляются чрезвычайно слабыми фонетическими элементами. Так, выражение «Он бьет его этим» передается посредством *míx'ε-t̄deqs*, в котором два конечных элемента означают: *q* — «его», *s* — «этим». Но когда в это выражение для объекта и инструмента вводятся существительные, *q* принимает более полную форму *xa*, а *s* — более полную форму *sa*, которые мы можем писать как независимые слова по аналогии с нашими артиклями.

Я очень сомневаюсь, что исследователь, описывающий французский язык таким же способом, каким мы описываем бесписьменные американские языки, будет склонен писать прономинальные элементы, входящие в переходный глагол, как независимые слова, — во всяком случае не тогда, когда он описывает индикативные формы позитивного глагола. Он вправе поступать таким образом только тогда, когда установит свободу их позиции, проявляющуюся в негативной и в некоторых вопросительных формах.

Определяющее влияние свободы позиции фонетически фиксированной части предложения делает необходимым включить ее в наше определение слова.

Всякий раз, когда определенная фонетическая группа выступает в предложении в разнообразии позиций и всегда в той же самой форме, без всяких или по крайней мере без материальных модификаций, мы легко осознаем ее индивидуальность и при анализе языка склонны рассматривать ее как отдельное слово. Эти условия реализуются полностью только в тех случаях, когда рассматриваемый звуковой комплекс не обнаруживает вообще никаких модификаций.

Однако могут иметь место менее заметные модификации, особенно в начальной и конечной позициях, которые мы готовы игнорировать ввиду их меньшей значимости сравнительно с постоянством структуры слова. Это встречается, например, в языке дакота, в котором конечный звук постоянного словесного комплекса, имеющего четко определенное значение, автоматически видоизменяет первый звук последующего словесного комплекса, имеющего такие же качества постоянства. Может иметь место и обратный процесс. Демаркационная

линия между тем, что мы обычно называем двумя словами, в этом случае, строго говоря, исчезает. Но взаимное влияние двух находящихся в связи слов сравнительно настолько слабо, что идея индивидуальности слова перевешивает их органическую связь.

В других случаях, когда органическая связь становится настолько прочной, что ни один из компонентов не функционирует без ясных следов своей связи, они представляются нам отдельной единицей. В качестве такого положения можно сослаться на эскимосский язык. В этом языке много элементов, которые ясны по своему значению и сильны по своим фонетическим качествам, но которые настолько ограничены в своих позициях, что они всегда следуют за другими определенными частями предложения, никогда не образуют начала законченной фонетической группы, а предшествующая фонетическая группа теряет свою более постоянную фонетическую форму, когда они добавляются к ней. Обратимся к примеру: *takuvoq* означает «он видит»; *takulerpoq* значит «он начинает видеть». Во второй форме идея видения заключается в элементе *taku-*, который сам по себе не полон. Последующий элемент *-ler* никогда не может открывать предложения и получает значение «начинать» только в связи с предшествующей фонетической группой, конечный звук которой до известной степени определяется им. В свою очередь, он требует окончания, которым в нашем случае является третье лицо единственного числа *-roq*; слово же, имеющее значение «видеть», требует окончания *-voq* для этого же лица. Эти окончания также не могут открывать предложения, а их начальные звуки *v* и *r* полностью определяются конечными звуками предшествующих элементов. Таким образом, мы видим, что эта группа звуковых комплексов образует прочное единство, объединенное формальной неполноценностью каждой части и далеко идущими взаимными фонетическими влияниями. Языки, в которых элементы так тесно связаны, как в эскимосском, не оставляют никакого сомнения в отношении того, что образует слово в нашем обычном смысле слова. Такое же положение существует и в ирокезском, напоминающем в этом отношении эскимосский язык. Возьмем пример из диалекта онейда. *Watgajjanegale* «цветок раскрывается» состоит из формальных элементов *wa-*, *-t-* и *-g-*, временных, модальных и прономинальных по своему характеру; далее идет *a*, характеризующее основу *jjja* «цветок», никогда не выступающую отдельно, и, наконец, основа *-negale* «раскрываться», которая также не имеет самостоятельного существования.

Во всех этих случаях элементы обладают большой ясностью значения, но отсутствие у них постоянства формы понуждает нас рассматривать их как части одного длинного слова.

В то время как некоторые языки оставляют впечатление достаточного критерия для определения границ слов, существуют случаи, при которых определенные части предложения можно выделить таким образом, что другие части сохраняют свою независимую форму. В американских языках это, в частности, имеет место тогда,

когда существительные включаются в глагольный комплекс, не модифицируя свои компоненты. Так обстоит дело, например, в языке павни:  $t\ddot{a}'tuk^{ut}$  «я разрезал это для тебя» и  $riks$  «стрела» объединяются в  $tat\ddot{u}'riksk^{ut}$  «я разрезал твою стрелу». Близость связи этих форм проступает еще отчетливее в случаях наличия широких фонетических модификаций. Так, элементы  $ta-t-ru^{\epsilon}$ -n объединяются в  $ta'hu^{\epsilon}n$  «я делаю» (так как  $tr$  в слове изменяется в  $h$ ), а  $ta-t-r\ddot{i}ks-ru^{\epsilon}n$  превращается в  $tahikstu^{\epsilon}n$  «я делаю стрелу» (так как  $r$  после  $s$  превращается в  $t$ ). В то же время  $riks$  «стрела» употребляется как независимое слово.

Если мы будем следовать изложенным выше принципам, мы легко увидим, что один и тот же элемент может одновременно выступать как самостоятельное существительное и затем как часть слова, остаток которого обладает всеми вышеописанными качествами и который по этой причине мы не склонны рассматривать как комплекс независимых элементов.

Двусмысленность в отношении независимости частей предложения может также возникнуть и тогда, когда их значение становится зависимым от других частей предложения или когда их значение оказывается настолько неясным и слабым сравнительно с другими частями предложения, что мы предпочитаем рассматривать их как подчиненные части. Когда в фонетическом отношении они сильны, слова этого рода обычно рассматриваются как независимые частицы; когда же с другой стороны, они фонетически слабы, они обычно рассматриваются как модифицирующие части других слов. Хорошие примеры подобного рода содержатся в текстах языка понка, собранных Джеймсом Оуэн Дорсей. Здесь один и тот же элемент часто трактуется как независимая частица, но в других случаях он рассматривается в качестве подчиненной части слов. Так, мы встречаем  $\text{øéama}$  «эти», но  $jábe\ amá$  «бобер».

Аналогичную трактовку грамматики языка сиукс мы обнаруживаем у С. Р. Риггса. Здесь мы, например, встречаемся с элементом  $ri$ , который всегда трактуется как окончание слова, очевидно, в силу того обстоятельства, что он выражает множественное число, которое в индоевропейских языках всегда обозначается видоизменением слова. С другой стороны, элементы вроде  $kta$  и  $śni$ , обозначающие соответственно будущее время и отрицание, трактуются как самостоятельные слова, хотя они функционируют в точно той же форме, что и вышеупомянутое  $ri$ .

Другими примерами подобного рода являются модифицирующие элементы в языке цимшей, в котором бесчисленные адвербиальные элементы выражаются чрезвычайно слабыми фонетическими группами, имеющими определенные позиции. Здесь также господствует абсолютный произвол в отношении подобных фонетических групп, рассматриваемых то как отдельные слова, то объединяемых в одно слово с глагольными выражениями. В таких случаях независимое существование слова, к которому без всяких видоизменений присоединяются подобные частицы, побуждает нас рассматривать

эти элементы в качестве независимых частиц при условии, что они достаточно сильны в фонетическом отношении. С другой стороны, если глагольные выражения, к которым они присоединяются, модифицируются или посредством включения этих элементов в них, или иными путями, мы склонны рассматривать их как части слова.

Представляется далее необходимым более полно обсудить понятие слова в его отношении ко всему предложению, так как этот вопрос играет важную роль в морфологической трактовке американских языков.

## ОСНОВА И АФФИКС

Аналитическая трактовка языков приводит к выделению некоторого количества различных групп элементов речи. Когда мы классифицируем их соответственно их функциям, то оказывается, что определенные элементы встречаются в каждом отдельном предложении. Таковы, например, формы, обозначающие субъект и предикат, или в современных европейских языках формы, обозначающие число, время и лицо. Другие элементы, вроде тех, которые обозначают указание, могут наличествовать в предложении, но могут и отсутствовать. Подобные элементы и многие другие трактуются в наших грамматиках. Эти элементы модифицируют материальное содержание предложения в соответствии со своим характером, как например в английских предложениях *He strikes him* (Он бьет его) и *I struck thee* (Я бил тебя), где идея битья кого-либо составляет содержание коммуникации, в то время как идеи *he, present, him* (он, настоящее время, его) и *I, past, thee* (я, прошедшее время, тебя) модифицируют первую идею.

Чрезвычайно важно отметить, что это разделение содержащихся в предложении идей на материальное содержание и формальные модификации носит произвольный характер и обусловлено, очевидно, прежде всего большим разнообразием идей, которые могут быть выражены тем же формальным способом и теми же прономинальными и временными элементами. Другими словами, материальное содержание предложения может быть представлено субъектом и предикатом, выражающими неограниченное количество понятий, в то время как модифицирующие элементы — в нашем примере местоимения и времена — содержат относительно мало понятий. При изучении языка части, выражающие материальное содержание предложения, обычно относятся нами к области лексики; части же, выражающие модифицирующие отношения, — к области грамматики. В современных индоевропейских языках количество понятий, выражаемых подчиненными элементами, вообще ограничено, и по этой причине линия, отделяющая грамматику от лексики, чрезвычайно отчетлива. Впрочем, при более широком взгляде все этимологические процессы и словообразование следовало бы рассматривать как часть грамматики, А если мы поступим так, то увидим,



что даже в индоевропейских языках количество классифицирующих понятий очень велико.

В американских языках различие между грамматикой и лексикой часто бывает очень неясно в силу того обстоятельства, что количество элементов, принимающих участие в формальных образованиях, весьма велико. Представляется необходимым объяснить это более подробно на ряде примеров. В языке цимшей мы обнаруживаем очень большое количество адвербиальных элементов, которые никак нельзя трактовать как совершенно независимые и которые без всякого сомнения следует рассматривать в качестве элементов, модифицирующих глагольные понятия. В силу очень большого количества этих элементов общее количество глаголов движения представляется несколько ограниченным, хотя общее количество глаголов, способных объединяться с этими адвербиальными понятиями, значительно больше, чем общее количество самих адвербиальных понятий. Таким образом, количество наречий фиксировано, а количество глаголов неограниченно. В соответствии с этим положением у нас создается впечатление, что первые являются модифицирующими элементами и должны относиться к грамматике языка, а вторые суть слова и относятся к лексике языка. Количество подобных модифицирующих элементов в эскимосском языке еще больше, и здесь впечатление, что они должны относиться к грамматике, подкрепляется и тем обстоятельством, что они никогда не могут занимать начальной позиции и не следуют за самостоятельным словом, но присоединяются к элементам, которые, будучи произнесены отдельно, не имеют никакого смысла.

Теперь важно отметить, что в ряде языков количество модифицирующих элементов может достигать такого числа, что становится трудно установить, какие элементы представляют серии понятий, ограниченных по количеству, и какие представляют почти безграничные серии слов, относящихся к лексике. Это верно, например, применительно к алгонкинскому языку, где в соединении почти со всеми глаголами появляется ряд элементов, каждый в определенной позиции; но каждая из групп настолько многочисленна, что невозможно с определенностью обозначить одну группу как слова, модифицируемые другой группой, или же наоборот.

Важность этих соображений для наших целей заключается в факте, иллюстрирующем отсутствие определенности в терминах основа и аффикс. Согласно обычной терминологии, аффиксы — это элементы, присоединенные к основам и модифицирующие их. Это определение вполне приемлемо для случаев, когда количество модифицирующих понятий ограничено. Но когда количество модифицирующих элементов становится чрезвычайно большим, мы вправе сомневаться, какой из двух элементов является модифицирующим и какой модифицируемым, и в конце концов определение становится абсолютно произвольным. В последующем изложении делается попытка ограничить употребление терминов префикс, суффикс и аффикс только теми случаями, когда количество выражаемых этими

элементами понятий строго ограничено. Когда же количество объединенных элементов становится таким большим, что их трудно классифицировать, эти термины не употребляются, а элементы трактуются как координирующие.

## ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

Из всего сказанного следует, что при объективном исследовании языка необходимо учитывать три момента: во-первых, составляющие язык фонетические элементы; во-вторых, группы понятий, выражаемых фонетическими группами, и, в-третьих, способы образования и модификации фонетических групп.

**ЯЗЫК<sup>1</sup>**

(ГЛАВА «УПОТРЕБЛЕНИЕ ЯЗЫКА»)

Первые шаги — самые трудные в изучении языка. Ученые вновь и вновь приступают к изучению языка, не располагая, однако, необходимыми данными. Наука о языке возникла из преимущественно практических предпосылок — пользования письмом, изучения литературы, и в частности древних ее памятников, правил изящной речи, но сколько бы ни было затрачено времени на эти вещи, это еще не означает вступления в область собственно лингвистического исследования. Все это, таким образом, находится вне предмета нашего изучения.

Письмо — не язык, но только способ передачи языка посредством видимых знаков. В некоторых странах, таких, как Китай, Египет, Месопотамия, письмо использовалось тысячелетия тому назад, но применительно к большинству языков, на которых говорят и ныне, оно стало употребляться в сравнительно недавнее время или же не употребляется и по сию пору. Более того, до возникновения книгопечатания грамотность была ограничена очень тесным кругом народов. На многих языках говорили народы, которые на протяжении почти всей своей истории не умели читать и писать; языки таких народов в такой же степени устойчивы, правильны и богаты, как и языки народов с литературной традицией. Язык остается тем же самым вне зависимости от того, какая система письма используется для его передачи, точно так же как и человека не может изменить любой способ его изображения. У японцев было три системы письма, а сейчас они формируют четвертую. Когда турки в 1928 г. перешли на латинский алфавит, отказавшись от арабского, они продолжали говорить так же, как и раньше. С тем чтобы изучить письмо, мы должны кое-что знать и о языке, но обратное положение совершенно не обязательно. Правда, мы извлекаем сведения о речи прошлых времен главным образом из письменных памятников, — и по этой причине нам необходимо изучать и историю письма, — но к этому вынуждают нас обстоятельства. Переводя письменные знаки в действительную речь, мы должны быть очень осторожны: очень часто

<sup>1</sup> L. Bloomfield, *Language*, London, 1935.

мы при этом делаем ошибки и поэтому по возможности всегда следует предпочитать живое слово.

Литература как в своей разговорной форме, так и в письменной (что сейчас является обычным) состоит из изящных, или благородных, высказываний. Исследователь в области литературы наблюдает высказывания определенного лица (например, Шекспира) и обращает внимание на их содержание и необычные особенности формы. Интересы филолога более широки, так как он занимается культурным значением и фоном того, что он читает. Лингвист, с другой стороны, изучает язык безотносительно к личности; индивидуальные особенности, которыми язык великого писателя отличается от обычной речи его времени, интересуют лингвиста не больше, чем индивидуальные особенности любого другого лица, и во всяком случае меньше, чем особенности, общие для всех говорящих на данном языке.

Выделение литературной, или «правильной», речи есть побочный продукт определенных социальных условий. Лингвист должен заниматься ею в такой же мере, в какой он занимается другими лингвистическими явлениями. Тот факт, что одни формы речи характеризуются как «хорошие» и «правильные», а другие как «плохие» и «неправильные», следует трактовать просто как часть лингвистических данных относительно этих речевых форм. Нет надобности указывать, что это не дает лингвисту права игнорировать ту или иную часть материала или тем более фальсифицировать свой материал: он с полной объективностью должен изучать все речевые формы. В его задачи входит установить, при каких обстоятельствах форма характеризуется тем или иным образом и почему она определяется именно таким образом: почему, например, люди считают, что *ain't* «плохо», а *am not* «хорошо». Это только одна из проблем лингвистики, а так как она не является основной, то к ней следует приступать только после того, как известны многие другие вещи. Но странным образом люди, не имеющие никакой лингвистической подготовки, затрачивают много усилий на бесполезные дискуссии именно по такого рода вопросам, не углубляясь в изучение языка, которое одно может дать им в руки необходимое исследовательское оружие.

Исследователь письма, литературы или философии, или правильной речи, если только он достаточно настойчив и методичен, после напрасных усилий неизбежно приходит к выводу, что ему сначала надо изучить язык, а потом уже приниматься за эти проблемы. Мы постараемся сберечь себе эти окольные пути и приступим к наблюдению над обычной речью. Мы начнем с наблюдения над актом речевого высказывания в самых простых условиях.

Предположим, что Джек и Джил идут по тропинке. Джил голодна. Она видит яблоко на дереве. Она с помощью горла, языка и губ производит ряд звуков. Джек прыгает через изгородь, влезает на дерево, срывает яблоко, приносит его Джил и кладет его ей в руку. Джил ест яблоко.

Последовательность событий можно изучать различными способами, но мы, изучающие язык, должны делать различие между речевым актом и другими явлениями, которые мы будем называть практическими действиями. С этой точки зрения описанный случай состоит из трех частей со следующей временной последовательностью:

А. Практические действия, предшествовавшие речевому акту.

Б. Речь.

В. Практические действия, последовавшие за речевым актом.

Рассмотрим сначала практические действия А и В. Действия

А касаются главным образом говорящего — Джил. Она была голодна; иными словами, некоторые из ее мускулов сжались, какие-то жидкости, в частности в ее желудке, подверглись секреции. Быть может, ей хотелось также пить: ее язык и гортань были сухими. Световые волны, отражаясь от красного яблока, коснулись ее глаз. Рядом с ней был Джек. Ее прошлые отношения должны теперь выступить на передний план; допустим, что это были обычные отношения, например, брата и сестры или мужа и жены. Все эти действия, которые предшествовали речи Джил и касались ее, мы назовем стимулом говорящего.

Обратимся теперь к В, практическим действиям, последовавшим за речью Джил. Они относятся главным образом к слушающему — Джеку — и состоят из добычи яблока и передаче его Джил. Практические действия, которые последовали за речью и касались слушателя, мы назовем реакцией слушающего. Действия, последовавшие за речью, касаются также и Джил, и это чрезвычайно важное обстоятельство: она берет в свои руки яблоко и ест его.

Совершенно очевидно, что вся наша история зависит от ряда более отдаленных обстоятельств, связанных с А и В. Не каждый Джек и Джил будут поступать подобным образом. Если Джил застенчива или если Джек в прошлом вел себя плохо по отношению к ней, она может быть голодной, видеть яблоко и все же ничего не сказать; если Джек недружелюбен к ней, он может не достать ей яблока, если даже она и просила его. Явление речи (и, как мы увидим, выбор самих слов), так же как и последовательность практических действий до и после нее, полностью зависит от всей жизненной истории говорящего и слушающего. В настоящем случае мы будем считать, что все эти предрасполагающие факторы были такими, что обусловили события, как мы их рассказали. Исходя из этого, мы хотим узнать, какую роль в этой истории играло речевое высказывание Б.

Если бы Джил была одна, она тоже могла бы быть голодной и томиться жаждой и видеть то же самое яблоко. Если она достаточно сильна и ловка, чтобы перепрыгнуть изгородь и влезть на дерево, она может сама раздобыть себе яблоко и съесть его; если же нет, она должна будет остаться голодной. Одинокая Джил находится в таком же положении, как и лишенное речи животное. Когда животное голодно и видит или чувствует пищу, оно направляется к ней;

удастся ли ему добыть пищу, зависит от его силы и ловкости. Степень голода и вид или чутье пищи есть стимулы (мы будем обозначать их через S), а движение по направлению к пище — реакция (которую мы обозначим через R). Одинокая Джил и лишенное речи животное действуют одинаковым путем, а именно:

S —————> R

Когда они достигают своей цели, они получают пищу, если же нет, — если они недостаточно сильны или искусны, чтобы добыть пищу посредством действия R, — они должны остаться голодными.

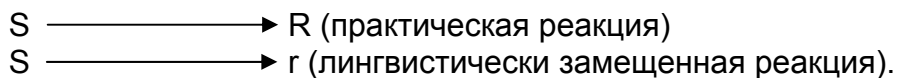
Само собой разумеется, что для благополучия Джил важно получить яблоко. В большинстве случаев это не вопрос жизни и смерти, но иногда и может им быть; добывшая пищу Джил (или животное) имеет больше шансов выжить и населять эту землю. В соответствии с этим всякое приспособление, увеличивающее шансы Джил добыть пищу, чрезвычайно ценно для нее. Говорящая Джил в нашей истории воспользовалась таким приспособлением. Сама по себе она обладала такими же шансами получить яблоко, как одинокая Джил или лишенное речи животное. Но вдобавок к этому говорящая Джил располагает еще одним шансом, который не имеют эти последние. Вместо того чтобы «бороться» с изгородью и деревом, она сделала несколько небольших движений в гортани и ротовой полости, которые произвели звуки. Тотчас Джек начал реагировать, он осуществил ряд действий, которые превышают силы Джил, и в заключение Джил получила яблоко. Язык позволяет реагировать (R) одному индивиду тогда, когда другой имеет стимулы (S).

В идеальном случае каждый индивид, общающийся с помощью языка с другими в пределах данного коллектива, обладает силой и ловкостью других членов этого коллектива. Чем более эти индивиды отличаются в отношении своего искусства, тем более широкую сферу власти контролирует каждый индивид. Только один индивид должен уметь хорошо лазать, поскольку он один в состоянии добывать фрукты для остальных; только один должен быть хорошим рыболовом, поскольку он способен снабжать других рыбой. Разделение труда, а в связи с этим всей деятельности человеческого общества возможно благодаря языку.

Теперь нам надо рассмотреть Б, явление речи в нашей истории. Это, разумеется, та часть истории, которой мы в качестве исследователей языка главным образом занимаемся. В нашей работе мы наблюдаем Б; А и В касаются нас только потому, что они находятся в связи с Б. Благодаря физиологии и физике мы знаем достаточно относительно явления речи, чтобы выделить в ней три части:

(Б1) Говорящий — Джил — двигает свои голосовые связки (два маленьких мускула внутри адамова яблока), свою нижнюю челюсть, свой язык и т. д. таким образом, чтобы образовать в воздухе звуковые волны. Эти движения говорящего представляют реакции на стимулы S. Вместо того чтобы совершать практические (выраженные в действии) реакции R, а именно отправиться на добычу яблока,

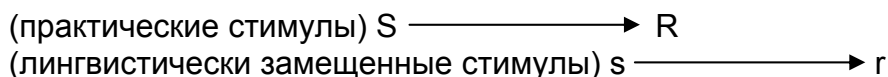
она производит эти звуковые движения, речевую (или замещающую) реакцию, которую мы будем обозначать через маленькую букву г. В итоге Джил в качестве говорящего индивида может реагировать на стимулы не одним, а двумя способами:



В рассматриваемом случае она воспользовалась вторым способом.

(Б2) Звуковые волны в воздушном пространстве ротовой полости Джил вызывают подобные же звуковые волны в окружающем воздухе.

(Б3) Эти звуковые волны ударяют по барабанным перепонкам Джека и приводят их в вибрацию, что воздействует на нервную систему Джека: Джек слышит речь. Это слышанье действует на Джека как стимул: мы видим, как он бежит и срывает яблоко, а затем вкладывает его в руки Джил, как будто стимулы Джил, состоящие из голода и яблока, действуют на него самого. Наблюдатель с другой планеты, не знающий, что существует такая вещь, как человеческая речь, может подумать, что в теле Джека скрывается какой-нибудь орган чувств, который и подсказывает ему — «Джил голодна и видит там, наверху, яблоко». Короче говоря, Джек как индивид, принимающий участие в речи, реагирует на два вида стимулов: практический стимул типа S (такой, как голод и вид пищи) и речевой (или замещающий) стимул — определенные вибрации его барабанных перепонки, что мы обозначим через маленькую букву s. Когда мы видим, что Джек что-то делает (например, достает яблоко), его действие может вызываться, как в случае с животным, лишь практическим стимулом (чувством голода в его желудке или видом яблока), но в такой же мере часто и речевым стимулом. Его действия R могут обуславливаться не одним, а двумя видами стимулов:



Совершенно очевидно, что связь между звуковыми движениями Джил (Б1) и слышаньем Джека (Б3) подлежит очень незначительным видоизменениям, поскольку это не больше как звуковые волны, передаваемые через воздух (Б2). Передавая эту связь посредством пунктирной линии, мы можем передать два человеческих способа реагирования на стимулы с помощью следующих двух диаграмм:



Различие между двумя типами ясно. Безречевая реакция происходит у того же индивида, у которого зарождается стимул; индивид, у которого зарождается стимул, является единственным,

кто может реагировать. Реакция, таким образом, ограничена теми действиями, на которые способен получающий стимулы. В противоположность этому реакция, переданная посредством языка, может быть осуществлена индивидом, который не получал практических стимулов; индивид, у которого зарождается стимул, может побудить другой индивид ответить реакцией, на которую способен этот второй индивид, но не способен первый (говорящий). Стрелки на наших диаграммах указывают последовательность событий, совершающихся в пределах тела одного индивида — последовательность событий, которая, как нам представляется, обуславливается особенностями нервной системы. Таким образом, безречевая реакция может иметь место только в теле, которое получает стимулы. С другой стороны, в реакции, осуществляемой посредством речи, наличествует звено, обозначенное посредством пунктирной линии и состоящее из звуковых волн: реакция, передаваемая посредством речи, может иметь место в теле любого индивида, слышащего речь; возможности осуществления реакции колоссально возрастают, поскольку различные слушатели способны на беспредельное многообразие действий. Брешь между телами говорящего и слушающего — разрыв двух нервных систем — перекрывается звуковыми волнами.

Биологически существенные вещи одни и те же в обоих случаях — в речевом и в безречевом процессе, а именно S (голод и вид пищи) и R (движения, направленные на добычу пищи). Все это практическая часть дела. Явление речи s.....r не более как средство, которое делает возможным осуществление S и R в различных индивидах. Нормальное человеческое существо интересуется только S и R; хотя оно пользуется речью и получает от этого значительные выгоды, он не обращает на нее внимание. Произнесение или слышание слова *яблоко* не есть еще чей-либо голод. Это, как в любом употреблении речи, только способ получить помощь от своего спутника. Но в качестве исследователей языка мы имеем дело как раз с речевым явлением (s.....r), не имеющим ценности само по себе, но служащим средством для достижения великих целей. Мы различаем язык, предмет нашего изучения, и реальные, или практические, явления, стимулы и реакции. Когда что-либо, что кажется неважным, оказывается тесно связанным с более важными вещами, мы говорим, что оно имеет «значение», в частности оно «означает» эти более важные вещи. Соответственно мы говорим, что речевое высказывание, несущественное само по себе, важно потому, что оно обладает значением: значение состоит из важных вещей, с которыми связано речевое высказывание (Б), и именно из практических действий (А и В).

До известной степени некоторые животные реагируют на стимулы друг друга. Очевидно, то чудесное координирование, которое мы наблюдаем среди муравьев и пчел, осуществляется посредством какой-то формы общения. Использование для этой цели звуков достаточно обычно: кузнечики, например, вызывают других



кузнечиков посредством стрекотания, производимого трением ноги по телу. Некоторые животные, вроде человека, используют голосовые звуки. Птицы производят звуковые волны посредством евстахиевой трубы (syrinx), пары красноватых органов, расположенных поверх легких. Высшие животные имеют гортань (larynx) и хрящевидное образование (у человека оно называется адамовым яблоком) сверху дыхательного горла. Внутри гортани — справа и слева — расположены два мускула; когда эти мускулы — голосовые связки — находятся в напряженном состоянии, выдыхаемый воздух заставляет их вибрировать, в результате чего возникает звук. Этот звук мы называем голосом.

Человеческая речь весьма значительно отличается от сигналоподобных действий животных, если даже они используют голос. Собаки, например, производят только два или три вида звуков — лай, ворчание и визг; собака может заставить действовать другую собаку только с помощью этих немногих сигналов. Попугаи способны производить большое количество разнообразных звуков, но, по-видимому, не реагируют различным образом на различные звуки. Человек произносит различные виды голосовых звуков и использует это многообразие: под влиянием определенных типов стимулов он производит определенные голосовые звуки, и его товарищи, слыша эти самые звуки, поступают соответствующим образом. Короче говоря, в человеческой речи различные звуки обладают различным значением. Изучать эту координацию определенных звуков с определенными значениями — значит изучать язык.

Эта координация позволяет человеку общаться с большой ясностью. Если мы, например, сообщаем кому-либо адрес дома, который он ни разу не видел, мы делаем нечто, на что не способно ни одно животное. Каждый индивид не только имеет в своем распоряжении способности других индивидов, но эта кооперация имеет чрезвычайно точный характер. Объем и четкость такой совместной работы есть мерило успехов нашей социальной организации. Термин общество или общественная организация — не метафора. Человеческая общественная группа действительно единица более высокого порядка, чем единичное животное, точно так же как многоклеточное животное есть единица более высокого порядка, чем единичная клетка. Единичные клетки во многоклеточном организме кооперируют свою деятельность посредством такого приспособления, как нервная система; индивид в человеческом обществе кооперирует свою деятельность посредством звуковых волн.

Разнообразие путей реализации языка настолько очевидно, что мы упомянем только немногие из них. Мы можем передавать сообщение. Когда группа фермеров или торговцев заявляет «Мы хотим построить мост через эту реку», эта новость может проследовать через городское собрание, городское управление, бюро по делам дорог, инженерную группу, конструкторский отдел, пере-

ходя через множество индивидов и множество речевых передач, пока в конце концов в ответ на первоначальный стимул фермеров последует деятельность (практическая) рабочих, сооружающих мост. Со способностью передаваться тесно связано и другое качество речи — ее абстрактность. Речевые передачи, находящиеся между практическими стимулами и практическими реакциями, не обладают непосредственным практическим эффектом. В соответствии с этим им можно придавать любую форму при условии, что они будут поняты правильно на заключительном этапе при практическом реагировании. Инженеру, конструирующему мост, нет надобности орудовать реальными балками и перекладинами; он манипулирует только речевыми формами (такими, как числа в вычислениях); если он допускает ошибку, ему не надо разрушать какой-либо материал; ему следует только заменить неправильно избранную речевую форму (например, неправильное число) более подходящей, прежде чем он приступит к реальному строительству. В этом заключается ценность речи с самим собой, или мышления. Дети мы говорим сами с собой вслух, но под влиянием поправок взрослых мы вскоре научаемся подавлять производящие звук движения и заменяем их совершенно неслышными: мы «думаем словами». Польза мышления может быть проиллюстрирована процессом счета. Наша способность определять количество без помощи речи чрезвычайно ограничена, как каждый может убедиться, бросив взгляд, например, на книжный ряд на полке. Сказать, что «два комплекта вещей» имеют одно и то же количество, — значит, что если мы возьмем одну вещь из первого комплекта и поместим его рядом с вещью из второго комплекта и будем продолжать эту процедуру, не употребляя больше одного раза каждую вещь, то у нас не останется непарных вещей ни в одном из этих двух комплектов. Но мы не всегда в состоянии сделать это. Предметы могут быть слишком тяжелые для передвижения, или они могут находиться в разных частях света, или они существуют в разные периоды времени (как, например, стадо овец до и после урагана). Здесь вступает язык. Числа «один», «два», «три», «четыре» и т. д. просто серия слов, которые мы научились произносить в установленном порядке, как заместители вышеописанного процесса. Используя их, мы можем «сосчитать» любой комплект предметов посредством установления между ними и числовыми словами прямого соответствия, т. е. обозначая словом *один* один предмет, словом *два* — другой предмет, словом *три* — еще следующий предмет и т. д., следя за тем, чтобы каждый предмет использовался только единожды, пока все предметы не будут исчерпаны. Допустим, что, когда мы скажем *девятнадцать*, больше предметов не останется. В соответствии с этим в любое время и в любом месте мы можем решить посредством простого повторения процесса подсчета предметов в новом комплекте, имеет ли он такое же количество предметов, как и первый комплект, или же нет. Математика — идеальное использование языка — представляет собой разработку этого процесса. Ис-

пользование чисел — простейший и яснейший случай пользы «говорения с самим собой», но существует и множество других. Мы думаем, прежде чем действуем.

Конкретные речевые звуки, произносимые людьми под влиянием определенных стимулов, различаются среди различных групп: человечество говорит на многих языках. Группа людей, использующая одну и ту же систему речевых сигналов, — это речевой коллектив. Очевидно, что ценность языка зависит от употребления его людьми тем же самым образом. Каждый член социальной группы в определенной ситуации должен произносить соответствующие речевые звуки, и, когда он слышит произнесение их другим членом группы, он должен реагировать также соответствующим образом. Он должен говорить понятно и понимать, что говорят другие. Это относится даже к наименее цивилизованным общностям; где бы мы ни обнаружили человека, он владеет речью.

Каждый ребенок, родившийся в определенной социальной группе, приобретает речевые привычки и умение реагировать на речь в первые годы своей жизни. Это вне всякого сомнения величайший интеллектуальный подвиг, который обязан совершить каждый из нас. Точно не известно, как ребенок научается говорить; этот процесс происходит приблизительно следующим образом.

(1) Под влиянием различных стимулов ребенок произносит и повторяет голосовые звуки. Это, очевидно, наследственная черта. Предположим, что он произносит звук, который мы можем передать через *da*, хотя, конечно, фактические движения и возникающие в результате их звуки отличаются от тех, которые употребляются в стандартной английской речи. Звуковые вибрации ударяют по барабанным перепонкам ребенка, когда он повторяет движения. В результате возникает привычка: когда бы подобный звук ни достигал его ушей, он будет делать те же самые движения ртом, повторяя звук *da*. Такой лепет тренирует его в воспроизведении голосовых звуков, достигших его ушей.

(2) Некое лицо, например мать, произносит в присутствии ребенка звук, похожий на один из тех слогов, которые лепечет ребенок. Допустим, она произносит *doll* (кукла). Когда эти звуки достигают ушей ребенка, вступает в игру его привычка (1) и он произносит свой наиболее приближающийся слог *da*. Мы говорим, что он начинает «подражать». Взрослые, видимо, наблюдают это повсюду, так как каждый язык, вероятно, содержит определенные детские слова, похожие на детское лепетание, — слова вроде *мама*, *дада*, *папа*: несомненно, они популярны потому, что ребенок легко научается повторять их.

(3) Мать, конечно, употребляет свои слова тогда, когда налицо соответствующий стимул. Она произносит *doll* тогда, когда показывает или дает ребенку куклу. Вид и держание куклы, а также слышанье и произнесение слова *doll* (т. е. *da*) повторяются совместно до тех пор, пока у ребенка не сформируется новая привычка: вид и ощущение куклы достаточны, чтобы заставить гово-

речь его *da*. Он употребляет теперь слово. Для взрослых оно звучит не совсем так, как их слова, но это только в силу некоторого несовершенства. Не похоже на то, чтобы дети сами изобретали слова.

(4) Привычка говорить *da* при виде куклы дает основание для возникновения дальнейших привычек. Предположим, например, что день за днем ребенку дают куклу (и говорят *da, da, da*) тотчас после купания. Теперь у него появляется привычка говорить *da, da* после купания; это значит, что, если мать однажды забудет дать ему куклу, он тем не менее будет после купания кричать *da, da*. «Он просит свою куклу», — скажет мать и будет права, поскольку «просьба» или «желание» взрослых не более, как усложненный тип той же самой ситуации. Теперь ребенок вступает в абстрактную, или смещенную, речь: он называет вещь даже тогда, когда она не присутствует.

(5) Речь ребенка совершенствуется своими результатами. Если он произносит *da, da* достаточно хорошо, его родители понимают его; иными словами — они дают ему куклу. Когда это происходит, вид и ощущение куклы действуют как дополнительные стимулы, и ребенок повторяет и совершенствует свой успешный вариант слова. С другой стороны, если он произносит свои *da, da* несовершенно, т. е. с большими отклонениями от принятой у взрослых формы *doll*, тогда его родители не стимулируются к тому, чтобы дать ему куклу. Вместо того чтобы получить добавочные стимулы от вида и ощущения куклы, ребенок теперь отвлекается иными стимулами или даже, не получив как обычно после купания куклу, он раздражается, что вносит беспорядок в его недавние впечатления. Короче говоря, его более совершенные попытки речи укрепляются повторением, а его ошибки рассеиваются в беспорядке. Этот процесс никогда не останавливается. На более поздней стадии, если он говорит *Daddy brought it*<sup>1</sup>, он просто получает разочаровывающий ответ *No! You must say «Daddy brought it»*, но если он говорит *Daddy brought it*, он скорее всего услышит повторение — *Yes, Daddy brought it* и получит в ответ практическую реакцию, к которой стремился.

В то же самое время и посредством того же самого процесса ребенок научается слушать. Когда ему дают куклу, он слышит, как сам говорит *da, da*, а его мать произносит *doll*. Через некоторое время слышание звука оказывается достаточным, чтобы заставить его взять куклу. Мать говорит: «Помаши папе ручкой» тогда, когда ребенок уже делает это по своей воле или когда она берет руку ребенка и машет ею. У ребенка формируются привычки действовать установленным образом, когда он слышит речь.

Этот двоякий характер речевых привычек становится все более

<sup>1</sup> Искраженная фраза, означающая «Папа принес ее». В детском языке русского ребенка аналогичным примером может служить фраза: «Он хотит (вместо «хочет») есть». (Примечание составителя.)

и более объединенным, поскольку обе фазы всегда происходят совместно. Во всех случаях, когда ребенок усваивает связь S → r (например, произносит doll, когда он видит куклу), он усваивает также связь s → R (например, тянется к кукле или берет ее в руки, когда слышит слово doll). Когда он научается некоторому количеству такого рода двояких комплексов, он развивает привычку связывать один тип комплекса с другим: как только он научается произносить новое слово, он способен и реагировать на него, когда его произносят другие, и обратно, — когда он научается реагировать на новое слово, он обычно способен и произносить его при соответствующей ситуации. Последний переход, по-видимому, более трудный; в более поздней жизни мы устанавливаем, что индивид понимает большое количество речевых форм, которые редко или никогда не употребляет в своей речи.

Явления, которые в нашей диаграмме передаются пунктирной линией, абсолютно ясны. Голосовые связки говорящего, язык, губы и т. д. взаимодействуют с выдыхаемым воздухом таким образом, что возникают звуковые волны; эти волны распространяются по воздуху и достигают барабанных перепонок слушающего, которые начинают вибрировать. Но явления, которые мы передаем стрелками, весьма неясны. Мы не понимаем механизма, который заставляет людей говорить определенные вещи в определенных ситуациях, или механизм, заставляющий поступать их соответствующим образом, когда звуковые волны ударяются о их барабанные перепонки. Очевидно, эти механизмы — фазы нашего общего оснащения для реагирования на стимулы, будь то звуковые волны или что-либо другое. Эти механизмы изучаются в физиологии и особенно в психологии. Изучать их в отношении к языку — значит изучать психологию речи, лингвистическую психологию. При разделении научного труда лингвист имеет дело только с речевыми сигналами (r.....s); он не компетентен заниматься проблемами физиологии или психологии. Выводы лингвиста, изучающего речевые сигналы, будут тем более ценны для психолога, чем менее они искажены предвзятыми мнениями относительно психологии. Мы знаем, что многие лингвисты старшего поколения игнорировали это; они портили или извращали свои работы, пытаясь определять все в терминах психологических теорий. Мы тем вернее избежим подобных ошибок, если обозрим некоторые наиболее очевидные аспекты психологии языка.

Механизм, управляющий языком, должен быть очень сложным и деликатным. Если даже мы знаем очень многое о говорящем и о стимулах, воздействующих на него, мы тем не менее обычно еще не в состоянии предсказать, будет ли он говорить и что он скажет. Мы рассмотрели историю с Джек и Джил как нечто известное нам, как ряд фактов. Если бы мы присутствовали при этом, мы были бы не способны предсказать, скажет ли что-нибудь «Джил, когда она увидит яблоко, а если да, то что именно. Даже если мы знаем, что она попросит яблоко, мы не сможем предугадать,

скажет ли она «Я голодна», или просто «Пожалуйста!», или «Я хочу яблоко», или «Достань мне то яблоко», или «Мне хотелось бы иметь яблоко» и т. д., — возможности почти безграничны. Это великое многообразие привело к образованию двух теорий о человеческом поведении, включая речь.

Менталистическая теория, более старая и все еще превалирующая как в народных представлениях, так и в научном обиходе, предполагает, что многообразие человеческого поведения обуславливается вмешательством некоего нефизического фактора — духа, воли или разума (греческое *psyche*, отсюда термин психология), наличествующего в каждом человеческом существе. Этот дух согласно менталистической точке зрения совершенно отличен от материальных вещей и соответственно подчиняется причинности иного порядка или вообще не подчиняется никакой причинности. Будет ли Джил говорить и какие слова она произнесет, зависит, таким образом, от деятельности ее разума или воли, а так как этот разум не следует законам материального мира, мы не в состоянии предугадать ее действий.

Материалистическая (или, лучше, механистическая) теория предполагает, что многообразие человеческого поведения, включая речь, обуславливается только тем фактом, что человеческое тело представляет чрезвычайно сложную систему. Человеческие действия согласно материалистической точке зрения — часть тех процессов, причин и следствий, которые мы, например, наблюдаем при изучении физики или химии. Впрочем, человеческое тело настолько сложная структура, что даже относительно простые изменения, такие, например, как падение на сетчатку световых волн, исходящих от красного яблока, могут привести к сложной цепи последовательностей, и очень незначительное изменение в состоянии тела может вызвать большие различия в способе реагировать на световые волны. Мы можем предусмотреть действия индивида (например, заставят ли его определенные стимулы говорить и какими точно будут его слова) только в том случае, если мы точно знаем структуру его тела в данный момент или — что то же самое — формирование его организма на более ранней ступени (например, при рождении или даже раньше) и обладаем всеми сведениями о ранних изменениях его организма, включая каждый стимул и действие, которое он произвел на организм.

Частью человеческого тела, ответственной за это деликатное и изменчивое приспособление, является нервная система. Нервная система представляет очень сложный управляющий механизм, который при изменении в одной части тела (например, при стимулах, воспринятых глазами) делает возможным изменения в других частях тела (например, реагирование посредством протягивания руки к яблоку или движения голосовых связок и языка). Далее ясно, что нервная система изменяется по временам или даже постоянно во время самого процесса управления: способ нашего реагирования во многом зависит от нашего более раннего знакомства с теми же

самыми или с подобными же стимулами. Будет ли Джил говорить, зависит главным образом от того, любит ли она яблоки и каково ее отношение к Джеку. Мы запоминаем и приобретаем привычки и при этом поучаемся. Нервная система напоминает своеобразный спусковой механизм: очень незначительное изменение может приблизить огонь к огромным запасам взрывчатого вещества. Если взять тот случай, который разбирается нами, то только так мы можем объяснить факт, что сложные движения, которые производит Джек, чтобы достать яблоко, были приведены в действие такими незначительными изменениями, как минутное постукивание звуковых волн по его барабанным перепонкам.

Деятельность нервной системы недоступна наблюдению со стороны, а человек не обладает органами чувств (такими, например, какими он обладает для деятельности мускулов на его руке), с помощью которых он сам может наблюдать, что происходит в его нервах. В соответствии с этим психолог вынужден прибегать к косвенным методом исследования.

Одним из таких методов является эксперимент. Психолог подвергает некоторое количество людей воздействию тщательно подобранных стимулов в простейших условиях, а затем описывает их реагирование. Обычно он также просит подопытных индивидов «самонаблюдать», т. е. описывать с возможной полнотой, что происходит внутри их, когда на них воздействуют стимулы. Тут психологи часто начинают блуждать ввиду отсутствия у них лингвистических знаний. Неправильно, например, полагать, что язык помогает людям наблюдать вещи, для которых они не имеют органов чувств, подобных деятельности их собственной нервной системы. Единственное преимущество способа списывания того, что происходит внутри, заключается в том, что в этом случае можно сообщать о стимулах, которые сторонний наблюдатель не может открыть, — например, боль в глазах или щекотание в горле. Но и в этом случае не следует забывать, что язык — это упражнение и привычка; человек иногда не в состоянии описать некоторые стимулы просто потому, что его запас речевых привычек не располагает необходимыми формулами. Часто сама структура нашего тела обуславливает неправильность описаний; мы с точностью указываем врачу место, где чувствуем боль, а он обнаруживает повреждение немного в стороне, в месте, где, на основании наших ложных описаний, его опыт подсказывает, должно быть повреждение. В этой связи психологи заблуждаются нередко потому, что научают своих наблюдателей употреблять технические термины для неясных стимулов, в затем придают особое значение употреблению наблюдателями этих терминов.

Аномальные условия, при которых нарушается речь, по-видимому, отражают общее расстройство и повреждение и не помогают уяснить конкретный механизм языка. Заикание, вероятно, обуславливается несовершенной специализацией двух полушарий головного мозга: у нормального говорящего левое полушарие (или, если че-

ловец левша, то правое полушарие) ведает более деликатными действиями, в том числе и речью; при заикании эта односторонняя специализация не достигает полного совершенства. Нечеткое произнесение специфических звуков (запинание), если оно не вызвано анатомическими дефектами органов речи, обуславливается, очевидно, подобными же причинами. Головные раны или болезни, поражающие мозг, часто приводят к афазии, расстройству употребления речи и реагирования на речь. Генри Хед, имевший необыкновенно богатые возможности для изучения явления афазии у раненых солдат, различает четыре ее типа.

Первый тип хорошо реагирует на речь других и в менее острых случаях употребляет правильные слова для соответствующих объектов, но плохо их произносит или путает; в крайних случаях больной способен сказать немногим больше, чем *да* или *нет*. Пациент рассказывает с трудом: «Я знаю, это не ... правильно ... произносить ... я не всегда ... *правильно* это ... потому что я не ухватываю это ... пять или шесть раз ... пока кто-нибудь не скажет за меня». В более серьезных случаях пациент на вопрос о его имени отвечает *Хонус* вместо «Томас» и говорит *erst* вместо *first* (первый) . и *hend* вместо *second* (второй).

Второй тип функционирует очень хорошо при простой речи и соответствующим образом произносит слова и короткие фразы, хотя и не с правильным их построением; он может говорить на мало понятном жаргоне, хотя каждое слово достаточно правильно. На вопрос: *Have you played any games?* (Играли ли вы в какие-нибудь игры?) — пациент отвечает: *Played games, yes, played one, day-time, garden* (Играл игры, да, играл в одну, днем саду). Мы ниже увидим, что структура нормального языка заставляет нас делать различие между лексическими и грамматическими привычками речи; это нарушено у подобных пациентов.

Третий тип функционирует с трудом при наименовании объектов и испытывает затруднения при подыскании правильных слов, особенно наименований вещей. Его произношение и конструкции хороши, но он вынужден употреблять многословные описательные обороты для слов, которые не может найти. Вместо «ножницы» пациент говорит «чем режут»; вместо «черный» он говорит: «люди, которые мертвы, — другие люди, которые не мертвы, имеют такой цвет». Утерянные слова — по преимуществу наименования конкретных объектов. Это состояние представляется усилением тех трудностей в припоминании имен людей и обозначений объектов, которые нормальные люди испытывают в состоянии возбуждения, усталости или при сосредоточении внимания на иных вещах.

Четвертый тип не всегда правильно реагирует на речь других; он не испытывает трудностей при произнесении отдельных слов, но не в состоянии закончить связанной речи. Примечательно, что эти пациенты страдают апраксией; они не могут найти своей дороги и теряются уже, например, при перемещении на другую сторону улицы. Один пациент рассказывает: «Мне кажется, что я понимаю



не все, что вы говорите, и, кроме того, я забываю, что мне надо делать». Другой пациент говорит: «Когда я сижу за столом, с трудом беру предмет, например кувшин с молоком, который мне нужен. Я не узнаю его сразу... Я вижу все предметы, но я не узнаю их, Когда мне нужны соль, перец или ложка, я мешаюсь между ними». Расстройство речи явствует из такого ответа пациента: «О, да, я различаю няню и сестру по их платьям: сестра голубая, а няня — о! Я спутался — такое обычное платье сестры, белое, голубое...»

Уже с 1861 г., когда Брока показал, что повреждение третьей фронтальной извилины в левом полушарии мозга сопровождается афазией, начался дискутироваться вопрос о том, не является ли «центр Брока» и другие области коры головного мозга специфическими центрами речевой деятельности. Хед обнаружил определенное соответствие между различными местами поражения и своими четырьмя типами афазии. Очевидные функциональные идентификации корковых областей всегда связывались с определенными органами: поражение одной области мозга приводит к параличу правой ноги, поражение другой области сопровождается потерей способности реагировать на стимулы в левой части сетчатки и т. д. Итак, речь — очень сложная деятельность, при которой всякого рода стимулы приводят к чрезвычайно специфическим движениям гортани и рта; эти последние, кроме того, в физиологическом смысле вовсе не являются «органами речи», так как они и у человека и у лишенного речи животного служат иным биологическим целям. Соответственно, многие повреждения нервной системы взаимосвязаны с речью и определенные повреждения связываются с определенными видами речевых трудностей, но места корки головного мозга, конечно, не координируются со специфическими социально важными чертами языка, такими, как слова или синтаксис. Это с очевидностью явствует из Часто противоречивых результатов поисков различных видов «речевых центров». Можно ожидать, что физиологи добьются лучших результатов, когда они займутся поисками корреляций между частями коры головного мозга и специфической физиологической деятельностью, связанной с речью, как например движениями специфических мускулов или передачей кинестезических стимулов из гортани и языка. Ошибочность поисков корреляций между анатомически определенными частями нервной системы и социально определенной деятельности становится особенно очевидной, когда мы наблюдаем за поисками физиологов «визуального словесного центра», управляющего чтением и писанием: с таким же успехом можно искать мозговые центры для телеграфии, управления автомобилем или использования иных новейших изобретений. В физиологическом отношении язык не совокупность функций, но состоит из большого количества разных действий, соединение которых в единый и высоко совершенный комплекс привычек возникает в результате повторяющихся стимулов в первые годы жизни человека.

Другой способ изучения человеческой деятельности носит характер массовых наблюдений. Некоторые виды деятельности очень видоизменяются у одной личности, но весьма постоянны у большой группы людей. Мы не в состоянии предсказать, женится ли данный конкретный холостяк в ближайшие двенадцать месяцев или какой определенный человек кончит самоубийством или попадет в тюрьму, но, имея дело с большим обществом и располагая данными за прошлые годы (или, возможно, и другими сведениями, касающимися экономических условий), статистически можно предугадать количество браков, самоубийств, приговоров за преступления и т. д., которые будут иметь место в ближайшем будущем. Если бы оказалось возможным регистрировать все речевые высказывания в пределах крупной общности, мы бы вне всякого сомнения могли бы предсказать, сколько раз данное высказывание (такое, например, как *Доброе утро, Я люблю вас* или *Как много сегодня апельсинов*) будет употреблено в установленный срок. Исследования подобного рода могли бы дать нам много данных, в особенности о тех изменениях, которые непрерывно происходят в каждом языке.

Впрочем, существует другой и более простой способ массового изучения человеческой деятельности: изучение установившихся (традиционных) действий. Когда мы приезжаем в чужую страну, мы очень скоро ознакомляемся со многими установившимися моделями деятельности, например денежными системами, системами мер и весов, дорожными правилами (следует ли держаться правой стороны, как в Америке и Германии, или левой, как в Англии и Швеции), хорошими манерами, часами еды и пр. Путешественник не собирает статистических данных: небольшое количество наблюдений устанавливает уже общее направление, которое подтверждается и исправляется дальнейшим опытом. Лингвист в этом отношении находится в более благоприятном положении: нигде деятельность группы людей не подвергается такой строгой стандартизации, как в языковых формах. Большие группы людей создают свои высказывания из одного и того же запаса лексических форм и грамматических конструкций. Таким образом, лингвист в состоянии описать речевые привычки общества, не прибегая к статистике. Нет надобности подчеркивать, что он должен работать добросовестно и, в частности, отмечать все обнаруженные формы, не облегчать своей задачи апеллированием к здравому смыслу читателей, не ориентироваться на структуру какого-либо другого языка или ту или иную психологическую теорию, а самое главное — не подбирать и не подтасовывать факты в соответствии со своей точкой зрения на то, как следует говорить. Помимо своей непосредственной ценности для изучения языка, подобное непредубежденное описание является документом огромной значимости для психологии. Опасность при этом заключается в менталистической точке зрения психологии, которая может заставить наблюдателя апеллировать к чисто духовным стандартам, вместо того чтобы опи-

сывать факты. Говорить, например, что сочетания слов, которые «чувствуются» как сложные слова, имеют только одно главное ударение (например, blackbird в противоположность black bird), — значит ничего не говорить, так как мы не располагаем способом определять, что говорящий «чувствует»; задача наблюдателя заключается в установлении на основании ясного критерия, а если таковой не найден, на основании ряда примеров, какие сочетания или комбинации слов произносятся с одним главным ударением. Исследователь, принявший материалистическую гипотезу в психологии, не подвергается подобным искушениям. Можно установить в качестве принципа, что в науках, занимающихся подобно лингвистике наблюдением специфических форм человеческой деятельности, исследователь должен поступать таким образом, как если бы он придерживался материалистической точки зрения. Практическая эффективность — один из самых сильных доводов в пользу научного материализма.

Наблюдатель, дающий нам на основании массовых наблюдений описание речевых привычек общества, не способен рассказать нам что-либо об изменениях, происходящих в языке того или иного общества. Такие изменения можно констатировать только посредством чисто статистического наблюдения на протяжении значительного периода времени. Ввиду отсутствия таковых, мы не знаем многого, относящегося к лингвистическим изменениям. В этом отношении, однако, лингвистика также находится в благоприятном положении, так как сравнительный и географический методы изучения, опять-таки посредством массового наблюдения, снабжают нас многим таким, что можно надеяться получить от статистики. Благоприятная позиция нашей науки в указанных отношениях обуславливается тем фактом, что язык есть наиболее простая и наиболее фундаментальная из всех форм социальной (т. е. специфически человеческой) деятельности. С другой стороны, изучение лингвистических изменений возможно благодаря простой случайности и именно в силу существования письменных памятников речи прошлого.

Стимулы, вызывающие речь, приводят и к другим реакциям. Некоторые из них не видны со стороны; это — деятельность мускулов и желез, которая не представляет непосредственной значимости для собеседников. Другие представляют важные двигательные реакции, такие, как движение или перемещение объектов. Третьи реакции видимы, но не являются непосредственно существенными; они не изменяют пространственного положения вещей, но они совместно с речью служат в качестве стимулов для слушающих. К этим действиям относятся выражение лица, мимика, тон голоса (если только он не связан с характером языка), несущественное орудование какими-нибудь предметами и прежде всего жесты.

Жест всегда сопровождает речь; в отношении своего характера и объема он обладает индивидуальными различиями, но в зна-

читальной степени подчиняется социальным условностям. Итальянцы больше прибегают к жесту, чем англоязычные народы; в нашем обществе люди привилегированных классов прибегают к жесту реже. В известной мере индивидуальные жесты традиционны и в разных обществах подвергаются изменениям. Когда мы прощально машем рукой, мы держим ее открытой ладонью, а неаполитанцы при этом обращают обратную сторону ладони,

Большинство жестов не выходит за пределы ясного указания и обрисовки предмета. Американские индейцы равнинных и лесных племен сопровождают повествование ненавязчивыми жестами — чуждыми для нас, но вместе с тем вполне понятными. Даже когда жесты носят символический характер, они не выходят далеко за пределы очевидного, как например при указывании назад, за плечи, при обозначении прошедшего времени.

Некоторые общности обладают языком жестов, употребляемым в соответствующих условиях вместо речи. Такой язык жестов наблюдается среди низших классов неаполитанцев, у монахов-траппистов (дающих обет молчания), среди индейцев наших западных равнин (где племена с различными языками встречаются для торговых и военных переговоров) и у глухонемых.

Совершенно очевидно, что эти языки жестов представляют простое развитие обычных жестов и что любой самый сложный и не тотчас понятный жест основывается на правилах обычной речи. Даже такой очевидный символ, как указание назад для обозначения прошлого времени, обуславливается, вероятно, лингвистической привычкой употреблять одно и то же слово для «сзади» и «в прошлом». Каково бы ни было их происхождение, жест так долго играл второстепенную роль при доминирующем положении языка, что он утерял все следы самостоятельности. Рассказы о народах, чей язык настолько несовершенен, что он должен восполняться жестами, — чистые мифы. Несомненно, что производство животными голосовых звуков, из которых развился язык, имеют своим основанием реагирующие движения (например, сжатие диафрагмы и сужение гортани), которые иногда сопровождалось звуком. Но бесспорно, что в дальнейшем развитии язык всегда шел впереди жеста.

В том случае, если жест оставляет следы на каком-нибудь предмете, мы вступаем в область мет и рисунков. Этот вид реакции имеет то преимущество, что он оставляет постоянную мету, которая повторно может служить стимулом даже после некоторого периода времени и может быть перенесена на значительное расстояние, чтобы и там оказывать стимулирующее действие. Несомненно, именно по этой причине некоторые народы приписывают рисунку магическую силу, вне зависимости от его эстетической ценности.

В некоторых частях мира рисунок развился в письмо. Мы не будем входить в подробности этого процесса. Здесь важно только отметить, что вычерчивание на предметах заняло подчиненное

по отношению к языку положение: вырисовывание определенных линий в качестве поясняющих или замещающих элементов стало неотделимо от произнесения конкретных лингвистических форм.

Искусство передачи определенных речевых форм посредством конкретных видимых знаков значительно увеличило эффективность использования языка. Произнесенное голосом слышно- на сравнительно коротком расстоянии и произносится раз или два. А письменное сообщение можно переслать в любое место и сохранить на любое время. Одновременно мы можем больше вещей видеть, чем слышать, и мы лучше управляемся с видимыми вещами: картами, диаграммами, письменными вычислениями и прочими приспособлениями, которые позволяют нам иметь дело с очень сложными явлениями. Речевые стимулы далеких от нас людей и особенно ушедших с прошлым доступны нам только через посредство письма. Это позволяет накапливать знания. Человек науки (но не всегда любитель) обзревает результаты прежних исследователей и прилагает свои усилия к той точке, где они прервали свою работу. Вместо того чтобы всякий раз начинать с начала, наука все более накапливает знания и убыстряет свой бег. Говорят, что по мере того, как мы собираем все больше и больше сведений о речевых реакциях очень одаренных и чрезвычайно специализированных лиц, мы приближаемся в качестве идеального предела к такому состоянию, когда все сведения о событиях во вселенной — в прошлом, настоящем и будущем — можно будет свести (в символической форме, доступной каждому читателю) до размеров одной библиотеки. Не удивительно, что изобретение печати, размножающей письменное сообщение в любом количестве экземпляров, произвело в нашем образе жизни революцию, которая проходила на протяжении ряда столетий и все еще продолжает свое победное шествие.

Здесь нет надобности распространяться о значении других средств записи, передачи и размножения речи, вроде телеграфа, телефона, фонографа и радио. Польза, например, беспроводного телеграфа при кораблекрушении совершенно очевидна.

Все, что увеличивает жизнеспособность языка, всегда имеет хотя и косвенное, но все расширяющееся воздействие. Даже тот акт речи, который не вызывает немедленной и совершенно определенной ответной реакции, может изменить предрасположение человека в отношении последующих реакций: красивая поэма, например, может сделать его более чувствительным к дальнейшим 'Стимулам. Общая утонченность и интенсификация человеческих реакций не может обойтись без языкового участия. Образование или культура, или какое другое имя мы не избрали бы для всего этого, зависят от повторений и письменной фиксации огромного количества речевых актов.

# РЯД ПОСТУЛАТОВ ДЛЯ НАУКИ О ЯЗЫКЕ<sup>1</sup>

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Метод постулатов (т. е. гипотез и аксиом) и определений принят в математике; что касается других наук, то чем сложнее их предмет, тем реже они обращаются к этому методу, поскольку при нем каждый описательный или исторический факт становится предметом нового постулата.

Тем не менее метод постулатов может способствовать изучению языка, так как он заставляет нас формулировать все наши утверждения с большой ясностью, давать определения нашим терминам и устанавливать, какие вещи существуют независимо и какие взаимосвязаны.

Посредством проверки и формулирования наших (молчаливо подразумеваемых) гипотез и определений (часто оставшихся неопределенными) терминов можно избежать ряда ошибок или же исправить их<sup>2</sup>.

Метод постулатов сберегает нам также дискуссии, поскольку он ограничивает наши утверждения определенными терминами, в частности он спасает нас от психологических диспутов.<sup>3</sup> Дискуссии об основах нашей науки состоят, по-видимому, на одну половину из очевидных трюизмов и на другую — из метафизики; это характерно для предметов, не являющихся в действительности частями той или иной специальной области: их следует устранять, указывая на то, что данные понятия относятся к компетенции других наук.

Таким образом, психологическое и акустическое описание актов речи относится не к нашей науке, а к иным наукам. Существование и взаимоотношение социальных групп, объединенных языком, обуславливается психологией и антропологией<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> L. Bloomfield, A. set of postulates for the science of language, «Language», vol. II, № 3 (1926). Статья приводится с сокращениями.

<sup>2</sup> Примеры многочисленны. Бопп считал бесспорным, что формообразующие элементы индоевропейских языков когда-то были самостоятельными словами; это ненужное и неоправданное предположение. Последними следами этой ошибки является предположение, что индоевропейские сложные слова исторически возникли из словосочетаний (см., например, Бругмана). В последнее время выдвигается теория, что некоторые формы в меньшей степени наделены значением и потому скорее подвергаются фонетическим изменениям (Horn, Sprachkörper und Sprachfunktion, Berlin, 1921). Я не знаю удовлетворительных определений терминов «значение» и «фонетическое изменение», которые способствовали бы утверждению этой теории. Весь диспут о регулярности фонетических законов, ныне не менее оживленный, чем пятьдесят лет назад, в основе своей есть просто терминологический вопрос.

<sup>3</sup> Следует вспомнить трудности и неясности в произведениях Гумбольдта, Штейнтала и в психологических диспутах Пауля, Вундта, Дельбрюка. С нашей точки зрения, этот последний ошибается, отрицая ценность дескриптивных данных, но прав, утверждая, что для лингвиста безразлично, в какую систему психологии верить. Споры о природе нашей науки носят в основном нелингвистический характер.

<sup>4</sup> В англо-американской научной традиции в антропологию включаются также этнография и доисторическая археология. (Примечания составителя.)

Психология, в частности, дает нам следующую серию: на определенный стимул (А) индивид реагирует речью; его речь (В), в свою очередь стимулирует его слушателей к определенной реакции (В). На основе социальной привычки, которую каждый индивид в детстве приобретает от своих родителей, А — Б — В тесно связаны. В пределах этого комплекса стимул (А), вызывающий акт речи, и реакции (В), возникающие в результате его, более тесно связаны, так как каждый индивид действует нерасчлененно и как говорящий и как слушающий. Поэтому, не вдаваясь в длинные дискуссии, мы вправе говорить о *голосовых признаках*, или *звуках*, (Б) и о *речевых признаках стимулов и реакций* (А — В).

## 2. ФОРМА И ЗНАЧЕНИЕ

1. Определение. Акт речи есть *высказывание*.

2. Гипотеза 1. В пределах определенных общностей последовательный ряд высказываний полностью или частично сходен.

Бедствующий чужестранец говорит у двери I am hungry (Я голоден). Ребенок, который сыт и только хочет, чтобы его отправили в постель, говорит I am hungry (Я хочу)<sup>1</sup>. Лингвистика рассматривает только те голосовые черты, которые тождественны в высказываниях, и только те черты стимулов и реакций, которые также тождественны в двух высказываниях. Так, *Книга, интересная* и *Уберите книгу* частично тождественны (книга). За пределами нашей науки эти тождества только относительно; в ее пределах они абсолютны. В исторической лингвистике эти функции только частично устранены.

3. Определение. Каждая подобная общность есть *речевая общность*.

4. Определение. Совокупность высказываний, которые могут быть произнесены в речевой общности, есть *язык* данной речевой общности.

Мы должны уметь предугадывать, откуда следует, что слова «могут быть произнесены». Мы устанавливаем, что при определенных стимулах француз (или говорящий на языке зулу и т. д.) скажет то-то и то-то, а другой француз (или знающий зулу и т. д.) будет реагировать соответственно речи первого. Когда в распоряжении имеется хороший информатор или когда дело идет о языке самого исследователя, предугадывание просто; в других случаях оно представляет наибольшие трудности для дескриптивной лингвистики.

5. Определение. То, что сходно, называется *тождественным*. То, что не сходно, — *различно*.

Это позволяет нам употреблять эти слова безотносительно к внелингвистическим оттенкам звука и значения.

<sup>1</sup> Английское слово hungry имеет два значения: 1. Голодный и 2. Сильно желающий. (Примечание составителя.)

6. Определение. Голосовые признаки, общие тождественным или частично тождественным высказываниям, суть *формы*; соответствующие признаки стимулов и реакций суть *значения*.

Таким образом, форма — это повторяющийся голосовой признак, имеющий значение, а значение — повторяющийся признак стимула и реакции, соответствующий определенной форме.

7. Гипотеза 2. Каждое высказывание полностью образуется формами.

### 3. МОРФЕМА, СЛОВО, СЛОВСОЧЕТАНИЕ

8. Определение. *Минимальный X* — это X, который не состоит полностью из меньших X.

Так, если  $X^1$  состоит из  $X^2X^3X^4$ , тогда  $X^1$  не есть минимальный X. Но если  $X^1$  состоит из  $X^2X^3A$ , или из  $X^2A$ , или из  $A^1A^2$ , или нерасчленим, тогда  $X^1$  есть минимальный X.

9. Минимальная форма есть *морфема*; ее значение составляет *семему*.

Таким образом, морфема — это повторяющаяся (наделенная значением) форма, которая не может быть в свою очередь расчлененной на меньшие повторяющиеся (наделенные значением) формы. Отсюда следует, что каждое нерасчленимое слово, или формант, есть морфема.

10. Определение. Форма, которая может быть высказыванием, *свободна*. Форма, которая не свободна, — *связана*.

Так, book, the man (книга, человек) — свободные формы; -ing, в writing (*-ание в писание*), -er в writer (*-атель в писатель*) — связанные формы, причем последняя отличается по значению от свободной формы er (ошибаться).

11. Определение. Минимальная свободная форма есть *слово*.

Слово, таким образом, есть форма, которая может произноситься отдельно (совместно со значением), но которую нельзя расчленивать на части, способные употребляться в высказывании отдельно (но совместно со значением). Так, слово quick нельзя расчленивать; но слово quickly можно расчленивать на quick и -ly, при этом последнюю часть нельзя употреблять отдельно; слово writer (писатель) можно расчленивать на write и -er (*пис-* и *-атель*), но последнюю часть также нельзя употреблять отдельно (слово er в силу наличия отличного значения представляет иную форму); слово blackbird (черный дрозд) можно расчленивать на black (черный), bird (птица) и словесное ударение — причем последнее не может употребляться отдельно (т. е. оно отличается по значению и по форме от словосочетания black bird «черная птица»),

12. Определение. Неминимальная свободная форма есть *словосочетание*.

Например: the book (книга) или the man beat the dog (человек бьет собаку); но не book on (книгу на), как в lay the book on the table (положите книгу на стол), так как это бессмысленно, а следовательно, и не образует форму.



13. Определение. Связанная форма, составляющая часть слова, есть *формант*.

Формант может быть сложным, как глагольные окончания в латинском -abat, -abant, -abit, -abunt и т. д., или минимальным (а следовательно, морфемой), как окончание третьего лица в латинском -t.

14. Гипотеза 3. Формы языка конечны в отношении количества.

## 5. ФОНЕМЫ

15. Гипотеза 4. Различные морфемы могут быть одинаковы или частично одинаковы в отношении голосовых признаков.

Так, book; table [b]; stay; west [st]: -er (имя деятеля) -er (сравнит, степ.). Эта гипотеза предполагает, что значения различны.

16. Определение. Минимальное тождество голосовых признаков есть *фонема*, или *отличительный звук*.

Например, английский [b, s, t], обычное английское словесное ударение, китайские типы тона.

17. Гипотеза 5. Количество различных фонем в языке является небольшой частью количества форм.

18. Гипотеза 6. Каждая форма полностью образуется фонемами.

Обе эти гипотезы — эмпирические факты для всех ныне наблюдаемых языков и за пределами нашей науки представляют обязательные теоретические предпосылки. Такие вещи, как «небольшое различие звука», не существуют в языке. Лингвисты, верующие в то, что определенные формы препятствуют фонетическим изменениям, фактически отвергают эти гипотезы, хотя, насколько я понимаю, без них мы не можем работать.

Морфемы языка можно расчленивать, таким образом, на небольшое количество лишенных значения фонем. С другой стороны, семемы, находящиеся в прямом соответствии с морфемами, нельзя дальше разлагать лингвистическими методами. В силу параллелизма формы и значения лингвисты, несомненно, именно поэтому избирают форму в качестве основы классификации.

19. Гипотеза 7. Количество фонемных порядков в морфемах и словах языка является частью количества возможных порядков.

20. Определение. Порядки, которые фактически наблюдаются, суть *звуковые модели* языка.

Например, начало английского слова st-, но никогда ts.

21. Определение. Различные формы, одинаковые в отношении фонем, суть *омонимы*.

## 6. КОНСТРУКЦИИ, КАТЕГОРИИ, ЧАСТИ РЕЧИ

22. Гипотеза 8. Различные неминимальные формы могут быть сходными или частично сходными в отношении порядка составляющих форм и признаков стимулов и реакций, соответствующих этому порядку.

Порядок может быть последовательный, одновременный (ударение и высота тона с другими фонемами), замещающий (французское *ai* (*o*) для *á* (*le*) и т. д.

23. Определение. Такого рода повторяющиеся тождества порядков суть *конструкции*, соответствующие признаки стимула и реакции суть *значения конструкций*.

Это расширяет употребление термина *значение*.

24. Определение. Конструкция формантов в слове есть *морфологическая конструкция*.

Так, *book-s*, *ox-en* имеют конструкцию формантов плюс формант и значение «объект в числе».

25. Определение. Конструкция свободных форм (и словосочетательных формантов) в словосочетании есть *синтаксическая конструкция*.

Так, *Richard saw John* (Ричард увидел Джона), *The man is beating the dog* (Человек бьет собаку) обнаруживают конструкцию свободных форм плюс свободные формы, плюс значение свободных форм «деятель, направляющий действие на цель».

26. Определение. Максимальный *X* — это *X*, который не является частью большего *X*.

27. Определение. Максимальная конструкция в любом высказывании есть *предложение*.

Таким образом, предложение есть конструкция, которая в данном высказывании не является частью большей конструкции. Каждое высказывание, следовательно, состоит из одного или нескольких предложений, и даже такие высказывания, как латинское *pluit*, английское *Fire!* (Огонь!) или *Ouch!* (Ах!) представляют предложения.

28. Гипотеза 9. Количество конструкций в языке является небольшой частью количества форм.

29. Определение. Каждая из единиц, подчиненных определенному порядку, есть *позиция*.

Так, английская конструкция формантов плюс значение форманта «объект в числе» имеет две позиции, а конструкция свободной формы плюс свободная форма, плюс значение свободной формы «деятель, направляющий действие на цель» имеет три позиции.

30. Гипотеза 10. Каждая позиция в конструкции может быть заполнена определенными формами.

Так, в английской конструкции формантов плюс значение форманта «объект в числе» первая позиция может быть заполнена только определенными формантами (именные основы), а вторая — только определенными другими формантами (аффиксы числа, как например знак множественного числа *-s*). А в английской конструкции свободной формы плюс свободная форма, плюс значение свободной формы «деятель, направляющий действие на цель» первая и третья позиции могут быть заполнены только определенными свободными формами (выражения объекта) и третья — только определенными другими свободными формами (выражения финит-

ных глагольных форм). Эта гипотеза имеет и обратное значение и устанавливает, что данная форма функционирует только в определенных позициях определенных конструкций. Так, английские именные основы могут употребляться только в первой позиции конструкции «объект в числе», во второй позиции конструкции формантов плюс формантное значение «объект, имеющий такой объект» (long-nose) и в определенных позициях некоторых других определенных конструкций. Точно так же объектное выражение, как John, the man (Джон, человек), может употребляться в первой позиции конструкции «деятель, направляющий действие на цель», или в третьей, или же в определенных позициях некоторых других определенных конструкций.

31. Определение. Значение позиции есть *функциональное значение*.

Иными словами, значение конструкции можно разделить на части, по одному на каждую часть; эти части и составляют функциональные значения. Более конкретно, но менее полезно можно сказать так: значение, общее всем формам, способным заполнить данную позицию, когда они употребляются в этой позиции, есть функциональное значение. Так, в английской конструкции «объект в числе» первая позиция имеет функциональное значение «объект», или, точнее говоря, все форманты (именные основы), которые могут выступать в этой позиции, имеют общее функциональное значение «объект», когда они выступают в этой позиции. А в английской конструкции «деятель, направляющий действие на цель» первая позиция имеет функциональное значение «деятель», или, точнее говоря, все свободные формы (объектные выражения, как имена, именные словосочетания, местоимения и пр.), которые способны выступать в этой позиции, имеют общее функциональное значение «деятель», когда они выступают в этой позиции. В этой же конструкции третья позиция имеет значение «цель», или, точнее говоря, все свободные формы (в основном такие же, как и вышеупомянутые), которые могут выступать в этой позиции, имеют общее значение «цель», когда они выступают в этой позиции.

32. Определение. Позиции, в которых выступает форма, есть ее *функции*.

Так, слово John (Джон) и словосочетание the man (человек) имеют функции — «деятель», «цель», «именная часть сказуемого», «слово, вводимое предлогом» и т. д.

33. Определение. Все формы, имеющие те же функции, образуют *формальный класс*.

Примеры английских формальных классов: именные основы, аффиксы числа, объектные выражения, финитные глагольные выражения.

34. Определение. Функциональные значения, в которых выступают формы формального класса, образуют *значение класса*.

Так, значения, наличествующие во всех функциях формальных классов английских объектных выражений, а именно «дея-

тель», «цель» и т. д., совместно образуют значение класса этих форм, которое можно суммировать как «исчисленный объект» или объединить под именем «объектного выражения».

35. Определение. Функциональные значения и значения класса составляют *категории* языка.

Так, вышеприведенные примеры дают нам возможность установить следующие категории английского языка: объект, число, деятель, действие, цель; из значений класса: объект, число, исчисленный объект (объектное выражение), предикативное действие (финитное глагольное выражение).

36. Если формальный класс содержит относительно мало форм, значения этих форм можно назвать *под-категориями*.

Так, английская категория числа содержит только два значения — неопределенное единственное число (egg) и множественное число (eggs). В соответствии с этим мы можем говорить о под-категориях единственного и множественного числа; это удобно делать тогда, когда, как и в этом случае, под-категории играют определенную роль в чередовании (альтернации) с другими формами.

37. Определение. Формальный класс слов есть *класс слов*.

38. Определение. Максимальные классы слов языка суть *части речи* данного языка.

## 7. АЛЬТЕРНАЦИИ (ЧЕРЕДОВАНИЯ)

39. Гипотеза 11. Фонема может в конструкции чередоваться с другой фонемой, ориентируясь на соседние фонемы, например в санскрите явление сандхи: tat pacati, tad bharati.

40. Определение. Такое чередование есть *фонетическая альтернация*.

41. Гипотеза 12. Форма может в конструкции чередоваться с другой формой согласно сопутствующим формам.

Например, в английском аффиксы множественного числа: book-s [s], boy-s [z], ox-en, f-ee-t. Или глаголы: He skates, They skate соответственно числу деятеля.

42. Определение. Такое чередование есть *формальная альтернация*.

43. Гипотеза 13. Отсутствие звука может выступать в качестве фонетического, или формального, альтернанта.

44. Определение. Такой альтернант является *нулевым элементом*. Установление нулевых элементов необходимо для санскрита, для праиндоевропейского языка и, возможно, применимо и для английского (ед. число book с нулевым аффиксом в противопоставлении с book-s; ср. также f-oo-t: f-ee-t).

45. Определение. Если формальная альтернация определяется фонемами сопутствующих форм, это — *автоматическая альтернация*.

Так, альтернация [-s, -z, -ez] при правильном образовании множественного числа у английских существительных является

автоматической, поскольку она определяется конечными фонемами именной основы. Это явление отличается от фонетической альтернации, так как не каждое [s] в английском языке подвергается такой альтернации, но только (четыре) морфемы этой формы. Точно так же в санскрите tat rasati: tan paṣatu, так как альтернация имеет место только в окончании слова (в противоположность, например, ratnam).

Фонетические альтернации и автоматические формальные альтернации языка делают возможным классификацию фонем, которой могут оказать помощь звуковые модели. Так, правильные английские суффиксы множественного числа допускают классификацию тех английских фонем (их большинство), которые появляются в конце именной основы, на Класс 1. сибилантов и 2. несибилантов. Обычная фонетика не способна идти далее этого; фонетика, которая идет далее, либо покоится на личном умении, либо — наука для лаборатории.

46. Определение. Классификация фонем, основывающаяся на звуковых моделях, фонетических альтернациях и автоматических формальных альтернациях языка, есть *фонетическая модель*.

Относительно звуковых моделей и фонетической модели см. Сепир «Язык» и Бодуэн де Куртене «Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen» (Strassburg, 1895)<sup>1</sup>.

47. Определение. Если формальная альтернация определяется иным образом, это — *грамматическая альтернация*.

Например, английский суффикс множественного числа -en, в ox-en, чередующийся с вышеописанным правильным суффиксом; глагольные формы в he skates: they skate.

48. Определение. Если сопутствующие формы, определяющие один грамматический вариант, доминируют в количественном отношении, этот вариант называется *правильным*, другие же — *неправильными*.

Так, -en есть неправильный суффикс множественного числа.

49. Определение. Если в конструкции все составляющие формы неправильны, то вся форма является *супплетивной*.

Если go рассматривать как основу глагола, то тогда прошедшее время went является супплетивным образованием. При этих условиях better в качестве сравнительной степени от good не будет супплетивным образованием, поскольку окончание -en является правильным; охватывающее все подобные формы определение может быть сделано только в пределах английской (или индоевропейской) грамматики, после того как определены для этого языка «основа» и «аффикс».

50. Все, что имеет значение, есть *глоссема*. Значение глоссеммы есть *ноэма*.

<sup>1</sup> Чрезвычайно важная и интересная работа Бодуэна де Куртене «Опыт теории фонетической альтернации» до настоящего времени не переведена на русский язык и остается неизвестной широкому читательскому кругу. (Примечание составителя.)

Таким образом, термин «глоссема» включает: 1. формы, 2. конструкции, 3. нулевые элементы.

Перечисленные выше гипотезы и определения, очевидно, упростят определение грамматических явлений любого языка, как его морфологии (аффиксация, редупликация, структура), так и синтаксиса (согласование, управление, порядок слов), хотя я не могу утверждать, что любое из подобного рода дальнейших определений будет пригодно для всех языков. Другие понятия, такие, как субъект, предикат, глагол, имя, применимы только к некоторым языкам и должны определяться для каждого в отдельности, если только мы не предпочтем создать новые термины для несходных явлений.

**МЕТОД В СТРУКТУРАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ<sup>1</sup>**

(РАЗДЕЛ: «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ»)

**Вводные замечания.** Прежде чем приступить к изложению процедуры анализа, мы должны установить, какого рода анализ возможен в дескриптивной лингвистике. Речь можно изучать как человеческое поведение, описывать физиологические процессы, происходящие при артикуляции, или культурную и общественную ситуацию, в которой осуществляется речь, звуковые волны, возникающие при речевой деятельности, или звуковые впечатления, получаемые слушателями. Но мы можем также стремиться определить регулярности при описании каждого из названных видов явлений. Такие регулярности могут состоять из корреляций между различными видами явлений (например, словарная корреляция между звуковой последовательностью и социальной ситуацией или значением) или же они могут отмечать повторяемость «тождественных» частей в пределах каждого из вида явлений. Можно отмечать повторяемость смыкания губ в процессе чьей-либо речи или повторяемость различных комбинаций и последовательностей артикуляционных движений. Данные дескриптивной лингвистики возможно извлекать из отдельных указанных особенностей и проявлений поведения или из их совокупности посредством наблюдения над артикуляционными движениями говорящего, анализируя возникающие звуковые волны, или же с помощью описания того, что слушающий (в данном случае лингвист) слышит. В первом случае мы будем иметь дело с видоизменениями воздушного потока в дыхательной деятельности говорящего; во втором случае — со сложными волновыми формами и в третьем — с покоящимися на восприятии отождествлениями последовательности звуков. Дескриптивная лингвистика занимается не одним определенным описанием указанных видов поведения, а явлениями, общими для них всех; но, например, повторяемость или изменения воздушных волн, на которые человеческое ухо не реагирует, не относятся к лингвистике.

**Критерий относимости: порядок расположения (дистрибуция).** Дескриптивная лингвистика (в терминологическом смысле) есть осо-

<sup>1</sup> Z. C. Harris, Method in Structural Linguistics, Chicago, 1951.

бая область исследования, имеющего дело не с речевой деятельностью в целом, но с регулярностями определенных признаков речи. Эти регулярности заключаются в дистрибуционных отношениях признаков исследуемой речи, т. е. повторяемости этих признаков относительно друг друга в пределах высказываний. Разумеется, возможно изучение различных отношений между частями или признаками речи, например тождества (или другие отношения) в звуках или в значениях, или генетические отношения в истории языка. Главной целью исследования в дескриптивной лингвистике, а вместе с тем и единственное отношение, которое будет рассматриваться в настоящей работе, есть отношение порядка расположения (дистрибуция) или распределения (аранжировка) в процессе речи отдельных ее частей или признаков относительно друг друга.

Таким образом, настоящая работа ограничивается вопросами порядка расположения, т. е. изучает свободу повторяемости частей высказывания относительно друг друга. Все термины и определения следует соотносить с этим критерием. Например, если фонологическое выражение речи описывается тем или иным образом, это не значит, что в случае ассоциации конкретного звука  $X$  с фонемой  $У$  мы должны ассоциировать фонему  $У$  с первоначальным конкретным звуком  $X$ . Подобное прямое соответствие означает только то, что если конкретный звук  $X$  в данной позиции ассоциируется с фонемой  $У$  (или передается символом  $У$ ), то, имея перед собой фонему  $У$ , мы будем ассоциировать с ней в указанной позиции звуки  $X'$ ,  $X''$ , которые способны заместить первоначальное  $X$  (т. е. обладают таким же порядком расположения, как и  $X$ ). В указанной позиции символ  $У$  употребляется для любого звука, способного заменить  $X$ ,  $X'$  и т. д.

Единственной существенной предпосылкой для данной дисциплины является ограничение дистрибуции как критерия, с помощью которого устанавливается относимость явления к области исследования. Конкретные методы, описанные в этой книге, не являются исчерпывающими. Они предлагаются в качестве общей процедуры дистрибуционного анализа, применимого к лингвистическому материалу. Выбор определенной процедуры, используемой в настоящей работе для детального анализа, впрочем, обуславливается конкретным языком, откуда черпаются примеры. Анализ других языков, несомненно, потребует обсуждения и выработки дополнительных технических приемов. Даже и те методы, которые подробно обсуждаются в настоящей книге, могут потребовать многочисленных дополнений. Более того, все построение основной процедуры, изложенное ниже, может быть снабжено иной схемой операций, сохраняя при этом свою относимость к дескриптивной лингвистике. Это положение сохраняется до тех пор, пока новые операции имеют по преимуществу дело с дистрибуцией признаков речи относительно друг друга в пределах высказывания и пока такой подход сохраняется в ясности и строгости. Подобного рода иные схемы операций всегда можно сравнить с процедурой, изложенной



здесь, и результаты первых всегда можно согласовать с результатами последней.

**Схема процедуры.** Вся схема описываемой ниже процедуры, начинающейся с сырого речевого материала и заканчивающейся определением грамматической структуры, покоится на двойном применении двух главных принципов: установлении элементов и определении дистрибуции этих элементов относительно друг друга. Сначала устанавливаются дифференциальные фонологические элементы и исследуются отношения между ними. Затем определяются морфологические элементы и исследуются отношения между ними.

Между применением этих принципов к фонологии и к морфологии существует ряд различий. Они обуславливаются различием материала<sup>1</sup>, а также тем фактом, что когда операции повторяются применительно к морфологии, они осуществляются над материалом, сведенным уже к определенным элементам<sup>2</sup>. Тем не менее две параллельные схемы в основном идентичны по своему типу и последовательности операций.

И в фонологическом и в морфологическом анализе лингвист первоначально имеет дело с установлением релевантных (различительных) элементов. Быть релевантным — это значит, что эти элементы должны быть установлены на основе порядка своего расположения (дистрибуционный базис): *x* и *y* включаются в тот же самый элемент *A*, если дистрибуция *x*, соотносительная с другими элементами *B*, *C* и т. д., является в известном смысле подобной дистрибуции *y*. Поскольку это предполагает, что другие элементы *B*, *C* и т. д. устанавливаются в то же время, когда происходит и определение *A*, то эта операция может быть осуществлена без привнесения той или иной произвольности только одновременно для всех элементов. В этом случае элементы определяются соотносительно друг с другом и на основе дистрибуционных отношений между ними<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Например, тот факт, что во всех описанных языках существует гораздо больше дифференциальных морфологических элементов, чем дифференциальных фонологических элементов.

<sup>2</sup> Примером этого является факт, что морфологические элементы нельзя определять заново, но только на основе ограничений дистрибуции фонологических элементов.

<sup>3</sup> Здесь могут возникнуть возражения против того, что при определении элементов принимается во внимание также и значение, поскольку, например, при появлении звуков (или звуковых элементов) *x* и *y* в идентичном окружении они соотносятся с различными фонемами, если образование, содержащее их, составляет различные морфемы (например, [l] и [r] в окружении [-aʊf]: life, rife. Однако это различие life и rife на основе значения есть различие, которое делают лингвисты, слепые к дистрибуционным различиям. В принципе значение следует привлекать только для определения того, что является повторением. Если мы знаем, что life и rife не полностью повторяют друг друга, мы установим, что они различаются и по дистрибуции (а отсюда — и по «значению»). Можно предположить, что любые две морфемы *A* к *B*, имеющие разные значения, различаются тем или иным образом и в отношении дистрибуции: существуют окружения, в которых одна употребляется, а другая нет. Отсюда следует, что фонемы или зву-

В высшей степени важно, чтобы эти элементы определялись соотносительно с другими элементами и с учетом взаимоотношений между ними всеми. Лингвист не должен налагать на язык ту или иную абсолютную шкалу — например, устанавливая в качестве элементов наикратчайшие звуки, или наиболее частые звуки, или же звуки, обладающие определенными артикуляционными или акустическими характеристиками. Напротив того, как это будет показано ниже, ему следует устанавливать группу элементов (сравнивая каждый из них с другими) таким образом, чтобы иметь возможность наипростейшим образом ассоциировать любой отрезок речи с системой, составленной из ее элементов<sup>1</sup>.

И в фонологическом и в морфологическом анализе лингвист исследует дистрибуционные отношения элементов. Эту задачу можно упростить, если проводить операцию последовательным порядком, в виде описанной здесь процедуры. В тех случаях, когда процедура представляется более сложной, чем обычный интуитивный метод (часто основывающийся на критерии значения) получения тех же результатов, применение более сложной процедуры оправдывается соображениями систематичности<sup>2</sup>.

Таким образом, оказывается, что два параллельных анализа приводят к двум принципам дескриптивного определения, образующих фонологическую систему и морфологическую систему. Каждый принцип определения состоит из соотносительно определенных (или рассматриваемых как модели) элементов плюс систематизированная спецификация порядка расположения, в котором они встречаются. В настоящей книге дается ряд таких спецификаций, составленных посредством определения новой группы элементов из пред-

ковые элементы, встречающиеся в *A*, но не в *B*, различаются по дистрибуции в известной мере от тех, которые встречаются в *B*, но не в *A*.

Более существенное возражение против дистрибуционной базы покоится на возможности различения элементов на основе физических (в частности, акустических) измерений. Но, впрочем, и в этом случае различение будет относительным: сами по себе абсолютные измерения определяют ни различные элементы, но скорее различия измерений.

<sup>1</sup> Факт, что определение элементов является соотносительным с другими элементами языка, означает, что все подобные определения следует проводить независимо для каждого языка. Перечисление элементов, отношений между ними и их характеристика применимы только к тому языку, для которого они сделаны. Исследовательские методы лингвиста могут быть в общих чертах тождественными для многих языков, но определения, которые вытекают из его работы, применимы в каждом отдельном случае лишь к конкретному языку.

<sup>2</sup> Следует отметить, что дистрибуционная процедура способна на большее, чем может дать обращение к критерию значения или чему-либо подобному. Дистрибуционная процедура, будучи установленной, позволяет без особых трудностей осуществлять определение таких пограничных случаев, которые с помощью критерия значения нельзя определить или допускают противоречивое толкование. Так, дистрибуционный способ более громоздок при определении того, следует ли членить *boiling* на *boil+ing* (подобно *talking*) или же *boi+ing* (подобно *princeling*). Но дистрибуционный способ вместе с тем способен установить, следует ли *sight* членить на *see+t*, а *flight* на *flee+t* (подобно *portray* и *portrait*) с такой же точностью, как и в случае с *boiling*. А критерий значения не может быть решающим для этих форм.

шествующей на основе дистрибуционных отношений этих предшествующих элементов. Впрочем, для основ дескриптивного метода не существенно, каким образом выражаются определения. Вместо того чтобы определять новую группу элементов в терминах старой, так что дистрибуционные характеристики старых элементов включаются в определение новых, мы можем сохранять старые элементы и только перечислять дистрибуционные определения (элемент *x* встречается рядом с *y* только в окружении *z*). Важно только, чтобы определение элементов и установление отношений между ними основывалось на дистрибуции и было ясным, последовательным и удобным для пользования. Требования свыше перечисленных относятся уже к иным дескриптивным целям, которые и обуславливают характер их формулирования и другие качества<sup>1</sup>.

**Диалект, или стиль.** Областью исследования для дескриптивной лингвистики является единичный язык, или диалект.

Это исследование может проводиться для речи конкретного лица или для коллектива идентичных в языковом отношении лиц в хронологически определенное время. Если даже диалект или язык слегка видоизменяются со временем или в связи с заменой информаторов, они принципиально считаются постоянными на протяжении всего исследования, так что получаемая в итоге система элементов и определений относится к данному конкретному диалекту. В большинстве случаев это не создает никаких проблем, поскольку речь отдельного лица или целого коллектива обнаруживает диалектальное постоянство; мы можем определять диалект просто как речь данного коллектива. Но, однако, в других случаях мы можем иметь дело с отдельными лицами или коллективами, употребляющими различные формы, которые несоотносимы друг с другом. В этом случае мы можем следовать несколькими путями. Мы можем упрямо придерживаться первого определения и установить систему, соответствующую всем лингвистическим элементам в речи отдельного лица или коллектива. Или мы можем отобрать такие отрезки речи, которые можно описать в виде относительно простой и последовательной системы, а прочие отрезки речи объявить образцами другого диалекта. Это обычно делают на основе знаний различных диалектов других коллективов. Материал, который рассматривается как несоотносимый с данным диалектом, может состоять из отрывочных слов, употребляемых для придания своей речи иностранного облика (например, употребление говорящими по-английски *role, raison d'être*), или из целых высказываний и беседы, как в речи билингов (двуязычных индивидуумов).

<sup>1</sup> Для основ дескриптивного метода поэтому не важно, образована ли система конкретного языка на основе наименьшего количества элементов (т. е. фонем) или наименьшего количества их определений, или же исходит из наибольшей компактности и т. д. Разные формулировки различаются не в лингвистическом, а в логическом отношении. Они различаются не по своей обоснованности, а по своей полезности для тех или иных целей (преподавания языка, описания его структуры для сравнения с генетически близкими языками).

В противоположность диалекту в речи существуют различия, которые не остаются постоянными на протяжении дескриптивного исследования. В отношении многих языков можно показать, что имеются различия в стиле или характере речи, в отношении которых высказывания или даже значительные отрезки связной речи проявляют большую последовательность<sup>1</sup>. Так, мы едва ли сможем обнаружить высказывание, содержащее как форму *good morning*, так и форму *good mornin'* или *good evenin'*, точно так же как и *a brighty* вместе с *sagacious*. Эти различия обычно носят дистрибуционный характер, поскольку формы различных стилей, как правило, не соседствуют друг с другом. Во многих случаях различия между двумя системами стилистических форм (при которых члены одной системы не употребляются рядом с членами другой системы) оказывают влияние только на некоторые части дескриптивной системы. Например, отчетливая стилистическая система может включать конкретные члены морфологического класса и содержать определенные типы последовательности морфем. Подобные явления незначительно отличаются от диалектных различий, которые во многих случаях также ограничиваются определенными частями дескриптивной системы, а остальные ее части оказываются идентичными для обоих диалектов.

Так же как и в случае с различными диалектами, различные стили тоже можно отмечать в письме, распространяя соответствующую помету на весь материал, специфический для данного стиля. Ввиду большой степени структуральной тождественности различных стилей в пределах диалекта стилистические пометы обычно используются как дополнительные характеристики — в пределах высказывания структурно тождественного в других отношениях. Так, в стилистически контрастных выражениях *be seein' ya* и *be seeing you* высказывания тождественны, за исключением одного стилистического различия. Поскольку *seeing* не встречается перед *you*, а *seein'* перед *ya*, мы можем установить одну стилистическую помету, которая будет характеризовать все высказывание и указывать на различия между *seeing you* и *seein' ya*.

Хотя стилистические различия можно описывать средствами дескриптивной лингвистики, их точный анализ требует такого детального изучения, что они, как правило, не принимаются в расчет<sup>2</sup>. Нижеописываемая процедура не будет учитывать стилистических различий, но допускает, что все стили в пределах диалек-

<sup>1</sup> Эти стили можно соотнести с различными культурными и общественными ситуациями. В дополнение к приводимым здесь примерам, граничащим с различиями социальных диалектов, мы можем привести стили, характеризующие конкретное лицо или социальную группу (например, стиль девушек-подростков), стили, характерные для определенного типа общественных отношений (например, почтительные обращения и пр.).

<sup>2</sup> Следует при этом учитывать, что выводы, основанные на стилистических определениях, обычно менее точны, чем выводы, основанные на определениях, относящихся к диалектным явлениям.

та могут быть описаны в общих чертах на основе единой структурной системы.

**Высказывание, или связная речь.** Областью исследования для каждого положения в дескриптивном анализе является единичное и законченное высказывание на данном языке.

Исследования в дескриптивной лингвистике обычно проводятся применительно к любому количеству законченных высказываний. Многие из выводов полностью применимы к законченным высказываниям. Даже когда проводится изучение конкретных взаимоотношений между фонемными и морфемными классами, конструкция, в пределах которой встречаются эти взаимоотношения, в конечном счете относится к их позиции в составе высказывания. Это обуславливается тем обстоятельством, что большинство данных состоит (посредством определения) из законченных высказываний, включая более длинные отрезки, которые можно истолковывать как последовательности законченных высказываний. Когда мы рассматриваем элемент, который представляет часть полного высказывания (*say, the, [d]*, или *fair*, или *ly* в *Fairly good, thanks*), мы отмечаем его отношение к высказыванию, в котором он засвидетельствован.

С другой стороны, отрезки более длинные, чем одно высказывание, обычно не рассматриваются в современной дескриптивной лингвистике. Высказывания, с которыми работает лингвист, часто переходят в более длинную связную речь, включающую одного говорящего (как в текстах, записанных со слов информанта) или несколько говорящих (как в диалоге). Впрочем, лингвист одновременно обычно рассматривает взаимоотношения элементов только в пределах одного высказывания. Это я обеспечивает возможность описания материала, так как взаимоотношения элементов в пределах каждого высказывания (или типа высказывания) уже установлены и каждый более длинный отрезок речи допустимо описывать как последовательность высказываний, т. е. последовательность элементов, имеющих установленные взаимоотношения.

Это ограничение означает, что относительно взаимоотношений между законченными высказываниями в пределах связной речи почти ничего не говорится. Но в большинстве, а возможно и во всех языках существует специфическая последовательность типов высказывания в пределах связной речи. Это можно обнаружить в речи одного индивидуума (ср. первые и последние предложения какой-либо лекции) и в беседе нескольких лиц (особенно при обмене такими фиксированными выражениями, как *How are you? Fine; how are you?*). Поскольку все это является дистрибуционными ограничениями высказываний в отношении друг к другу в пределах связной речи, они могут изучаться методами дескриптивной лингвистики. Объем материала и аналитической работы, потребный для такого изучения, будет, однако, значительно большим, нежели тот, который необходим для установления отношений элементов в пределах единичного высказывания. По этим соображениям современная прак-

тика остановилась на единичном высказывании и описанная ниже процедура не преступает этих границ.

**Состав, или модель.** Исследование по дескриптивной лингвистике состоит в собирании высказываний в каком-либо едином диалекте и в анализе собранного материала. Совокупность собранных высказываний образует материал исследования, а его анализ состоит в компактном описании порядка расположения (дистрибуции) элементов в его пределах. Собираание материала не следует заканчивать до того, как начался анализ. Собираание и анализ могут переплетаться, и одно из преимуществ работы с туземными информантами над работой с записанными текстами (что неизбежно, например, в случае с вымершими языками) состоит в том, что оно дает возможность проверить формы, повторить высказывания, установить продуктивность конкретных морфемичных отношений и т. д.<sup>1</sup>

Для лиц, заинтересованных в лингвистических результатах, анализ конкретных данных приобретает интерес только в том случае, если он фактически тождествен с анализом, который можно получить подобным же образом из других достаточно обширных материалов, взятых из того же самого диалекта. В этом случае мы будем в состоянии — на основании отношений, найденных в проанализированном нами материале, — предусматривать отношения элементов в ином составе материала данного языка. В этом разрезе проанализированный состав материала может рассматриваться как дескриптивная модель языка. Насколько велик и разнообразен должен быть состав, чтобы быть в состоянии служить основой для описания модели языка, — это вопрос статики; это зависит от характера языка и от исследуемых отношений. Например, в фонологических исследованиях состав может быть меньшим, чем при морфологических. Когда лингвист устанавливает, что дополнительный материал не дает ничего нового сравнительно с тем, что дал его анализ, он может рассматривать свой состав достаточным для составления адекватного описания.

Нижеописываемая процедура прилагается к составу материала вне рассмотрения вопроса о том, в какой степени этот состав адекватен модели языка.

**Определение терминов.** При исследовании методами дескриптивной лингвистики единый язык, или диалект, рассматривается в краткий период времени. Это предполагает речевую деятельность

<sup>1</sup> Если лингвист в составе своего материала имеет  $ax$ ,  $bх$ , но не  $сх$  (где  $a$ ,  $b$ ,  $c$  — элементы с общей дистрибуционной тождественностью), он может пожелать проверить с информантом, встречается ли  $сх$  вообще. Добывание от информанта форм следует планировать с осторожностью из-за внушаемости по отношению к некоторым общественным и культурным явлениям, а также и потому, что информант не всегда может ответить на вопрос о встречаемости в языке того или иного факта. Вместо того чтобы конструировать формулу  $сх$  и спрашивать информанта: «Вы говорите  $сх$ ?», лингвисту лучше так строить свои вопросы, чтобы они вели к употреблению  $сх$  в речи информанта. Но наилучший способ состоит в создании ситуации, при которой возможно появление в речи информанта соответствующей формы.

в языковом коллективе, в группе лиц, для каждого из которых данный язык является родным и поэтому каждый из которых, с точки зрения лингвиста, может быть информантом. Не один из употребляемых здесь терминов нельзя определять с абсолютной строгостью. Пределы языкового коллектива варьируются в зависимости от степени языковых различий, обусловленных географическими границами и социальным дроблением языка. Только с началом лингвистического анализа можно с определенностью сказать, различаются ли два индивидуума или две социальные подгруппы по своим лингвистическим элементам и отношениям между этими элементами. Даже речь одного индивида или одной группы лиц с единой историей языка может быть разложима на несколько диалектов: в речи индивида могут быть значительные лингвистические различия в различных социальных ситуациях (например, при обращении к равным себе или к вышестоящим). А если даже социальная среда остается постоянной, речь индивида или язык коллектива может видоизменяться стилистически таким образом, что возникает варьирование элементов или отношений между ними.

Вопрос о том, является ли данный язык действительно родным для говорящего, может быть решен только посредством сопоставления анализа его речи с речью других лиц данного коллектива. В общем каждое лицо после первых пяти лет обучения речи говорит на языке своего коллектива как на «родном» языке, если только он не отрывался от этого коллектива на длительный период. Впрочем, лица и с пестрой лингвистической карьерой могут, с точки зрения лингвиста, говорить на том или ином языке, как на родном.

**Высказывание** есть отрезок речи определенного лица, ограниченный с обеих сторон паузами. Как правило, высказывание не тождественно с «предложением», поскольку очень многие высказывания, например в английском, состоят из отдельных слов, фраз, «незаконченных предложений» и т. д. Многие высказывания строятся из частей, которые в лингвистическом отношении равнозначны самостоятельно употребляющимся высказываниям. Например, мы можем определять как одно высказывание: *Sorry. Can't do it. I'm busy reading Kafka* (Сожалею. Не смогу сделать этого. Занят чтением Кафки), но можем рассматривать и как независимые высказывания: *Sorry. I'm busy reading Kafka* (Сожалею. Занят чтением Кафки), или *Sorry* (Сожалею) или *Can't do it* (Не смогу сделать этого)<sup>1</sup>.

Высказывания приобретают качества большей надежности в отношении языковой модели, если они выступают в процессе беседы нескольких лиц. Ситуация, при которой информант отвечает на

<sup>1</sup> Лингвистическая равнозначность требует идентичности не только последовательности морфем, но также и интонации и мест смыкания. Поэтому в то время как высказывание *Sorry, can't do it* может быть лингвистически равнозначным двум высказываниям *Sorry, Can't do it*, высказывание *Can't do it* лингвистически не эквивалентно *Can't* и *Do it*, поскольку интонации последних двух в своей совокупности не равны интонации первого.

вопросы лингвиста или диктует ему текст, не создает идеальных источников, хотя она бывает неизбежной в лингвистической работе. Но и в этом случае следует помнить, что ответы информанта не просто слова вне лингвистического контекста, но характеризуются особенностями полного высказывания (например, обладают интонацией полного высказывания).

Лингвистические **элементы** определяются для каждого языка посредством ассоциации их с конкретными особенностями речи или точнее — с различиями между частями или особенностями речи, которые доступны наблюдению лингвиста. Они отмечаются символами (буквами алфавита или какими-либо значками) и изображают особенности речи одновременно или последовательно, хотя в обоих случаях они могут писаться только в последовательном порядке. Принято говорить, что элементы представляют, указывают или идентифицируют соответствующие особенности, но не описывают их. Для каждого языка устанавливается подробный список элементов.

Утверждение, что данный конкретный элемент **встречается**, например, в определенной позиции, означает, что в этом случае имеет место высказывание, особенности некоторой части которого в лингвистическом отношении представлены этим элементом.

Можно говорить, что каждый элемент встречается в определенном **сегменте** высказывания, т. е. в части лингвистически выраженного и протекающего во времени высказывания. Сегмент может быть полем деятельности только одного элемента (например, интонации в английском высказывании, изображающемся в письме как *Mm*), или одного и больше элементов идентичной длины (например, двух одновременных компонентов), или одного и более кратких элементов и одного и больше элементов, занимающих длинный сегмент, в который включается разбираемый сегмент (например, фонема плюс компонент, подобный арабскому [ʔ], простирающемся на несколько фонемических сегментов, плюс интонация, охватывающая все высказывание)<sup>1</sup>.

**Окружение**, или позиция, элемента состоит из соседства (в пределах высказывания) элементов, установленных на базе той же самой процедуры, которая использовалась при установлении данного элемента. Под «соседством» разумеется позиция элементов перед, после и одновременно с рассматриваемым элементом. Так, например, в *I tried /aʊ # traɪd/* окружением фонемы [a] являются

<sup>1</sup> Сегмент, на который распространяется элемент, в некоторых случаях называется *сферой* (Domain), или интервалом, или длиной элемента. В процессе анализа обычно более удобно не устанавливать абсолютных разделений, например, слова и фразы, а затем говорить, что деления перебиваются различными отношениями (например, правило слогочленности перебивает словоделимость в венгерском, но не в английском). Вместо этого сфера каждого элемента или каждое отношение между элементами указывается тогда, когда устанавливаются данные элементы. Если многие из этих сфер окажутся равными, как это часто имеет место, этот факт отмечается и мы можем определить ту или иную сферу, как например *слово.*, и т. п.



фонемы /tr-yd/, или, если учитывается фонемическая интонация, /tr-d/ плюс /•/, или более полно /ay tr-yd/. Окружением морфемы *try* /tray/ являются, однако, морфемы I—ed или, если учитывается морфемическая интонация, I—ed с установленной интонацией<sup>1</sup>.

**Дистрибуция** (порядок расположения) элемента есть совокупность всех окружений, в которых он встречается, т. е. сумма всех (различных) позиций (или употреблений) элемента относительно употреблений других элементов.

О двух высказываниях или признаках говорят, что они в лингвистическом, дескриптивном или дистрибуционном отношении эквивалентны, когда они тождественны по своим лингвистическим элементам и дистрибуционным отношениям между этими элементами.

Конкретные типы элементов (фонем, морфем) и операции, подобные субституции и классификации, употребляемые в настоящей работе, будут определены на основании правил, по которым они используются или посредством которых они устанавливаются.

**Положение лингвистических элементов.** В исследованиях, выполняемых методами дескриптивной лингвистики, лингвистические элементы ассоциируются с конкретными чертами рассматриваемого языкового поведения и изучаются отношения между этими элементами.

При определении элементов для каждого языка лингвист относит их к физиологической деятельности или звуковым волнам речи не посредством детального описания этих последних и затем воспроизведения их с помощью инструментов, а на основе идентификации их с элементами<sup>2</sup>. Каждый элемент идентифицируется с определенными признаками речи в рассматриваемом языке: для большинства случаев лингвистического анализа ассоциация является-

<sup>1</sup> Традиционное написание и изменяемые величины общих определений передаются курсивом: например, *tried*, *filius*, морфема X. Фонетическая транскрипция дается в квадратных скобках: например [trayd]. Фонемические элементы даются в косых скобках: /trayd/. Классы дополнительных морфемических элементов указываются фигурными скобками: {-ed}. Позиция элемента в окружении указывается черточкой: /tr-yd/ или I — ed. Пауза или прерыв в последовательности элементов указывается через #. Курсив в косых скобках указывает наименование фонемы: /гортанное смыкание/ вместо /!/. Прямым шрифтом в фигурных скобках указывается наименование морфемы: {суффикс множественного числа} вместо {-s}. Главное ударение указывается знаком ' перед ударяемым слогом, в то время как, ' означает вторичное ударение. Длина указывается приподнятой точкой (•).

<sup>2</sup> Общепринято, что устрашающая сложность неизбежно присутствует при любой попытке установить в науке подробное описание и исследование всех регулярностей данного языка. Ср. высказывание Рудольфа Карнапа («Логический синтаксис языка»: «Прямой анализ (языка) не может удалиться, как не удалится и физику, исходя из опытов, прилагать свои законы к естественным вещам — деревьям и т. д. Он соотносит свои законы с простейшими из образованных форм — с прямыми рычагами и пр.». Лингвист поступает иначе, чем Карнап и его школа. В то время как логисты избегают анализа существующего языка, лингвист изучает его. Но, вместо того чтобы рассматривать части действительных проявлений речи как ее элементы, он устанавливает весьма простые элементы, которые ассоциируются с признаками речи.

ся однозначной (рассматриваемые признаки ассоциируются только с элементом  $X$ , а элемент  $X$  — только с данными признаками; в некоторых частях анализа ассоциация может быть неоднозначной (элемент  $X$  ассоциируется с определенными признаками, но эти последние ассоциируются с  $X$ , а иногда и с другим элементом  $Y$ ).

Признаки речи, с которыми ассоциируются элементы, включают не все признаки проявления языка; они не являются и единственными проявлениями, происходящими в конкретных условиях места и времени. Элемент  $X$  может ассоциироваться с фактом, что в данном отрезке речи первые немногие сотни секунды включают в себя определенную позицию языка или определенную дистрибуцию интенсивности относительно частоты повторения, или производят звук, в результате появления которого (по отношению к последующим звукам) слушатель поступает таким, а не иным образом. Независимо от того, как это определяется, элемент  $X$  будет ассоциироваться не только с данным признаком данного отрезка речи, но и с признаками других отрезков речи (т. е. тех, в которых позиция языка очень близка к позиции в первом случае) и с чертами во многих других отрезках речи, при условии, что класс, объединяющий все эти признаки, определяется тем фактом, что в каждом случае позиция языка ограничена определенными границами, или тем, что слушатель реагирует при этом таким, а не иным образом, и т. д.

Для лингвиста, анализирующего ограниченный состав материала, состоящего из такого количества отрезков речи, которые он слышит, элемент  $X$  ассоциируется, таким образом, с определенным по своему объему классом, состоящим из некоторого количества признаков в некотором количестве случаев проявления речи (находящегося в его распоряжении материала). Впрочем, когда лингвист суммирует свои результаты в виде системы, представляющей, язык в целом, он предполагает, что элементы, установленные в материале, находившемся в его распоряжении, окажутся пригодными для всех других отрезков речи данного языка. Элемент  $X$  ассоциируется в этом случае с определенным классом, состоящим из таких признаков любого высказывания, которые определенным образом отличаются от других черт или же соотносятся с другими признаками.

Как только элементы определены, каждое проявление речи в рассматриваемом языке может быть представлено в виде комбинации этих элементов, в которой каждый элемент указывает на появление в речи признака, с которым посредством своего определения ассоциируется данный элемент. При этом оказывается возможным изучать эти комбинации (в большинстве последовательности) элементов и устанавливать их регулярности и отношения между элементами. С элементами можно производить различного рода операции, вроде классификации или субституции, которые не уничтожают отождествимость элементов, но уменьшают их количество или упрощают установление взаимоотношений. На протяжении всего процесса манипуляции с этими элементами все констатации, отно-

сящиеся к ним или к их взаимоотношениям, представляют констатацию избранных признаков речи в их взаимоотношениях. Именно это обстоятельство подчеркивает рациональную сущность дескриптивной лингвистики: оказывается возможным манипулировать такими способами, которые невозможны при простом протоколировании или описании речи. В результате открываются такие регулярности речи, которые без применения лингвистической символики было бы значительно труднее обнаружить.

Вышеописанные соображения можно было бы оставить без внимания, если мы готовы рассматривать лингвистические элементы в виде непосредственных описаний частей потока речи. Но тогда мы не будем в состоянии дать настолько детальное определение элементов, чтобы оно включало исчерпывающее описание речевых фактов. Лингвистические элементы, следовательно, следует определять как переменные величины, представляющие любой член класса лингвистически эквивалентных частей речевого потока. В этом случае каждая констатация о лингвистических элементах будет констатацией о любой из частей речи, включенной в данный класс. Впрочем, в процессе сведения наших элементов к более простым комбинациям и более основательным элементам мы устанавливаем такие явления, как места смыкания (*junctions*) и долгие компоненты, которые только с трудом можно рассматривать в качестве переменных величин, непосредственно представляющих класс частей речевого потока. Поэтому более удобно рассматривать элементы как чисто логические символы, с которыми можно производить различные операции математической логики. В начале нашей работы мы переводим речевой поток в комбинацию этих элементов, а на заключительной стадии мы переводим комбинации наших конечных и основных элементов обратно в речевой поток. Все, что необходимо для этого, заключается в том, чтобы вначале наличествовало однозначное соответствие между частями речи и нашими исходными элементами и чтобы никакая из операций, производимых с этими элементами, не нарушила этой однозначной ассоциации, за исключением побочных операций, которые неизбежно теряют однозначное отношение и не могут ориентироваться на основную последовательность операций, ведущих к конечным элементам.

Кроме того, вышеописанные соображения помогают нам уклониться от настоящего вопроса о том, какие части человеческого поведения составляют язык. На этот вопрос не легко ответить. Мы можем согласиться, что большая часть деятельности речевых органов человеческого существа за пределами двухлетнего возраста может рассматриваться в качестве языка. Но как обстоит дело с кашлем, восклицаниями вроде «Гмм!» или жестами, независимо от того, сопровождают они речь или нет? Исходя из вышеописанных положений, нам нет надобности отвечать на подобные вопросы. Мы просто ассоциируем элементы или символы с конкретными различиями между конкретными фактами человеческого поведения. Пусть  $x$ ,  $x'$ ,  $x''$  будут различными фактами поведения, с которыми

ассоциируется наш элемент  $У$ . Тогда, если аспект поведения  $\zeta$  встречается в  $x$  и в  $x'$  и в  $x''$ , то мы считаем  $\zeta$  ассоциированным с  $У$  (включенным в определение  $У$ ). Если  $\zeta$  встречается в  $x$  и в  $x'$ , но не в  $x''$ , мы не считаем  $\zeta$  ассоциированным с  $У$ . Так, гортанное размыкание, которое можно рассматривать как легкий кашель, наличествует при каждом появлении немецкого звука [a]. Если мы ассоциируем все подобные появления данного звука с символом [a], мы считаем гортанное размыкание как нечто, представленное данной последовательностью символов. С другой стороны, несколько отличный звук легкого кашля может быть обнаружен у ряда немецких звуков [a] или же у иных немецких звуков. Однако мы не в состоянии установить регулярность дистрибуции этого кашля таким образом, чтобы ассоциировать с ним особый символ, или же он встречается не во всех проявлениях звука, который мы ассоциировали с тем или иным конкретным символом. Поэтому мы можем сказать, что гортанное размыкание включается в наше лингвистическое описание, в то время как кашель, который нельзя включить ни в один из наших символов, — нет. Описание, которое мы делаем в терминах наших символов, может охватывать факт появления гортанного размыкания, но не охватывает факта проявления кашля. Таким образом, нам нет надобности отвечать на вопрос, является ли кашель (который может означать «нерешительность») частью языка. Мы просто констатируем, что это не такая часть поведения, которую можно ассоциировать с каким-нибудь из наших элементов. Лингвистические элементы всегда представляют поведенческие особенности, ассоциированные с ними, но иногда (нерегулярно) включают иные поведенческие явления (как кашель). Если мы когда-либо сможем установить с известной регулярностью дистрибуцию этих иных поведенческих явлений, то мы будем иметь основание ассоциировать их также с конкретными лингвистическими элементами.

Само собой разумеется, что символы способны только более удобным образом организовать то, что они представляют. Символы и констатации дескриптивной лингвистики не могут давать исчерпывающего описания явлений речи (ни в физиологических, ни в акустических терминах) или представлять информацию о значении и социальной ситуации речевых явлений, о направлениях изменений в разные хронологические периоды и т. п. Большая часть современных лингвистических исследований не в состоянии даже учесть известные различия между медленной и быстрой речью (например, *good-bye* сравнительно с *g'bye*) или стилистические и индивидуальные различия речи<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Критика дескриптивной лингвистики со стороны Стетсона (*Bases of Phonology*, 25 — 36) представляется поэтому необоснованной. Правда, лингвистические элементы не описывают речь и не способны воспроизвести ее. Но они способны организовать большое количество тех явлений речи, которые можно выразить в терминах лингвистических элементов. Если результаты лингвистического анализа представляются совместно с детальным описанием речи или с фактическими образцами речи, то получается описание языка.

**Предварительные замечания о фонологических и морфологических элементах.** Быть может, будет полезно взглянуть теперь на то, как определяются релевантные категории исследования. При этом следует помнить, что речь есть комплекс непрерывных явлений — она состоит не из отдельных звуков, последовательно произносимых, — и сама возможность выделения отдельных элементов обусловливается современным развитием дескриптивной лингвистики.

Вопрос об установлении элементов следует начать с некоторого рассуждения. Эмпирически определено, что во всех описанных языках мы можем обнаружить некоторую часть высказывания, которая тождественна с частью некоторого другого высказывания. «Тождественность» в данном случае не следует истолковывать как физическую идентичность, но только как способность заменяться без того, чтобы вызывать при этом изменение в реакции говорящего, слышавшего данное высказывание до и после замены: например, последняя часть в *He's in* заменима последней частью в *That's my pin*. Привлекая критерий реакции слушателя, мы тем самым начинаем ориентироваться на «значение», обычно требуемое лингвистами. Нечто подобное, видимо, неизбежно, во всяком случае на данной ступени развития лингвистики: в дополнение к данным о звуках мы обращаемся к данным о реакции слушающего. Впрочем, данные о восприятии слушающим высказывания или части высказывания, как повторения ранее произносившегося, контролировать легче, чем данные о значении. Во всяком случае, мы можем говорить о тождественных частях и соответственно с этим в состоянии делить каждое высказывание на такого рода части или же идентифицировать каждое высказывание как совокупность этих частей. Задача метода дескриптивной лингвистики заключается в том, чтобы сделать отбор таких частей и установить их дистрибутивное отношение друг к другу.

Поскольку явление речи образуется непрерывным процессом физиологической деятельности или звуковыми волнами, мы можем членить ее на все более и более мелкие части без всякого ограничения. Однако нет основания поступать так: поскольку мы располагаем такими частями или признаками, с которыми мы можем ассоциировать лингвистические элементы, способные в свою очередь ассоциироваться с частями или признаками различных иных высказываний, мы ничего не выиграем от ассоциации элементов с еще более мелкими сегментами высказывания. Унификация практики и простота метода достигаются в лингвистике посредством установления границы, за пределами которой членение высказываний на лингвистически осознаваемые части уже не производится. Когда мы членим *Let's go* [ˌlec'gow] и *To see him?* [tə'siɪm?], мы разбиваем аффрикату [c] на две части [t] и [s], встречающиеся отдельно во втором высказывании. Но мы не будем разделять [s] в обоих высказываниях на три последовательные части, например: закругление языка, сохранение его в закругленной позиции и выпрямление языка

(отступление от [s]-позиции). Предел сегментирования можно установить на основе следующего правила: мы ассоциируем элементы с частями, или признаками, высказывания в той мере, в какой эти части, или признаки, выступают независимо также и в других случаях (т. е. не всегда в одной и той же комбинации). Предполагается, что, если мы устанавливаем новые элементы для последовательных частей того, что мы передаем через [s] и затем используем их для представления различных иных высказываний, эти новые элементы не появляются иначе, как совместно. В соответствии с этим мы не подразделяем [s] на эти части. Как будет видно, это означает, что мы ассоциируем с каждым высказыванием наименьшее количество различных элементов, которые настолько сами по себе малы, что не способны составляться из других элементов. Мы можем называть такие элементы минимальными, т. е. наименьшими в дистрибуционном отношении независимыми дескриптивными факторами (или элементами) высказываний.

Лингвисты используют критерии двух порядков, ведущие к двум различным системам элементов, — фонологические и морфологические. Каждая из этих систем элементов покрывает собой протяженность всех высказываний: каждое высказывание может быть полностью идентифицировано как комплекс элементов фонемики, но каждое высказывание может быть полностью идентифицировано также как комплекс элементов морфемики.

Элементы каждой системы группируются на различные классы, и все определения дистрибуции каждого элемента относительно других производятся внутри каждой системы.

**Внешние соответствия дескриптивной лингвистики.** Изучение взаимоотношений кратких фонологических элементов позволяет нам делать различные общие определения и предположения, не нуждающиеся ни в какой информации относительно морфем. Например, мы можем показать, что все звуки данного языка можно сгруппировать в более или менее унифицированную систему фонем или в более ограниченную систему компонентов. Мы можем предсказать, что если гортанные согласные не встречаются в английском или если [ŋ] не встречается после паузы, то говорящий на английском языке будет испытывать затруднение при произнесении их<sup>1</sup>. Мы можем предсказать, что если [w] и [m] в языке хидатса являются аллофонами как одной фонемы, так и одной морфемы, в то время как в английском они в отношении фонемики разделены друг от друга, то говорящий на английском языке будет способен различить [w] от [m], а говорящий на языке хидатса — нет<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Все подобные предсказания находятся за пределами техники и сферы дескриптивной лингвистики. Лингвистика не располагает средствами перечисления их. Тем не менее, используя лингвистическое представительство в качестве ясной и систематической модели избранных особенностей языка, мы можем обнаружить, что эта модель согласуется с другими наблюдениями о речевой деятельности народа.

<sup>2</sup> После того как наука о языке достигнет более высокой стадии развития, возможно будет, очевидно, предсказывать и различные направления фонологи-

Изучение взаимоотношений часто более долгих морфологических элементов дает нам возможность делать общие определения и предугадания независимо от фонологической информации. Например, мы можем показать, что все морфемические элементы языка можно сгруппировать в очень небольшое количество классов и что в высказываниях данного языка встречается совершенно определенная последовательность этих классов. Исходя из положения, что мы не располагаем сведениями об употреблении кем-либо как *The blue radiator walked up the window*, так и *Hire is man the*, мы можем придумать некоторое количество ситуаций, при которых возможно произнесение первой фразы, но вместе с тем можем и предсказать, что произнесение второй допустимо гораздо реже (исключая ситуации, не характерные для какой-либо культуры, например в сугубо лингвистических дискуссиях)<sup>1</sup>.

Следовательно, фонология и морфология независимо друг от друга обеспечивают информацию относительно регулярностей в избранных аспектах человеческого поведения<sup>2</sup>. Общие методы научной техники одинаковы для обоих: ассоциация отдельных элементов с конкретными признаками частей непрерывного потока речи, а затем установление взаимоотношений между этими элементами. Но результат — количество элементов и классов элементов, тип взаимоотношений — в обоих случаях будет различный. Применение также часто бывает различным. Обе области снабжают нас информацией о конкретном языке, но фонология более полезна при записи антропологических текстов, изучении новых диалектов и т. д., в то время как морфология более полезна при толковании текстов, установлении, «что сказано» в новом языке, и пр.

**Отношение между фонологическими и морфологическими элементами.** Хотя научное положение и использование фонологии и морфологии независимы друг от друга, между ними существует тесная и важная связь. Если мы, независимо от фонологии, первоначально определяем морфемы языка, мы, если пожелаем, можем пойти дальше и расчленивать эти морфемы на фонемы. А если мы определили фонемы, мы можем использовать эти фонемы для конкретной идентификации каждой морфемы.

Как будет видно ниже, возможно определение морфем языка без предварительного определения морфем<sup>3</sup>. Элементы морфематики, полученные таким образом, будут представлять не подвергнутый

ческих диахронических изменений на основе дескриптивного (синхронического) анализа.

<sup>1</sup> В этих высказываниях следует, разумеется, учитывать и интонацию. Например, во втором примере конец утверждающей интонации совпал бы с конечным *the*.

<sup>2</sup> Это не значит, что мы можем говорить об отождествимом лингвистическом поведении и тем более о фонологическом или морфологическом поведении. Существует межличностное поведение, которое может включать жесты, речь и т. д. Лингвист устанавливает систему отношений между избранными признаками этого общего поведения.

<sup>3</sup> Это не делается для всего языка из-за сложности работы.

анализу сегмент высказываний, например *mis*, *match*, *s* (множ. ч.), *z* (множ. ч.) и т. д. в *We both made mistakes*, *Some mismatched pairs*. Впрочем, так же как высказывания могут быть представлены последовательностью элементов, и именно таких, каждый из которых может встречаться в различных высказываниях, так и морфемические элементы, представляющие сегменты высказываний, можно рассматривать как последовательности более мелких элементов. Так, мы обнаруживаем, что первая часть в *mis* заменима первой частью в *match* или последняя часть в *mis* способна выступать вместо всех *s*. Таким образом, каждый морфемический элемент можно трактовать как единственную в своем роде комбинацию звуковых элементов. Расчленение морфемических элементов на эти меньшие части не оказывает нам никакой помощи при установлении взаимоотношений между морфемами; мы прекрасно можем манипулировать с целыми и нерасчлененными морфемами. Этот дальнейший анализ морфемических элементов помогает нам только с большей простотой идентифицировать каждый из них со значительно меньшим количеством символов (один символ на фонему вместо одного символа на морфему).

Так же как мы можем переходить от морфем к фонемам, так мы можем — и притом с большей простотой — переходить от фонем к морфемам. Располагая фонемическими элементами языка, мы можем перечислить, какие их комбинации образуют морфемы в языке. Фонемические элементы, меньшие по количеству и объему, чем морфемические, значительно легче определять, так что идентификация каждого морфемического элемента как конкретной комбинации предварительно установленных фонем более удобна, чем определение заново фонетического неравенства каждого морфемического элемента. Это не значит, что фонемы автоматически дают нам морфемы. В большинстве языков только некоторые комбинации фонем составляют морфемы, и во всех языках морфологический анализ заключается в установлении этих комбинаций.

Таким образом, фонологический анализ проводится по следующим двум не связанным друг с другом соображениям: для установления взаимоотношений фонемических элементов и для получения простого способа идентификации морфемических элементов.

Происходит ли это в результате членения морфем или же комбинирования фонем, — в обоих случаях связь между фонологией и морфологией основывается на использовании фонем для идентификации морфем. Эта связь двух подразделений не делает их в конечном счете идентичными. Всегда останутся собственно фонологические исследования, которые не используются для идентификации морфем и не выводятся из морфем: например, фонетическая классификация фонем или их позиционных вариантов. Свое место занимает и морфологическая техника, которую нельзя вывести из фонологии: например, установление в ряде случаев того, какая последовательность фонем образует морфему.

Лингвистическая практика обычно состоит из комбинации методов. Первое приближение лингвист делает посредством уста-



новления гипотетических морфем. Затем он обращается к фонологическому исследованию, чтобы подтвердить выделение этих морфем. В некоторых случаях, когда он может выбирать между двумя путями определения фонемических элементов, он избирает тот путь, который больше соответствует его догадке: если [t] в *mistake* в фонемическом отношении можно одинаково обоснованно объединить как с [t<sup>h</sup>] в *take*, так и с [d] в *date*, он выберет первое, если хочет трактовать *take* в *mistake* как такую же самую морфему, что и *take*. В некоторых случаях ему необходимо делать различие между двумя морфемическими элементами, так как выясняется, что они в фонемическом отношении различны: например, /ekənamiks/ и /iukənamiks/ (оба *economics*) следует рассматривать как две отдельные морфемы.

## V. ЭТНОЛИНГВИСТИКА

«Этнолингвистика» довольно условный термин, которым обозначают направление в языкознании, сосредоточивающее свое внимание на изучении связей языка с культурой, народными обычаями и представлениями и с народом или нацией в целом. Подобного рода проблематика не является новой для языкознания, более того она является для него традиционной, но этнолингвистика уделяет ей преимущественное внимание, значительно углубив ее и связав с проблемами и методами, возникшими в последние десятилетия развития науки о языке. Кроме того, этнолингвистика сильно расширила языковой материал, на котором она стремится решить свои проблемы, введя в научный оборот, в частности, многочисленные и разноструктурные индейские языки Америки.

Сама по себе чрезвычайно важная проблематика, характерная для этнолингвистики, решается, однако, этим направлением с неправильной философской позиции, приписывающей языку ведущую роль в его отношениях к культуре, народным и национальным особенностям, и даже к процессам познания. При такой постановке вопроса подвергаются искажению действительные зависимости, существующие между указанными явлениями.

Применительно к языковой проблематике такой подход получил теоретическую разработку еще в трудах В. Гумбольдта (хотя самую идею впервые высказал во второй половине XVIII в. И. Г. Гердер). Отмечая, что отношение человека к предметам «целиком обусловлено языком», В. Гумбольдт в развитии этого тезиса пишет далее: «Тем же самым актом, посредством которого он (человек) из себя создает язык, он отдает себя в его власть; каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг». В последующий период развития языкознания это положение не нашло своего отражения и дальнейшего развития (хотя никогда полностью не забывалось; см., например, в русском языкознании работы А. А. Потебни), но во второй четверти XX в., независимо друг от друга, возникло два направления, которые указанные идеи положили в основу своих теоретических построений и практической исследовательской работы.

Первое из этих направлений связано с философской школой «неогумбольдтианства» и представляет прямое развитие теоретических принципов В. Гумбольдта. Оно возникло в Германии и объединяет главным образом немецких ученых. Общефилософское обоснование исследовательских принципов этого направления изложено в работах Эрнста Кассирера (1874 — 1945; наиболее полно в первом томе трехтомного труда «Философия символических форм», 1923), а собственно лингвистическое воплощение эти принципы нашли в работах Июста Трира и особенно Лео Вайсгербера, являющегося ныне фактической главой лингвистического неогум-

больштианства. Среди его многочисленных работ в указанной связи в первую очередь следует назвать четырехтомный труд, объединенный общим названием «О силах немецкого языка» (первое издание — 1949 — 1950 г.), и, в частности, том, озаглавленный «О мировоззрении немецкого языка» (1950). Л. Вайсгербер главным образом разрабатывает тезис В. Гумбольдта о языке как «промежуточном мире», стоящем между человеком и внешним миром и фиксирующем в своей структуре, в своей лексике особое национальное мировоззрение. Лео Вайсгербера интересует, таким образом, в первую очередь проблема связи языка и народа, которую он решает в сугубо идеалистическом плане.

Совершенно независимо от гумбольдтианской традиции аналогичная проблематика и близкое ее истолкование возникло в США, где, однако, на первое место выдвигается проблема связи языка и культуры. Именно этому американскому направлению обычно и присваивается наименование этнолингвистики.

В США возникновение этой проблемы было тесно связано с изучением языков и культуры американских индейцев. И язык и культура в отличие от европейской научной традиции рассматриваются американскими учеными как компоненты широкой по своим границам науки — антропологии, изучающей разные формы проявления культуры того или иного народа, в том числе и язык. Большое значение языка для такого рода комплексного изучения отмечал еще один из пионеров в области исследования индейских языков — Франц Боас, писавший: «Выясняется, что теоретическое изучение языков индейцев не менее важно, чем практическое владение ими; чисто лингвистическое исследование является неотъемлемой частью глубокого изучения психологии народов мира». Своеобразие культуры и языков американских индейцев много содействовало возникновению гипотезы и взаимосвязанности этих явлений и возможности глубокого влияния языка на становление логических и мировоззренческих категорий. Так возникла так называемая гипотеза Сепира — Уорфа, составляющая теоретическое ядро этнолингвистики.

Эдуард Сепир (1884 — 1939) — американский лингвист и антрополог, обладавший чрезвычайно широким языковым кругозором (он владел многими языками Европы, Азии и Америки) и глубоко интересовавшийся вопросами теории языка (его основной теоретический труд «Язык» вышел в 1921 г., русский перевод — в издательстве Соцэкгиз в 1934 г.). В настоящую книгу включены две работы этого выдающегося американского ученого, раскрывающие главные черты его лингвистической концепции.

Как чрезвычайно оригинальный ученый, оказавший большое влияние на дальнейшее развитие науки о языке, Э. Сепир и его научное творчество значительно шире того тематического круга, которым замыкается этнолингвистика. Э. Сепир дал первые описания ряда индейских языков Америки, уделял большое внимание изучению структуры языков, предложил новую типологическую классификацию языков, стремился уточнить содержание лингвистики в свете последних достижений ряда сопредельных наук, уделял большое внимание взаимоотношению языковых явлений и социальных факторов и т. д. Среди этого множества проблем Э. Сепир интересовался также и связями языка и культуры. Называя язык «руководством к восприятию социальной действительности» и проводя идею о том, что «люди в значительной мере находятся под влиянием того конкретного языка, который стал средством выражения для общества, в котором они живут», Э. Сепир вместе с тем это общее положение в применении к проблеме языка и культуры ограничивал рядом весьма существенных оговорок. «Нетрудно показать, — писал он в своей основной теоретической книге «Язык», — что языковая группа ни в малейшей мере не соответствует обязательно какой-либо расовой группе или культурной зоне». И несколько ниже в этой же книге: «Общность языка не может до бесконечности обеспечивать общность культуры, если географические, политические и экономические детерминанты культуры перестают быть одинаковыми в зоне ее распространения». Тем не менее Э. Сепир (и этого не следует отрицать) придал определенное направление разрешению вопроса о связях языка и культуры.

Данное направление идей Э. Сепира развил и довел до логического завершения (что, кстати говоря, вместе с тем наглядно показало ошибочность исходных теоретических позиций самой гипотезы) Бенжамен Уорф (1897 — 1941).

Б. Уорф не был лингвистом по своей прямой специальности (по образованию и профессии он был инженером по противопожарной технике), но в свободное время много занимался изучением языка и культуры американских индейцев (он прослушал ряд курсов у Э. Сепира) и по преимуществу в 30-е годы опубликовал ряд статей, которые после его смерти несколько раз выходили отдельными, сборниками (более полным является сборник «Язык, мышление и реальность», вышедший в 1956 г.) и привлекли к себе внимание широких кругов, главным образом американских лингвистов, антропологов и философов.

Б. Уорф стремится доказать, что даже основные категории субстанции, пространства, времени могут трактоваться по-разному в зависимости от структурных качеств языков. «Мы исследуем природу по тем направлениям, — пишет он, — которые указываются нам нашим родным языком. Категории и формы, изолируемые нами из мира явлений, мы не берем как нечто очевидное у этих явлений; совершенно обратно — мир предстает перед нами в калейдоскопическом потоке впечатлений, которые организуются нашим сознанием, и это совершается главным образом посредством лингвистической системы, запечатленной в нашем сознании». На основе таких предпосылок Б. Уорф делает совершенно парадоксальный: вывод о том, что «каждый язык обладает своей метафизикой» и если бы, например, Ньютон говорил и думал не по-английски, то и построенная им система мироздания выглядела бы иначе. Этот вывод, логически вытекающий из всего хода, рассуждений Б. Уорфа, отчетливо демонстрирует ложность его исходных теоретических положений. В книгу включена статья Б. Уорфа, которая достаточно полно излагает как ход его доказательств, так и основные положения защищаемой им гипотезы.

В гипотезе Сепира — Уорфа нет четкого разграничения между «содержанием» языка, зависящим как от форм соответствующей культуры, так и от степени ее развитости, с одной стороны, и структурными качествами языка (например, его грамматической структуры), независимыми от указанных факторов, с другой стороны. В гипотезе Сепира — Уорфа много говорится о влиянии языка на нормы поведения человека. Несомненно, что такого рода влияние в тех или иных формах возможно, но из этого не следует, что структура языка способна оказывать воздействие на формирование категорий субстанции, пространства и времени — эта явления разных порядков. Широко говоря, этот последний вопрос упирается в третий: может ли язык как средство осуществления мышления оказывать формирующее воздействие на процессы образования и их выражение — понятия. Свидетельства, которыми располагает языкознание, говорят о том, что различные языковые формы мышления не могут привести к созданию различных логических образований, каковыми являются вышеупомянутые понятия. Таким образом, никакой образующей силой в этом смысле, а следовательно, и никакой особой «метафизикой» языки не способны обладать.

В 1954 г. в Чикаго была выпущена книга «Язык в культуре», излагающая результаты симпозиума, в котором принимало участие 20 американских лингвистов, антропологов, психологов и философов, подвергнувших всестороннему рассмотрению гипотезу Сепира — Уорфа. Участники симпозиума заняли в основном критическую по отношению к указанной гипотезе позицию. Но вместе с тем они высказались за дальнейшее ее экспериментальное изучение. На важность изучения содержащихся в гипотезе Сепира — Уорфа проблем, но, разумеется, на совершенно иной философской основе указывалось также и в советском языкознании (см. например, передовую статью О. С. Ахмановой, В. В. Виноградова, В. В. Иванова — «О некоторых вопросах и задачах описательной, исторической и сравнительно-исторической лексикологии», «Вопросы языкознания», 1956, № 3). Без всякого сомнения, исследования в этом направлении дадут возможность более конкретного изучения одной из центральных проблем языкознания — проблемы связи и взаимоотношений языка и мышления.

#### ЛИТЕРАТУРА

В. А. Звегинцев, Теоретико-лингвистические предпосылки гипотезы Сепира — Уорфа. Сб. «Новое в лингвистике», вып. 1, 1960.

**ПОЛОЖЕНИЕ ЛИНГВИСТИКИ КАК НАУКИ<sup>1</sup>**

Можно сказать, что лингвистика начала свою научную карьеру со сравнительного изучения и реконструкции индоевропейских языков. В процессе своих подробных исследований индоевропейцы постепенно выработали технику, которая, пожалуй, более совершенна, чем у какой-либо иной науки, имеющей дело с человеческими установлениями. Многие определения сравнительного индоевропейского языкознания обладают четкостью и регулярностью, напоминающими формулы или так называемые законы естественных наук. Историческое и сравнительное языкознание строится главным образом на основе гипотезы, в соответствии с которой звуковые изменения осуществляются регулярно, а морфологическая перестройка языка следует за этим регулярным фонетическим развитием в качестве его производного. Многие склонны отрицать психологическую необходимость регулярности звуковых изменений, но фактический лингвистический опыт с несомненностью убеждает нас в том, что вера в такую регулярность сделала возможным чрезвычайно успешный подход к историческим проблемам языка. Правда, ни один лингвист не способен дать удовлетворительного ответа на вопросы о том, почему обнаруживаются такие регулярности и почему необходимо исходить из регулярности звуковых изменений. Но из этого не следует, что лингвистические методы улучшатся от того, что мы откажемся от хорошо проверенных гипотез и широко откроем дверь для всякого рода психологических и социологических объяснений, не имеющих прямой связи со всем тем, что мы знаем об историческом поведении языка. Психологические и социологические интерпретации регулярности языковых изменений, с которыми лингвисты давно уже сталкиваются, конечно, желательны и необходимы. Но ни психология, ни социология не способны сказать лингвистике, какого рода исторические интерпретации должен делать языковед. В лучшем случае эти науки могут требовать от лингвиста, чтобы он чаще, чем это делалось до сих пор, рассматривал историю языка в более широком контек-

<sup>1</sup> E. Sapir, The Status of Linguistics as Science, «Language», vol. 5, 1929.

сте человеческого поведения — как в индивидуальном, так и общественном плане.

Установленные индоевропеистами методы с заметным успехом применялись и к другим группам языков. С одинаковой строгостью они прилагались и к бесписьменным примитивным языкам Африки и Америки, и к более известным формам речи народов с большим историческим опытом. Именно в языках этих более культурных народов столь существенное явление регулярности лингвистических процессов так часто перекрещивается с действием таких противоречивых тенденций, как заимствования из других языков, диалектальные смешения и социальная дифференциация речи. И чем больше мы занимаемся сравнительным изучением языков примитивного лингвистического состояния, тем отчетливей осознаем, что фонетические законы и выравнивание по аналогии являются единственными удовлетворительными способами объяснения развития языков и диалектов от общей основы. Опыт работы профессора Леонарда Блумфильда с центральными алгонкинскими языками и мой опыт работы с атабасскими не оставляет желать чего-либо лучшего в этом отношении и является прекрасным ответом тем, кто считает для себя невозможным ориентироваться на всеобъемлющую регулярность действия всех тех бессознательных языковых сил, которые в своей совокупности дают нам закономерные фонетические изменения и связанную с ними морфологическую перестройку. На основе установленных фонетических законов возможно не только теоретическое определение правильности специфических форм у бесписьменных народов, — такие определения существуют фактически в значительном количестве. Не может быть никакого сомнения, что методы, впервые разработанные в области индоевропейского языкознания, способны играть весьма важную роль и при изучении всех других групп языков, и только с их помощью, посредством их постепенного расширения, мы можем надеяться получить существенные исторические выводы об отношениях между группами языков, показывающими немногие и лишь поверхностные следы общего происхождения.

Но целью настоящей работы является не подтверждение уже достигнутых результатов, а указание на те связи, которые существуют между лингвистикой и другими научными дисциплинами, и обсуждение вопроса о том, в каком смысле лингвистику можно именовать «наукой».

Значение лингвистики для антропологии и истории культуры давно уже признано. По мере того как развивались лингвистические исследования, язык зарекомендовал себя как полезное средство в науках о человеке и в свою очередь получил много полезных сведений от этих последних. Для современного языкознания уже трудно ограничиваться только своим традиционным предметом. Если только он не чужд творческих устремлений, лингвист не может не разделять взаимных интересов, которые связывают лингвистику с антропологией и историей культуры, с социологией

и психологией, с философией и — в более отдаленной перспективе — с физикой и физиологией.

Язык приобретает все большую цену в качестве руководящего начала в научном изучении культуры. В известном смысле система культурных моделей той или иной цивилизации фиксируется в языке, выражающем данную цивилизацию. Неправильно думать, что мы в состоянии познать характерные особенности культуры лишь посредством прямого наблюдения и без руководящей помощи лингвистической символичности, делающей эти особенности значимыми и понятными для общества. Настанет время, когда попытка понять примитивную культуру без помощи языка данного общества будет выглядеть в такой же степени дилетантской, как и труд историка, не обращающегося к свидетельству оригинальных документов тех эпох, которые он описывает.

Язык служит руководством к восприятию «социальной действительности». Хотя язык обычно мало интересует ученых, занимающихся социальными науками, он оказывает мощное воздействие на наше мышление о социальных проблемах и процессах. Человеческое существо живет не в одном только объективном мире и не в одном только мире общественной деятельности, как это обычно полагают. В значительной степени человек находится во власти конкретного языка, являющегося средством выражения в данном обществе. Совершенно ошибочно полагать, что человек ориентируется в действительности без помощи языка и что язык есть просто случайное средство решения специфических проблем общения и мышления. Факты свидетельствуют о том, что «реальный мир» в значительной мере бессознательно строится на языковых нормах данного общества. Не существует двух языков настолько тождественных, чтобы их можно было считать выразителями одной и той же социальной действительности. Миры, в которых живут различные общества, — отдельные миры, а не один мир, использующий разные ярлыки.

Понимание, например, простой поэмы предполагает не только понимание отдельных слов в их обычном смысле, но глубокое постижение всей жизни общества, как она отражается в словах или связанных с ними нюансах. Даже относительно простой акт познания в большей степени, чем мы полагаем, зависит от социальных моделей, называемых словами. Если, например, провести ряд линий различной формы, их можно осознать и подразделить на такие категории, как «прямая», «ломаная», «кривая», «зигзагообразная», соответственно классификации, которая устанавливается самими существующими в языке терминами. Мы видим, слышим или иным образом воспринимаем действительность так, а не иначе потому, что языковые нормы нашего общества предрасполагают к определенному отбору интерпретаций.

Для решения основных проблем человеческой культуры знание языкового механизма и его исторического развития становится тем более необходимо и важно, чем более точным становится наш

анализ социальных норм. С этой точки зрения мы можем рассматривать язык как выраженное в символах руководство к культуре. Язык есть вместе с тем важнейшее средство изучения культурных явлений. Многие объекты и идеи культуры настолько взаимосвязаны с их терминологией, что изучение инвентаря культурно-значимых терминов нередко бросает неожиданный свет на историю самих открытий и идей. Этот тип исследований, оказавшийся плодотворным для культурной истории Европы и Азии, обещает оказать большую помощь при реконструкциях примитивных культур.

Ценность лингвистики для социологии в более узком смысле слова в такой же степени реальна, как и для теоретика в области антропологии. Социологи по необходимости интересуются техникой общения человеческих существ. С этой точки зрения все, что способствует или препятствует распространению языков, представляет чрезвычайную важность и должно изучаться во взаимодействии с множеством других факторов, которые стимулируют или тормозят передачу идей и моделей поведения. Более того, социолог должен интересоваться также символической значимостью и социальным смыслом языковых различий, возникающих в каждом большом обществе. Правильность речи или то, что можно назвать «социальным стилем» речи, выходит далеко за пределы эстетических или грамматических интересов. Специфические особенности произношения, характерные обороты речи, слэнговые формы, использование всякого рода терминологии — все это символы многообразных способов, с помощью которых общество осуществляет свое приспособление и которые обладают решающим значением для понимания развития индивидуальных и социальных норм. Но социолог будет не в состоянии оценить все подобные явления до тех пор, пока он не составит себе ясного представления о лингвистической основе, которая одна может обусловить оценку социального символизма языкового характера.

Чрезвычайно обнадеживающе то обстоятельство, что психологи все больше и чаще обращаются к лингвистическим данным. До настоящего времени оставалось сомнительным, что они могут способствовать лучшему пониманию лингвистических норм сравнительно с тем, что сами лингвисты в состоянии установить на основе своих данных. Однако все более укрепляется чувство, что психологические объяснения самих лингвистов нуждаются в пересмотре и в истолковании в более широких терминах, так чтобы чисто лингвистические факты могли рассматриваться как специализированные формы общих символических норм. Психологи, пожалуй, в слишком узком плане занимаются элементарной психофизической основой речи и не проникают достаточно глубоко в изучение ее символической природы. Это, по-видимому, обусловливается тем фактом, что психологи, как правило, недооценивают чрезвычайной важности явления символизма. Очень возможно, что как раз в области символизма языковые формы и процессы будут наибольшим образом способствовать обогащению психологии.



Все типы деятельности можно истолковывать либо как четко функциональные в собственном смысле слова, либо как символические, либо как соединение этих двух. Так, если я открываю дверь с намерением войти в дом, значение этого действия лежит именно в том, что оно облегчает мне проникновение. Но если я «стучусь в дверь», не требуется глубокого размышления, чтобы понять, что стук сам по себе не откроет для меня дверь. Он только служит знаком того, что кто-то должен подойти и открыть дверь для меня. Стук в дверь замещает более примитивный акт открывания двери по желанию кого-либо. Мы имеем здесь дело с зачатками того, что можно назвать языком. Большое количество подобных действий является языковыми действиями в грубом смысле слова. Иными словами, они важны для нас не ради своего прямого действия, а в силу того, что они служат в качестве посредствующих знаков более важных действий. Примитивный знак имеет некоторое объективное сходство с тем, что он замещает или на что он указывает. Так, стук в дверь имеет определенное отношение к предполагаемой деятельности, направленной на самое дверь. Некоторые знаки принимают сокращенную форму функциональной деятельности, которую можно предпринять в отношении данного объекта. Так, размахивание кулаками перед лицом кого-либо есть сокращенный и относительно безобидный способ замещения фактической драки с данным человеком. Если подобные жесты становятся достаточно выразительными, чтобы истолковывать как эквиваленты оскорбления или угрозы, их можно рассматривать как символы в собственном смысле этого слова.

В символах этого порядка еще совершенно ясна связь с тем, что они символизируют. Но по мере того, как время идет, символы настолько изменяют свою форму, что теряют всякую внешнюю связь с тем, что они замещают. Так, не существует никакого сходства между куском материала, окрашенного в красный, белый и голубой цвета, и Соединенными Штатами Америки — самой по себе сложной и нелегко определимой нации. Флаг, таким образом, может рассматриваться как вторичный, или относительный, символ. Способ психологического истолкования языка заключается, по-видимому, в осознании его как совокупности наиболее сложных случаев такого рода вторичных, или относительных, символов, образовавшихся в обществе. Очень может быть, что первичные примитивные крики или другие типы символов, развитых человеком, имеют известную связь с определенными эмоциями, отношениями или понятиями. Но уже давно не поддается прямому прослеживанию связь между словами или комбинациями слов и тем, к чему они относятся.

Лингвистика является одновременно одной из наиболее трудных и вместе с тем наиболее основательных областей исследования. Действительно, плодотворное объединение лингвистических и психологических исследований, очевидно, дело будущего. Мы можем предполагать, что особую ценность лингвистика будет

представлять для структурной психологии (Gestaltpsychologie), так как из всех форм культуры язык, видимо, развивает свои основные модели с наибольшей обособленностью от других типов культурных моделей. Таким образом, лингвистика может надеяться стать подобием руководства для понимания «психологической географии» культуры в широком плане. В обычной жизни основной символизм поведения перекрещивается густой сетью функциональных моделей чрезвычайного разнообразия. Это происходит потому, что каждый изолированный акт человеческого поведения является точкой встречи такого количества отдельных структур, что для большинства из нас очень трудно провести различие между контекстуальными и неконтекстуальными формами поведения. Лингвистика, по-видимому, обладает чрезвычайно специфической ценностью для структурных исследований, так как моделирование языка в значительной мере носит замкнутый в себе характер и не очень подвергается воздействию взаимопересекающихся моделей нелингвистического типа.

Весьма примечателен тот факт, что в последние годы философия занимается проблемами языка больше, чем когда-либо. Давно прошло время, когда философы наивным образом переводили грамматические формы и процессы в метафизические категории. Философы нуждаются в понимании языка хотя бы ради того, чтобы защитить себя от своих собственных языковых норм, и поэтому не удивительно, что философия, стремясь освободить логику от сетей грамматики и осознать значение символизма, вынуждена подвергнуть предварительному критическому рассмотрению сам лингвистический процесс. Лингвисты занимают выгодную позицию, оказывая помощь при выяснении смысла наших терминов и языковых процедур. Из всех исследователей человеческого поведения лингвист в силу самой природы предмета своего исследования является наибольшим релятивистом в отношении чувств и в наименьшей степени находится под влиянием форм своей собственной речи.

Несколько слов об отношениях между лингвистикой и естественными науками. Своим техническим оснащением лингвисты много обязаны естественным наукам, и в частности физике и физиологии. Фонетика — необходимая предпосылка для точных методов работы в лингвистике — немислима без углубления в акустику и физиологию органов речи. Именно те исследователи языка, которые больше интересуются реалистическими деталями фактического речевого поведения индивида, чем социальными моделями языка, должны в первую очередь поддерживать постоянное общение с естественными науками. Но очень возможно, что и опыт лингвистического исследования может также содержать ценные данные для решения акустических и физиологических проблем.

В общем и целом ясно, что интерес к языку в последние годы перешел за пределы собственно лингвистических кругов. И это неизбежно, так как понимание языкового механизма необходимо для изучения как исторических проблем, так и проблем человеческого

поведения. Можно только надеяться, что лингвисты также осознают значение их предмета для широкого поля научной деятельности и не уйдут в одиночество, огораживаясь традицией, которая грозит превратиться в схоластику, если только в нее не вдохнут жизнь интересы, лежащие за пределами формальных интересов самого языка.

Каково же в конце концов положение лингвистики как науки? Должна ли она встать в ряд естественноведческих наук по соседству с биологией, или же она относится к социальным наукам? Существуют два обстоятельства, обуславливающих настойчивую тенденцию рассматривать языковые данные с биологической точки зрения. Во-первых, налицо очевидный факт, что фактическая техника языкового поведения предусматривает очень специфические процессы физиологического характера. Во-вторых, регулярность и унифицированность лингвистических процессов, естественно, противопоставляются мнимо свободным и непредопределенным нормам поведения человеческого существа, изучаемого с точки зрения культуры. Но регулярность звуковых изменений представляет только поверхностную аналогию биологического автоматизма. Именно потому, что язык является более строго социологизированным типом человеческого поведения, чем какие-либо иные культурные явления, и вместе с тем обнаруживает в своих чертах и тенденциях такую регулярность, какую знают только естественноведческие науки, — лингвистика обладает таким важным значением для методологии социальных наук. За внешней беспорядочностью социальных явлений открывается регулярность структуры и тенденций столь же реальная, как и регулярность физических процессов в мире механики, хотя эта регулярность характеризуется значительно меньшей очевидной строгостью и требует иного подхода с нашей стороны. Первично язык — культурный и социальный продукт и должен истолковываться как таковой. Правда, его регулярность и формальное развитие основываются на предпосылках биологического и психологического порядка. Но эта регулярность и несознательный характер ее типичных форм не делают из лингвистики простого придатка биологии или психологии. Лингвистика лучше, чем какая-либо иная социальная наука, показывает своими данными и методами, более легко определяемыми, чем данные и методы любой другой дисциплины, имеющей дело с социологизированным поведением, возможность истинно научного изучения общества, которое не будет слепо перенимать методы естественных наук или некритически использовать их понятия. Чрезвычайно важно, чтобы лингвисты, которых часто обвиняют — и обвиняют справедливо — в отказе выйти за пределы предмета своего исследования, наконец, поняли, что может означать их наука для интерпретации человеческого поведения вообще. Нравится ли им это или нет, но они должны будут все больше и больше заниматься различными антропологическими, социологическими и психологическими проблемами, которые вторгаются в область языка,

## ЯЗЫК<sup>1</sup>

Дар речи и упорядоченного языка характеризуют все известные человеческие общности. Нигде и никогда не открывали племени, которое не знало бы языка, и все утверждения противного — не более как сказки. Не имеют под собой никаких оснований и рассказы о существовании народов, словарный состав которых якобы настолько ограничен, что они не могут обойтись без помощи сопроводительных жестов и поэтому не в состоянии общаться в темноте. Истина заключается в том, что язык является совершенным средством выражения и сообщения у всех известных нам народов. Из всех аспектов культуры язык, несомненно; первым достиг высоких форм развития, и его постоянное совершенствование является обязательной предпосылкой развития культуры в целом.

Существует ряд характеристик, которые применимы ко всем языкам — живым или мертвым, письменным или бесписьменным. Во-первых, язык в основе своей есть система фонетических символов для выражения поддающихся сообщению мыслей и чувств. Другими словами, языковые символы являются дифференцированными продуктами голосовой деятельности, ассоциированной с гортанью высших млекопитающих. Теоретически можно предположить, что нечто подобное языковой структуре могло бы развиваться из жестов или иных движений тела. Факт, что возникшее уже на высоких ступенях развития человеческой расы письмо, представляет прямую имитацию моделей разговорного языка, доказывает, что язык как чисто «техническое» и логическое изобретение не зависит от употребления артикулированного звука. Тем не менее действительная история человека и обилие антропологических данных с безусловной определенностью свидетельствуют в пользу того положения, что звуковой язык доминировал над всеми другими видами коммуникативного символизма, которые как письмо использовались в замещающей функции или же как жест только сопровождали речь. Употребляемый для языковой деятельности речевой аппарат — один и тот же у всех известных нам народов. Он состоит из гортани с прикрепленными к ней голосовыми связками, носа, языка, твердого и мягкого нёба, зубов и губ. Хотя первоначальные импульсы, образующие речь, локализируются в гортани, более точная фонетическая артикуляция обуславливается главным образом деятельностью мускулов языка, органа, первичная функция которого не имеет никакого отношения к производству звуков, но без которого (в процессе действительной речевой деятельности) было бы невозможно развитие эмоциональных криков в то, что мы называем языком. Именно в силу этого обстоятельства речь, да и сам язык, обычно называется «языком»,

<sup>1</sup> E. Sapir, Language. Encyclopaedia of the Social Sciences, vol, 9, New-York, 1933. Статья дается с сокращениями.

т. е. именем этого органа. Таким образом, язык не является простой биологической функцией, даже в отношении лишь производства звуков, так как первичная деятельность гортани должна была подвергнуться чрезвычайно основательной обработке посредством языковых, лабиальных и назальных модификаций, прежде чем «речевые органы» были готовы для работы. Может быть, именно потому, что «речевые органы» в своей деятельности базируются на первично совершенно иные физиологические функции, язык смог освободиться от непосредственной телесной выразительности.

Но все языки по своему характеру не только фонетические; они также «фонематичны». Между артикуляцией голоса в форме звуковой деятельности, непосредственно воспринимаемой как простое ощущение, и сложным членением этой звуковой деятельности на такие символически значимые единицы, как слова, словосочетания и предложения, происходят очень интересные процессы фонетического отбора и обобщения, которые легко просмотреть, но которые чрезвычайно важны для развития специфически символического аспекта языка. Язык — это не только артикулированный звук; его значимая структура зависит от бессознательного отбора фиксированного количества «фонетических позиций» или звуковых единиц. В фактическом употреблении они подвергаются некоторым индивидуальным модификациям. Однако чрезвычайно важным при этом является то, что в результате бессознательного отбора звуков в качестве фонем между различными фонетическими позициями возникают определенные психологические барьеры, так что речь перестает быть простым эмоциональным речевым потоком и превращается в символическое образование, состоящее из ограниченного количества единиц. Здесь напрашивается прямая аналогия с теорией музыки. Даже самая замечательная и динамичная симфония строится из ряда определенных музыкальных единиц, или нот, которые в аспекте физического мира представляются непрерывным и сплошным потоком звуков, но в эстетическом аспекте строго отграничены друг от друга, так что они могут создавать сложные математические формулы значимых отношений. Фонемы языка в своей основе — определенные системы, свойственные данным языкам, которые, — если и не всегда в фактической деятельности, то на основе неосознанной теории, — должны строить свои слова именно из этих фонем. Языки очень широко различаются по своим фонетическим структурам. Но каковы бы ни были детали этих структур, непреложным остается факт, что не существует языков без четко определенных фонетических систем. Различие между звуком и фонемой можно показать на простом английском примере. Если слово *matter* (дело) произнести нечетким образом, как во фразе *What's the matter?* (В чем дело?), звук *t*, в производство которого не была вложена необходимая для выражения его физических характеристик энергия, может обнаружить стремление перейти в *d*. Тем не менее это «фонетическое» *d* не будет восприниматься как функциональное *d*, но только как особый

экспрессивный вариант t. Очевидно, что функциональное отношение между звуком t в слове matter и его d-образным вариантом совершенно иное, чем отношение между t в слове town (город) и d в слове down (вниз). В каждом языке можно проводить различие между простыми фонетическими вариантами (экспрессивными или нет) и такими, которые обладают символической функцией фонематического порядка.

Во всех известных языках фонемы образуют определенные и условные сочетания, которые тотчас узнаются говорящими как наделенные значением символы данных предметов (референтов). В английском, например, сочетание g и o дает слово go (идти), представляющее нерасчленимое единство: значение, закрепленное за этим символом, нельзя получить из соединения «значений» g и o, взятых в отдельности. Другими словами, в то время как механическими функциональными единицами языка являются фонемы, истинными единицами языка, как символического образования, являются условные группы таких фонем. Объем таких единиц и законы их механической структуры широко варьируются в различных языках, а их лимитирующие условия образуют фонемный механизм, или «фонологию», данного языка. Однако основы теории звукового символизма повсюду остаются одинаковыми. Формальные нормы несводимого символа также варьируются в широких пределах в различных языках мира. В качестве такой единицы может выступать или целое слово, как только что приведенный английский пример, или отдельные значимые элементы, вроде суффикса -ness в слове goodness. Между значимым и нерасчленимым словом или словесным элементом и составным значением связной речи располагается вся совокупность формальных средств, интуитивно используемых говорящими на данном языке с целью построения из теоретически изолируемых единиц эстетически и функционально полноценных символических сочетаний. Эти средства образуют грамматику, которую можно определить как систему формальных элементов, интуитивно осознаваемых говорящим на данном языке. Видимо, не существует других типов культурных моделей, которые бы так удивительно варьировались и обладали таким обилием деталей, как морфология известных нам языков. Несмотря на бесконечное разнообразие деталей, можно утверждать, что все грамматики в одинаковой мере устойчивы. Один язык может быть более сложным и трудным в грамматическом отношении, чем другой, но вместе с тем нет никакого смысла в иногда высказываемых утверждениях, что один язык более грамматичен или формализован, чем другой. Совершенствование структуры нашего языка обуславливает осознание недостатков речи и изучающей ее научной дисциплины, что, конечно, само по себе представляется интересными психологическими и социальными явлениями, но это имеет очень далекое отношение к вопросу о формах языка.

Помимо этих общих формальных особенностей, язык обладает определенными психологическими качествами, делающими его изу-

чение особенно важным для исследований в области социальных наук. Во-первых, язык является совершенной символической системой, использующей абсолютно гомогенные средства для передачи всех значений, на которые способна данная культура, независимо от того, принимают ли они форму фактического сообщения или же представляют собой идеальный субститут сообщения, как мышление. Содержание каждой культуры может быть выражено ее языком, и не существует лингвистических элементов, относящихся как к содержанию, так и к форме, которые не символизировали бы фактического значения, независимо от отношения тех, кто принадлежит к другим культурам. Новый культурный опыт часто делает необходимым расширение ресурсов языка, но такое расширение никогда не носит характера произвольного пополнения уже существующих форм. Это только дальнейшее применение используемых принципов, и во многих случаях не намного большее, чем метафорическое расширение старых терминов и значений. Очень важно усвоить, что как только устанавливается форма языка, она может сообщать говорящим значения, которые не легко соотносить с данным качеством самого опыта, но в значительной мере должны объясняться как проекция потенциальных значений на переработанные элементы опыта. Когда человек, который на всем протяжении своей жизни не видел больше одного слона, без всякого колебания говорит о десяти слонах, о миллионах слонов, о стаде слонов, о слонах, идущих парами, о поколении слонов, — это оказывается возможным потому, что язык обладает силой расчленять опыт на теоретически разъединимые элементы и осуществлять постепенный переход потенциальных явлений в реальные, что и позволяет человеческим существам переступать пределы непосредственно данного индивидуального опыта и достигать более обобщенного познания. Это обобщенное познание образует культуру, которую нельзя определить более или менее адекватным образом, посредством простого описания тех более характерных моделей общественного поведения, которые открыты для непосредственного наблюдения. Язык эвристичен не только в том простом смысле, который предполагает этот простой пример, но и в более широком смысле, в соответствии с которым его формы предопределяют для нас определенные направления наблюдения и истолкования. Это значит, что по мере того как будет расти наш научный опыт, мы должны будем научиться бороться с воздействием языка. Предложение «Трава волнуется под ветром» по своей лингвистической форме является членом того же относительного класса опыта, как и «Человек работает под крышей». В качестве средства предварительного решения проблемы выражения опыта, с которым соотносится это предложение, язык доказал свою полезность, так как он осуществил значимое употребление определенных символов для таких логических отношений, как деятельность и локализация. Если мы воспринимаем предложение как несколько поэтическое и метафорическое, это происходит потому, что другие более сложные

типы опыта с соответствующим их символизмом отношении делают возможным по-новому интерпретировать ситуацию и, например, сказать: «Трава волнуется ветром» или «Ветер заставляет траву волноваться». Самое главное заключается в том, что, независимо от того, насколько искусны наши способы интерпретации, мы никогда не в состоянии выйти за пределы форм отражения и способа передачи отношений, predetermined формами нашей речи. В конечном счете фраза «Трение приводит к таким-то и таким результатам» не очень отличается от «Трава волнуется под ветром». Язык в одно и то же время помогает и затрудняет нам реализацию нашего опыта, и детали этих затрудняющих и помогающих процессов отлагаются в неуловимых оттенках различных культур.

Следующей психологической характеристикой языка является тот факт, что, хотя язык может рассматриваться как символическая система, указывающая, соотносящаяся или иным способом замещающая непосредственный опыт, он в своей фактической деятельности не стоит отдельно от непосредственного опыта и не располагается параллельно ему, но полностью переплетается с ним. Это подтверждается широко распространенными, особенно среди примитивных народов, поверьями о физической тождественности или тесном соответствии слов и вещей, что является основой магических заклинаний: Даже и при нашем культурном уровне нередко бывает трудно провести четкое разграничение между объективной реальностью и нашими лингвистическими символами соотношения с ней; вещи, качества и события вообще воспринимаются такими, как они называются. Для нормального человека всякий реальный или потенциальный опыт насыщен вербализмом. Это объясняет, почему, например, многие любители природы не чувствуют себя в действительном общении с ней до тех пор, пока они не овладеют названиями великого множества цветов и деревьев, как будто первичным миром реальности является словесный мир, и никто не в состоянии приблизиться к природе, пока не овладеет терминологией, как-то магически выражающей ее. Именно это постоянное взаимодействие между языком и опытом выключает язык из безжизненного ряда таких чистых и простых символических систем, как математическая символика или сигнализация флажками. Это взаимопроникновение языкового символа и элемента опыта не только тесный ассоциативный факт, но также и факт, обусловленный конкретной ситуацией. Важно понять, что язык не только соотносится с опытом или даже формирует, истолковывает и раскрывает опыт, но что он также замещает его — в том смысле, что в процессах общественного поведения, составляющих большую часть нашей ежедневной жизни, язык и деятельность взаимно дополняют друг друга и выполняют работу друг друга. Если кто-нибудь говорит мне: «Дайте мне доллар взаймы», я могу, не говоря ни слова, вручить ему деньги или же дать их с сопроводительными словами: «Вот, получите», или я могу сказать: «У меня нет» или «Я дам вам завтра». Каждый из этих ответов тождествен в структур-



ном отношении, если иметь в виду более широкие модели поведения. Совершенно ясно, что если язык по своей аналитической форме представляет символическую систему отношений, то он далеко не таковой, если мы будем учитывать психологическую роль, которую он играет в поведенческом процессе. Причина той почти беспредельной близости к человеку, которой язык резко выделяется среди прочих известных символических явлений, заключается, по-видимому, в том, что он изучается с самых ранних детских лет.

Именно потому, что язык начинает изучаться так рано и постепенно, в постоянной связи с особенностями и требованиями конкретной ситуации, язык, несмотря на свою квазиматематическую форму, редко бывает чистой системой отношений. Он стремится быть таковым только в научной речи, но и в этом случае возникают серьезные сомнения, что идеал чистых отношений вообще применим к языку. Обычная речь характеризуется непосредственной экспрессивностью, и чисто формальные модели звуков, слов, грамматических форм, словосочетаний и предложений, если их рассматривать лишь с точки зрения поведения, всегда состоят из намеренного или ненамеренного символизма экспрессии. Выбор слов в конкретной ситуации может сообщить совершенно противоположное тому, что они обычно значат. Одно и то же внешнее сообщение истолковывается по-разному соответственно тому, какими психологическими чертами характеризуются личные отношения говорящего, и с учетом того, не воздействовали ли такие элементарные аффекты, как злоба или страх, на первоначальное значение произнесенных слов таким образом, что придали им противоположный смысл. Впрочем, нет оснований опасаться, что экспрессивный характер языка может быть недооценен. Он настолько очевиден, что всегда привлекал к себе внимание. Что часто игнорируется и, кстати говоря, не так-то просто для понимания, — это то, что квазиматематические модели (как мы их называем) языка грамматики, хотя они и не являются реальными с точки зрения конкретной ситуации, обладают тем не менее огромной интуитивной жизненностью. Эти модели, никогда в опыте не отграничиваемые от экспрессивных моделей, нормальный индивид тем не менее может легко выделить. То обстоятельство, что большая часть слов или фраз может почти безгранично варьировать свое значение, свидетельствует, видимо, о том, что в деятельности языка сплетаются в необыкновенно сложные комплексы выделяемые модели двух порядков. В общих чертах их можно определить как модели отношения модели выражения (экспрессии).

То, что язык является совершенной системой символизации опыта, что в конкретном контексте поведения он неотделим от действия и что он является носителем бесчисленных нюансов экспрессивности, — все это общеизвестные психологические факты. Но существует еще четвертая психологическая особенность, которая, в частности, применима к языку образованных людей. Она заключается в том, что система форм отношения, реализующая-

ся в деятельности языка, не всегда нуждается в речи в прямом смысле этого слова, чтобы сохранить свою целостность. В своей основе история письма представляет попытку сформировать независимую символическую систему на основе графических знаков; она сопровождалась постепенным осознанием того, что звуковой язык представляет более мощную символическую систему сравнительно с любой графической и что настоящий прогресс в искусстве письма заключается в отказе от принципов, из которых оно первоначально исходило. Эффективные системы письма — как алфавитные, так и иные — представляют фактически более или менее точную передачу речи. Исходная языковая система может сохраняться и в более отдаленных способах передачи, наилучшим примером чего является телеграфный код Морзе. Интересен тот факт, что принципы языковой передачи не чужды и бесписьменным народам мира. Во всяком случае, некоторые из видов сигнализации с помощью *барабана* или рожка, которые употребляются туземцами Западной Африки, в принципе своем являются системами для передачи речи, часто с мельчайшими фонетическими подробностями.

Было сделано много попыток установить происхождение языка, но в большей своей части они не выходят за пределы простых упражнений в умозрительном воображении. В целом лингвисты утратили интерес к этой проблеме — и по следующим двум причинам. Во-первых, стало ясно, что в нашем распоряжении нет истинно примитивных языков в психологическом смысле, что современные исследования в области археологии безгранично далеко отнесли прошлое человеческой культуры и что поэтому бесцельно выходить за пределы перспектив, открывающихся исследованием доступных языков. Во-вторых, наше знание психологии и в особенности символических процессов вообще недостаточно основательно и глубоко, чтобы оказать реальную помощь проблеме происхождения речи. Возможно, происхождение языка не относится к числу тех проблем, которые можно решить ресурсами одной лингвистики; быть может, она представляет часть более широкой проблемы генезиса символического поведения и локализации такого рода поведения в области гортани, которая первоначально выполняла только экспрессивные функции. Быть может, более пристальное изучение поведения самых малолетних детей в заданных условиях способно будет дать некоторые важные выводы, однако вместе с тем представляется опасным на основе подобных экспериментов делать заключения о поведении доисторического человека. Больше оснований полагать, что исследования, которые проводятся в настоящее время над поведением высших обезьян, помогут нам составить некоторое представление о генезисе речи.

Наиболее популярными из ранних теорий были теории междометная и ономастопозитическая. Первая возводит речь к непреднамеренным крикам экспрессивного характера, а вторая исходит из предположения, что слова нынешних языков представляют собой условные формы подражаний природным звукам. Обе эти теории

страдают двумя фатальными недостатками. Хотя действительно и междометные и оноματοпоэтические элементы обнаруживаются в большинстве языков, они, как правило, относительно несущественны и находятся в некотором противоречии с более обычным языковым материалом. То обстоятельство, что они постоянно создаются заново, свидетельствует о том, что они скорее относятся непосредственно к экспрессивному пласту речи, который пересекает основную плоскость символизма отношений. Второй недостаток еще более серьезный. Суть проблемы происхождения языка заключается не в попытке установить характер голосовых элементов, образующих историческое ядро языка. Задача скорее заключается в выяснении того, каким образом голосовые артикуляции любого вида освободились от своего первоначального экспрессивного содержания. Все, что в настоящее время можно сказать по этому поводу, сводится к тому, что, хотя речь как законченный продукт является чисто человеческим достижением, ее истоки, очевидно, восходят к способности высших обезьян решать ряд задач посредством выведения общих форм или схем из деталей конкретных ситуаций. Привычка истолковывать отобранные элементы ситуации в качестве знаков всей совокупности могла постепенно привести первобытного человека к неясному ощущению символизма, а затем в течение длительного процесса и по причинам, которые едва ли удастся отгадать, элементом опыта, чаще всего истолковываемым в символическом смысле, оказалась в основном бесполезная и имеющая дополнительный характер голосовая деятельность, которая часто сопровождалась значимой деятельностью. В соответствии с этой точкой зрения язык представляет не столько прямое развитие экспрессивных криков, сколько реализацию (в формах голосовой деятельности) тенденции овладеть реальностью не непосредственно и ad hoc этого явления, а в результате соотнесения опыта со знакомыми формами. Экспрессивные крики только внешне схожи с языком. Тенденция выводить речь из экспрессивных криков не может привести к чему-нибудь приемлемому с точки зрения научной теории, и поэтому должна быть сделана попытка увидеть в языке медленно развившийся продукт особой техники или тенденции, которую можно назвать символической. Таким образом язык достиг своих качеств не в силу своей замечательной выразительности, а несмотря на нее. Речь как деятельность есть чудесное слияние двух систем моделей — символической и экспрессивной; ни одна из них не смогла бы достичь современного совершенства без воздействия другой.

Трудно с точностью установить функции языка, так как он настолько глубоко коренится во всем человеческом поведении, что остается очень немного в функциональной стороне нашей сознательной деятельности, где язык не принимал бы участия. В качестве первичной функции языка обычно называют общение. Нет надобности оспаривать это утверждение, если только при этом осознается, что возможно эффективное общение без речевых форм

и что язык имеет самое непосредственное отношение к ситуациям, которые никак нельзя отнести к числу поддающихся сообщению. Сказать, что мышление, которое едва ли возможно без привносимой языком символической системы, является такой формой общения, при которой говорящий или слушающий воплощается в одном лице, это значит принять все бездоказательно. Эгоцентрическая речь детей свидетельствует, видимо, о том, что коммуникативный аспект речи преувеличен. Более правильным представляется утверждение, что первично язык является реализацией тенденции рассматривать объективную реальность символически, и именно это его качество сделало его пригодным для целей общения; в процессе социального общения он приобрел те усложненные и утонченные формы, в которых он нам известен ныне. Помимо очень общих функций, выполняемых языком в сфере мышления, общения и выражения, можно назвать и некоторые производные от них, которые представляют особый интерес для исследователей общества.

Язык является огромной обобществляющей силой, может быть, наибольшей из всех существующих. Под этим разумеется не только очевидный факт, что без языка едва ли возможно осмысленное социальное общение, но также и тот факт, что общая речь выступает в качестве своеобразного потенциального символа социальной солидарности всех говорящих на данном языке. Психологическое значение этого обстоятельства выходит далеко за пределы ассоциации конкретных языков с нациями, политическими единствами или более мелкими локальными группами. Между признанным диалектом или языком как целым и индивидуализированной речью отдельных людей обнаруживается род языковой связи, которая не часто является предметом рассмотрения лингвистов, но которая чрезвычайно важна для социальной психологии. Это подразделения языка, находящиеся в употреблении у группы людей, связанных общими интересами. Такими группами могут быть семья, ученики школы, профессиональный союз, преступный мир больших городов, члены клуба, группы друзей в четыре и пять человек, прошедших совместно через всю жизнь, несмотря на различие профессиональных интересов, и тысяча иных групп самого разнообразного порядка. Каждая из них стремится развить речевые особенности, обладающие символической функцией выделения данной группы из более широкой группы, способной полностью растворить в себе членов меньшей группы. Полное отсутствие лингвистических указателей таких мелких групп неясно ощущается как недостаток или признак эмоциональной бедности. В пределах, например, конкретной семьи произнесение в детстве «Дуди» вместо «Джорджи» может привести к тому, что первая форма утверждается навсегда. И это фамильярное произношение знакомого имени в применении к данному лицу превращается в очень важный символ солидарности конкретной семьи и сохранения чувств, объединяющих ее членов. Постороннему не легко дается привилегия говорить «Дуди», если члены семьи чувствуют, что он не преступил еще степени фамиль-

ярности, символизируемой употреблением «Джорджи» или «Джордж». И опять-таки никто не скажет *trig* или *math*<sup>1</sup>, если только он не обладает опытом учебы в школе или в высшем учебном заведении. Употребление подобных слов сразу же обнаруживает принадлежность говорящего к лишенной организации, но тем не менее психологически реальной группе. Математик-самоучка едва ли употребит слово *math* по отношению к своим интересам, так как студенческие нюансы этого слова ничего не говорят ему. Чрезвычайная важность мельчайших языковых различий для символизации реальных групп, противопоставленных политически или социологически официальным, инстинктивно чувствуется большинством людей. «Он говорит, как мы» равнозначно утверждению «Он один из наших».

Существует другое важное употребление, в котором язык является объединяющим явлением, помимо своего основного назначения — средства общения. Это установление связи между членами временной группы, например во время приема гостей. Важно не столько то, что при этом говорится, сколько то, что вообще ведется разговор. В частности, когда культурное взаимопонимание отсутствует среди членов данной группы, возникает потребность заменить его легкой болтовней. Это успокаивающее и вносящее уют качество речи, используемой и тогда, когда, собственно, и нечего сообщить, напоминает нам о том, что язык представляет собой нечто большее, чем простая техника общения. Ничто лучше этого не демонстрирует того, что жизнь человека как животного, возвышенного культурой, полностью проходит под властью голосовых субститутов для предметов физического мира.

Польза языка при культурном накоплении и исторической преемственности очевидна и очень существенна. Это относится как к высокому уровню культуры, так и к примитивным ее формам. Большая часть культурного обихода примитивного общества сохраняется в более или менее четко определенной лингвистической форме. Пословицы, лечебные заклинания, молитвы, фольклорные предания, песни, генеалогические повествования — более или менее постоянные формы, в которых язык выступает в качестве хранилища культуры. Прагматический идеал образования, стремящийся свести к минимуму влияние унифицированных дисциплин и осуществляющий образование человека через посредство возможно более непосредственного контакта с окружающей его действительностью, несомненно, не принимается примитивными народами, которые, как правило, столь же тесно привязаны к слову, как и сама гуманистическая традиция. Мало других культур, кроме китайской классической и еврейской раввинской, заходили так далеко, чтобы заставить слово как конечную единицу реальности выполнять работу вещи или индивидуального опыта. Современная цивилиза-

<sup>1</sup> Эти слова являются сдвиговыми сокращениями слов *trigonometry*, *mathematics*. С подобным явлением мы сталкиваемся в таких русских примерах, как «филфак» вместо «филологический факультет» и т. д. (*Примечание составителя.*)

ция в целом, с ее школами, библиотеками, бесконечными запасами знаний, мнениями, с ее фиксированными в словесной форме чувствами, немислима без языка, обладающего вечностью документа. В целом мы, видимо, склонны преувеличивать различие между «высокими» и «низкими» или старыми и молодыми культурами, основываясь на сохраняемой традицией вербальной авторитетности. Видимо, действительно существующее огромное различие заключается скорее в различии внешней формы и содержания самой культуры, нежели в психологических отношениях, складывающихся между индивидуумом и его культурой.

Несмотря на то что язык выступает в качестве обобществляющей и униформирующей силы, он в то же время является наиболее мощным фактором развития индивидуальности. Характерные качества голоса, фонетический облик речи, быстрота и относительная гладкость произношения, длина и построение предложений, характер и объем лексики, насыщенность ее учеными элементами, способность слов откликаться на потребности социальной среды, и в частности ориентация речи на языковые привычки своих собеседников, — все это небольшая часть сложных показателей, характеризующих личность. «Действия говорят громче слов», — с прагматической точки зрения это может быть и замечательный афоризм, но он свидетельствует о недостаточном проникновении в природу языка. Языковые привычки народа отнюдь не безразличны для оценки более существенных его черт, и в психологическом отношении народ оказывается более мудрым, чем этот афоризм, когда волей или неволей уделяет много внимания психологическому значению языка человека. Обычный человек никогда не убеждается одним содержанием речи, но очень чувствителен к многочисленным оттенкам речевого процесса, как ни трудно они поддаются (если вообще поддаются) сознательному анализу. В общем и целом не будет преувеличением сказать, что одна из действительно важных функций языка заключается в постоянном указании обществу психологического места, занимаемого его членами.

Языки мира можно классифицировать на основе структурного или генетического принципа. Точный структурный анализ — сложное дело, и поэтому не существует еще основанной на нем классификации, которая учла бы все поражающее многообразие форм.

Генетическая классификация языков стремится распределить их по группам и подгруппам в соответствии с основными направлениями исторической связи, устанавливаемой либо на основе свидетельства памятников, либо посредством тщательного сравнения изучаемых языков. Вследствие всеобъемлющего воздействия постепенных фонетических изменений и других причин языки, представлявшие первоначально не что иное, как диалекты одной и той же формы речи, разошлись настолько далеко, что истолкование их как специфического развития общего прототипа представляется отнюдь не очевидным. В генетическую классификацию языков мира был вложен огромный труд, но многие проблемы все еще

ждут своего исследования и разрешения. В настоящее время с определенностью известно, что существует некоторое количество больших лингвистических групп, или, как их еще называют, семейств, члены которых можно, говоря в общих чертах, рассматривать как прямые потомки языков, поддающихся теоретической реконструкции в своих основных фонетических и структурных чертах. Впрочем, ясно, что языки могут и настолько разойтись, что сохраняют очень незначительные следы первоначальных отношений. Поэтому чрезвычайно опасно полагать, что данные языки не являются разошедшимися членами единой генетической группы только на том основании, что мы располагаем негативными свидетельствами. Единственным правомерным различием является различие между языками, известными как исторически близкие, и языками, об исторической близости которых нет данных. Прямое противопоставление языков, относящихся к первой и второй группам, не правомерно.

В силу того факта, что языки обладают неодинаковой степенью различий, а также ввиду распространения культуры, что привело к тому, что занимающие стратегически важные позиции языки, как например арабский, латинский и английский, заняли значительную часть земли за счет оттеснения других, сложились весьма разнообразные условия в отношении распространения языковых семейств. Например, в Европе в настоящее время преобладают два языковых семейства — индоевропейских языков и угро-финских языков. Баскский язык Южной Франции и Северной Испании является пережитком иной и, по-видимому, изолированной группы. С другой стороны, в туземной Америке лингвистическая дифференциация носит крайний характер; здесь можно обнаружить большое количество преимущественно неродственных лингвистических групп. Некоторые из этих семейств занимают очень небольшое пространство, но другие, как алгонкинские и атабаскские языки Северной Америки, распространились по огромной территории. Методика установления лингвистических семейств и определения характера отношений между языками, включающимися в эти семейства, слишком сложна, чтобы заниматься ею здесь. Достаточно сказать, что случайное сравнение слов не может дать никаких результатов. Опыт показывает, что между языками той или иной группы должны существовать точные фонетические отношения, а что касается основных морфологических черт, то они сохраняются в течение значительного периода времени. Так, современный литовский язык по своей структуре, лексике и в значительной степени по своей фонологической модели очень приближается к языку, который считается прототипом всех индоевропейских языков в целом.

Несмотря на то что структурная классификация в теории не имеет отношения к генетической и что языки способны оказывать друг на друга влияние не только в области фонетики и словаря, но также в известной степени и в структурном отношении, не часто случается, что языки генетической группы обнаруживают не-

сопоставимые структуры. Так, даже английский, наименее консервативный из индоевропейских языков, имеет значительное количество общих черт с таким отдаленным языком, как санскрит, в противоположность, например, баскскому или финскому. Или как бы не различались ассирийский, современный арабский и семитские языки Абиссинии, они обнаруживают значительные сходные черты в фонетике, лексике и в структуре, которые резко отделяют их, например, от тюркских или негритянских языков верховья Нила.

Причины лингвистических изменений, основывающихся на многих и чрезвычайно сложных психологических и социологических процессах, еще не получили удовлетворительного объяснения, однако существует некоторое количество общих явлений, обладающих большой четкостью. В практических целях врожденные изменения обычно отделяют от изменений, обусловленных контактами с другими языковыми общностями. Между этими двумя группами изменений трудно провести четкую демаркационную линию, так как язык каждого индивида представляет особое психологическое единство, вследствие чего все врожденные изменения в конечном счете могут рассматриваться как особенно далекие или утонченные формы изменений, обусловленных контактами. Но это различие имеет, однако, большое практическое значение, тем более что среди антропологов и социологов существует тенденция обращаться со всеми лингвистическими изменениями как с изменениями, возникшими под влиянием внешних этнических и культурных воздействий. Огромное количество исследований по истории конкретных языков и языковых групп очень ясно показывает, что наиболее мощными дифференцирующими факторами являются не внешние влияния, как они обычно понимаются, а в большей степени очень медленные, но значительные бессознательные изменения в определенных направлениях, которые заложены в фонологических системах и морфологии самих языков. Эти «тенденции» находятся под воздействием бессознательного чувства формы и обуславливаются неспособностью человеческих существ реализовать идеальные модели в постоянных образованиях.

Важность языка для определения, выражения и передачи культуры не подлежит сомнению. Роль лингвистических элементов — их формы и содержания — в более глубоком познании культуры также ясна. Из этого, однако, не следует, что между формой языка и формой культуры говорящих на нем существует простое соответствие. Тенденция рассматривать лингвистические категории как прямое выражение внешних культурных черт, ставшая модной среди некоторых социологов и антропологов, не подтверждается фактами. Не существует никакой общей корреляции между культурным типом и языковой структурой. Изолирующий, агглютинативный, или инфлективный, строй языка возможен на любом уровне цивилизации. Точно так же отсутствие или наличие, например, грамматического рода не имеет никакого отношения к пониманию социальной организации, религии или фольклора соответствующего



народа. Если бы такой параллелизм существовал, как это иногда полагают, было бы невозможно понять быстроту, с которой распространяется культура, несмотря на глубокие лингвистические различия между берущими и дающими общностями.

Культурное значение лингвистической формы лежит скорее в подоснове, чем на поверхности определенных культурных моделей. Как свидетельствуют факты, очень редко удается установить, каким образом та или иная культурная черта оказала влияние на основы лингвистической структуры. До известной степени отсутствие здесь соответствия может обуславливаться тем обстоятельством, что лингвистические изменения протекают не в таких же темпах, как большинство культурных изменений, происходящих обычно с большей скоростью. Если не говорить об отступлении перед другими языками, занимающими его место, языковое образование, главным образом потому, что оно является бессознательным, сохраняет независимое положение и не позволяет своим основным формальным категориям поддаваться серьезным влияниям со стороны меняющихся культурных потребностей. Если бы формы культуры и языка даже и находились в полном соответствии друг с другом, природа процессов, осуществляющих лингвистические и культурные изменения, быстро нарушила бы это соответствие. Это фактически и имеет место. Логически необъяснимо, почему мужской, женский и средний роды в немецком и русском языках продолжают свое существование в современном мире, но всякая намеренная попытка уничтожить эти необязательные роды была бы бесплодной, так как обычный человек фактически и не ощущает здесь какого-либо беспорядка, вызывающего досаду логиков.

Другое дело, если мы перейдем от общих форм к элементам содержания языка. Лексика — очень чувствительный показатель культуры народа, и изменение значений, утеря старых слов, создание или заимствование новых — все это зависит от истории самой культуры. Языки очень неоднородны по характеру своей лексики. Различия, которые кажутся нам неизбежными, могут совершенно игнорироваться языками, отражающими абсолютно иной тип культуры, а эти последние в свою очередь могут проводить различия, непонятные для нас.

Подобные лексические различия выходят далеко за пределы имен культурных объектов, таких, как острие стрелы, кольчуга или канонерка. Они в такой же степени характерны и для интеллектуальной области. В некоторых языках, например, очень трудно выразить разницу, которую мы чувствуем между *to kill* и *to murder*, по той простой причине, что правовые нормы, определяющие наше употребление этих слов, не представляются понятными для всех обществ. Абстрактные термины, которые столь необходимы для нашего мышления, редко встречаются в языках народов, формулирующих нормы своего поведения более рациональным образом. С другой стороны, наличие или отсутствие абстрактных имен

может быть связано с особенностями структуры языка. Ведь существует же большое количество примитивных языков, структура которых позволяет с легкостью создавать и использовать абстрактные имена действия и качества.

Существуют и иные языковые модели особого порядка, представляющие специальный интерес для социологов. Одна из них заключается в объявлении табу на определенные имена и слова. Например, очень широко распространенным обычаем среди примитивных народов является табу, которое накладывается не только на употребление имени недавно умершего человека, но и на любое слово, которое ощущается говорящими как этимологически связанное с этим словом. Это приводит к тому, что соответствующие понятия выражаются описательно или же необходимые термины заимствуются из соседних диалектов. Иногда устанавливается, что определенные имена или слова являются священными и поэтому могут употребляться только в особых условиях, в соответствии с чем возникают чрезвычайно странные модели поведения, направленные на то, чтобы воспрепятствовать использованию таких запрещенных терминов. Примером является еврейский обычай произнесения еврейского имени для бога не как Ягве или Иегова, но как Адонай — «мой бог». Такие обычаи кажутся нам странными, но не менее странным для многих примитивных народов может показаться наше стремление всячески избегать произнесения «неприличных» слов в нормальных социальных условиях.

Другим видом особых лингвистических явлений является употребление тайных выражений, как например паролей или технической терминологии, используемой при различных церемониях. У эскимосцев, например, знахари употребляют особую лексику, непонятную для тех, кто не является членом их цеха. Специальные диалектные формы или иные лингвистические модели широко применяются примитивными народами в их песнях. В некоторых случаях, как в Меланезии, это обуславливается влиянием соседних диалектов. Подобные явления представляют забавную аналогию с нашим обычаем петь песни скорее по-итальянски, по-французски или по-немецки, чем по-английски, и очень возможно, что исторические процессы, приведшие к параллельным обычаям, обладают схожей природой. Можно упомянуть еще и о воровских жаргонах и детских тайных языках. Это приводит нас к специальным знакам и языку жестов, многие формы которого непосредственно основываются на звуковой и письменной речи. Они, видимо, существуют на всех уровнях культуры. Язык жестов равнинных индейцев Северной Америки возник в результате потребности в средстве общения для племен, говорящих на взаимно непонятных языках. Христианская религия способствовала созданию языка жестов у монахов, давших обет молчания.

Не только язык или лексика, но даже и внешние формы его письменной фиксации могут приобретать значение символов социальных и иных различий. Так, хорватский и сербский представ-

ляют в общем один и тот же язык, но они используют разные письменные формы: первый употребляет латинские буквы, а второй — кирилловскую письменность греческой ортодоксальной церкви. Это внешнее различие, связанное с религиозными различиями, обладает важной функцией препятствовать народам, говорящим на близких языках или диалектах, но не желающим по тем или иным причинам образовать более крупное единство, осознать, насколько они на самом деле близки.

Отношение языка к национализму и интернационализму представляет ряд интересных социологических проблем. Антропология проводит строгое различие между этническими образованиями, основанными на расе, культуре и языке. Выясняется, что они не обязательно должны совпадать, они фактически и редко совпадают. Всяческое подчеркивание национализма, характерное для нашего времени, привело к тому, что вопрос о символическом значении расы и языка приобрел новое значение, и что бы ученые ни говорили, обычный человек склонен видеть в культуре, языке и расе только различные аспекты единого социального образования, отождествляемого обычно с такими политическими единицами, как Англия, Франция, Германия и т. д. Указать, как это с легкостью делают антропологи, что культурные единства и национальные образования перекрывают языковую и расовую группировку, еще не значит для социологов разрешить эту проблему, так как они чувствуют, что понятие нации или национальности для человека, не рассматривающего их аналитически, включают в себя — обоснованно или необоснованно — как понятие расы, так и языка. С этой точки зрения действительно представляется безразличным, подтверждает история и антропология или нет популярные представления о тождественности национальности, языка и расы. Более важным является то обстоятельство, что каждый конкретный язык стремится превратиться в надлежащее выражение национального самосознания.

Что же касается языка и расы, то это правда, что большинство человеческих рас в прошлом отграничивалось друг от друга посредством значительных языковых различий. Но этому обстоятельству, однако, не следует придавать большого значения, так как лингвистические дифференциации в пределах одной расы носят такой же широкий характер, как и те, которые обнаруживаются на пересечении расовых границ, хотя оба этих вида дифференциаций и не показывают никакого согласования. Даже важнейшие расовые образования не всегда четко разделяются языками. Это, в частности, имеет место в случае с малайско-полинезийскими языками, на которых говорят народы, в расовом отношении настолько же различные, как малайцы, полинезийцы и негры Меланезии. Не один из великих языков современности не следует за расовыми делениями. На французском, например, говорит чрезвычайно смешанное население, куда входит северный тип на севере Франции, альпийский — в центре и средиземноморский — на юге, причем все эти расовые подразделения свободно расселяются и в других частях Европы.

## **ОТНОШЕНИЕ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ К ЯЗЫКУ<sup>1</sup>**

«Люди живут не только в объективном мире и не только в мире общественной деятельности, как это обычно полагают; они в значительной мере находятся под влиянием того конкретного языка, который стал средством выражения для данного общества. Было бы ошибочным полагать, что мы можем полностью осознать реальность, не прибегая к помощи языка, или что язык является побочным средством разрешения некоторых специальных проблем общения и мышления. На самом же деле «реальный мир» в значительной степени бессознательно строится на основании языковых норм данной группы... Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения».

*Эдуард Сепир.*

Вероятно, большинство людей согласится с утверждением, что принятые нормы употребления слов определяют некоторые формы мышления и поведения; однако это предположение обычно не идет дальше признания гипнотической силы философского и научного языка, с одной стороны, и модных словечек и лозунгов — с другой.

Ограничиться только этим — значит не понимать сути одной из важнейших форм связи, которую Сепир усматривал между языком, культурой и психологией и которая кратко сформулирована в приведенной выше цитате.

Мы должны признать влияние языка на различные виды деятельности людей не столько в особых случаях употребления языка, сколько в его постоянно действующих общих законах и в его повседневной оценке им тех или иных явлений.

<sup>1</sup> В. Whorf, *The Relation of Habitual Thought and Behavior to Language* (1939). Перепечатано в книге В. Л. Whorf, *Language, Thought and Reality*, New-York, 1956. Перевод Л. Н. Натан и Е. С. Турковой. Перепечатано из сборника «Новое в лингвистике», вып. 1, 1960, изд. «Иностранная литература».

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ

Я столкнулся с одной из сторон этой проблемы еще до того, как начал изучать Сепира, в области, обычно считающейся очень отдаленной от лингвистики. Это произошло во время моей работы в обществе страхования от огня. В мои задачи входил анализ сотен докладов об обстоятельствах, приведших к возникновению пожара или взрыва. Я фиксировал чисто физические причины, такие, как неисправная проводка, наличие или отсутствие воздушного пространства между дымоходами и деревянными частями зданий и т. п., и результаты обследования описывал в соответствующих терминах. При этом я не ставил перед собой никакой другой задачи. Но с течением времени стало ясно, что не только сами физические обстоятельства, но и обозначение этих обстоятельств было иногда тем фактором, который, через поведение людей, являлся причиной пожара. Этот фактор обозначения становился яснее всего тогда, когда это было языковое обозначение, исходящее из названия, или обычное описание подобных обстоятельств средствами языка.

Так, например, около склада так называемых *gasoline drums* (бензиновых цистерн) люди ведут себя определенным образом, т. е. с большой осторожностью; в то же время рядом со складом с названием *empty gasoline drums* (пустые бензиновые цистерны) люди ведут себя иначе — недостаточно осторожно, курят и даже бросают окурки. Однако эти «пустые» (*empty*) цистерны могут быть более опасными, так как в них содержатся взрывчатые испарения. При наличии реально опасной ситуации лингвистический анализ ориентируется на слово «пустой», предполагающее отсутствие всякого риска. Существуют два различных случая употребления слова *empty*: 1) как точный синоним слов — *null, void, negative, inert* (порожний, бессодержательный, бессмысленный, ничтожный, вялый) и 2) в применении к обозначению физической ситуации, не принимая во внимание наличия паров, капель жидкости или любых других остатков в цистерне или другом вместилище. Обстоятельства описываются с помощью второго случая, а люди ведут себя в этих обстоятельствах, имея в виду первый случай. Это становится общей формулой неосторожного поведения людей, обусловленного чисто лингвистическими факторами.

На лесохимическом заводе металлические дистилляторы были изолированы смесью, приготовленной из известняка, именовавшегося на заводе «центрифугированным известняком». Никаких мер по предохранению этой изоляции от перегревания и соприкосновения с огнем принято не было. После того как дистилляторы были в употреблении некоторое время, пламя под одним из них проникло к известняку, который, ко всеобщему удивлению, начал сильно гореть. Поступление испарений уксусной кислоты из дистилляторов способствовало превращению части известняка в ацетат кальция. По-

следний при нагревании огнем разлагается, образуя воспламеняющийся ацетон. Люди, допуская соприкосновение огня с изоляцией, действовали так потому, что само название «известняк» (limestone) связывалось в их сознании с понятием stone (камень), который «не горит».

Огромный железный котел для варки олифы оказался перегретым до температуры, при которой он мог воспламениться. Рабочий сдвинул его с огня и откатил на некоторое расстояние, но не прикрыл. Приблизительно через одну минуту олифа воспламенилась. В этом случае языковое влияние оказалось более сложным благодаря переносу значения (о чем ниже будет сказано более подробно) «причины» в виде контакта или пространственного соприкосновения предметов на понимание положения on the fire (на огне) в противоположность off the fire (вне огня). На самом же деле та стадия, когда наружное пламя являлось главным фактором, закончилась; перегревание стало внутренним процессом конвенции в олифе благодаря сильно нагретому котлу и продолжалось, когда котел был уже вне огня (off the fire).

Электрический рефлектор, висевший на стене, мало употреблялся и одному из рабочих служил удобной вешалкой для пальто. Ночью дежурный вошел и повернул выключатель, мысленно обозначая свое действие как turning on the light (включение света). Свет не загорелся, и это он мысленно обозначил как light is burned out (перегорели пробки). Он не мог увидеть свечения рефлектора только из-за того, что на нем висело старое пальто. Вскоре пальто загорелось от рефлектора, отчего вспыхнул пожар во всем здании.

Кожевенный завод спускал сточную воду, содержащую органические остатки, в наружный отстойный резервуар, наполовину закрытый деревянным настилом, а наполовину открытый. Такая ситуация может быть обозначена как pool of water (резервуар, наполненный водой). Случилось, что рабочий зажигал рядом паяльную лампу и бросил спичку в воду. Но при разложении органических остатков выделялся газ, скапливавшийся под деревянным настилом, так что вся установка была отнюдь не watery (водной). Моментальная вспышка огня воспламенила дерево и очень быстро распространилась на соседнее здание.

Сушильня для кож была устроена с воздуходувкой в одном конце комнаты, чтобы направить поток воздуха вдоль комнаты и далее наружу через отверстие на другом конце. Огонь возник в воздуходувке, которая направила его прямо на кожи и распространила искры по всей комнате, уничтожив таким образом весь материал. Опасная ситуация создавалась таким образом благодаря термину blower (воздуходувка), который является языковым эквивалентом that which blows (то, что дует), указывающим на то, что основная функция этого прибора — blow (дуть). Эта же функция может быть обозначена как blowing air for drying (раздувать воздух для просушки); при этом не принимается во внимание, что он

может «раздувать» и другое, например искры и языки пламени. В действительности воздуходувка просто создает поток воздуха и может втягивать воздух так же, как и выдувать. Она должна была быть поставлена на другом конце помещения, там, где было отверстие, где она могла бы тянуть воздух над шкурами, а затем выдувать его наружу.

Рядом с тигелем для плавки свинца, имевшим угольную топку, была помещена гряда scrap lead (свинцового лома) — обозначение, вводящее в заблуждение, так как на самом деле «лом» состоял из листов старых радиоконденсаторов, между которыми все еще были парафиновые прокладки. Вскоре парафин загорелся и поджег крышу, половина которой была уничтожена.

Количество подобных примеров может быть бесконечно увеличено. Они показывают достаточно убедительно, как рассмотрение лингвистических формул, обозначающих данную ситуацию, может явиться ключом к объяснению тех или иных поступков людей и каким образом эти формулы могут анализироваться, классифицироваться и соотноситься в том мире, который «в значительной степени бессознательно строится на основании языковых норм данной группы». Мы ведь всегда исходим из того, что язык лучше, чем это на самом деле имеет место, отражает действительность.

#### ГРАММАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЛКОВАТЕЛЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Лингвистический материал приведенных выше примеров ограничивается отдельными словами, фразеологическими оборотами и словосочетаниями определенного типа. Изучая влияние такого материала на поведение людей, нельзя не думать о том, какое несравненно более сильное влияние на это поведение могут оказывать разнообразные типы грамматических категорий, таких, как, категория числа, понятие рода, классификация по одушевленности, неодушевленности и т. п.; времена, залогов и другие формы глагола, классификация по частям речи и вопрос о том, обозначена ли данная ситуация одной морфемой, формой слова или синтаксическим словосочетанием. Такая категория, как категория числа (единственное в противоположность множественному), является попыткой обозначить целый класс явлений действительности. В ней содержится указание на то, каким образом различные явления должны классифицироваться и какой случай может быть назван «единичным» и какой «множественным». Но обнаружить такое косвенное влияние чрезвычайно сложно, во-первых, из-за его неясности, а во-вторых, из-за трудности взглянуть со стороны и изучить объективно свой родной язык, который является привычным средством общения и своего рода неотъемлемой частью культуры. Если же мы возьмем язык, совершенно не похожий на наш родной, мы начинаем изучать его так, как мы изучаем природу. Мы обычно мыслим средствами своего родного языка и при анализе чужого, непри-

вычного языка. Или же мы обнаруживаем, что задача разьяснения всех морфологических трудностей настолько сложна, что поглощает все остальное. Однако, несмотря на сложность задачи выяснения того косвенного влияния грамматических категорий языка на поведение людей, о котором говорилось выше, она все же выполнима и разрешить ее легче всего при помощи какого-нибудь экзотического языка, так как, изучая его, мы волей-неволей бываем выбиты из привычной колеи. И, кроме того, в дальнейшем обнаруживается, что такой экзотический язык является зеркалом по отношению к родному языку.

Мысль о возможности работы над этой проблемой впервые пришла мне в голову во время изучения многоязыка хопи, даже раньше, чем я задумался над самой проблемой. Казавшееся бесконечным описание морфологии языка, наконец, было закончено. Но было совершенно очевидно, особенно в свете лекций Сепира о языке навахо, что описание языка в целом являлось далеко не полным. Я знал, например, правила образования множественного числа, но не знал, как оно употребляется. Было ясно, что категория множественного числа в языке хопи значительно отличается от категории множественного числа в английском, французском и немецком. Некоторые понятия, выраженные в этих языках множественным числом, в языке хопи обозначаются единственным. Стадия исследования, начавшаяся с этого момента, заняла еще два года.

Прежде всего надо было определить способ сравнений языка хопи с западноевропейскими языками. Сразу же стало очевидным, что даже грамматика хопи отражала в какой-то степени культуру хопи, так же как грамматика европейских языков отражает «западную», или «европейскую», культуру. Оказалось, что эта взаимосвязь дает возможность выделить при помощи языка классы представлений, подобные «европейским», — «время», «пространство», «субстанция», «материя». Так как в отношении тех категорий, которые будут подвергаться сравнению в английском, немецком и французском, а также и в других европейских языках, за исключением, пожалуй (да и это очень сомнительно), балто-славянских и неиндоевропейских языков, существуют лишь незначительные отличия, я собрал все эти языки в одну группу, названную SAE, или «среднеевропейский стандарт» (Standard Average European).

Та часть исследования, которая здесь представлена, может быть кратко суммирована в двух вопросах: 1) являются ли наши представления «времени», «пространства» и «материи» в действительности одинаковыми для всех людей или они до некоторой степени обусловлены структурой данного языка и 2) существуют ли видимые связи между: а) нормами культуры и поведения и б) основными лингвистическими категориями? Я отнюдь не утверждаю, что есть непосредственная прямая связь между культурой и языком и тем более между этнологическими рубриками, как например «сельское хозяйство», «охота» и т. д., и такими лингвистическими



рубриками, как «флективный», «синтетический» или «изолирующий»<sup>1</sup>.

Когда я начал изучение данной проблемы, она вовсе не была так ясно сформулирована, и у меня не было никакого представления о том, каковы будут ответы на поставленные вопросы.

## МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО И СЧЕТ В SAE И ХОПИ

В наших языках, т. е. в SAE, множественное число и количественные числительные применяются в двух случаях: 1) когда они обозначают действительно множественное число и 2) при обозначении воображаемой множественности. Или более точно, хотя менее выразительно: при обозначении воспринимаемой нами пространственной совокупности и совокупности с переносным значением. Мы говорим *ten men* (десять человек) и *ten days* (десять дней). Десять человек мы или реально представляем, или во всяком случае можем себе представить эти десять как целую группу<sup>1</sup> (десять человек на углу улицы, например). Но *ten days* (десять дней) мы не можем представить себе реально. Мы представляем реально только один день, сегодня, остальные девять (или даже все десять) — только по памяти или мысленно. Если *ten days* (десять дней) и рассматриваются как группа, то это «воображаемая», созданная мысленно группа.

Каким образом создается в уме такое представление? Таким же, как и в случаях ошибочных представлений, служивших причиной пожара, благодаря тому что наш язык часто смешивает две различные ситуации, так как для обеих имеется один и тот же способ выражения. Когда мы говорим о «десяти шагах вперед» (*ten steps forward*), «десяти ударах колокола» (*ten strokes on a bell*) и о какой-либо подобной циклической последовательности, имея в виду несколько «раз» (*times*), у нас возникает такое же представление, как и в случае «десять дней» (*ten days*). Цикличность вызывает представление о воображаемой множественности. Но сходство цикличности с совокупностью не обязательно дается нами в восприятии раньше, чем это выражается в языке, иначе это сходство наблюдалось бы во всех языках, а этого не происходит. В нашем восприятии времени и цикличности содержится что-то непосредственное и субъективное: в основном мы ощущаем время как что-то «становящееся все более и более поздним». Но в мышлении людей, говорящих на SAE, это отражается совсем иным путем, кото-

<sup>1</sup> У нас есть масса доказательств того, что это не так. Достаточно только сравнить хопи и уте с языками, обладающими таким сходством в области лексики и морфологии, как, скажем, английский и немецкий. Идея взаимосвязи между языком и культурой в общепринятом смысле этого слова, несомненно, является ошибочной.

<sup>2</sup> Так, говоря «десять одновременно», мы показываем, что в нашем языке и мышлении мы воспроизводим факт восприятия множественного числа в терминах понятия времени, о языковом выражении которого будет сказано ниже.

рый не может быть назван субъективным, хотя и является мысленным. Я бы назвал его «объективизированным» или воображаемым, так как он основан на понятиях внешнего мира. В нем отражаются особенности нашей языковой системы. Наш язык не делает различия между числами, составленными из реально существующих предметов, и числами «самоисчисляемыми». Сама форма мышления обуславливает то, что в последнем случае числа состояются из каких-то предметов, так же как и в первом. Это и есть объективизация. Понятия времени теряют связь с субъективным восприятием «становящегося более поздним» и объективируются в качестве исчисляемых количеств, т. е. отрезков, состоящих из отдельных величин, в частности длины, так как длина может быть реально разделена на дюймы. «Длина», «продолжительность» времени представляется как ряд одинаковых величин, подобно, скажем, ряду бутылок.

В языке хопи положение совершенно иное. Множественное число и количественные числительные употребляются только для обозначения тех предметов, которые образуют или могут образовать реальную группу. Там не существует воображаемых множественных чисел, вместо них употребляются порядковые числительные в единственном числе. Такое выражение, как *ten days* (десять дней), не употребляется. Эквивалентом ему служит выражение, указывающее на процесс счета. Таким образом, *they stayed ten days* (они пробыли десять дней) превращается в «они прожили до одиннадцатого дня», или «они уехали после десятого дня». *Ten days is greater than nine days* (десять дней — больше чем девять дней) превращается в «десятый день — позже девятого». Наше понятие «продолжительность времени» рассматривается не как фактическая продолжительность или протяженность, а как соотношение между двумя событиями, одно из которых произошло раньше другого. Вместо нашей лингвистически осмысленной объективизации той области сознания, которую мы называем «время», язык хопи не дал никакого способа, содержащего идею «становиться позднее», являющуюся сущностью понятия времени.

#### СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО В SAE И ХОПИ

Имеются два вида существительных, обозначающих материальные предметы: существительные, обозначающие отдельные предметы, и существительные, обозначающие вещества: *water, milk, wood, granite, sand, flour, meat* (вода, молоко, дерево, гранит, песок, мука, мясо). Существительные первой группы относятся к предметам, имеющим определенную форму: *a tree, a stick, a man, a hill* (дерево, палка, человек, холм). Существительные второй группы обозначают однородную массу, не имеющую четких границ. Существует и лингвистическое различие между этими двумя группами: у существительных первой группы отсутствует множествен-

ное число<sup>1</sup>, в английском языке перед ними опускается артикль, во французском ставится партитивный артикль *du, de, la, des*. Это различие гораздо более ярко выступает в языке, чем в действительности. Очень немногое можно представить себе как не имеющее границ: *air* (воздух), иногда *water, rain, snow, sand, rock, dirt, grass* (вода, дождь, снег, песок, горная порода, грязь, трава). Но *butter, meat, cloth, iron, glass* (масло, мясо, материя, железо, стекло), как и большинство им подобных веществ, встречаются не в «безграничном» количестве, а в виде больших или малых тел определенной формы. Различие это в какой-то степени навязано нам потому, что оно имеется в языке. В большинстве случаев это оказывается так неудобно, что приходится применять новые лингвистические способы, чтобы конкретизировать существительные второй группы. Отчасти это делается с помощью названий, обозначающих ту или иную форму: *stick of wood, piece of cloth, pane of glass, cake of soap* (брусочек дерева, лоскут материала, кусочек стекла, брусочек мыла); гораздо чаще с помощью названий сосудов, в которых находятся вещества, хотя в данных случаях мы имеем в виду сами вещества: *glass of water, cup of coffee, dish of food, bag of flour, bottle of beer* (стакан воды, чашка кофе, тарелка пищи, мешок муки, бутылка пива). Эти обычные формулы, в которых *of* имеет явное значение «содержащий», способствовали появлению менее явных случаев употребления той же самой конструкции: *stick of wood, lump of dough* (обрубок дерева, ком теста) и т. д. В обоих случаях формулы одинаковы: существительное первой группы плюс один и тот же связывающий компонент (в английском языке предлог *of*). Обычно этот компонент обозначает содержание. В более сложных случаях он только «предполагает» содержание. Таким образом, предполагается, что *lumps, chunks, blocks, pieces* (комья, ломти, колоды, куски) содержат какие-то *stuff, substance, matter* (вещество, субстанцию, материю), которые соответствуют *water, coffee, flour* (воде, кофе, муке) в соответствующих формулах. Для людей, говорящих на SAE, философские понятия «субстанция» и «материя» несут в себе более простую идею; они воспринимаются непосредственно, они общепонятны. Это происходит благодаря языку. Законы наших языков часто заставляют нас обозначать материальный предмет словосочетанием, которое делит представление на бесформенное вещество плюс та или иная его конкретизация («форма»).

<sup>1</sup> Не является исключением из этого правила (отсутствия множественного числа) и тот случай, когда лексема существительного, обозначающего вещество, совпадает с лексемой «отдельного» существительного, которое, несомненно, имеет форму множественного числа, так, например, *stone* (не имеет множественного числа) совпадает с *stone* (мн. ч. — *stones*). Множественное число, обозначающее различные сорта, например *wines*, представляет собой нечто отличающееся от настоящего множественного числа; такие существительные являются своеобразным ответвлением от «материальных» существительных в SAE, образуя особую группу, изучение которой не является задачей данной работы.

В хопи опять-таки все происходит иначе. Там есть строго ограниченный класс существительных. Но в нем нет особого подкласса — «материальных» существительных. Все существительные обозначают отдельные предметы и имеют и единственное и множественное число. Существительные, являющиеся эквивалентами наших «материальных» существительных, тоже относятся к телам с неопределенными, не имеющими четких границ формами. Но они имеют в виду неопределенность, а не отсутствие формы и размеров. В каждом конкретном случае *water* (вода) обозначает определенное количество воды, а не то, что мы называем «субстанцией воды». Абстрактность передается глаголом или предикативной формой, а не существительным. Так как все существительные относятся к отдельным предметам, нет необходимости уточнять их смысл названиями сосудов или различных форм, если, конечно, форма или сосуд не имеют особого значения в данном случае. Само существительное указывает на соответствующую форму или сосуд. Говорят не *a glass of water* (стакан воды), а *kə-yi* (вода), не *a pool of water* (лужа воды), а *pa•hə*<sup>1</sup>, не *a dish of cornflour* (миска муки), а *ɲənpɪ* (количество муки), не *a piece of meat* (кусочек мяса), а *sik<sup>wi</sup>* (мясо). В языке хопи нет ни необходимости, ни соответствующих правил для обозначения понятия существования вещества как соединения бесформенного предмета и формы. Отсутствие определенной формы обозначается не существительными, а другими лингвистическими символами.

## ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ В SAE И ХОПИ

Такие термины, как *summer*, *winter*, *September*, *morning*, *moon*, *sunset* (лето, зима, сентябрь, утро, луна, заход солнца), которые у нас являются существительными и мало чем формально отличаются по форме от других существительных, могут быть подлежащими или дополнениями; мы говорим *at sunset* (на заходе солнца) или *in winter* (зимой), так же как мы говорим *at a corner* (на углу), *in the orchard* (в саду)<sup>2</sup>. Они образуют множественное число и исчисляются подобно тем существительным, которые обозначают предметы материального мира, о чем говорилось выше. Наше представление о явлениях, обозначаемых этими словами, таким образом объективизируется. Без объективизации оно было бы субъективным переживанием реального времени, т. е. сознания — *becoming later and later* (становление более поздним), проще говоря, —

<sup>1</sup> В хопи есть два слова для обозначения количества воды: *kə-yi* и *pa•hə*. Разница между ними примерно та же, что и между *stone* и *rock* в английском языке: *pa•hə* обозначает больший размер и *wildness* (природность, естественность); текущая вода, независимо от того, в помещении она или в природе, будет *pa•hə*, так же как и *moisture* (влага). Но в отличие от *stone* и *rock* разница здесь существенная, не зависящая от контекста, и одно слово не может заменять другое.

<sup>2</sup> Конечно, существуют некоторые незначительные отличия от других существительных в английском языке, например в употреблении артиклей.

повторяющимся периодом, подобным предыдущему периоду в становлении все более поздней протяженности. Только в воображении можно представить себе подобный период рядом с другим таким же, создавая, таким образом, пространственную (мысленно представляемую) конфигурацию. Но сила языковой аналогии такова, что мы устанавливаем подобную объективизацию циклической периодизации. Это происходит даже в случае, когда мы говорим *a phase* (период) и *phases* (периоды) вместо, например, *phasing* (периодизация). Модель, охватывающая как существительные, обозначающие отдельные предметы, так и существительные, обозначающие вещества, результатом которого является двучленное словосочетание «бесформенное вещество плюс форма», настолько распространена, что подходит для всех существительных. Таким образом, такие общие понятия, как *substance*, *matter* (субстанция, материя), могут заменить в данном словосочетании почти любое существительное. Но даже и они недостаточно обобщены, так как не могут включить в себя существительные, выражающие протяженность во времени. Для последних и появился термин *time* (время). Мы говорим *a time*, т. е. какой-то период времени, событие, исходя из правила о *mass nouns* (существительных, обозначающих вещества), подобно тому как *a summer* (некое лето) мы превращаем в *summer* (лето как общее понятие) по той же модели. Итак, используя наше двучленное словосочетание, мы можем говорить или представлять себе *a moment of time* (момент времени), *a second of time* (секунда времени), *a year of time* (год времени). Я считаю долгом еще раз подчеркнуть, что здесь точно сохраняется формула *a bottle of milk* (бутылка молока) или *a piece of cheese* (кусочек сыра). И это помогает нам представить, что *a summer* реально содержит такое и такое-то количество *time*.

В хопи, однако, все «временные» термины, подобные *summer*, *morning* (лето, утро) и другие, являются не существительными, а особыми формами наречий, если употреблять терминологию SAE. Это особая часть речи, отличающаяся от существительных, глаголов и даже от других наречий в хопи. Они не являются формой местного или другого падежа, как *des Abends* (вечером) или *in the morning* (утром). Они не содержат морфем, подобных тем, которые есть в *in the house* (в доме) и *at the tree* (на дереве)<sup>1</sup>. Такое наречие имеет значение *when it's morning* (когда утро) или *while morning-phase is occurring* (когда период утра происходит). Эти *temporals* («временные наречия») не употребляются ни как подлежащее, ни как дополнение, ни в какой-либо другой функции существительного. Нельзя сказать *it's a hot summer* (жаркое лето) или *summer is hot* (лето жарко); лето не может быть жарким, лето — это тогда,

<sup>1</sup> *Year* (год) и некоторые словосочетания *year* с названиями времен года, а иногда и сами названия времен года могут встречаться с «локальной» морфемой *at*, но это является исключением. Такие случаи могут быть или историческими напластованиями ранее действовавших законов языка, или вызываются аналогией с английским языком.

когда погода теплая, когда наступает жара. Нельзя сказать *this summer* (это лето), надо сказать *summer now* (теперь лето) или *summer recently* (недавно лето). Здесь нет никакой объективизации (например, указания на период, длительность, количество) субъективного чувства протяженности во времени. Ничто не указывает на время, кроме постоянного представления о *getting later* (становлении более позднем). Поэтому в этом языке и нет основания для создания абстрактного термина, подобного нашему *time*.

## ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА В SAE И ХОПИ

Трехвременная система глагола в SAE оказывает влияние на все наши представления о времени. Эта система объединяется с той более широкой схемой объективизации субъективного восприятия длительности, которая уже отмечалась в других случаях — в двучленной формуле, применимой к существительным вообще, во «временных» (обозначающих время) существительных, во множественности и исчисляемости. Эта объективизация помогает нам мысленно «выстроить отрезки времени в ряд». Осмысление времени как ряда гармонирует с системой трех времен, однако система двух времен, «раннего» и «позднего», более точно соответствовала бы ощущению «длительности» в его реальном восприятии. Если мы сделаем попытку проанализировать сознание, мы найдем не прошедшее, настоящее и будущее, а сложный комплекс, включающий в себя все эти понятия. Они присутствуют в нашем сознании, неразрывно связанные друг с другом. В нашем сознании соединены чувственная и нечувственная стороны восприятия. Мы можем назвать чувственную сторону — то, что мы видим, слышим, осязаем — *the present* (настоящее), а другую сторону — обширную, воображаемую область памяти — обозначить *the past* (прошедшее), а область веры, интуиции и неопределенности — *the future* (будущее), но и чувственное восприятие, и память, и предвидение — все это существует в нашем сознании вместе; мы не можем обозначить одно как *yet to be* (еще не существующее), а другое как *once but no more* (существовало, но уже нет). В действительности реальное время отражается в нашем сознании как *getting later* (становиться позднее), как необратимый процесс изменения определенных отношений. В этом *latering* («опозднении») или *durating* (протяженности во времени) и есть основное противоречие между самым недавним, позднейшим моментом, находящимся в центре нашего внимания, и остальными, предшествовавшими ему. Многие языки прекрасно обходятся двумя временными формами, соответствующими этому противоречивому отношению между *later* (позже) и *earlier* (раньше). Мы можем, конечно, создать и мысленно представить себе систему прошедшего, настоящего и будущего времени в объективизированной форме точек на линии. Именно к этому ведет нас наша общая тенденция к объективизации, что подтверждается системой времен в наших языках.

В английском языке настоящее время находится в наиболее резком противоречии с основным временным отношением. Оно как бы выполняет различные и не всегда вполне совпадающие друг с другом функции. Одна из них заключается в том, чтобы обозначать нечто среднее между объективизированным прошедшим и объективизированным будущим в повествовании, аргументации, обсуждении, логике и философии. Вторая заключается в обозначении чувственного восприятия: I see him (я вижу его). Третья включает в себя констатацию общеизвестных истин: we see with our eyes (мы видим глазами). Эти различные случаи употребления вносят некоторую путаницу в наше мышление, чего мы в большинстве случаев не осознаем.

В языке хопи, как и можно было предполагать, это происходит иначе. Глаголы здесь не имеют времен, подобных нашим: вместо них употребляются формы утверждения (assertions), видовые формы и формы, связывающие предложения (наклонения), — все это придает речи гораздо большую точность. Формы утверждения обозначают, что говорящий (не субъект) сообщает о событии (это соответствует нашему настоящему и прошедшему), или что он предполагает, что событие произойдет (это соответствует нашему будущему)<sup>1</sup>, или что он утверждает объективную истину (что соответствует нашему «объективному» настоящему). Виды определяют различную степень длительности и различные направления «в течение длительности». До сих пор мы не сталкивались ни с каким указанием на последовательность двух событий, о которых говорится. Необходимость такого указания возникает, правда, только тогда, когда у нас есть два глагола, т. е. два предложения. В этом случае наклонения определяют отношения между предложениями, включая предшествование, последовательность и одновременность. Кроме того, существует много отдельных слов, которые выражают подобные же отношения, дополняя наклонения и виды: функции нашей системы грамматических времен с ее линейным, трехчленным объективизированным временем распределены среди других глагольных форм, коренным образом отличающихся от наших грамматических времен; таким образом, в глаголах языка хопи нет (так же, как и в других категориях) основы для объективизации понятия времени; но это ни в коей мере не значит, что глагольные формы и другие категории не могут выражать реальные отношения совершающихся событий.

<sup>1</sup> «Предполагающие» и «утверждающие» суждения сопоставляются друг с другом согласно «основному временному отношению». «Предполагающие» выражают ожидание, существующее раньше, чем произошло само событие, и совпадают с' этим событием позже, чем об этом заявляет говорящий, положение которого во времени включает в себя весь итог прошедшего, выраженного в данном сообщении. Наше понятие «будущее», оказываясь, выражает одновременно то, что было раньше, и то, что будет позже, как видно из сравнения с языком хопи. Этот порядок указывает, насколько трудна для понимания тайна реального времени и каким искусственным является ее изображение в виде линейного отношения: прошедшее — настоящее — будущее.

## ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ В SAE И ХОПИ

Для описания всего многообразия действительности любой язык нуждается в выражении длительности, интенсивности и направленности. Для SAE и для многих других языковых систем характерно описание этих понятий метафорически. Метафоры, применяемые при этом, — это метафоры пространственной протяженности, т. е. размера, числа (множественность), положения, формы и движения. Мы выражаем длительность словами: long, short, great, much, quick, slow (длинный, короткий, большой, многое, быстрый, медленный) и т. д.; интенсивность — словами: large, much, heavy, light, high, low, sharp, faint (много, тяжело, легко, высоко, низко, острый, слабый) и т. д. и направленность — словами: more, increase, grow, turn, get, approach, go, come, rise, fall, stop, smooth, even, rapid, slow (более, увеличиваться, расти, превращаться, становиться, приближаться, идти, приходить, подниматься, падать, останавливаться, гладкий, равный, быстрый, медленный) и т. д. Можно составить почти бесконечный список метафор, которые мы едва ли осознаем как таковые, так как они практически являются единственно доступными лингвистическими средствами. Неметафорические средства выражения данных понятий, такие, как early, late, soon, lasting, intense, very (рано, поздно, скоро, длительный, напряженный, очень), настолько малочисленны, что ни в коей мере не могут быть достаточными.

Ясно, каким образом создалось такое положение. Оно является частью всей нашей системы — объективизации, мысленного представления качеств и потенциалов как пространственных, хотя они не являются на самом деле пространственными (насколько это ощущается нашими чувствами). Значение существительных (в SAE), отталкиваясь от названий физических тел, идет к обозначениям совершенно иного характера. А так как физические тела и их форма в видимом пространстве обозначаются терминами, относящимися к форме и размеру, и исчисляются разного рода числительными, такие способы обозначения и исчисления переходят в символы, лишенные пространственного значения и предполагающие воображаемое пространство. Физические явления: move, stop, rise, sink, approach (двигаться, останавливаться, подниматься, опускаться, приближаться) и т. д. — в видимом пространстве вполне соответствуют, по нашему мнению, их обозначениям в мыслимом пространстве. Это зашло так далеко, что мы постоянно обращаемся к метафорам, даже когда говорим о простейших непространственных ситуациях. «Я «схватываю» «нить» рассуждений моего собеседника, но, если их «уровень» слишком «высок», мое внимание может «рассеяться» и «потерять связь» с их «течением», так что, когда мы «приходим» к конечному «пункту», мы «далеко расходимся» во мнениях, наши «взгляды» так «отстоят» друг от друга, что «вещи», о которых он говорит, «представляются» очень условными или даже «награмождением чепухи».



Поражает полное отсутствие такого рода метафор в хопи. Употребление слов, выражающих пространственные отношения, когда таких отношений на самом деле нет, просто невозможно в хопи, на них в этом случае как бы наложен абсолютный запрет. Причина становится ясной, если принять во внимание, что в языке хопи есть многочисленные грамматические и лексические средства для описания длительности, интенсивности и направления как таковых, а грамматические законы в нем не приспособлены для проведения аналогий с мыслимым пространством. Многочисленные виды глаголов выражают длительность и направленность тех или иных действий, в то время как некоторые формы залогов выражают интенсивность, направленность и длительность причин и факторов, вызывающих эти действия. Далее, особая часть речи, интенсификаторы (*the tensors*), многочисленнейший класс слов, выражает только интенсивность, направленность, длительность и последовательность. Основная функция этой части речи — выражать степень интенсивности, «силу», в каком состоянии она находится и как выражается; таким образом, общее понятие интенсивности, рассматриваемое с точки зрения постоянного изменения, с одной стороны, и непрерывности — с другой, включает в себя также и понятия направленности и длительности. Эти особые временные формы — интенсификаторы — указывают на различия в степени, скорости, непрерывности, повторяемости, увеличения и уменьшения интенсивности, прямой последовательности, последовательности, прерванной некоторым интервалом времени, и т. д., а также на качества напряженности, что мы бы выразили метафорически посредством таких слов, как *smooth*, *even*, *hard*, *rough* (гладкий, ровный, твердый, грубый).

Поражает полное отсутствие в этих формах сходства со словами, выражающими реальные пространственные отношения и движения, которые для нас значат одно и то же. В них почти нет следов непосредственной деривации от пространственных терминов<sup>1</sup>.

Таким образом, хотя хопи в отношении существительных кажется предельно конкретным языком, в формах интенсификаторов он достигает такой абстрактности, что она почти превышает наше понимание.

<sup>1</sup> Одним из таких следов является то, что *tensor*, обозначающий *long in duration* (длинный по протяженности), хотя и не имеет общего корня с пространственным прилагательным *long* (длинный), зато имеет общий корень с пространственным прилагательным *large* (широкий). Другим примером может служить то, что *somewhere* (где-то, в пространстве), употребленное с этой особой частью речи (*tensors*), может означать *at some indefinite time* (в какое-то неопределенное время). Возможно, правда, что только присутствие *tensor* придает данному случаю значение времени, так что *somewhere* (где-то) относится к пространству; при данных условиях неопределенное пространство означает просто общую отнесенность независимо от времени и пространства. Следующим примером может служить временная форма наречия *afternoon*; здесь элемент, означающий *after* (после), происходит от глагола *to separate* (разделять). Есть и другие примеры этой деривации, но они очень малочисленны и являются исключениями, очень мало подходящими на нашу пространственную объективизацию.

## НОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В SAE И ХОПИ

Сравнение, проводимое между нормами мышления людей, говорящих на языках SAE, и нормами мышления людей, говорящих на языке хопи, не может быть, конечно, исчерпывающим. Оно может лишь коснуться некоторых отчетливо проявляющихся особенностей, которые, по-видимому, происходят в результате языковых различий, уже отмечавшихся выше. Под нормами мышления, или «мыслительным миром», понимаются более широкие понятия, чем просто язык или лингвистические категории. Сюда включаются и все связанные с этими категориями аналогии, все, что они с собой вносят (например, наше «мыслимое пространство» или то, что под этим может подразумеваться), все взаимодействие между языком и культурой в целом, в котором многие факторы, хотя они и не относятся к языку, указывают на его формирующее влияние. Иначе говоря, этот «мыслительный мир» является тем микрокосмом, который каждый человек несет в себе и с помощью которого он пытается измерить и понять макрокосм.

Микрокосм SAE, анализируя действительность, использовал, главным образом слова, обозначающие предметы (тела и им подобные), и те виды протяженного, но бесформенного существования, которые называются «субстанцией» или «материей». Он стремится увидеть действительность через двучленную формулу, которая выражает все сущее как пространственную форму плюс пространственная бесформенная непрерывность, соотносящаяся с формой, как содержимое соотносится с формой содержащего. Непространственные явления мыслятся как пространственные, несущие в себе те же понятия формы и непрерывности.

Микрокосм хопи, анализируя действительность, использует главным образом слова, обозначающие явления (events или, точнее, eventing), которые рассматриваются двумя способами: объективно и субъективно. Объективно — и это только в отношении к непосредственному физическому восприятию — явления обозначаются главным образом с точки зрения формы, цвета, движения и других непосредственно воспринимаемых признаков. Субъективно как физические, так и нефизические явления рассматриваются как выражение невидимых факторов силы, от которой зависит их незыблемость и постоянство или их непрочность и изменчивость. Это значит, что не все явления действительности одинаково становятся «все более, и более поздними». Одни развиваются, вырастая как растения, вторые рассеиваются и исчезают, третьи подвергаются процессу превращения, четвертые сохраняют ту же форму, пока на них не воздействуют мощные силы. В природе каждого явления, способного проявляться как единое целое, заключена сила присущего ему способа существования: его рост, упадок, стабильность, повторяемость или продуктивность. Таким образом, все уже подготовлено ранними стадиями к тому, как явление проявляется в данный момент, а чем оно станет позже — частично уже

подготовлено, а частично еще находится в процессе «подготовки». В этом взгляде на мир как на нечто находящееся в процессе какой-то подготовки заключается для хопи особый смысл и значение, соответствующее, возможно, тому «свойству действительности», которое «материя» или «вещество» имеет для нас.

## НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ ХОПИ

Поведение людей, говорящих на SAE, как и поведение людей, говорящих на хопи, очевидно, многими путями соотносится с лингвистически обусловленным микрокосмом. Как можно было наблюдать при регистрации случаев пожара, в той или иной ситуации люди ведут себя соответственно тому, как они об этом говорят. Для поведения хопи характерно то, что они придают особое значение подготовке. О событии объявляется, и к нему начинается подготовка задолго до того, как оно должно произойти, разрабатываются соответствующие меры предосторожности, обеспечивающие желаемые условия, и особое значение придается доброй воле как силе, способной подготовить нужные результаты. Возьмем способы исчисления времени. Время исчисляется главным образом «днями» (talk-tala) или «ночами» (tok), причем эти слова являются не существительными, а особой частью речи (tensors); первое слово образовано от корня со значением «свет», второе — от корня со значением «спать». Счет ведется порядковыми числительными. Этот способ счета не применяется к группе различных людей или предметов, даже если они следуют друг за другом, ибо даже в этом случае они могут объединяться в группу. Но этот способ применяется по отношению к последовательному появлению того же самого человека или предмета, не способных объединиться в группу. «Несколько дней» воспринимается не так, как «несколько людей», к чему как раз склонны наши языки, а как последовательное появление одного и того же человека. Мы не можем изменить сразу нескольких человек, воздействуя на одного, но мы можем подготовить и таким образом изменить последующие появления того же самого человека, воздействуя на его появление в данный момент. Так хопи рассматривают будущее — они действуют в данной ситуации так или иначе, полагая, что это окажет влияние, как очевидное, так и скрытое, на предстоящее событие, которое их интересует. Можно было бы сказать, что хопи понимают нашу поговорку «Well begun is half done» («Хорошее начало — это уже половина дела»), но не понимают нашу другую поговорку «Tomorrow is another day» («Завтра — это уже новый день»).

Это многое объясняет в характере хопи. Что-то подготавливающее поведение хопи всегда можно грубо разделить на объявление, внешнюю подготовку, внутреннюю подготовку, скрытое участие и настойчивое проведение в жизнь. Объявление или предварительное обнародование является важной обязанностью особого официального лица — Главного Глашатая. Внешняя подготовка

охватывает широкую, открытую для всех деятельность, в которой не все, с нашей точки зрения, является непосредственно полезным. Сюда входят обычная деятельность, репетиция, подготовка, предварительные формальности, приготовление особой пищи и т. п. (все это делается с такой тщательностью, которая может показаться нам чрезмерной), интенсивно поддерживаемая физическая деятельность, например бег, состязания, танцы, которые якобы способствуют интенсивности развития событий (скажем, росту посевов), мимикрическая и прочая магия, действия, основанные на таинствах, с применением особых атрибутов, как например священные палочки, перья, пища и, наконец, танцы и церемонии, якобы подготовляющие дождь и урожай. От одного из глаголов, означающих «подготовить», образовано существительное «жатва», или «урожай», na'twani — то, что подготовлено, или то, что готовится<sup>1</sup>.

Внутренней подготовкой являются молитва и размышление и в меньшей степени добрая воля и пожелания хороших результатов. Хопи придают особое значение силе желания и мысли. Это вполне естественно для их микрокосма. Желание и мысль являются самой первой и потому важнейшей, решающей стадией подготовки. Более того, с точки зрения хопи, наши желания и мысли влияют не только на наши поступки, но также и на всю природу. Это также понятно. Мы сами сознаем, ощущаем усилие и энергию, которые вложены в желание и мысль. Опыт более широкий, чем опыт языка, говорит о том, что, если расходуется энергия, достигаются результаты. Мы склонны думать, что мы в состоянии остановить действие этой энергии, помешать ей воздействовать на окружающее до тех пор, пока мы не приступили к физическим действиям. Но мы думаем так только потому, что у нас есть лингвистическое основание для теории, согласно которой элементы окружающего мира, лишённые формы, как например «материя», являются вещами в себе, воспринимаемыми только посредством подобных же элементов и благодаря этому отделимыми от жизненных и духовных сил. Считать, что мысль связывает все, охватывает всю вселенную, не менее естественно, чем думать, как мы все это делаем, так о свете, зажженном на улице. И естественно предположить, что мысль, как и всякая другая сила, всегда оставляет следы своего воздействия. Так, например, когда мы думаем о каком-то кусте роз, мы не предполагаем, что наша мысль направляется к этому кусту и освещает его подобно направленному на него прожектору. С чем же тогда имеет дело наше сознание, когда мы думаем о кусте роз? Может быть, мы полагаем, что оно имеет дело с «мысленным представлением», которое является не кустом роз, а лишь его мысленным заменителем? Но почему представляется естественным думать, что наша мысль имеет дело с суррогатом, а не с под-

<sup>1</sup> Глаголы хопи, означающие «подготовить», не соответствуют точно нашему «подготовить»; таким образом, na'twani может быть передано как «то, над чем трудились», «то, ради чего старались», или что-либо подобное.

линым розовым кустом? Возможно, потому, что в нашем сознании всегда присутствует некое воображаемое пространство, наполненное мысленными суррогатами. Мысленные суррогаты — знакомое нам средство. Данный, реально существующий розовый куст мы воспринимаем как воображаемый наряду с образами . мыслимого пространства, возможно, именно потому, что для него у нас есть такое удобное «место». «Мыслительный мир» хопи не знает воображаемого пространства. Отсюда следует, что они не могут связать мысль о реальном пространстве с чем-либо иным, кроме реального пространства, или отделить реальное пространство от воздействия мысли. Человек, говорящий на языке хопи, стал бы, естественно, предполагать, что его мысль (или он сам) путешествует вместе с розовым кустом или, скорее, с ростком маиса, о котором он думает. Мысль эта в таком случае должна оставить какой-то след и на растении в поле. Если это хорошая мысль, мысль о здоровье или росте, — это хорошо для растения, если плохая, — плохо.

Хопи подчеркивает интенсифицирующее значение мысли. Для того чтобы мысль была наиболее действенной, она должна быть живой в сознании, определенной, постоянной, доказанной, полной ясно ощущаемых добрых намерений. По-английски это может быть выражено как «concentrating, holding it in your heart, putting your mind on it, earnestly hoping» («сосредоточиваться, сохранять в своем сердце, направлять свой разум, горячо надеяться»). Сила мысли — это та сила, которая стоит за церемониями со священными палочками, обрядовыми курениями и т. п. Священная трубка рассматривается как средство, помогающее «сосредоточиться» (так сообщил мне информант). Ее название *pa'twanpi* значит «средство подготовки».

Скрытое участие есть мысленное соучастие людей, которые фактически не действуют в данной операции, что бы это ни было: работа, охота, состязание или церемония, — они направляют свою мысль и добрую волю к достижению успеха предпринятого. Объявлением часто стремятся обеспечить поддержку подобных мысленных помощников, так же как и действительных участников, — в нем содержится призыв к людям помочь своей доброй волей<sup>1</sup>. Это напоминает сочувствующую аудиторию или подбадривающих болельщиков на футбольном матче, и это не противоречит тому, что от скрытых соучастников ожидается прежде всего сила направленной мысли, а не просто сочувствие или поддержка. В самом деле, ведь основная работа скрытых соучастников начинается до игры, а не во время нее. Отсюда и сила злого умысла, т. е. мысли,

<sup>1</sup> Смотри пример, приведенный Ernst Beaglahole «Notes on Hopi economic life» (Yale University Publications in Anthropology, № 15, 1937), особенно ссылку на объявление о заячьей охоте и на стр. 30 описание деятельности в связи с очищением источника Торева — объявление различных подготовительных мероприятий и, наконец, обеспечение того, чтобы уже достигнутые хорошие результаты сохранялись и чтобы источник продолжал действовать.

несущей зло;отсюда одна из целей скрытого соучастия — добиться массовых усилий многих доброжелателей, чтобы противостоять губительной мысли недоброжелателей. Подобные взгляды очень способствуют развитию чувства сотрудничества и солидарности. Это не значит, что в обществе хопи нет соперничества или столкновения интересов. В качестве противодействия тенденции к общественной разобщенности в такой небольшой изолированной группе теория «подготовки» силой мысли, логически ведущая к усилению объединенной, интенсифицированной и организованной мысли всего общества, должна действовать в значительной степени как сила спланирующая, несмотря на частные столкновения, которые наблюдаются в селениях хопи во всех основных областях их культурной деятельности.

«Подготавливающая» деятельность хопи еще раз показывает действие лингвистической мыслительной среды, в которой особенно подчеркивается роль упорства и постоянного неустанный повторения. Ощущение силы всей совокупности бесчисленных единичных энергий притупляется нашим объективизированным пространственным восприятием времени, которое усиливается мышлением, близким к субъективному восприятию времени как непрерывному потоку событий, расположенных на «временной линии». Нам, для которых время есть движение в пространстве, кажется, что неизменное повторение теряет свою силу на отдельных отрезках этого пространства. С точки зрения хопи, для которых время есть не движение, а «становление более поздним» всего, что когда-либо было сделано, неизменное повторение не растрчивает свою силу, а накапливает ее. В нем нарастает невидимое изменение, которое передается более поздним событиям<sup>1</sup>. Это происходит так, как будто возвращение дня воспринимается так же, как возвращение того же самого лица, ставшего немного старше, но несущего все признаки прошедшего дня. Мы воспринимаем его не как «другой день», т. е. не как совсем другое «лицо». Этот принцип, соединенный с принципом силы мысли и общим характером культуры пуэбло, выражен как в передаче смысла церемониального танца хопи, призванного вызывать дождь и урожай, так и в его коротком дробном ритме, повторяемом тысячи раз в течение нескольких часов.

<sup>1</sup> Это представление о нарастающей силе, которая вытекает из поведения хопи, имеет свою аналогию в физике: ускорение. Можно сказать, что лингвистические основы мышления хопи дают возможность признать, что сила проявляется не как движение или быстрота, а как накопление или ускорение. Лингвистические основы нашего мышления мешают подобному истолкованию, ибо, признав силу как нечто вызывающее изменение, мы воспринимаем это изменение посредством нашей языковой метафорической аналогии — движения, вместо того чтобы воспринимать его как нечто абсолютно неподвижное и неизменное, т. е. накопление и ускорение. Поэтому мы бываем так наивно поражены, когда узнаем из физических опытов, что невозможно определить силу движения, что движение и скорость, так же как и состояние покоя, — понятия относительные и что сила может быть измерена только ускорением.

## НЕКОТОРЫЕ СЛЕДЫ ВЛИЯНИЯ ЯЗЫКОВЫХ НОРМ В ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Обрисовать в нескольких словах лингвистическую обусловленность некоторых черт нашей собственной культуры труднее, чем в культуре хопи. Это происходит потому, что трудно быть объективным, когда анализируются знакомые, глубоко укоренившиеся в сознании явления. Я бы хотел только дать приблизительный набросок того, что свойственно нашей лингвистической двучленной формуле — форма + лишенное формы «вещество», или «субстанция», нашей метафоричности, нашему мыслительному пространству и нашему объективизированному времени. Все это, как мы уже видели, относится к языку.

Философские взгляды, наиболее традиционные и характерные для «западного мира», во многом основываются на двучленной формуле — форма + содержание. Сюда относится материализм, психофизический параллелизм, физика — по крайней мере в ее традиционной — ньютоновской — форме и дуалистические взгляды на вселенную в целом. По существу сюда относится почти все, что можно назвать «твердым, практическим, здравым смыслом». Монизм, холизм и релятивизм во взглядах на действительность близки философам и некоторым ученым, но они с трудом укладываются в рамки «здравого смысла» среднего западного человека не потому, что их опровергает сама природа (если бы это было так, философы бы открыли это), но потому, что, для того чтобы о них говорить, требуется какой-то новый язык. «Здравый смысл», как показывает само название, и «практичность», название которой ничего не показывает, составляют содержание такой речи, в которой все легко понимается. Иногда утверждают, что ньютоновские пространство, время и материя ощущаются всеми интуитивно, в то время как относительность приводится как доказательство того, как математический анализ опровергает интуицию. Данное суждение, не говоря уже о его несправедливости по отношению к интуиции, является попыткой, не задумываясь, ответить на первый вопрос, поставленный в начале этой работы, и ради которого было предпринято данное исследование. Изложение соображений и наблюдений почти исчерпано, и ответ, я думаю, ясен. Импровизированный ответ, возлагающий всю вину за нашу медлительность в постижении таких тайн космоса, как, например, относительность, на интуицию, является ошибочным. Правильно ответить на этот вопрос следует так: ньютоновские понятия пространства, времени и материи не есть данные интуиции. Они даны культурой и языком. Именно из этих источников и взял их Ньютон.

Наше объективизированное представление о времени соответствует историчности и всему, что связано с регистрацией фактов, в то время как представление хопи о времени противоречит этому. Представление хопи о времени слишком тонко, сложно и постоянно развивается, оно не дает готового ответа на вопрос о том, когда «одно»

событие кончается и «другое» начинается. Если считать, что все, что когда-либо произошло, продолжается и теперь, но обязательно в форме, отличной от того, что дает память или запись, то ослабляется стремление изучать прошлое. Настоящее же не записывается, а рассматривается как «подготовка». А наше объективизированное время вызывает в представлении что-то вроде ленты или свитка, разделенного на равные отрезки, которые должны быть заполнены записями. Письменность, несомненно, способствовала нашей языковой трактовке времени, даже если это последнее направляло использование письменности. Благодаря этому взаимобмену между языком и всей культурой мы получаем, например:

1. Записи, дневники, бухгалтерию, счетоводство, математику, стимулированную счетом.

2. Интерес к точной последовательности — датировку, календари, хронологию, часы, исчисление зарплаты по затраченному времени, измерение времени, время, как оно применяется в физике.

3. Летописи, хроники — историчность, интерес к прошлому, археологию, проникновение в прошлые периоды, как оно выражено в классицизме и романтизме.

Подобно тому как мы представляем себе наше объективизированное время простирающимся в будущем так же, как оно простирается в прошлом, наше представление о будущем складывается на основании записей прошлого, и по этому образцу мы вырабатываем программы, расписания, бюджеты. Формальное равенство якобы пространственных единиц, с помощью которых мы измеряем и воспринимаем время, ведет к тому, что мы рассматриваем «бесформенное явление» или «субстанцию» времени как нечто однородное и пропорциональное по отношению к какому-то числу единиц. Поэтому стоимость мы исчисляем пропорционально затраченному времени, что приводит к созданию целой экономической системы, основанной на стоимости, соотнесенной со временем: заработная плата (количество затраченного времени постоянно вытесняет количество вложенного труда); квартирная плата, кредит, проценты, издержки по амортизации и страховые премии. Конечно, это некогда созданная обширная система продолжала бы существовать при любом лингвистическом понимании времени, но сам факт ее создания, обширность и та особая форма, которая ей присуща в западном мире, находятся в полном соответствии с категориями языков SAE. Трудно сказать, возможна была бы или нет цивилизация, подобная нашей, с иным лингвистическим пониманием времени; нашей цивилизации присущи определенные лингвистические категории и нормы поведения, складывающиеся на основании данного понимания времени, и они полностью соответствуют друг другу. Конечно, мы употребляем календари, различные часовые механизмы, мы пытаемся все более и более точно измерять время, это помогает науке, и наука в свою очередь, следуя этим, хорошо разработанным путям, возвращает культуре непрерывно растущий арсенал приспособлений, навыков и ценностей, с помощью которых



культура снова направляет науку. Но что находится за пределами этой спирали? Наука начинает находить что-то во вселенной, что не соответствует представлениям, которые мы выработали в пределах этой спирали. Она пытается создать новый язык, чтобы с его помощью установить связь с расширившимся миром.

Ясно, что особое значение, которое придается «экономии времени», вполне понятное на фоне всего вышесказанного и представляющее очевидное выражение объективизации времени, приводит к тому, что «скорость» приобретает высокую ценность, и это отчетливо проявляется в нашем поведении.

Влияние данного понимания времени на наше поведение заключается еще и в том, что характер однообразия и регулярности, присущей нашему представлению о времени как о ровно вымеренной безграничной ленте, заставляет нас вести себя так, как будто это однообразие присуще и событиям. Это еще более усиливает нашу косность. Мы склонны отбирать и предпочитать все то, что соответствует данному взгляду, мы как будто приспособливаемся к этой установившейся точке зрения на существующий мир. Это проявляется, например, в том, что в своем поведении мы исходим из ложного чувства уверенности, верим в то, что все всегда будет идти гладко, и не способны предвидеть опасности и предотвращать их. Наше стремление подчинить себе энергию вполне соответствует этому установившемуся взгляду, и, развивая технику, мы идем все теми же привычными путями. Так, например, мы как будто совсем не заинтересованы в том, чтобы помешать действию энергии, которая вызывает несчастные случаи, пожары и взрывы, происходящие постоянно и в широких масштабах. Такое равнодушие к непредвиденному в жизни было бы катастрофическим в обществе, столь малочисленном, изолированном и постоянно подвергающемся опасностям, каким является, или, вернее, являлось, общество хопи.

Таким образом, наш лингвистически детерминированный мыслительный мир не только соотносится с нашими культурными идеалами и установками, но захватывает даже наши, собственно, подсознательные действия в сферу своего влияния и придает им некоторые типические черты. Это проявляется, как мы видели, в небрежности, с какой мы, например, обычно водим машины, или в том, что мы бросаем окурки в корзину для бумаги. Типичным проявлением этого влияния, но уже в несколько ином плане, является наша жестикуляция во время речи. Очень многие из жестов, характерных по крайней мере для людей, говорящих по-английски, а возможно и для всей группы SAE, служат для иллюстрации, с помощью движения в пространстве, по существу не пространственных понятий, а каких-то внепространственных представлений, которые наш язык трактует с помощью метафор мыслимого пространства: мы скорее склонны сделать хватательный жест, когда мы говорим о желании поймать ускользающую мысль, чем когда говорим о том, чтобы взяться за дверную ручку. Жест стремится передать метафору, туманное высказывание сделать

более ясным. Но если язык, имея дело с непространственными понятиями, обходится без пространственной аналогий, жест не сделает непространственное понятие более ясным. Хопи очень мало жестикулируют, а в том смысле, как понимаем жест мы, они не жестикулируют совсем.

Казалось бы, кинестезия, или ощущение физического движения тела, хотя она и возникла до языка, должна сделаться значительно более осознанной через лингвистическое употребление воображаемого пространства и метафорическое изображение движения. Кинестезия характеризует две области европейской культуры — искусство и спорт. Скульптура, в которой Европа достигла такого мастерства (так же как и живопись), является видом искусства в высшей степени кинестетическим, ярко передающим ощущение движения тела. Танец в нашей культуре выражает скорее наслаждение движением, чем символику или церемонию, а наша музыка находится под сильным влиянием формы танца. Этот элемент «поэзии движения» в большой степени проникает и в наш спорт. В состязаниях и спортивных играх хопи на первый план ставится, пожалуй, выносливость и сила выдержки. Танцы хопи в высшей степени символичны и исполняются с большой напряженностью и серьезностью, но в них мало движения и ритма.

Синестезия, или возможность восприятия с помощью органов какого-то одного чувства, явлений, относящихся к области другого, например восприятие цвета или света через звуки, и наоборот, должна была бы сделаться более осознанной благодаря лингвистической метафорической системе, которая передает непространственное представление с помощью пространственных терминов, хотя, вне всяких сомнений, она возникает из более глубокого источника. Возможно, первоначально метафора возникает из синестезии, а не наоборот, но, как показывает язык хопи, метафора не обязательно должна быть тесно связана с лингвистическими категориями. Непространственному восприятию присуще одно, хорошо организованное чувство — слух, обоняние же и вкус менее организованны. Непространственное восприятие — это главным образом сфера мысли, чувства и звука. Пространственное восприятие — это сфера света, цвета, зрения и осязания, и оно дает нам формы и измерения. Наша метафорическая система, называя непространственные восприятия по образцу пространственных, приписывает звукам, запахам и звуковым ощущениям, чувствам и мыслям такие качества, как цвет, свет, форму, контуры, структуру и движение, свойственные пространственному восприятию. Этот процесс в какой-то степени обратим, ибо, если мы говорим: высокий, низкий, резкий, глухой, тяжелый, чистый, медленный звук, нам уже нетрудно представлять пространственные явления как явления звуковые. Так, мы говорим о «тонах» цвета, об «однотонном» сером цвете, о «кричащем» галстуке, о «вкусе» в одежде — все это составляет обратную сторону пространственных метафор. Для европейского искусства характерно нарочитое

обыгрывание синестезии. Музыка пытается вызвать в воображении целые сцены, цвета, движение, геометрические узоры; живопись и скульптура часто сознательно руководствуются музыкально-ритмическими аналогиями; цвета ассоциируются по аналогии с ощущениями созвучия и диссонанса. Европейский театр и опера стремятся к синтезу многих видов искусства. Возможно, именно таким способом наш метафорический язык, который неизбежно несколько искажает мысль, достигает с помощью искусства важного результата — создания более глубокого эстетического чувства, ведущего к более непосредственному восприятию единства, лежащего в основе явлений, которые в таких разнообразных и разрозненных формах даются нам через наши органы чувств.

## ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Как исторически создается такое сплетение между языком, культурой и нормами поведения? Что было первичным? Нормы языка или нормы культуры?

В основном они развивались вместе, постоянно влияя друг на друга. Но в этом взаимовлиянии природа языка является тем фактором, который ограничивает свободу и гибкость этого взаимовлияния и направляет его развитие строго определенными путями. Это происходит потому, что язык является системой, а не просто комплексом норм. Структура большой системы поддается существенному изменению только очень медленно, в то время как во многих других областях культуры изменения совершаются сравнительно быстро. Язык, таким образом, отражает массовое мышление; он реагирует на все изменения и нововведения, но реагирует слабо и медленно, в то время как в сознании производящих эти изменения это происходит моментально.

Возникновение комплекса язык — культура SAE относится к древним временам. Многие из его метафорической трактовки непространственного посредством пространственного утвердилось в древних языках, в частности в латыни. Это даже можно назвать отличительной чертой латинского языка. Сравнивая его, скажем, с древнееврейским языком, мы видим, что если для древнееврейского языка и характерно некоторое отношение к непространственному как к пространственному, — для латыни это характерно в большей степени. Латинские термины для непространственных понятий, как-то: *educio*, *religio*, *principia*, *comprehendo*, — это обычно метафоризованные физические понятия: вывести, связывать и т. д. Это относится не ко всем языкам, это совсем не относится к хопи. Тот факт, что в латыни направление развития шло от пространственного к непространственному (отчасти вследствие столкновения интеллектуально неразвитых римлян с греческой культурой, давшего новый стимул к абстрактному мышлению) и что более поздние языки стремились подражать латинскому, способствовал, возможно, появлению теории, которой еще и теперь придерживаются

некоторые лингвисты, что это естественное направление семантического изменения во всех языках, а также явился причиной твердо укоренившегося в западных научных кругах убеждения (которое не разделяется учеными Востока), что объективные восприятия первичны по отношению к субъективным. Некоторые философские доктрины представляют убедительные доказательства в пользу противоположного взгляда, и, конечно, иногда процесс идет в обратном направлении. Так можно, например, доказать, что в хопи слово, обозначающее «сердце», является поздним образованием, созданным от корня, означающего «думать» или «помнить». То же самое происходит со словом «radio» (радио), если мы сравним значение слова «radio» (радио) в предложении «He bought a new radio» (Он купил новое радио) с его первичным значением «Science of wireless telephony» (Наука о беспроводной телефонии).

В средние века влияние языковых категорий, уже выработанных в латыни, стало переплетаться со все увеличивающимся влиянием изобретений в механике, влиянием торговли и схоластической и научной мысли. Потребность в измерениях в промышленности и торговле, склады и грузы материалов в различных контейнерах, типовые вместилища для разных товаров, стандартизация единиц измерения, изобретение часового механизма и измерение «времени», ведение записей, счетов, хроник, рост математики и соединение прикладной математики с наукой — все это, вместе взятое, привело наше мышление и язык к их современному состоянию.

В истории хопи, если бы мы могли прочесть ее, мы нашли бы иной тип языка и иной характер взаимовлияния культуры и окружающей среды. Мирное земледельческое общество, изолированное географически положением и врагами-кочевниками, обитающее на земле, бедной осадками, земледелие на сухой почве, способное принести плоды только в результате чрезвычайного упорства (отсюда то значение, которое придается настойчивости и повторению), необходимость сотрудничества (отсюда та роль, которую играет психология коллектива и психологические факторы вообще), зерно и дождь как исходные критерии ценности, необходимость усиленной подготовки и мер предосторожности для обеспечения урожая на скудной почве при неустойчивом климате, ясное сознание зависимости от угодной природе молитвы и религиозное отношение к силам природы, особенно молитва и религия, направленные к вечно необходимому благу — дождю, — все это, взаимодействуя с языковыми нормами хопи, формирует их характер и мало-помалу создает определенное мировоззрение.

Чтобы подвести итог всему вышесказанному относительно первого вопроса, поставленного вначале, можно, следовательно, сказать так: понятия «времени» и «материи» не даны из опыта всем людям в одной и той же форме. Они зависят от природы языка или языков, благодаря употреблению которых они развились. Они зависят не столько от какой-либо одной системы (как-то: категории

времени или существительного) в пределах грамматической структуры языка, сколько от способов анализа и обозначения восприятий, которые закрепляются в языке как отдельные «манеры речи» и которые накладываются на типические грамматические категории так, что подобная «манера» может включать в себя лексические, морфологические, синтаксические и т. п., в других случаях совершенно несовместимые средства языка, соотносящиеся друг с другом в определенной форме последовательности.

Наше собственное «время» существенно отличается от «длительности» у хопи. Оно воспринимается нами как строго ограниченное пространство или иногда как движение в таком пространстве и соответственно используется как категория мышления. «Длительность» у хопи не может быть выражена в терминах пространства и движения, ибо именно в этом понятии заключается отличие формы от содержания и сознания в целом от отдельных пространственных элементов сознания. Некоторые понятия, явившиеся результатом нашего восприятия времени, как например понятие абсолютной одновременности, было бы или очень трудно или невозможно выразить в языке хопи, или они были бы бессмысленны в восприятии хопи и были бы заменены какими-то иными, более приемлемыми для них понятиями. Наше понятие «материи» является физическим подтипом «субстанции» или «вещества», которое мыслится как что-то бесформенное и протяженное, что должно принять какую-то определенную форму, прежде чем стать формой действительного существования. В хопи, кажется, нет ничего, чтобы соответствовало этому понятию; там нет бесформенных протяженных элементов; существующее может иметь, а может и не иметь формы, но зато ему должны быть свойственны интенсивность и длительность — понятия, не связанные с пространством и в своей основе Однородные.

Но как же следует рассматривать наше понятие «пространства», которое также включалось в первый вопрос? В понимании пространства между хопи и SAE нет такого отчетливого различия, как в понимании времени, и, возможно, понимание пространства дается в основном в той же форме через опыт, независимый от языка. Эксперименты, проведенные структурной психологической школой (*Gestaltpsychologie*) над зрительными восприятиями, как будто уже установили это, но понятие пространства несколько варьируется в языке, ибо как категория мышления<sup>1</sup> оно очень тесно связано с параллельным использованием других категорий мышления, таких, например, как «время» и «материя», которые обусловлены лингвистически. Наш глаз видит предметы в тех же пространственных формах, как их видит и хопи, но для нашего представления о пространстве характерно еще и то, что оно используется для обозначения таких непространственных отношений, как время, интенсивность, направленность; и для обозначения вакуума, на-

<sup>1</sup> Сюда относятся «ньютоновское» и «евклидово» понятия пространства и т. п.

полняемого воображаемыми бесформенными элементами, один из которых может быть назван «пространство». Пространство в восприятии хопи не связано психологически с подобными обозначениями, оно относительно «чисто», т. е. никак не связано с непространственными понятиями.

Обратимся к нашему второму вопросу. Между культурными нормами и языковыми моделями есть связи, но нет корреляций или прямых соответствий. Хотя было бы невозможно объяснить существование Главного Глашатая отсутствием категории времени в языке хопи, вместе с тем, несомненно, наличествует связь между языком и остальной частью культуры общества, которое этим языком пользуется. В некоторых случаях «манеры речи» составляют неотъемлемую часть всей культуры, хотя это и нельзя считать общим законом, и существуют связи между применяемыми лингвистическими категориями, их отражением в поведении людей и теми разнообразными формами, которые принимает развитие культуры. Так, например, значение Главного Глашатая, несомненно, связано если не с отсутствием грамматической категории времени, то с той системой мышления, для которой характерны категории, отличающиеся от наших времен. Эти связи обнаруживаются не столько тогда, когда мы концентрируем внимание на чисто лингвистических, этнографических или социологических данных, сколько тогда, когда мы изучаем культуру и язык (при этом только в тех случаях, когда культура и язык сосуществуют исторически в течение значительного времени) как нечто целое, в котором можно предполагать взаимозависимость между отдельными областями, и если эта взаимозависимость действительно существует, она должна быть обнаружена в результате такого изучения.

## VI. СОВЕТСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ в 20-е и 30-е годы

Впервые десятилетия после Октябрьской революции в советском языкознании можно выделить несколько направлений, осуществлявших исследовательскую работу на разных теоретических принципах. Все они, однако, в большей или меньшей степени были объединены общей задачей построения марксистского языкознания, хотя само понимание путей его построения было у них неоднородным. По сути говоря, вопрос о сущности методологических основ марксистского языкознания был основным в многочисленных и часто горячих дискуссиях первых двух десятилетий советского языкознания. В качестве основных участников этой дискуссии, стремившихся отстоять свои теоретические положения не столько голословными декларациями, сколько конкретной исследовательской практикой, следует назвать следующие направления: Во-первых, большую группу крупных языковедов, иногда весьма последовательно, а иногда с некоторыми индивидуальными видоизменениями продолжавших традиции Московской и Казанской школ (Д. Н. Ушаков, В. А. Богородицкий, Г. А. Ильинский, М. М. Покровский, С. П. Обнорский, А. М. Селищев, Е. Д. Поливанов, М. Н. Петерсон, М. В. Сергиевский, А. М. Пешковский и др.). В области методической они в основном отстаивали принципы традиционного сравнительно-исторического языкознания.

Во-вторых, создателя «нового учения» о языке, или яфетидологии, Н. Я. Марра и его последователей. Это направление резко порвало с научной традицией науки о языке, объявив ее «буржуазной», и на основе вульгарно трактуемых «материалистических» положений сделало попытку создать совершенно оригинальную лингвистическую концепцию.

В-третьих, ученика Н. Я. Марра и продолжателя его работы по выработке теоретических принципов «нового учения» о языке — И. И. Мещанинова, деятельность которого (а также и примыкающих к нему лингвистов) характеризуется отказом от крайних выводов Н. Я. Марра, отходом от многих его принципиальных положений и стремлением найти пути примирения с некоторыми направлениями советского и зарубежного языкознания.

В-четвертых концепцию Л. В. Щербы. Ученик И. А. Бодуэна де Куртене в петроградский период его деятельности, Л. В. Щерба в послеоктябрьское время своей научной деятельности развивает ряд интересных и плодотворных идей, обе-

спечивающих ему самостоятельное положение в советской науке о языке. Школа Л. В. Щербы, имеющая большое количество последователей, оказала значительное влияние на последующее формирование советского языкознания.

Наряду с этими главными направлениями существовали также и иные, деятельность которых либо была очень непродолжительна и малопродуктивна, либо была представлена весьма тесным кругом языковедов. Промежуточное в теоретическом отношении (между традиционным языкознанием и яфетидологией) положение занимала чрезвычайно воинственная, но быстро распавшаяся группа «Языкофронт» или «Языковедный фронт» (Г. Д. Данилов, Я. В. Лоя, Рамазанов и др.). Положения социологической школы нашли отражение в деятельности Р. О. Шор (см., в частности, ее книгу «Язык и общество», Москва, 1926). Заслуживает упоминания также Опояз (Общество изучения теории поэтического языка, существовавшее с 1914 по 1923 г.). Само по себе оно не оказало сколько-нибудь заметного влияния на формирование советского языкознания. Но некоторые его члены, переселившиеся в Чехословакию, способствовали созданию Пражского лингвистического кружка и возникновению функциональной лингвистики.

Ввиду того что в настоящем разделе внимание сосредоточивается на основных направлениях советского языкознания 20 — 30-х годов, только они и представлены работами и извлечениями из работ соответствующих авторов.

Первое из названных направлений, несомненно, было наиболее плодотворным в данный период и дало значительное количество основательных исследовательских работ. В этих работах дело не сводится лишь к простому приложению принципов Московской и Казанской школ к изучению вновь вовлекаемого материала (в первую очередь русского языка); в них осуществляется дальнейшее совершенствование и развитие этих принципов. Вместе с тем выдвигаются новые проблемы (в этой связи, в частности, следует упомянуть дискуссию об описательном языкознании и о внедрении его в качестве особой дисциплины в вузовское преподавание) и происходило творческое осмысление тех вопросов, которые находились в центре внимания мировой науки о языке того времени. Первое (дискуссия об описательном языкознании) находит свое отражение в статье А. М. Пешковского «Объективная и нормативная точка зрения на язык», а второе (проблемы общего языкознания в истолковании рассматриваемого периода) — в статье Г. О. Винокура «О задачах истории языка» (данная работа была опубликована в 1941 г., но фактически отражает положение в советском языкознании 30-х годов). Наконец, представители этого, направления вели острую борьбу за принципы сравнительно-исторического языкознания с «яфетической теорией». Эта сторона их деятельности, пожалуй, наиболее яркое выражение находит в также приводимой ниже полемической статье Е. Д. Поливанова.

Александр Матвеевич Пешковский (1878 — 1933) сам называл грамматические системы Потебни и Фортунатова в качестве фундамента своих теоретических построений. Объединение этих двух научных традиций с наибольшей ясностью ощущается в основном и широко известном труде А. М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» (1-е издание в 1914 г.; 3-е издание, 1928 года, сильно переработано под влиянием взглядов А. А. Шахматова). В этом труде он поставил перед собой задачу «обнять возможно большее число синтаксических явлений современного литературного языка» и без всякого сомнения успешно ее выполнил, собрав «сокровищницу тончайших наблюдений над русским языком» (Л. В. Щерба).

Грамматические работы А. М. Пешковского отличаются оригинальностью мысли и характеризуются исключительной тонкостью анализа. Он выступал в защиту положения о целостности системы языка («Язык не составляется из элементов, а дробится на элементы. Первичными для создания фактами являются не самые простые, а самые сложные, не звуки, а фразы... Поэтому нельзя, собственно, определять слово как совокупность морфем, словосочетание как совокупность слов, а фразу как совокупность словосочетаний. Все определения должны быть выстроены в обратном порядке») и против внезапных трансформаций языка («Язык не делает скачков»). А. М. Пешковский всячески подчеркивал «консервативность» (т. е. устойчивость) и нормативность языка (собственно, доминирование парадигматического аспекта над синтагматическим) и обосновывал этим необходимость создания описательного языкознания.



Большой заслугой А. М. Пешковского является исследование грамматической функции интонаций. Много внимания уделял он вопросам стилистики и орфографии (см. сборники: «Методика родного языка, лингвистика, стилистика, поэтика», 1925; «Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики», 1930, а также работу «Принципы и приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы», 1927).

Особо следует оговорить огромную работу А. М. Пешковского в области методики преподавания русского языка, где ему принадлежат не только теоретические работы (см. указанные выше сборники), но и большое количество школьных учебников.

Григорий Осипович Винокур (1896 — 1947) — разносторонний ученый, одинаково продуктивно работавший в области лингвистики и литературоведения и стремившийся слить их в комплексную науку. Научная деятельность Г. О. Винокура в основном направлялась на изучение истории русского литературного языка (опубликованная им в 1943 г. работа «Русский язык. Исторический очерк» по сути представляет собой историю русского литературного языка) и проблемы разграничений стилей языка и стилей художественных произведений.

С полным основанием Г. О. Винокура можно назвать основателем лингвистической стилистики в советской науке о языке. «Смело можно утверждать, — писал в 1959 г. С. Г. Бархударов, — что относящиеся сюда работы его принадлежат к числу лучших исследований, опубликованных в этой области советскими языковедами в течение последних двадцати пяти — тридцати лет» (см. сборник его статей «Культура языка», 1-е издание, 1925 г., 2-е издание, 1929 г.). Большие заслуги принадлежат Г. О. Винокуру также в области русского словообразования, изучения орфографии русских письменных памятников древнейшего периода, в словарной работе (в качестве составителя и члена Главной редакции однотомного словаря русского языка и руководителя работы по составлению словаря языка Пушкина).

Обладая широким лингвистическим кругозором и хорошо зная современную ему зарубежную лингвистику, Г. О. Винокур написал ряд работ по теории языкознания, касаясь общелингвистической проблематики (как, например, во включенной в настоящую книгу работе «О задачах истории языка») или давая оценку отдельным лингвистическим направлениям (например, в работе о менталистах и механистах в американском языкознании). Сборник его наиболее интересных работ выпущено Учпедгизом в 1959 г. (Г. О. Винокур «Избранные работы по русскому языку»).

Евгений Дмитриевич Поливанов (1890 — 1937) был не только лингвистом-теоретиком, но и одаренным японистом, китаеведом и тюркологом, создавшим в каждой из этих областей своей работы значительное количество оригинальных и отличающихся богатством мыслей и материалов трудов. Лингвистическая концепция Е. Д. Поливанова во многом складывалась под влиянием И. А. Бодуэна де Куртене, но включила также много элементов социологического направления, ряд положений которого он фактически превосхитил в своих многочисленных статьях.

Основные положения своей лингвистической концепции Е. Д. Поливанов излагал как в своих общезыковедческих книгах («Конспект лекций по введению в языкознание и общей фонетике», Пг., 1916, переиздано в 1923 г. под названием «Лекции по введению в языкознание и общей фонетике», Берлин, Гос. изд. РСФСР; «Введение в языкознание для востоковедных вузов», Л., 1928; «За марксистское языкознание». Сборник статей, М., 1931), так и в работах, посвященных исследованию конкретных языков (заслуживает упоминания факт, что он был автором одной из первых сопоставительных грамматик — «Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком», Ташкент, 1933). В соответствии со взглядами Е. Д. Поливанова, «целевая установка, т. е. то, для чего и ради чего язык существует, — это именно лишь коммуникация, необходимая для связанного кооперативными потребностями коллектива». Отсюда он делает вывод, что «явления языка, т. е. речевого общения, становятся в один ряд с такими видами человеческой деятельности, как письмо, сигнализация, радиотелеграфия и т. д.». Е. Д. Поливанов был одним из наиболее резких противников яфетидологии, в борьбе с которой он стремился доказать, что все достижения сравнительно-исторического

языкознания должны стать достоянием советского языкознания. При этом он многократно подчеркивал, что целью исторического изучения языков должно быть не голое описание фактов, их изменения (что было особенностью младограмматиков), а вскрытие причин этих изменений. Для Е. Д. Поливанова характерно было понимание языка как динамического явления. «Так как, — писал он, — ни один момент языковой истории не выпадает из общей линии без остановочной диалектической эволюции языковых фактов, мы должны встретить в любую эпоху языковой истории, а следовательно, и в современном нам языке ряды неразрешенных диалектических противоречий и уж в силу этого вынуждены рассматривать относящиеся сюда явления не в чисто статическом (описательном) аспекте, но именно как явления текущие и переходные — между некой исходной точкой (в прошлом) и синтетическим разрешением противоречивой характеристики данного явления (в будущем)». В порядке усовершенствования методов традиционного сравнительно-исторического языкознания он полагал необходимым включить в нее новейшие теории и методы. Так, например, по его мнению, «понятие «языкового союза» ... оказывается тем самым именно понятием, которым должна быть пополнена традиционная историческая (генеалогическая) классификация языков для того, чтобы удовлетворить запросам современного социологического языкознания». В своей многосторонней деятельности Е. Д. Поливанов уделял также много внимания прикладному, или практическому, аспекту языкознания, участвуя в составлении описательных грамматик, словарей, учебников, методических пособий и письменностей ряда языков народов СССР.

Создатель яфетидологии, или «нового учения» о языке, Николай Яковлевич Марр (1864 — 1934) в своих многочисленных и написанных чрезвычайно трудным, запутанным языком трудах (большая их часть собрана в пятитомном издании «Избранных работ», Л., 1933 — 1937; высказывания по теоретическим вопросам языкознания даны в книге «Вопросы языка в освещении яфетической теории», Л., 1933) стремился создать совершенно оригинальную и независимую от «буржуазного» языкознания лингвистическую концепцию. Фактически, однако, многие элементы его концепции заимствованы у зарубежных ученых (В. Вундта, Г. Шухардта, А. Тромбетти, Г. Асколи, Л. Леви-Брюля и др.), хотя и представлены в новом облике и в сопровождении весьма широковежательной и левой фразеологии. Его чрезвычайно энергичная организационная и научная деятельность нашла значительное количество учеников и последователей, так как в своем общем принципе (но отнюдь не в действительном воплощении) соответствовала актуальной необходимости создания науки о языке, основывающейся на принципах диалектического материализма.

Научная деятельность Н. Я. Марра как лингвиста (он был также и выдающимся археологом) протекала в двух направлениях. Первое из них — критическое — было направлено на ниспровержение принципов традиционного языкознания и на доказательство неспособности его служить делу «языковой политики» и исследовательской практике советского языкознания. Другое направление было связано с формулированием основных теоретических положений «нового учения» о языке, которые постоянно в его работах видоизменялись и так и не получили своего окончательного определения. В общей форме они сводятся к следующему. Язык есть надстроечная категория и поэтому общенародный язык — фикция, он может существовать только в виде некоторой совокупности классовых языков. До возникновения звукового языка существовали язык жестов и ручной язык, а звуковой язык зародился позднее, уже в классовом обществе, в среде магов, и первоначально выполнял магические функции, служа средством общения с племенными тотемами. Все языки мира укладываются в линию единого глоттогонического (языкотворческого) процесса и берут свое начало от первоначальных четырех элементов (*сал, бер, ион, рош*), которые можно посредством соответствующего анализа найти и во всех современных языках. В своем развитии языки располагаются на различных стадиях единого глоттогонического процесса (стадиальная классификация языков), и, в частности, яфетические языки представляют собой не замкнутое семейство или группу языков, а такого рода стадию, прохождение которой обязательно для всех языков. Переход языков из одной стадии в другую происходит скачкообразно, как внезапный процесс, являясь следствием скрещения языков (что является причиной всех языковых изменений) и отражая

вместе с тем смену социально-экономических формаций. При скрещивании языков и скачкообразном переходе в следующую стадию единого глоттогонического процесса всегда возникает «новое качество», т. е. совершенно новый язык. Такое понимание развития языков исключает возможность классификации их по генетическому принципу, и единственным средством для прослеживания прошлых стадийальных состояний языков является семантика, так как только в ней оказывается возможным обнаружить следы стадийального прохождения языков и наслоения различных идеологий, обусловленных соответствующими социальными формациями. В соответствии с этим на первое место в науке о языке выступает семантика, в противоположность формальному анализу фонетических и морфологических явлений традиционного языкознания.

Метод, лингвистического анализа, предложенный Н. Я. Марром, не мог найти широкого применения в силу своей полной произвольности. Таким образом, фактически яфетидология, с одной стороны, выполняла ограничительные функции, всячески препятствуя тому, чтобы советские языковеды не впали в грех компаративизма, с другой стороны, выдвигала общетеоретические положения, большую часть которых, однако, никак не удавалось воплотить в конкретно-лингвистические исследования. Создался несомненный тупик, выход из которого стремился найти ученик Н. Я. Марра — И. И. Мещанинов, научная и организационная деятельность которого представляет уже несомненно особое направление в советском языкознании. Правда, лингвистическая концепция И. И. Мещанинова оформлялась постепенно и с наибольшей ясностью проявилась в 40-е годы, когда были опубликованы такие его работы, как «Члены предложения и части речи»-(1945), «Глагол» (1948), но основы ее стали ясны и ранее (в частности, в книге «Общее языкознание», 1940) и поэтому уместно говорить о нем и в настоящем разделе.

Хотя И. И. Мещанинов повторял наиболее общие формулировки своего учителя, в действительности он ушел в сторону от многих его теоретических положений и во всяком случае от выдвинутого им метода лингвистического исследования. И. И. Мещанинов стремился обнаружить точки соприкосновения отдельных положений «нового учения» о языке с теориями зарубежного языкознания и тем самым найти какие-то пути примирения. Так, проблема единства глоттогонического процесса приняла у него форму проблемы типологических сопоставлений языков (в историческом плане) и типологической классификации языков. Критика; традиционных сравнительно-исторических методов лингвистического исследования все более подменялась требованием выйти из тесного круга хорошо изученных семейств языков и включить в научное изучение малообследованные языки с многообразными структурными качествами. Учение Н. Я. Марра об идеологическом характере языка и ведущей роли семантики в процессах языковых трансформаций сузилось до проблемы роли понятийных категорий в становлении; семантических и грамматических категорий языка и т. д. По самому своему характеру изучаемые И. И. Мещаниновым проблемы (особое место в его исследованиях: занимал вопрос о доминирующей роли синтаксиса при формировании частей речи), хотя и требовали исторического подхода, нуждались в совершенно новой исследовательской методике уже и потому, что рассмотрение их осуществлялось в широком контексте культуроведческих категорий. Поэтому работы И. И. Мещанинова были посвящены в такой же степени конкретной лингвистической проблематике, как и поискам нового исследовательского метода, пригодного для разрешения новых языковедческих задач.

Лев Владимирович Щерба (1880 — 1944) — последний по времени крупный советский языковед, создатель оригинальной лингвистической концепции. Хотя сам он многократно подчеркивал свою зависимость от И. А. Бодуэна де Куртене, однако в действительности он был настолько самобытным лингвистом, что относить его к Казанской школе можно только условно. Его педагогическая и научная деятельность связана в основном с Ленинградским университетом.

Так же как и для его учителя, для Л. В. Щербы характерна широта исследовательских интересов. Он занимался общими проблемами морфологии и лексики, в частности взаимоотношениями лексических и грамматических категорий, словообразованием, фонетикой и фонологией, синтаксисом и лексикографией и в» всех этих областях языкознания оставил заметный след.

К языку он подходит как к системе (однако его понимание системы языка отличалось от сосюрковского — см. включенные в книгу работы) и на основании этого подхода устанавливает ряд противоположений лексики и грамматики (в работе «О частях речи в русском языке», 1928). Обе эти стороны, по его мнению, противопоставляются друг другу: 1) как система слов («Лексика представляет собой систему слов, из которых по правилам грамматики и самой лексики строится наша речь») и совокупность средств, с помощью которых выражаются отношения между словами и строятся новые слова («Грамматика представляет собою репертуар средств, посредством которых... по определенным правилам выражаются отношения между самостоятельными предметами мыслей и... образуются новые слова»), 2) как знаменательные элементы строевым (причем в строевые могут входить не только грамматические, но и некоторые лексические элементы) и 3) как единичное типовому.

На основе этих общих положений Л. В. Щерба создает свое учение о лексико-грамматических разрядах слов и новое членение грамматики (1-е — правила словообразования, 2-е — правила формообразования, 3-е — активный и пассивный синтаксис, 4-е — фонетика, 5-е — лексические и грамматические категории).

В области синтаксиса Л. В. Щербе принадлежит теория синтагм как предельных и основных синтаксических единиц (синтагма — это «фонетическое единство, выражающее единое смысловое целое в процессе речи — мысли и могущее состоять из слова, словосочетания и даже группы словосочетаний»). В фонетике им разработано новое понимание фонемы и ее вариантов (см. «Фонетика французского языка», 1937; здесь же изложена и теория синтагм).

Л. В. Щерба указал новые пути изучения лексики и заложил основы научной лексикографии — см. его предисловие к составленному под его редакцией «Русско-французскому словарю» (1940) и работу «Опыт общей теории лексикографии» (1940).

#### ЛИТЕРАТУРА

Бархударов С. Г., Г. О. Винокур. Вступительная статья к книге Т. О. Винокура «Избранные работы по русскому языку», Учпедгиз, 1959.

Белов А. И., А. М. Пешковский как лингвист и методист, Учпедгиз, 1958.

Бернштейн С. И., Основные понятия грамматики в освещении А. М. Пешковского. Вступительная статья к книге А. М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении», изд. 6-е, Учпедгиз, 1938.

Виноградов В. В., Общелингвистические и грамматические взгляды академика Л. В. Щербы. Сб. «Памяти академика Л. В. Щербы», Л., 1951.

Иванов Вяч. Вс., Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова, «Вопросы языкознания», 1957, № 3.

Сталин И. В., Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1951.

**ОБЪЕКТИВНАЯ И НОРМАТИВНАЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ЯЗЫК<sup>1</sup>**

Объективной точкой зрения на предмет следует считать такую точку зрения, при которой эмоциональное и волевое отношение к предмету совершенно отсутствует, а присутствует только одно отношение — познавательное. Ни чувство, ни воля, конечно, не исчезают при этом, но они как бы переливаются целиком в; познание. Человек не хочет ничего от изучаемого предмета ни для себя, ни для других, а он хочет только его познать. Он не испытывает от него самого ни удовольствия, ни неудовольствия, а испытывает только величайшее удовольствие от его познания. Так как эмоционально-волевое отношение тесно связано с оценкой предмета, то отсутствие оценки — первый признак объективного рассмотрения предмета. Такова точка зрения наук математических и естественных. Понятия прогресса и совершенства абсолютно невозможны в математических науках. В естественных науках они, правда, уже имеют применение, но в чисто эволюционном смысле. Когда говорят, что цветковые растения совершеннее папоротников, папоротники совершеннее листовых мхов и т. д., то имеют в виду только то, что первые *сложнее* вторых, что в них части (органы и клетки) более *дифференцированы*, а никак не то, что первые в каком-либо отношении *лучше* вторых. При телеологическом миропонимании (которое само по себе, конечно, ни принципиально, ни фактически не враждует с натурализмом, а, напротив, часто сочетается с ним в одно органическое целое, это большая сложность, правда, расценивается как большее приближение к мировому идеалу: прогресс природы связывается с прогрессом человечества. Но, во-первых, самый критерий оценки берется и здесь не из эмоционально-волевого запаса оценивающего, а из объекта наблюдения, а затем, что важнее всего, в самый процесс познания эта оценка абсолютно не вмешивается. В прикладных отраслях естествознания мы встречаемся уже с прямой оценкой предметов изучения, с делением их на хорошие и плохие («полезные» и «вредные» растения и животные), но критерий «совершенства» здесь еще

<sup>1</sup> Сборник «Русский язык в школе», вып. I, 1923.

пока *общечеловеческий*. Понятия пользы и вреда берутся в элементарном, чисто материальном, «зоологическом» смысле, не могущем вызвать разногласий ни у каких двух представителей вида *homo sapiens*. Поэтому по отношению к отдельной личности эта точка зрения еще остается объективной, хотя по отношению ко всему человечеству она уже явно субъективна (для самого себя, конечно, всякое животное и растение полезно). Наконец, переходя к гуманитарным наукам, мы вступаем в область неизбежного и, быть может, даже необходимого субъективизма, и притом субъективизма, в собственном смысле слова, т. е. *индивидуального, личного*. В самом деле, ни одна из гуманитарных наук (кроме, может быть, психологии, если ее брать в строго эмпирическом отрыве от философии) не может обойтись без понятия прогресса, притом уже не только в эволюционном смысле, но и в культурно-историческом, а потому и неизбежно *этическом*. От этического идеала и от этической оценки изучаемого не может отказаться (и фактически не отказывается вплоть до ультраэволюционного в теории и ультраэтического на практике марксизма) ни одно направление гуманитарной мысли. А единого этического идеала у человечества пока что нет. Следовательно, здесь субъективная оценка фактов вытекает из самой сути дела.

Если подходить к науке о языке с этим различием субъективного и объективного, как оно намечено выше, то языковедение окажется наукой не гуманитарной, а *естественной*. Понятие языкового прогресса в нем целиком заменяется понятием языковой эволюции. Если в начальном периоде нашей науки и были оживленные споры о преимуществах тех или иных языков или групп языков друг перед другом (например, синтетических перед аналитическими), то в настоящее время эти споры приумолкли. Совершенно так же, как зоолог и ботаник в конце концов вынуждены признать *каждое* животное и растение совершенством в своем роде, в смысле идеального приспособления к окружающей среде, так же и современный лингвист признает *каждый* язык совершенным применительно к тому национальному духу, который в нем выразился. И не только к целым языкам, но и к отдельным языковым фактам лингвист, как таковой, может относиться в настоящее время только объективно-познавательным. Для него нет в *процессе изучения* (заранее подчеркиваю это условие ввиду всего последующего) ни «правильного» и «неправильного» в языке, ни «красивого» и «некрасивого», ни «удачного» и «неудачного» и т. д., и т. д. В мире слов и звуков для него нет правых и виноватых. Как пушкинский «дьяк в приказах поседельный», он

Спокойно зрит на правых и виновных,  
Добру и злу внимая равнодушно,  
Не ведая ни жалости, ни гнева...

с той лишь разницей, что и в конечном итоге он ни одного факта не, осудит, а лишь *изучит*. Эта точка зрения, для современного линг-

виста сама собой подразумевающаяся, столь чужда широкой публике, что я считаю не лишним иллюстрировать это объективное отношение на отдельных конкретных примерах, чтобы читатель видел, что оно возможно по отношению ко всякому языковому факту, хотя бы даже вызывающему глубокое негодование или гомерический смех у каждого интеллигента, в том числе и у лингвиста вне его исследовательских задач.

Прежде всего по отношению ко всему народному языку (т. е., напр., для русиста ко *всему* русскому языку, кроме его литературного наречия) у лингвиста, конечно, не может быть той наивной точки зрения неспециалиста, по которой все особенности народной речи объясняются *порчей* литературного языка. Ведь такое понимание приводит к взгляду, что народные наречия образуются из литературных, а этого в настоящее время не допустил бы в сущности и ни один профан, если бы он хоть на одну минуту задержался мыслью на предмете, по которому принято скользить. Слишком уж очевидно, что и до возникновения литератур существовали народы, что эти народы на каких-то языках говорили и что литературы при своем зарождении могли воспользоваться только этими языками и ничем другим. Таким образом, современные, напр., русские наречия и говоры есть для лингвиста только потомки более древних наречий и говоров русских, эти последние — потомки еще более древних и т. д., и т. д., вплоть до самого момента распада русского языка на наречия и говоры, а литературное наречие есть лишь одно из этих областных наречий, обособившееся в своей истории, испытывавшее благодаря своей «литературности» более сложную эволюцию, вобравшее в себя целый ряд чужеродных элементов и зажившее своей особой, в значительной мере неестественной, с точки зрения общих законов развития языка, жизнью. Понятно, что народные наречия и говоры не только не могут игнорироваться при таких условиях лингвистом, а, напротив, они для него и составляют главный и наиболее захватывающий, наиболее раскрывающий тайны языковой жизни объект исследования, подобно тому как ботаник всегда предпочтет изучение луга изучению оранжереи. Таким образом, какое-нибудь «вчера» будет для него не испорченным «вчера», а образованием чрезвычайно древнего типа, аналогичным древнецерковнославянскому «днесь» («дньсь»), древнерусскому и современному «здесь» («сьдесь»), современным народным: «летось», «лонись», «ономнясь» и другим, составившимся из родительного падежа слова «вечер» с особой формой основы («вьчера») и указательного местоимения «сь» (равн. современному «сей», ср. аналогичные французские образования «сесі» и «сela»); какое-нибудь «купалси», «напилен» не будет испорченным «купался», «напился», а будет остатком чрезвычайно древнего-(общеславянского и, м. б., даже балтийско-славянского) образования возвратной формы с дательным падежом возвратного местоимения (древнерусское и древнецерковнославянское «си»=себе); какие-нибудь «пекёт», «текёт», «бегит», «сидю», «вию», «пустю» не

вызовут в нем улыбки, а наведут его на глубокие размышления о влиянии 1-го лица ед. числа на остальные лица всех чисел и об обратных влияниях последних на 1-е, об удельном весе того и других в процессе языковых ассоциаций и т. д. Есть, конечно, в народных говорах и не самородные факты, а заимствованные из литературного наречия, которое в силу своих культурных преимуществ всегда оказывает крупное влияние на народные говоры. Сюда относятся такие факты, как «сумлеваюсь», «антиресный», «дилехтор», «я человек увлекающий», «выдающие новости» и т. д. На первый взгляд уж эти-то факты как будто должны определиться как «искажения» литературной речи. Но и тут наука подходит к делу с объективной меркой и определяет их как факт смешения языков и наречий (в данном случае местного с литературным), находя в каждом отдельном факте смешения свои закономерные черты («сумлеваюсь» — народная этимология, «дилехтор» — диссимиляция плавных и т. д.) и рассматривая само смешение как один из наиболее общих и основных процессов языковой жизни. Когда при мне переврали раз название нашей науки, окрестив ее «языконоведением», я тотчас занес этот факт в свою записную книжку как яркий и интересный пример так наз. контаминации, т. е. слияния двух языковых образов (языковедение — законоведение) в один смешанный. Всевозможные индивидуальные дефекты речи, картавенье, шепелявенье и т. д., проливают иногда глубокий свет на нормальные фонетические процессы и привлекают к себе не меньший интерес лингвиста, чем эти последние. Совершенно случайные обмолвки открывают иной раз глубокие просветы в области физиологии и психологии речи. Даже чисто искусственные факты постановки человеком неверного ударения на слове, которое он узнает только из книг («роман», «портфель»), дают интересный материал для суждения о языковых ассоциациях данного индивида. Когда меня спросили на юге, как надо говорить: «верноподданнический» или «верноподданический», я отметил у себя оба факта для последующего размышления о них.

Такова объективная точка зрения на язык. Как видит читатель, она диаметрально противоположна обычной, житейско-школьной точке зрения, в силу которой мы над каждым языковым фактом творим или по крайней мере стремимся творить суд, суд «скорый» и зачастую «неправый» и «немилостивый». Мы или признаем за фактом «право гражданства» или присуждаем его сурово к вечному изгнанию из языковой сферы. Суд этот обычно бывает пристрастнейшим из всех судов на земле, так как судья руководится прежде всего собственными привычками и вкусами, а затем смутным воспоминанием о каких-то усвоенных на школьной скамье законах — «правилах». Но, во всяком случае, он убежден, что для каждого языкового случая такие правила существуют, что все, чего он не доучил в школе, имеется в полных списках, хранящихся в недоступных для профана местах, у жрецов грамматической науки, и что последние только составлением этих списков «живота



и смерти» и занимаются. Так как это убеждение в существовании объективной, общеобязательной «нормы» для каждого языкового явления и необходимости этой нормы для самого существования языка составляет самую характерную черту этого обычного житейско-интеллигентского понимания языка, то мы и назовем эту точку зрения нормативной. И нашей ближайшей задачей будет исследовать происхождение этой точки зрения как вообще в гражданской жизни, так и, в частности и по преимуществу, в школе.

Когда человеку, относившемуся к языку исключительно нормативно, случается столкнуться с подлинной наукой о языке и с ее объективной точкой зрения, когда он узнает, что объективных критериев для суждения о том, что «правильно» и что «неправильно», нет, что в языке «все течет», так что то, что вчера было «правильным», сегодня может оказаться «неправильным», и наоборот; когда он вообще начинает постигать язык как самодовлеющую, живущую по своим законам, величественную стихию, тогда у него легко может зародиться отрицательное и даже ироническое отношение к своему прежнему «нормативизму» и к задачам нормирования языка. И чем наивнее была его прежняя вера в существование норм, тем бурнее может оказаться, как у всякого новообращенного, его новое отрицание их. От такого поверхностно-революционного отношения к нормативной точке зрения я решительнейшим образом должен предостеречь читателя. Ближайший анализ покажет, что для литературного наречия наивный нормативизм интеллигента-обывателя, при всех его курьезах и крайностях, есть единственно жизненное отношение, а что выведенный из объективной точки зрения квиетизм был бы смертным приговором литературному наречию.

Прежде всего при ближайшем рассмотрении оказывается, что среди многих отличий литературного наречия от естественных, народных наречий и языков как раз самым существенным, прямо, можно сказать, конститутивным, является именно это стремление говорящего так или иначе нормировать свою речь, говорить не просто, а как-то. В естественном состоянии языка говорящий не может задуматься над тем, как он говорит, потому что самой мысли о возможности различного говорения у него нет. Не поймут его — он перескажет, и даже обычно другими словами, но все это совершенно «биологически», без всякой задержки мысли на языковых фактах. Крестьянину, не бывшему в школе и избежавшему влияния школы, даже и в голову не может прийти, что речь его может быть «правильна» или «неправильна». Он говорит, как птица поет. Совсем другое дело человек, прикоснувшийся хоть на миг к изучению литературного наречия. Он моментально узнает, что есть речь «правильная» и «неправильная», «образцовая» и отступающая от «образца». И это связано с самым существованием и с самым зарождением у народа литературного, т. е. образцового, наречия. И зарождается-то оно как «лучшее», как язык *преобладающего* в каком-либо отношении (не всегда

литературном, а и политическом, религиозном, коммерческом и т.д.) племени и *преобладающих* в тех же отношениях классов, как язык, который *надо* для успеха на жизненном поприще усвоить, заменив им свой, доморощенный, житейский язык, т. е. как некая норма. Существование языкового идеала у говорящих — вот главная отличительная черта литературного наречия с самого первого момента его возникновения, черта, в значительной мере создающая самое это наречие и поддерживающая его во все время его существования. С точки зрения естественного процесса речи, с точки зрения, так сказать, физиологии и биологии языка, эта черта совершенно неестественна. Если сравнить речь с другими привычными процессами нашего организма, например с ходьбой или дыханием, то «говорение» интеллигента будет так же отличаться от говорения крестьянина, как ходьба по канату от естественной ходьбы или как дыхание факира от обычного дыхания. Но эта-то неестественность и оказывается как раз уел о в .нем существования литературного наречия.

Присмотримся поближе к основным чертам этого литературно-языкового идеала. Первой и самой замечательной чертой является его поразительный консерватизм, равного которому мы не встречаем ни в какой другой области духа. Из всех идеалов это единственный, который лежит целиком позади. «Правильной» всегда представляется речь старших поколений, предшествовавших литературных школ. Ссылка на традицию, на прецеденты, на «отцов» есть первый аргумент при попытке оправдать какую-либо шероховатость. Нормой признается то, что было, и отчасти то, что есть, но отнюдь не то, что будет. Сама по себе нормативность не связана с неподвижностью норм. В области права мы имеем пример норм, еще более принудительных и в то же время как раз подвижных, произвольно и планомерно изменяемых. Не то в языке. Здесь норма есть идеал, раз навсегда уже достигнутый, как бы отлитый на веки вечные. Это сообщает литературным наречиям особый характер постоянства по сравнению с естественными наречиями, мешает им эволюционировать в сколько-нибудь заметных размерах. Современный образованный итальянец легко читает Данте, современный же итальянский крестьянин вряд ли бы разобрался в языке родной деревни XIII в. Если в языке «все течет», то в литературном наречии это течение заграждено плотиной нормативного консерватизма до такой степени, что языковая река чуть ли не превращена в искусственное озеро. Нетрудно видеть, что этот консерватизм не случаен, что он тесно связан опять-таки с самым существованием литературного наречия и литературы. Разговорный язык может меняться в каком угодно темпе, и беды не произойдет, потому что мы говорим с отцами нашими и дедами, но не далее. Читая Пушкина, мы уже говорим с прадедом, а для англичанина, читающего Шекспира, и для итальянца, читающего Данте, это «пра» удесятерится. Если бы литературное наречие изменялось быстро, то каждое поколение могло бы пользоваться лишь литера-

турой своей да предшествовавшего поколения, много двух. Но при таких условиях не было бы и самой литературы, так как литература всякого поколения создается всей предшествующей литературой. Если бы Чехов уже не понимал Пушкина, то, вероятно, не было бы и Чехова. Слишком тонкий слой почвы давал бы слишком слабое питание литературным росткам. Консерватизм литературного наречия, объединяя века и поколения, создает возможность единой мощной многовековой национальной литературы.

Второй особенностью литературно-языкового идеала является то, что этот идеал всегда местный. Мы все стараемся говорить не только, как говорили наши отцы, но и как говорят в Москве, в частности на сцене Малого и Художественного театров. Взоры и слух всех французов обращены на небольшую площадку сцены *Comedie Française*. Эта особенность, опять-таки связанная с самой сущностью и происхождением литературного наречия (наречие возобладавшего племени, занимавшего определенную территорию), оказывается в культурно-историческом отношении не менее важной. Если языковой консерватизм объединяет народ во времени, то равнение на языковой центр (Москва, Париж и т. д.) объединяет народ территориально. Основным свойством языковой эволюции признается в современном языкознании дифференциация языков, в силу которой всякий говор стремится обособиться от других говоров, распасться в свою очередь на говоры и сделаться наречием, всякое наречие стремится сделаться языком, всякий язык — целой языковой группой родственных языков и т. д. Словом, здесь эволюция совершенно аналогична эволюции животного и растительного мира и протекает целиком по дарвиновской схеме, по принципу «расхождения признаков»: разновидности делаются видами, виды — родами и т. д. Так в естественном состоянии, но опять-таки не так при существовании литературного наречия. Литературное наречие не только объединяет различные части народа, говорящие на разных наречиях, как межрайонное, понятное всюду, оно и непосредственно воздействует на местные наречия и говоры, нивелируя их своим влиянием и задерживая процесс дифференциации. А на такое непосредственное воздействие одна литературная, книжная традиция без живого, звучащего в национальном центре образца вряд ли оказалась бы способной. Говоря популярно, если бы рязанцы, туляки, калужане и т. д. не прислушивались бы к Москве, у них на месте нынешних наречий и говоров образовались бы в скорости свои рязанский, тульский, калужский и т. д. языки и национальности, и с русской национальностью было бы покончено. Притягивая ребенка, посредством нормирования его языка, к национальному центру — Москве, школьный учитель охраняет внутреннее, духовное единство нации, как солдат на фронте охраняет территориальное единство ее. И насколько эта охрана еще важнее военной, ясно из того, что территориальное распадение не исключает возможности последующего слияния, а духовное распадение — навеки.

Все, о чем я говорил до сих пор, касается той стороны литературно-языкового идеала, которая определяется понятиями «правильного» и «неправильного». Но ведь, кроме правильности, мы требуем от речи и многого другого. Из этого другого я коснусь здесь только того, чего мы все требуем от себя и от других, всегда и везде, требуем так же неумолимо, как правильности, именно ясности речи. Наш собеседник может говорить плоско, худосочно, неизобразительно, растянуто, неточно даже — мы со всем этим будем мириться. Но, если он будет говорить не понятно, мы просто прекратим разговор. Мне могут возразить, что понятность требуется и в естественной речи, что она есть необходимое условие всякой речи как процесса социального и что в этом отношении известного рода «норма» рисуется в уме даже дикаря: говорящий непонятно представится ему именно ненормальным. Но дело в том, что в естественном состоянии языка на норме этой никогда не приходится настаивать и даже не случается о ней подумать. В естественном состоянии все, кроме сумасшедших и сумасшедствующих (колдуны, шаманы, заклинатели), говорят понятно. Даже в нашей деревне говорят непонятно только придурковатые да те, которые хотят «свою образованность показать» (т. е. задетые уже литературным наречием). В литературном наречии, напротив, все всегда и везде говорят в той или иной степени *непонятно*. Это может показаться парадоксом, но я прошу вспомнить любое собрание, любой доклад, любой спор. Разве не обращаются всегда к докладчику с просьбой *разъяснить* то или иное положение (причем вопросы обличают зачастую *полное* непонимание вопрошателей), разве не занимаемся мы в наших спорах преимущественно выяснением того, что мы *«хотим сказать»* или *«хотели сказать»*, и разве не расходимся в результате всех этих выяснений часто глубоко непонятными и непонимающими? Я прошу вспомнить, сколько времени тратится в наших спорах на действительное выяснение истины и сколько на устранение словесных недоразумений, на уговор о значении слов (это все в лучшем случае, когда спорящие не просто твердят каждый свое, а стараются понять друг друга); прошу вспомнить, сколько времени тратится юристами на выяснение смысла того или иного свидетельского показания, того или иного закона; прошу вспомнить, сколько людей в науке, в поэзии, в философии, в религии заняты исключительно толкованием чужих мыслей, выраженных подчас самими творцами как будто бы классически ясно и просто, но тем не менее всегда создающих целый ряд «толков», сект, течений, направлений и т. д.; прошу все это вспомнить — и читатель согласится со мной, что *затрудненное понимание* есть необходимый спутник литературно-культурного говорения. Дикари просто «говорят», а мы все время что-то «хотим» сказать. Мы, как слепцы, ищем с протянутыми руками друг друга в воздухе. Каждый вполне понимает только свою собственную речь. Эта создает усиленный спрос на ясность в литературном наречии. Чем непонятнее культурные люди вынуждены говорить

(почему — об этом ниже), тем понятнее они хотят говорить. После правильности ясность следует считать наиболее общепризнанной, наиболее интенсивно сознаваемой нами чертой нашего литературно-языкового идеала. Самая правильность даже оценивается нами так высоко в сущности как необходимое условие ясности.

Ряд предыдущих сопоставлений первобытных условий жизни языка с культурными, вероятно, привел уже читателя к догадке, что «непонятность» литературного наречия для самих говорящих на нем обуславливается общей сложностью культурной жизни. Но я все-таки проанализирую здесь, в чем состоит эта сложность с чисто лингвистической точки зрения, чтобы показать, что повышенные по сравнению с естественным состоянием заботы о ясности наравне с заботами о правильности являются необходимым условием самого существования литературного наречия.

Еще Пауль<sup>1</sup> в свое время показал, что естественная речь (конечно, и разговорно-литературная, поскольку она одной стороной своей примыкает к естественной) по природе своей эллиптична, что мы всегда не договариваем своих мыслей, опуская из речи все, что дано обстановкой, или предыдущим опытом разговаривающих. Так, за столом мы спрашиваем: «Вам кофе или чай?»; встретив знакомого, спрашиваем: «Ты куда?»; услышав надоевшую музыку, говорим: «Опять!»; предлагая воду, скажем: «Кипяченая, не беспокойтесь!»; видя, что перо у собеседника не пишет, скажем: «А вы карандашом!» и т. д. Такие случаи, когда подающий воду говорит: «Это кипяченая вода», или следящий за письмом говорит: «А вы пишете карандашом», принадлежат, несомненно, к более редким. Язык по природе экономен в средствах. Нетрудно видеть, что эта экономия возможна только при двух, уже указанных выше условиях: 1) общности обстановки (обеденный стол, вода, писание) и 2) общности предыдущего опыта (музыка). Каждая из вышеприведенных фраз сама по себе совершенно непонятна и может иметь бесконечное количество значений в зависимости от этих двух фактов. Карандашом можно не только писать, им можно заткнуть отверстие, подрисовать брови, растолочь обратной стороной кристалл и т. д., и т. д. Фраза «А вы карандашом!» может иметь соответственно этому огромное количество значений. Точно так же вопрос: «Вам кофе или чай?» — имеет в устах хозяйки одно значение, в устах встретившихся в магазине знакомых, делающих закупки, — другое, в устах лекторов по технологии, распределяющих между собой лекции о культурных растениях, — третье и т. д., и т. д. И все это мгновенно и без малейшего усилия понимается благодаря общей обстановке и общему опыту. Даже и наиболее недоговоренное из предыдущих примеров восклицание: «Опять!», могущее иметь уже поистине бесконечное количество значений, на практике всегда будет понято наиболее точным образом. Можно даже сказать, что точность и

<sup>1</sup> Н. Paul, Principien der Sprachgeschichte, 1880.

легкость понимания растут по мере уменьшения словесного состава фразы и увеличения ее бессловесной подпочвы. Чем меньше слов, тем меньше недоразумений. Это прямо приводит нас к причинам «непонятности» литературной речи. Чем «литературнее» речь, тем меньшую роль играет вне ее общая обстановка и общий предыдущий опыт говорящих. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить два полюса этой стороны речи: разговор крестьянина с женой об их хозяйстве и речь оратора на столичном митинге. Первые говорят только о том, что или перед их глазами или переживается ими сообща в течение всей жизни ежедневно; второй говорит обо всем, *кроме* этого. Обстановка в его речи совершенно отсутствует, а предыдущий опыт распадается на индивидуальные опыты тысячи съехавшихся со всего света лиц, объединенных только общностью человеческой природы. Во сколько же раз ему труднее быть понятым и во сколько раз больше он поэтому должен *стараться* говорить понятно! Всякий, кому случалось составлять уличное или газетное объявление о продаже пианино, прекрасно помнит, как он именно составлял его, а не просто писал, как он обдумывал каждое слово и как нередко он рвал черновики. Почему это? Потому, что трудность языкового общения растет прямо пропорционально числу общающихся, и там, где одна из общающихся сторон является неопределенным множеством, эта трудность достигает максимума. А во всякой печатной (т. е. собственно литературной) речи это именно так и есть: книги печатаются для неопределенного множества лиц. Понятно, что в противовес этой неизбежной затрудненности общения в культурном обществе должен был чисто биологически возникнуть культ слова, культ умения говорить, что для естественных условий звучит абсурдно. И если бы даже ни правописание наше, ни грамматика нашего литературного наречия сама по себе, ни словарь его не представляли никаких трудностей (предположение, конечно, фантастическое), мы все равно учились бы и учили бы родному языку в школе, потому что каждый из нас, как только он выйдет из пределов домашнего обихода, как только он заговорит о том, - чего нет и не было ранее перед глазами его собеседника, должен уметь говорить, чтобы быть понятым.

Основная и наибольшая часть этого умения говорить дается в школе. Жизнь мало сравнительно прибавляет к приобретенному в школе. Отсюда понятна колоссальная государственно-культурная роль постановки родного языка в школе, именно как предмета нормативного. Там, где дети усиленно учатся говорить, там взрослые не теряют бесконечного количества времени на отыскивание в словесном потоке собеседника основной мысли и не изливают сами таких потоков вокруг своих мыслей, там люди не оскорбляют друг друга на каждом шагу, потому что лучше понимают друг друга, там люди меньше судятся, потому что составляют более ясные

контракты, а если судятся, то по лучшим законам, потому что законодатели сами выучились в школе говорить и т. д., и т. д. Умение говорить — это то смазочное масло, которое необходимо для всякой культурно-государственной машины и без которого она просто остановилась бы. Если для общения людей вообще необходим язык, то для культурного общения необходим как бы язык в квадрате, язык, культивируемый как особое искусство, язык нормируемый.

Такова роль нормативного изучения родного языка в школе. Может возникнуть вопрос: а как же наука с ее объективной точкой зрения? Ведь нормативная точка зрения не научна. Мирится ли все это с насаждением языковой науки в школе, за которое мы все теперь так ратуем?

Не только мирится одно с другим, но и требует одно другого. Противоречие этих двух точек зрения только, как это мы тотчас увидим, мнимое.

Прежде всего, беря вопрос во внешкольном, широком масштабе, мы должны признать, что противоречие факта и идеала, сущего и должного, свойственно вообще нашей мысли во всех областях ее. И наука с жизнью давным-давно уже поделили между собой эти вещи: наука взяла себе «сущее», а жизнь — «должное»; там же, где «должное с очевидностью основывается на «сущем», создались специальные, промежуточные между жизнью и наукой сферы — прикладные, нормативные науки (нормативность метафизического свойства я здесь для простоты оставляю в стороне). Политическая экономия изучает законы хозяйственной жизни, как они даны самой жизнью, т. е. объективно, а экономическая политика направляет эту жизнь по желанному руслу, т. е. действует субъективно на основе объективных данных экономической науки. Наука о финансах изучает законы финансовой эволюции государства, а финансовая политика извлекает из этого изучения уроки для направления финансовой жизни государства по желательному пути и т. д., и т. д. И в других областях даже принято, чтобы практик был хоть немного и теоретиком, чтобы государственный деятель знал и историю, и политическую экономию, и финансовое право, и множество других вещей, которые ему не мешают, а, наоборот, помогают. В свою очередь, и теоретики постоянно вмешиваются в этих областях в сферу практики, дают советы, являются сторонниками определенных государственных мер соответственно своим *научным* симпатиям и убеждениям и т. д. Словом, наука изучает, жизнь творит, а мост между наукой и жизнью вполне налажен. Конечно, всякий ученый-экономист прекрасно знает, где он перестает быть политико-экономом и становится экономическим политиком, всякий финансовед знает, что он превращается в финансового деятеля, и всякий обыватель знает, где он из наблюдателя государственной, правовой, экономической и т. д. жизни (а наблюдает жизнь и изучает ее, конечно, всякий, и от научного изучения такое изучение отличается только несистематичностью и неме-

тодичностью) превращается в активного участника ее. Раздвоение наблюдения и действия во всех других областях, кроме языковой, так элементарно, что не требует даже размышлений. Напротив, в языке все так привыкли к действию и так далеки от наблюдения и изучения, что, внезапно распознав язык как предмет наблюдения и изучения, готовы забыть, что они непрестанные творцы того самого процесса, который наблюдают; и что эти две свои роли — роль наблюдателя и роль творца — каждый сам в себе должен разделить и в первой быть объективным, а во второй субъективным (насколько вообще допускает это такая объективная сфера, как язык). В начале статьи я все время подчеркивал, что лингвист, как таковой, не знает оценки языковых фактов, что для лингвиста в *процессе изучения* все факты хороши. Теперь, я надеюсь, мои подчеркивания ясны. Лингвист не как лингвист, а как участник языкового процесса, как член данной языковой общины, конечно, расценивает языковые факты наравне со всеми прочими образованными людьми, с той лишь разницей, что у него для этой расценки гораздо больше специальных знаний. И не только расценивает, но сплошь и рядом активной проповедью вмешивается в процесс языковой эволюции (хотя опять-таки подчеркиваю, что стихийность языковых явлений плохо мирится с индивидуальным вмешательством и придает ему всегда вид донкихотства). Точно так же и обыватель, поскольку он наблюдает язык и интересуется им (случай не частый, конечно), является частично лингвистом, а поскольку морщится от каких-нибудь «местов» или «делов» — языковым политиком, человеком, участвующим в нормировании речи.

В школе эти две стороны должны войти в теснейшее соприкосновение уже по одним методическим причинам. Изучение одних сухих «норм» высшей «литературности» без объяснения, откуда они взялись, насколько совпадают с разговорной действительностью и насколько отличаются от нее, было бы нестерпимо скучным. Это равнялось бы зубрению языкового «свода законов» без всякого юридического освещения, что, как известно, ни в одной юридической школе не практикуется. С другой стороны, одно наблюдение над языком без всякого практического применения этого наблюдения было бы, по крайней мере для школьника первой ступени, безусловно, не по плечу. Теоретический интерес должен поддерживаться практическим, практический — теоретическим. Ребенок должен отчетливо понимать, что он учится хорошо говорить, но что для того, чтобы этому научиться, надо прислушиваться к тому и подумать над тем, как люди говорят. Уже и в детском уме объективная и нормативная точки зрения должны прийти в должное равновесие и взаимодействие. Но для этого прежде всего надо, чтобы последнее твердо и стройно установилось в уме учителя, чему я и хотел посодействовать настоящим сообщением.



## **О ЗАДАЧАХ ИСТОРИИ ЯЗЫКА<sup>1</sup>**

Вся совокупность современных лингвистических исследований может быть разделена на две группы. К первой относятся такие исследования, которые изучают факты различных языков мира для того, чтобы определить общие законы, управляющие жизнью языков. Исследования этого рода, по самому своему заданию, не могут иметь никаких хронологических и этнических рамок. Чем больше языков привлечено к исследованию и чем разнообразнее эти языки, тем больше гарантий, что установленный закон имеет всеобщий характер, а не является лишь обобщением тех отдельных и случайных фактов, которые на этот раз оказались доступны наблюдению. Все языки мира, существующие сейчас или существовавшие ранее, получившие литературную обработку или служащие только средством устного бытового общения, общенациональные, международные или являющиеся только местными диалектами, представляют для исследований этого рода совершенно одинаковую ценность, потому что всюду, где есть язык, существуют и те общие законы языковой жизни, познание которых составляет цель исследования. Бесчисленное множество человеческих языков для исследований этого рода представляет собой известное единство: разные языки здесь понимаются как разные, исторически обусловленные, проявления одной и той же сущности — человеческого языка вообще. Цель такого исследования состоит не в том, чтобы установить наличность тех или иных явлений в том или ином языке или даже во многих языках, а в том, чтобы узнать, что всегда есть во всяком языке и каким образом одно и то же по-разному проявляется в разных языках. Конечные результаты подобных исследований учат нас, какие вообще возможны языки, что бывает в языках, какие факты случаются в жизни языков, но при этом все такие возможности и случайности представляются научному рассмотрению не как разрозненные явления, возникающие на поверхности исторической жизни народов, а как следствия и проявления общих закономерностей. Таким путем мы узнаем, например, из каких звуков может состоять человеческая речь, как эти звуки бывают организованы в языках разных типов, каким образом со-

<sup>1</sup> «Ученые записки Московского государственного педагогического института», т. V, вып. 1, 1941.

вершается переход одних звуков в другие в истории разных языков и т. д. В этом — конечная цель той области знания, которая во Франции именуется *la linguistique general* и которая, на мой взгляд, заслуживает просто названия лингвистики, науки о языке, в самом прямом и точном значении этого термина, если речь идет о лингвистике как самостоятельной науке со своим собственным и специфичным предметом.

Ко второй группе лингвистических исследований я отношу такие, предмет которых составляет какой-нибудь один отдельный язык или одна отдельная группа языков, связанных между собой в генетическом и культурно-историческом отношении. Принципиально безразлично, изучается ли один отдельный язык или несколько языков, взаимно связанных происхождением и культурной историей, потому что в последнем случае такая группа языков есть не что иное, как один язык в виде ряда диалектов. Исследование, посвященное группе славянских языков как таковых, т. е. выделенных в особую группу именно по этому признаку их общей принадлежности к славянскому языковому миру, естественно, достигает своей цели только при том условии, что все славянские языки, живые и мертвые, устные и письменные, обиходные и литературные, исследуются как нечто целое и единое, иначе непонятно было бы самое объединение этих языков в особый и самостоятельный предмет изучения. Нет никакого сомнения в том, что, например, все индоевропейское языкознание есть наука об *одном* языке и что это обстоятельство существенным образом, притом далеко не всегда положительно, отразилось на тех общих учениях о языке, которые возникали среди специалистов данной области. От исследований первой группы такие исследования, имеющие своим предметом отдельную идиому, отличаются тем, что познание именно этой избранной идиомы, в полноте ее конкретного исторического бытия, составляет для них конечную задачу. Эти исследования устанавливают не то, что «возможно», «бывает», «случается», а то, что реально, именно в данном случае есть, было, произошло. Разумеется, никакое лингвистическое исследование, в том числе и такое, которое посвящено отдельному языку, не может не пользоваться общими положениями лингвистики и непременно должно исходить из того, что вообще возможно в человеческих языках. Но для собственно лингвистических исследований такие общие положения составляют их конечную цель, между тем как для исследований в области одного языка эти общие положения служат лишь руководящими методическими указаниями. Обратное, те законы, которые устанавливаются для отдельной идиомы, разумеется, совсем не безразличны для лингвистики в собственном смысле этого термина. Но для нее такие законы служат лишь материалом ее собственных построений, потому что с точки зрения конечных задач науки о языке это только один из многих частных случаев, требующих совокупного анализа. Таким образом, на практике исследования обоих типов очень тесно переплетаются и часто между тем и другим направлением лингви-

стической работы невозможно провести отчетливую границу. Исследования в области отдельных языков питают собой общие лингвистические исследования и позволяют вносить все большую точность в формулирование общих лингвистических законов, а уточнение таких формулировок дает возможность и в отдельных языках увидеть то, что ранее оставалось в них незамеченным. В неизбежности этого вечного движения как раз и заключается залог бесконечного прогресса научного знания. Но все же от того, что одна наука направляет работу другой и в то же время сама пользуется материалом последней, обе науки не перестают быть разными науками и не теряют каждая своего особого индивидуального места в общей системе наук.

Совершенно очевидно, что так наз. общая лингвистика невозможна без исследований в области отдельных языков. Но это вовсе не значит, что задачи общей лингвистики исчерпываются составлением сводок из материалов разных языков, так как уже само по себе сопоставление подобных различных материалов рождает новые и специфичные проблемы, для возникновения которых исследование отдельных языков не представляет нужных условий. Точно так же ошибочно было бы думать, будто все значение исследований в области отдельных языков заключается в их служебной роли по отношению к задачам общей лингвистики. Доставляя последней необходимый материал, исследования в области отдельных языков в то же время решают такие проблемы, которые возникают только тогда, когда изучается какой-нибудь один язык, и которые не стоят и не могут стоять перед наукой о языке в специфическом смысле этого термина. Конечно, никому нельзя запретить заниматься исследованием только одного языка с исключительной целью оказывать в такой именно форме посильные услуги языкознанию. В любой научной области существует необходимость в работах вспомогательных и предварительных. Но, оставаясь на таком вспомогательно-служебном посту, не только нельзя самостоятельно решать задачи, возникающие перед общей лингвистикой, но нельзя также просто увидеть те специфичные задачи, которые в действительности должны определять собой содержание исследований, посвященных отдельному языку. Я имею в виду те задачи, которые возникают в силу того, что изучение отдельного языка, не ограничивающее себя вспомогательными и служебными целями, а желающее быть вполне адекватным предмету, непременно должно быть изучением истории данного языка.

Слово история в применении к языку может иметь разные оттенки значения, и в них необходимо разобраться. Обычным сделалось, напр., утверждение, что всякое изучение языка должно и может быть только историческим. Это утверждение в своей общей форме правильно, но оно имеет разный смысл, смотря по тому, какого рода изучение языка будем предполагать — изучение языков как частных, исторически известных обнаружений человеческого языка вообще, т. е. изучение, согласно с предыдущим, собствен-

но лингвистическое, или же изучение отдельной идиомы как индивидуального и своеобразного явления человеческой истории. Язык есть условие и продукт человеческой культуры, и поэтому всякое изучение языка неизбежно имеет своим предметом самую культуру, иначе говоря, есть изучение историческое. Но общие законы, которым подчинено культурное развитие человечества, проявляются в разных концах земного шара, среди разных человеческих коллективов, в зависимости от местных условий, настолько разновремененно и своеобразно, что конкретная история каждой отдельной культуры так же мало похожа на все остальные, как мало похож на остальные и созданный данной культурой язык. С другой стороны, всякое явление культуры, и, может быть, именно язык в особенности, обладает способностью сохранять свою раз возникшую материальную организацию в качестве пережитка очень долгое время после того» как закончился породивший его этап культурного развития. Поэтому если и можно говорить об общей истории человеческого языка вообще, то, очевидно, совсем не в том смысле, в каком мы говорим об истории турецко-татарских языков или одного османского. Нет сомнения в том, что каждая из засвидетельствованных исторически идиом представляет собой известную стадию в каком-то едином процессе формирования человеческого языка. Вполне понятно поэтому желание установить ту или иную связь между разными типами языковых структур и разными стадиями в развитии человеческой культуры, хотя бы практически эта задача часто представлялась невыполнимо трудной. Но так как смена культурных стадий вовсе не непременно предполагает смену языковых структур, потому что унаследованные от прошлого структуры очень легко приспособляются к новым условиям, то ни о какой конкретно-исторической и генетической преемственности между известными языковыми структурами в этом смысле думать не приходится. Предполагать иное было бы равносильно предположениям о том, что, напр., русский феодализм вырос из античного рабовладельческого общества, а английский капитализм — из китайского феодализма. Абсурдность таких предположений тем не менее ни в малой степени не колеблет той истины, что феодализм приходит на смену рабовладельческому строю и сам сменяется капитализмом. Очень возможно, — хотя и это еще нужно доказать точной интерпретацией точно установленных фактов, — что флективный строй языка пришел на смену тому строю, который представлен так наз. языками яфетическими, но это еще не означает, что отдельные индоевропейские языки связаны с отдельными яфетическими языками, реальной исторической преемственностью, что каждый из известных индоевропейских языков был когда-то яфетическим, а каждый из известных яфетических будет когда-нибудь индоевропейским. В смешении этих двух понятий историзма и в неизбежно следующих отсюда безудержных насилиях над эмпирическим материалом различных языков, как мне кажется, заключается основное заблуждение так наз. «нового учения о языке», разрабатываемого школой акад. Марра, хотя сама по себе идея

единого глоттогонического процесса, вдохновлявшая покойного ученого, при ином к ней подходе могла бы быть не только увлекательной, но и безупречной с методологической точки зрения. Таким образом, связь языкознания с историей остается несомненной, и общие лингвистические законы — это действительно исторические законы, но только сфера их действия — это не конкретная история конкретных человеческих коллективов, а общие отношения культурно-исторической типологии.

Совсем другое дело историзм такого лингвистического исследования, которое имеет своим предметом отдельный язык или, что то же, отдельное семейство языков. Отдельный язык есть индивидуальное и неповторимое историческое явление, принадлежащее к данной индивидуальной культурной системе, и он должен изучаться совершенно так же, как изучается всякий иной член этой системы, во всей полноте своих жизненных проявлений, отношений и связей. Как один из продуктов духовного творчества данного культурно-исторического коллектива, в общем случае — народа, язык стоит в одном ряду с письменностью, наукой, искусством, государством, правом, моралью и т. д., хотя и занимает в этом ряду своеобразное положение, так как одновременно он составляет и условие всех этих прочих культурных образований. Даже всецело оставаясь на почве одного языка, т. е. изучая данный язык исключительно ради него самого, а не для того, чтобы при помощи языка получить доступ к прочим явлениям культуры, находящим в языке свое выражение, мы уже изучаем тем самым соответствующую культуру, именно первую, и в известном отношении, может быть, самую важную главу ее истории. Исследователь отдельного языка является историком вовсе не только потому, что он нуждается в широком историческом контексте для объяснения установленных им фактов, а прежде всего потому, что предмет его собственных исследований, язык, — это тоже история, и уже сам по себе, наравне с другими историческими явлениями, участвует в создании этого общеисторического контекста. История народа без истории его языка в принципе так же не полна, как, например, без истории его государства или права. Таким образом, отношения между историей народа и его языком сложнее, чем предполагается ходячим афоризмом, по которому язык есть зеркало истории. Язык действительно отражает историю народа, но одновременно он и сам есть часть этой истории, одно из созданий народного творчества. Это значит, что изучение данного отдельного языка есть вовсе не только вспомогательная и техническая, но также прямая и непосредственная задача того, кто изучает вообще соответствующую культуру. Поэтому всякий языковед, изучающий язык данной культуры, тем самым хочет он этого или нет, непременно становится исследователем той культуры, к продуктам которой принадлежит избранный им язык. Материальная организация отдельных продуктов культуры специфична, и заниматься изучением языка без общей лингвистической подготовки так же невозможно, как невозможно изучать правовые

институты данного народа без общей юридической подготовки. Отсюда неизбежная специализация по отдельным областям культуры и разделение труда. Но, поскольку обсуждаются общие принципы науки, со всей решительностью нужно настаивать на том, что и при разделении труда между разными специалистами труд их остается все же общим. Поэтому общим должен быть и метод, хотя бы он и испытывал различные модификации, в зависимости от специфичности того материала, с которым имеет дело изучение отдельных явлений культуры. Общим, в частности, для всех глав науки о культуре является то условие, в силу которого мы говорим о них как об отдельных главах действительно одной науки, и притом такой, которая невозможна иначе, как именно история культуры. Разумеется, здесь речь идет об истории не в том понимании этого термина, которое объявляет историческим только то, что было и чего уже нет сейчас. Ведь если рассуждать последовательно, то все, случившееся секунду тому назад, есть тоже бывшее, и есть ли вообще при таких условиях какая-нибудь реальная возможность обозначить точную грань между бывшим и не-бывшим? Очевидно, это возможно только в том случае, если не-бывшее, в точном соответствии с объективным значением этого выражения, понимать как будущее. Поэтому единственная реальная грань, с которой может иметь дело наука истории, — это грань между тем, что уже осуществилось, что имеет конкретное жизненное воплощение, что можно наблюдать и постигать, хотя бы и не просто на улице, а только в музее, и тем, что еще не осуществилось, к чему можно стремиться или относиться с какими-нибудь мерами предосторожности, и что в лучшем случае можно только угадывать и предвидеть. Абсолютно неразрывная связь прошлого и настоящего легко уясняется из того простого соображения, что все существующее есть только видоизменение существовавшего. Только поэтому и возможно вообще историческое предвидение. То, что есть, не с неба свалилось, а подготовлено и рождено тем, что было, даже при том условии, если бывшее тем самым породило свое собственное отрицание. Вот почему никакое изучение наличного факта культуры не может не быть изучением генетическим, не может не ставить перед собой вопросов откуда и почему. Всякая попытка отнестись к своему предмету как к чему-то такому, что существует само по себе и не включает в самом себе неизбежно, хотя бы в качестве вполне отрицательного момента, того, чем это «что-то» было прежде, осуждает исследователя на изучение фикций вместо реальностей и потому ненаучна.

В применении к языку эта точка зрения требует некоторых специальных разъяснений. Во-первых, не мешает указать, что только по поводу отдельной идиомы ответы лингвиста на вопросы откуда и почему могут быть действительно реальными, конкретными, потому что на эти вопросы вообще можно отвечать только в том случае, если они предполагают какое-либо реальное культурно-историческое содержание. У русского языка есть известные отношения не только к языкам сербскому или латинскому, но также

например, и к языкам банту. Но в последнем случае эти отношения типологические, из изучения которых могут быть сделаны разнообразные выводы относительно закономерностей, существующих в области организации человеческих языков и относительно структурных связей между разными способами этой организации. Между тем отношения между русским языком и сербским или латинским — это уже не только типологическая, но также реальная генетическая проблема, и сходства и различия в строении этих языков получают надлежащее научное освещение лишь после того, как они будут поняты не только структурно, но и как следствия определенных исторических событий. Из различных наблюдений над разнообразными языками, положим, известно, что звук а краткое может изменяться и фактически изменяется в звук о краткое открытое. Но в применении к отношениям между латинским языком и славянскими подобная формулировка непременно предполагает, что такое звуковое изменение действительно произошло как реальное историческое событие, в определенную пору и в определенных исторических условиях, вследствие ли чисто физиологической эволюции данного звука или усвоения одного языка другим племенем, в обстановке ли переселения говорящих коллективов или какого-нибудь перелома в их бытовой или хозяйственной организации и т. п. Очень часто именно такого реально-исторического комментария к истории отдельных фактов той или иной идиомы мы как раз и не имеем, по причины этого — просто в мере наших знаний и в трудности задачи, в том, что наука еще «не дошла» до этого, но вовсе не в том, что она и не обязана или не хочет доходить до подобных, конечно, очень далеких границ исследования. Но перед собственно лингвистическим исследованием, задача которого состоит в том, чтобы найти общие законы, регулирующие жизнь языков, сопоставляющим, например, с этой целью русский язык и языки банту, подобные вопросы конкретного генезиса, действительно, даже и не возникают. Тут, действительно, можно сопоставлять все, что угодно, со всем, что угодно, но только тут.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на естественно вытекающее из предыдущего следствие, состоящее в том, что изучение языка в его современном состоянии есть в сущности тоже историческое изучение. Этот вывод может показаться странным и противоречащим действительному положению вещей. Так, например, в русском языкознании на глазах нашего поколения изучение современного языка обнаруживает заметную тенденцию обособиться от изучения русского языка в его прошлом, в качестве особой научной специальности. Однако это противоречие мнимое. Это можно утверждать даже несмотря на то, что указанная тенденция к обособлению изучения современного языка от изучения прошлых состояний того же языка, при данном уровне нашего лингвистического развития, содержит в себе также и положительную сторону. Все дело в том, что, хотя изучение современного языка есть непременно тоже изучение историческое, изучение так наз. истории

языка должно осуществляться в идеале как раз теми методами, которые наиболее отчетливое применение пока получают именно при изучении современного языка. Знаменитое учение де Соссюра о лингвистике «статической» и «диахронической» способно повести к очень большим недоразумениям, если следовать ему без должной критики и не отделить в нем зерно истины от ложных выводов. Совершенно неверно было бы думать, будто статическая лингвистика есть изучение непременно современного языка, а диахроническая — изучение истории языка. На самом деле и современный язык — это тоже история, а с другой стороны, и историю языка нужно изучать не диахронически, а статически. Разумеется, так можно говорить только в том случае, если толковать самое содержание этих терминов де Соссюра на свой лад. Так наз. статический метод де Соссюра требует изучения языка как цельной системы; иными словами, он предполагает одновременный анализ всех фактов языка, одновременно присутствующих в данной языковой системе как реальном орудии общения. Так как факты языка соотносительны и, например, нет звука *a*, пока нет звуков *e*, *o* и т. п., и функции звука *a* в данном строе языка могут быть совсем различны в зависимости от того, какие другие звуки противопоставлены звуку *a*, то указанное требование, вытекающее из рассуждений де Соссюра, безусловно и самое формулирование его останется вечной заслугой основателя Женевской школы. Но если отнестись к этому требованию серьезно, то нетрудно прийти к заключению, что оно сохраняет свою силу и тогда, когда мы изучаем язык не в его современном, а в прошлом состоянии. Очевидно, что и язык в его прошлом состоянии мы только тогда можем изучить как живую историческую реальность, когда будем видеть в нем цельную систему, в которой каждый отдельный элемент обладает известной функцией только в соотношении с прочими элементами. И вот здесь-то самое слабое место традиционной истории языка. В целом разработка истории языков в европейском языкознании остается еще на той стадии, когда изучается история, точнее было бы сказать — внешняя эволюция отдельных, изолированных элементов данного языка, а не всего языкового строя в целом. Сама по себе история звука *a* остается фикцией, пока не показано, как изменения этого звука отражаются на объективных функциях других звуков данной системы и как изменения других звуков меняют функции звука *a*, хотя бы этот звук может быть и не менялся никогда в своем качестве. Звук *у* в русском языке не заменялся никакими звуками с доисторической эпохи, но одно дело звук *у* в VII в., а другое дело звук *у* в XX в., хотя бы он сохранился сам по себе неизменным в тех же словах, в которых произносился тринадцать столетий тому назад. Между тем, разумеется, ни в одном пособии по истории русского языка нет главы под названием «история звука *у*». Из всего этого с непреложностью следует, что подлинная история языка должна быть непременно историей «статической» в том смысле, который объективно принадлежит этому термину де Соссюра, хотя самый



термин этот явно не пригоден и не выражает существа дела. Но если это так, то очевидно в каком-то ином смысле должно быть истолковано также понятие «диахронической» лингвистики. Содержание этого понятия уясняется из того, что языковая система изменяется и что вся вообще история языка есть последовательная смена языковых систем, причем переход от одной системы к другой подчинен каким-то закономерным отношениям. Следовательно, мало открыть систему языка в один из моментов его исторического существования. Нужно еще уяснить себе закономерные отношения этой системы к той, которая ей предшествовала, и к той, которая заступила ее место. В этом смысле, если угодно, можно говорить о «диахронии» языка, но, с другой стороны, совершенно ясно, что самое противопоставление «синхронии» и «диахронии» в языке есть противопоставление мнимое и не имеющее никакой почвы в исторической реальности.

Итак, если история языка хочет быть адекватной своему предмету и изучать реальность, а не абстракции, то она должна формулировать свою задачу следующим образом. В том историческом процессе, который представляет собой существование данного языка, должны быть выделены известные стадии, на каждой из которых изучаемый язык представляет собой систему, отличную от предыдущей и последующей. Каждая такая система должна быть изучена как реальное средство общения соответствующего времени и соответствующей среды, т. е. в исчерпывающей полноте тех внутренних связей и отношений, которые в этой системе заключены. Но так как каждая подобная система есть лишь видоизменение предшествующей и предварительная стадия последующей, то сама по себе она не может быть вскрыта, пока не уяснены закономерные отношения, связывающие ее с хронологически смежными системами. Жизнь языка не останавливается ни на минуту, и потому в каждом данном состоянии языка есть такие факты, которые с точки зрения более позднего состояния языка представляются его зародышем. Следовательно, в практическом исследовании невозможно изучать систему языка в отдельности от элементов разложения, в ней неизбежно заложенных, и, очевидно, только такое исследование полностью будет отвечать своей задаче, которое окажется способно показать, как рождение одной языковой системы одновременно кладет начало превращению ее в другую, и так до бесконечности. Но при всем этом ни в коем случае нельзя забывать, что язык есть часть или отдельный член общей культурной истории и что, следовательно, системы действуют, рождаются и разлагаются не в безвоздушном пространстве, а в определенной общественной среде, жизнь которой регулируется общими законами исторического процесса. Язык повинуется этим общим законам исторического развития не пассивно, а активно, т. е. как и всякая иная идеологическая форма, и сам в известных отношениях воздействует на историю, например на историю письменности, историю идей и т. д. В частности, и у внутреннего механизма языка есть свои собственные законы построе-

ния, от того или иного существа которых во многом зависят конкретные явления фактического развития языковой системы. Но движет этим механизмом все-таки не сам язык как некая имманентная автоматическая сила, а человеческое общество, осуществляющее в своих действиях свое, историческое назначение. Это значит, что конечный ответ на вопрос о характере и причинах языкового генезиса может быть получен только от культурной истории данного коллектива и что, следовательно, изучение отдельного языка, — иначе история языка, — есть наука культурно-историческая в абсолютно точном смысле этого термина.

Разумеется, все это только идеал и мало похоже на действительное состояние науки. Для осуществления этого идеала мало одного желания, а нужна еще громадная работа, которая вряд ли может быть сделана в короткое время и которая требует соответствующего общего лингвистического развития. Думаю все же, что это нисколько не мешает формулированию самого идеала, потому что как бы далеко ни находилась конечная цель пути, всегда нужно знать, куда идешь и куда хочешь идти. Самое важное заключается в том, что этот идеал — не беспредметная утопия и что фактическое развитие науки все равно с неизбежностью подготавливает его осуществление в более или менее отдаленном будущем, независимо от частных побуждений и намерений отдельных исследователей. В этом смысле нельзя, разумеется, ни одной минуты сомневаться в объективной научной ценности тех знаний и выводов, которыми наука истории языка, все равно какого, обладает уже и сейчас, так же как и в том, что без этих знаний и выводов, вообще никакая будущая наука истории языка попросту невозможна. Однако и независимо от того приуготовительного значения, которым обладает современная история языка по отношению к ее идеальным задачам, ее положения, а также и методы сохраняют самодовлеющее научное значение, но только, как мне представляется, не лингвистическое собственно. Ведь нельзя сказать, будто выяснение истории какого-нибудь отдельного звука или слова, взятого изолированно, не представляет само по себе известного научного знания, не говоря уже о том, что это необходимо знать для построения истории языковой системы в целом. Разумеется, и такое знание есть научное знание, имеющее самостоятельную ценность. Как знание языка, оно не может быть признано полноценным, потому что предмет этого знания абстрактен. Но столь же безусловно, что таким путем мы узнаем совершенно полноценные приметы, в которых нуждается, например, историческая этнография. Очень легко понять возражения современных лингвистов против таких работ, которые строятся на описании особенностей того или иного языка или диалекта. Язык, действительно, невозможно изучать по его особенностям, но изучать этнографически носителей данного диалекта по особенностям их речи не только можно, но и должно. По-видимому, именно такое значение объективно принадлежит современной диалектологии, в ее традиционных формах диалектографии и линг-

лингвистической географии, если отвлечься от их подсобного значения для истории языка. Современная диалектология, оставляя в стороне не получившие еще типического значения исключения, но включая и наиболее поздние ее достижения, как напр, диалектологический атлас, есть именно этнография, а поскольку она привлекает к делу исторические объяснения — историческая этнография, точно так же, как -и к области исторической этнографии славянства относится, напр., учение об истории носовых гласных в славянских языках, взятое изолированно от других проблем славянского языкового развития. Но и тут полезно еще раз напомнить себе, что этого рода материал, особенно, напр., в тех случаях, когда различные изменения носовых в различных славянских языках и диалектах понимаются как единый и цельный процесс, протекающий в определенных культурно-исторических условиях, объективно принадлежит к лингвистической истории языка, которая рано или поздно научится распоряжаться этим материалом в строгом соответствии со своими собственными и специфичными задачами.

Перехожу к вопросу о внутреннем построении истории языка как особой и своеобразной науки лингвистического и культурно-исторического содержания. Вряд ли нужно доказывать, что в идеале история языка должна быть полной историей языка, т. е. излагать свой предмет всесторонне. Иначе говоря, история языка не может быть только историей звуков или только историей звуков и форм и т. д. Это невозможно не только с внешней, формальной стороны, с точки зрения требований соблюдения полноты, но и по существу, потому что в реальной истории языковых систем история форм зависит от истории звуков, история слов зависит от истории звуков и форм и т. д. Так, напр., для истории слов русского литературного языка громадное значение имели некоторые фонетические процессы, пережитые славянством в доисторическую эпоху. Ясно, что история звуков русского языка не будет вполне адекватна предмету до тех пор, пока не будут указаны те следствия, которые возникали из нее для словарного состава русского литературного языка. Нет сомнения, что история языка должна заключать все те отделы, которые вообще предполагаются изучением языка, сообразно отдельным членам его структуры. Таких основных отделов должно быть три. Во-первых, язык представляет собой совокупность знаков, передающих известные идеи, т. е. обладающих так наз. вещественными значениями. Во-вторых, эти знаки представляют собой известного рода формы, т. е. обладают известным материальным: устройством, проявляющимся в тех структурных взаимоотношениях, которые создаются между отдельными знаками и их внутренними членениями в связной речи. В-третьих, как знаки идей-, так и образуемые ими формы материально различаются одни от других при помощи звуков речи, из которых они состоят. При изучении письменных языков прибавляется еще проблема буквенных знаков, при помощи которых звуки речи изображаются на письме, и это существенным образом модифицирует фонетическую проблему, но

далее я этого не оговариваю, молчаливо предполагая в соответствующих пунктах возможность особой орфографической дисциплины. Соответственно сказанному изучение языка делится на изучение слов как знаков, т. е. носителей вещественных значений, на изучение слов как форм и изучение звуков, т. е. на семасиологию, грамматику и фонетику. Первый из этих отделов сам состоит из трех подотделов. Во-первых, в нем изучаются части слов, функционирующие как знаки частичных идей, т. е. такие знаки, которые сами по себе не передают еще цельной идеи и выражают лишь их составные части, элементы, оттенки и т. п. и становятся выразителями цельных идей лишь в известных сочетаниях, осуществляющихся по определенным законам. Этот подотдел может быть назван учением о словообразовании. Во-вторых, в первом из названных трех отделов изучаются отдельные знаки цельных идей — это лексикология. В-третьих, в нем изучаются законы сочетания знаков цельных идей, что можно назвать фразеологией. Второй из основных отделов, грамматика, также делится на три подотдела. Во-первых, здесь должны быть изучены общие принципы построения форм, существующие в данном языке, — это морфология. Во-вторых, здесь изучаются законы сочетания слов как форм в связной речи — это задача синтаксиса. Но так как в большинстве языков известные классы слов выделяют в своем составе особые элементы, служащие специальными механизмами для сочетания слов в связной речи, то синтаксису этих языков должно предшествовать изучение таких механизмов, — это учение о словоизменении. Наконец, третий, основной отдел, фонетика, изучает звуки речи и все, что относится к их организации и функционированию в языке, как реальном орудии общения. Разумеется, излагаться эти отделы должны в обратном порядке, т. е. сначала фонетика, затем грамматика и в последнюю очередь семасиология, а все предложенное построение в целом может быть сведено в такую схему:

#### I. Звуки

Фонетика (для письменной речи — также орфография).

#### II. Формы

Грамматика:

а) Морфология (общее учение о словах как формах).

б) Словоизменение (учение об элементах, служащих для сочетания слов как форм).

в) Синтаксис (учение о законах сочетания слов как форм).

#### III. Знаки

Семасиология:

а) Словообразование (учение о частях слов как знаках частичных идей).

б) Лексикология (учение об отдельных словах как знаках полных идей).

в) Фразеология (учение о законах сочетания слов как таких знаков).

Так как язык с внешней стороны представляет собой физическую материю (звуки), а своей внутренней стороной, вещественными значениями, отражает предметы и понятия исторической действительности, то у тех отделов лингвистики, которые имеют своим предметом эти пограничные области языкового знака, существуют еще свои пропедевтические отделы, в которых соответствующий лингвистический материал обследуется со стороны своих внешних (с лингвистической точки зрения) качеств. Для фонетики такими пропедевтическими дисциплинами служат физиология и акустика звуков речи, а для семасиологии — лексикография, т. е. регистрация наличных словарных средств в их отношениях к обозначаемым вещам и понятиям.

К предложенной схеме нужно теперь сделать три дополнительных примечания. Первое из них касается понятия морфологии. Обычно слово «морфология» употребляется как общее название, объединяющее проблемы словоизменения и словообразования. Но такое объединение придает внешность единого предмета явлениям, по своему содержанию совершенно разным, а с другой стороны, мешает рассмотреть за конкретным содержанием этих разнородных явлений то, что у них есть действительно общего, именно то, что дает право смотреть на всякий звук или совокупность звуков речи, обладающие известным значением, как на морфемы вообще. Как явления словообразования, так и явления словоизменения содержат обильный материал, показывающий, как в данном языке создаются те отношения между морфемами разных типов, которые порождают слово с точки зрения его внутреннего устройства. Вот эти-то общие проблемы устройства слова и должны составить предмет особой грамматической дисциплины, которую удобнее всего называть морфологией. Но нетрудно видеть, что морфология в таком смысле не есть еще учение о конкретных явлениях словообразования или словоизменения: так, она изучает не звуковой вид и значение различных морфем, а только возможные в данном языке отношения между морфемами, порождающие слово как известную форму (думаю, что, говоря так, употребляют этот термин в духе учения Фортунатова),

Во-вторых, сказанное делает понятным также и то, почему в предложенной схеме учение о словообразовании отнесено не к грамматике, а, вопреки традиции, к семасиологии. Существует все же вполне очевидное различие между значениями вещественными и формальными, и состоит оно в том, что формальные значения передают отношения между знаками мысли, а не сами мысли. Между тем основные явления словообразования — аффикс, корень, основа и пр. — имеют непосредственное отношение именно к вещественным значениям и их оттенкам. Нетрудно понять, что заставляет традицию видеть в учении об этих элементах языка один из отделов грамматики. Причина этого, несомненно, заключается в том, что в словообразовании, как и в грамматике, речь идет не о цельных словах, а об известных элементах слов, а потому и словообразование,

подобно грамматике, учит тому, как строится язык. Но ведь и фонетика тоже изучает строй языка, и опять-таки именно строй языка должна изучать лексикология и фразеология, так как организация значений внутри слов и их сочетаний имеет свою технику. Вообще вся система дисциплин, представленная в приведенной схеме, в конце концов имеет своим единственным предметом именно строй языка. Это может казаться недостаточно ясным по отношению к лексикологии, но только тогда, если понимать под лексикологией простое собирание слов и их внешнее, словарное описание. Но если понимать лексикологию как науку о значениях слов в их истории, продолжающуюся в фразеологии, в которой изучаются законы сочетания значений слов в их истории, то распространенное представление о том, будто лексикология это, собственно, не лингвистика или «не совсем» лингвистика, сохранит для себя почву разве только в том факте, что явления лексикологии неисчислимы, в то время как число звуков, суффиксов и флексий для каждого языка может быть установлено с точностью до единицы. Но этого рода соображения лишены всякого принципиального значения. Другое дело, что фактическое состояние лексикологии, да и всего семасиологического отдела, остается пока плачевным. Но и здесь будем надеяться на лучшее будущее и активно содействовать тому, чтобы оно наступило.

В-третьих, для лучшего понимания приведенной схемы очень важно помнить, что все ее три основных отдела должны представляться связанными между собой самым тесным и непосредственным образом. Нет формы без звуков, но нет и идеи без формы и, следовательно, без звуков, а потому в практическом исследовании всегда возникает множество вопросов, имеющих одновременно значение, свойственное разным отделам схемы. Решение морфологических и словообразовательных вопросов обычно зависит от состояния наших знаний по фонетике, решение синтаксических и лексикологических вопросов связано с проблемами морфологии и словообразования, решение фразеологических вопросов невозможно без предварительной разработки вопросов синтаксиса и лексикологии. Таким образом, каждый из очередных отделов служит своего рода введением в следующий и только вместе с последним отделом уясняется до абсолютного предела и содержание первого.

Впрочем, дальнейшее рассмотрение взаимоотношений между разными отделами изучения языка, требующее более детального анализа самой структуры языкового знака, выходит за рамки этого рассуждения. Ясно, что внутреннее членение лингвистической дисциплины всегда должно оставаться одинаковым и не зависит от того, какие цели стоят перед исследователем — установление общих лингвистических законов или же выяснение истории отдельного языка. Поэтому ничего специфического именно для истории языка предложенная схема лингвистических проблем не содержит. Однако у истории языка есть еще некоторые проблемы, правда, небезразличные и для общей лингвистики, но особенно наглядно обнаружи-

вающиеся как раз в процессе исторического изучения отдельных языков, и вот для указания на эти особые проблемы необходимо было предварительно построить общую схему лингвистических дисциплин. Дело в том, что звуки речи, формы и знаки не исчерпывают еще собой всего того, что существует в реально действующем и обслуживающем практические общественные нужды языке. Как уже сказано было выше, языковой механизм приводится в движение не сам собой, а тем обществом, которому данный язык принадлежит. И вот для фактической жизни языка оказывается чрезвычайно существенным, как пользуется общество своим языком. Наряду с проблемой языкового строя существует еще проблема языкового употребления, а так как язык вообще есть только тогда, когда он употребляется, то в реальной действительности строй языка обнаруживается только в тех или иных формах его употребления. То, что здесь названо употреблением, представляет собой совокупность установившихся в данном обществе языковых привычек и норм, в силу которых из наличного запаса средств языка производится известный отбор, не одинаковый для разных условий языкового общения. Так создаются понятия разных стилей языка — языка правильного и неправильного, торжественного и делового, официального и фамильярного, поэтического и обиходного и т. п. Все такого рода «языки» представляют собой не что иное, как разные манеры пользоваться языком. Одно и то же можно сказать или написать по-разному. Содержание, мысль могут остаться при этом вполне неизменными, но изменится тон и окраска самого изложения мысли, а это, как известно, существенно влияет на восприятия содержания и предопределяет разные формы реакции на услышанное или прочитанное. Следовательно, наряду с объективной структурой языкового знака, передающей идеи, в языке существует и своеобразное субъективное дополнение к этой структуре, причем самое важное заключается в том, что без подобного субъективного дополнения в реальной действительности язык вообще невозможен, потому что даже и вполне нейтральная речь, не имеющая никакой специальной окраски, воспринимается на фоне различных языковых вариантов, так или иначе окрашенных, как отрицательный по отношению к ним момент. Нечего и говорить о том, что эти различные манеры говорить и писать, рождающиеся из входящих в коллективную привычку способов пользования языком, имеют свою собственную историю и изменяются так же, как изменяются звуки, формы и знаки. Но нельзя забывать также и того, что от истории подобных привычек, фактическое содержание которой, разумеется, предопределено историей объективного строя языка, очень часто оказывается зависящей и сама объективная история звуков, форм и знаков. Таким образом, перед нами новая и очень важная проблема истории языка, без изучения которой история языка не может быть полной и в точности соответствующей своему предмету.

Эта новая проблема составляет содержание лингвистической дисциплины, которую следует называть стилистикой, или, по-

сколькo речь идет об истории языка, исторической стилистикой. "У истории языка поэтому не три, а четыре отдела, именно: фонетика, грамматика, семасиология и стилистика. Возникает важный вопрос о взаимоотношении трех первых отделов и четвертого. Для того чтобы эти взаимоотношения были вполне ясны, необходимо сначала обратить внимание на то, что эта новая дисциплина может быть лингвистической дисциплиной только при том непременно условии, что она имеет своим предметом те языковые привычки и те формы употребления языка, которые действительно являются *коллективными*. Необходимо тщательно отличать экспрессивные качества речи, имеющие своим источником личные свойства и состояния говорящего или пишущего, от таких фактов языковой экспрессии, которые коренятся в общественной психологии и представляют собой проявления именно общественной реакции на принадлежащий данному обществу язык. Это важно потому, что в последнем случае экспрессивные качества речи становятся в сущности уже объективной принадлежностью самих фактов языка, переставая быть только свойствами носителей языка. В самом деле, когда говорят, например, приговора вместо приговоры, то для отнесения этого факта к числу тех, которые характеризуются как язык неправильный, или просторечие и т. п., совершенно не существенно, кто именно так сказал, *NN* или *NN*<sup>1</sup>, во всяком случае до тех пор, пока кто-нибудь из *NN* не заставит нас тем или иным способом изменить самую характеристику этого факта. Следовательно, субъективными соответствующие экспрессивные качества языка являются только по происхождению, с точки зрения их психологического генезиса, тогда как реально, в исторической действительности, они существуют как вполне объективные свойства тех или иных звуков, форм и знаков. Вот почему мы имеем право утверждать, что действительно в самом языке, а вовсе не в психологии говорящих и пишущих, которая лингвиста непосредственно не интересует, кроме звуков, форм и знаков, есть еще нечто, именно экспрессия, принадлежащая звукам, формам и знакам. Из всего этого следует, что одно дело стиль языка, а другое дело стиль тех, кто пишет или говорит. Так, например, изучение стиля отдельных писателей, в котором обнаруживает себя своеобразие их авторской личности или конкретная художественная функция тех или иных элементов речи в данном произведении, всецело остается заботой истории литературы и к лингвистической стилистике может иметь разве только побочное отношение, как и другие проблемы культурной истории. Стиль Пушкина, или, как часто говорят, язык Пушкина, в этом смысле имеет к проблемам лингвистической стилистики отношение несколько не более близкое, чем его поэтика, мировоззрение или биография. Все это не мешает знать историку языка, но все это предмет не лингвистики, а истории литературы. Другое дело, если скажут, что в эпоху жизни Пушкина, может быть, и не без его личного влияния, что существенно только во вторую очередь, звук *е* вместо *о* под ударением не перед мягкими со-



гласными перестал обладать экспрессией книжно-поэтического языка и сохранил на будущее время лишь экспрессию церковнобогослужебного стиля речи. Это, действительно, лингвистическая проблема, но она называется не язык Пушкина, а стилистика русского, произношения в первые десятилетия XIX в. Еще хуже, когда под предлогом изучения тех или иных способов «отражения действительности в слове» исследователи языка и стиля того или иного писателя фактически изучают не слово и не его экспрессию, а только то, что отражено в слове, т. е. тему и отношение к ней. Такого метода здесь не стоит опровергать, но считаю не лишним указать на то, что и он тоже почему-то называется иногда лингвистическим.

Из сказанного следует далее, что в отличие от прочих лингвистических дисциплин стилистика обладает тем свойством, что она изучает язык по всему разрезу его структуры сразу, т. е. и звуки, и формы, и знаки, и их части. Таким образом, никакого «собственного» предмета у нее как будто не оказывается. Действительно, стилистика изучает тот же самый материал, который по частям изучается в других отделах истории языка, но зато с особой точки зрения. Эта особая точка зрения и создает для стилистики в чужом материале ее собственный предмет. В отличие от прочих отделов истории языка стилистика имеет дело не с одной, а с многими системами, и в то время, как, напр., для фонетики существенно знать, как противопоставлены друг другу все звуки данной звуковой системы, стилистика изучает вопрос о том, как противопоставлены друг другу отдельные, обладающие стилистической выразительностью звуки, разных систем, напр, для эпохи Московской Руси *э* взрывное обиходного языка столицы и *з* фрикативное церковнокнижного языка. Далее, для тех дисциплин, которые изучают строй языка, звуки — это одна система, формы — другая, вещественные значения — третья, и лишь более сложные взаимоотношения между этими отдельными системами в конце концов создают общую и цельную систему всего языка. Для стилистики, наоборот, отдельные структурные элементы сами по себе не создают еще системы просто потому, что не все звуки, формы и знаки являются ее предметом, а лишь такие, которые, обладая особой стилистической окраской, противопоставлены звукам, формам и знакам с иной стилистической окраской. Но зато звуки той или иной стилистической окраски и формы и, знаки той же окраски входят в одну стилистическую систему в противовес звукам, формам и знакам другой окраски, и из взаимодействия всех таких систем создается общая стилистическая жизнь языка. Все это говорит о том, что стилистическая система есть понятие вполне своеобразное и совершенно не соотносительное, хотя и тесно связанное, с системой звукового, формального и семасиологического строя языка. Стилистика и вообще не соотносительна с прочими дисциплинами, изучающими историю языка. В области взаимоотношений между первыми тремя отделами истории языка можно было наблюдать известные логические переходы от одной дисциплины к другой, но непосредственного перехода к устанавли-

ваемому теперь четвертому отделу истории языка ни от одного из первых трех отделов обнаружить нельзя. Переход к стилистике существует не от фонетики, не от грамматики, не от семасиологии, а только от всех этих трех дисциплин, понимаемых как одно целое, сразу. Поэтому эти четыре отдела истории языка лежат не на одной плоскости и не могут быть пронумерованы подряд цифрами от 1 до 4, а представляют собой следующее отношение:

- А. Дисциплины, изучающие строй языка.
  - 1. Фонетика (и орфография)
  - 2. Грамматика.
  - 3. Семасиология.
- Б. Дисциплина, изучающая употребление языка.
  - Стилистика.

В итоге, следовательно, у истории языка не четыре отдела, а два основных, из которых первый сам делится на три части. Спрашивается, какие же внутренние деления существуют у второго из этих двух отделов?

Легко было бы соблазниться внешней аналогией и предложить также и для стилистики внутреннее разделение на фонетику, грамматику и семасиологию, тем более что она, действительно, занимается всеми этими тремя проблемами. Но это было бы серьезной ошибкой, потому что, как вытекает из предыдущего, звук речи как стилистический факт не существует без соотнесенных с ним фактов грамматических и семасиологических. Иначе говоря, построение стилистики по отдельным членам языковой структуры уничтожило бы собственный предмет стилистики, состоящий из соединения отдельных членов языковой структуры в одно и качественно новое целое. Ясно, что способ изложения стилистической истории языка может быть только один — по отдельным стилям каждого исторического периода, выделяющегося в жизни языка. Внутри каждого такого периода описываются и анализируются в нужном порядке те стили языка, которые существовали в данное время, причем каждый стиль рассматривается как своеобразная система, противопоставленная другим системам, представляющая собой известное видоизменение соответствующей системы в предшествующий период и заключающая в себе те противоречия, которые привели к ее перерождению в период последующий.

Последний вопрос, касающийся построения истории языка, заключается в том, в каком взаимном порядке должны излагаться обе основные части этой науки, т. е. учение о строе языка и учение о его употреблении, — параллельно, перемежая проблемы соответственно историческим эпохам, или же в порядке последовательности, вторая часть целиком после первой. Фонетика и грамматика в современных Компендиумах по истории языков излагаются по-разному (семасиология же обычно совсем не излагается): или по отдельным эпохам, в жизни языка, или в порядке самих тем, т. е. сначала целиком фонетика, потом целиком грамматика. Не касаясь

собственно педагогических выгод той или иной системы, замечу, что с чисто теоретической точки зрения более правильным представляется объединение фонетических и грамматических фактов одной эпохи в одно целое, потому что тогда для каждой эпохи можно было бы говорить о языке как цельной и единой структуре. Правда, необходимым условием такого построения языка является такая трактовка звуков и форм, которая исходит из взгляда на язык как на нечто внутренне единое и связанное, но мы уже условились о том, что именно таков идеал нашей науки. И вот теперь спрашивается, где место стилистики в подобном изложении истории языка. Должен ли соответствующий рассказ о стилистической жизни языка заканчивать каждый из отдельных периодов, выделяемых в истории языка, после того, как рассказаны соответствующие фонетические, грамматические и семасиологические факты, или же сначала следует изложить всю фонетику, грамматику и семасиологию по всем эпохам и только после этого приступить к изложению стилистической истории языка как параллельного непрерывного процесса? Представляется несомненным, что второе решение этого вопроса больше соответствует природе предмета. Дело в том, что самое содержание тех процессов, которые определяют, с одной стороны, развитие языкового строя, а с другой — эволюцию стилистических норм и практики языкового употребления, очень различно. История языка изображает, во-первых, самый механизм языка в его вечном становлении и, во-вторых, приемы, при помощи которых общество пользуется этим механизмом для различных целей. Вряд ли будет отвечать существу дела такой исторический рассказ, который станет прерывать изображение одного цельного процесса изображением отрывков другого, столь же цельного процесса. В этом случае получились бы действительно отрывки двух исторических процессов, перебивающие друг друга. Самые методы обеих составных частей истории языка и их материалы порой оказываются столь различными, что и с этой стороны их параллельное изложение представляется неестественным. Объединяются эти две части единой науки совсем иначе, просто-напросто тем, что, пока не сказано последнее слово второй части, полной исторической картины жизни данного языка еще нет. Но когда это слово сказано, то все сказанное до тех пор получает иное и подлинно историческое освещение.

В заключение несколько слов об отношении лингвистики к филологии, т. е. к тому научному понятию, которое до сих пор не упоминалось, но, естественно, предполагалось всем ходом предшествующего рассуждения. Самое слово «филология» имеет по меньшей мере два значения. Во-первых, оно означает известный метод изучения текстов. Это метод универсальный, и он сохраняет свою силу независимо от того, какую конкретную цель преследует изучение текста — лингвистическую, историческую, литературоведную и т.д. Во-вторых, слово «филология» означает известную совокупность, или, как говорили когда-то, энциклопедию наук, посвященных изу-

чению истории культуры в ее словесном преимущественно выражении. В первом отношении филология есть первооснова лингвистики, так же как и прочих наук, имеющих дело с текстами, потому что филологический метод истолкования текста, т. е. добывания из текста нужных сведений, как уже сказано, есть метод универсальный. Во втором отношении, наоборот, лингвистика, и именно изучение отдельного языка в его истории, есть первооснова филологической энциклопедии, ее первая глава, без которой не могут быть написаны остальные. Звеном, непосредственно соединяющим историю языка с историей прочих областей культуры, естественно, служит лингвистическая стилистика, так как ее предмет создается в результате того, что язык как факт культуры не только служит общению, но и известным образом переживается и осмысливается культурным сознанием. Совершенно ясно, что вполне сознательное и активное творчество в области языка преимущественно, если не исключительно, направлено именно на стилистические качества языка. Здесь достаточно сослаться хотя бы на один факт существования так наз. правильной речи. Ввиду этого лингвистическая стилистика может быть названа филологической проблемой языкознания по преимуществу.

## **ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА<sup>1</sup>**

С точки зрения традиционных наших представлений о языкознании (или лингвистике), да еще об историческом языкознании в частности, сочетание этого понятия с задачами практического характера и, в частности, с языковой политикой рисуется, быть может, несколько утопическим. Но, должен предупредить, я вовсе не собираюсь утверждать и доказывать, что историческая лингвистика — это то же самое, что языковая политика. Это — вещи совсем разные. И моей задачей здесь является лишь показать, каким образом совмещаются, на правах взаимно полезного симбиоза, обе эти сферы лингвистических интересов в мировоззрении современного и притом советского лингвиста.

Тут необходимо, однако, пояснить прежде всего, что именно представляет собою историческая лингвистика, т. е. та дисциплина, которая разработана больше всех других областей лингвистического знания — настолько, что в глазах многих составляет даже как будто и единственное содержание нашей науки. Историческое языкознание в настоящее время представляет собою совокупность всех сравнительных (или — что то же — сравнительно-исторических) грамматик всех (из наличных вообще и донныне изученных) языковых семейств, т. е. то, что добыто из конкретной истории всевозможных языков сравнительно-грамматическим (или компаративным) методом. Необходимость упомянуть о компаративном методе объясняется здесь просто и единственно тем, что это самый плодотворный с точки зрения полученных результатов метод и что реальное его значение настолько неоспоримо, что мы именно и позволили себе здесь даже не упоминать о тех элементах конкретной истории языков, которые добыты не сравнительно-грамматическим путем, а как-либо иначе. Сущность же сравнительно-грамматического метода состоит в том, что при наличии нескольких родственных между собою языков<sup>2</sup> он дает возможность осветить историю

<sup>1</sup> Е. Поливанов, За марксистское языкознание, изд. «Федерация», 1931. Статья приводится с сокращениями.

<sup>2</sup> Каковыми, например, являются отдельные славянские языки: русский, украинский, польский, чешский, сербский, болгарский, словинский и т. д. и, наконец, древнейший из известных нам славянских языков — «мертвый» (т. е.

развития каждого из этих языков, отправляясь от общего всем этим языкам этапа (т. е. от того состояния, с которого именно начинается индивидуальная линия эволюции каждого отдельного языка данного семейства и которое условно называется «праязыковым» состоянием данных языков). Сам же этот исходный этап (или «праязыковое» состояние) в свою очередь становится нам известным (или, как обычно говорят, «реконструируется», т. е. восстанавливается) путем сличения конечных этапов всех данных индивидуальных эволюции, т. е. из сличения современных нам или же литературно засвидетельствованных состояний отдельных языков, иначе говоря, отправной пункт истории каждого из данных языков определяется путем сравнения самих этих языков, что и дает повод именовать этот метод исторического изучения сравнительным (или по-латыни компаративным) или сравнительно-грамматическим методом. Не будь в руках лингвистов сравнительно-грамматического метода, они должны были бы довольствоваться только одним из двух противоположных концов эволюции каждого отдельного языка: позднейшим его состоянием. И легко себе представить, насколько их догадки о предшествующей эволюции этого языка походили бы на поиски ошупью в потемках. Здесь же, когда даются оба конца подлежащей прослеживанию нити, остается, собственно говоря, лишь провести линию между двумя точками<sup>1</sup>; более того — и это в особенности следует поставить на вид тем, кто хочет приписать сравнительно-историческому языкознанию одну лишь цель реконструкции праязыка, — в самых поисках исходного («праязыкового») состояния, в тех выкладках, на основании которых проясняется картина общего данным языкам прошлого из совокупности их разнообразнейших современных фактов, неизбежно уже учитываются и, следовательно, определяются известные промежуточные этапы индивидуально-языковых эволюции. И таким образом поиски начального (исходного) пункта языковой истории уже в силу логической необходимости открывают если не все, то по крайней мере некоторые страницы этой истории.

Поскольку уже пришлось упомянуть о том упреке, который не-

доступный нам лишь в форме древних письменных памятников) древнецерковно-славянский. Или же возьмем другой пример — романские языки: итальянский, французский, провансальский, испанский, португальский, румынский и др., родственные между собою потому, что все они являются потомками латинского языка. В качестве третьего примера назовем уже семейство из менее близких друг к другу, т. е. в значительной уже степени растерявших взаимное сходство языков, — совокупность так называемых «индоевропейских» языков, куда войдут древнейшие из письменных европейских и ближневосточных языков, именно: древнегреческий, латинский, санскрит (древнеиндийский), древнеперсидский и др., а с другой стороны, — почти все из современных европейских языков: славянские, германские (например, немецкий, английский, шведский, датский и т. д.), кельтские (например, ирландский), литовский с латышским, армянский, албанский;

<sup>1</sup> Это не значит, правда, что искомая линия эволюции всегда должна оказаться именно прямой линией,

однократно делался (да и в настоящее время повторяется — чаще всего, правда, с чужих уст и без знакомства с предметом) по адресу компаративной лингвистики как «науки о праязыках»<sup>1</sup>, постольку не мешает здесь ответить: в какой мере и к кому может быть применен этот упрек. Обвинение сводится обычно к тому, что «вместо задачи быть историей родственных языков сравнительная грамматика не видит и не преследует другой цели, кроме описания и восстановления праязыкового этапа, а между тем сам по себе этот праязыковый этап, или, как принято говорить, праязык, в большинстве случаев не представляет никакого практического, ни даже культурно-исторического интереса<sup>2</sup>; и, став на этот путь, компаративная лингвистика таким образом превращается из науки о конкретных, формах эволюции языков в науку о «языковом старье».

С тем, что упрек этот в свое время имел некоторое значение в истории нашей науки, я вполне соглашусь. Правда, уже с первых же лет существования сравнительной грамматики индоевропейских языков<sup>3</sup> не раз и вполне определенно было высказываемо, что «реконструкция праязыкового состояния — не цель, а лишь рабочее средство компаративного метода, средство, обеспечивающее достижение цели — в виде раскрытия истории всех и каждого из данных родственных языков — от ее начального (т. е. «праязыкового») до ее конечного (т. е. известного уже нам) этапа». Но несмотря на это, был в свое время известный период увлечения индоевропейским праязыком как таковым; дело доходило до переводов на этот общеиндоевропейский язык: в нем хотели видеть, следовательно, именно реальную языковую систему (а не средство для объяснения истории других — позднейших систем). Реакция против этого увлечения пришла, однако, со стороны самой же компаративистики, и этот «уклон» относится уже ко временам давно минувшим.

На всякий случай упомянем еще об одном обстоятельстве: постороннему человеку, если он возьмется просматривать сравнительно-грамматическую литературу, легко может прийти в голову мысль, что в ней больше всего и по преимуществу говорится о явлениях праязыка, а не об истории отдельных языков — его потомков. Возьмем для примера такие серьезные, чисто деловые книги, как посвященные сравнительно-исторической грамматике латинского и греческого

<sup>1</sup> Или даже как «науки о праязыке» — по формулировке тех современных анти-«индоевропеистов», которые, не выходя за пределы аптекарских представлений о лингвистике, убеждены, что она имеет дело только с одним праязыком.

<sup>2</sup> В частности, индоевропейский праязык — язык неизвестного и неизвестно когда жившего народа, давным-давно исчезнувшего с лица земли, конечно, не возбуждает сам по себе столь исключительного интереса, чтобы делать его описание (т. е. возможно более полную реконструкцию) основной и единственной проблемой индоевропейского языкознания.

<sup>3</sup> Имеющей уже более чем столетний возраст: годом создания этой науки можно считать 1816, когда Франц Бопп выпустил свою знаменитую работу о спряжении в древнеиндийском, латинском, греческом и некоторых других индоевропейских языках.

языков: Lindsay — The Latin language и Wright — The Grammar of Greek language; в них мы не только встретим ряды восстановленных праязыковых форм, но и сам материал латинских (resp. греческих) фактов расположен по рубрикам, соответствующим праязыковым фонетическим и морфологическим единицам. На самом же деле вывод о том, будто эти грамматики занимаются не латинским (resp. греческим) языком, а праязыком, будет сплошным недоразумением. Прием, состоящий в прослеживании каждого отдельного явления от его исходного (праязыкового) пункта, — это только неизбежный технический прием, обеспечивающий ясное изложение языковой истории. Возьмем, например, два латинских глагола: *tingo* и *mejo*. Из данных самого латинского языка совершенно непонятно, почему в нем имеются эти два глагола с одним и тем же значением, а между тем звуковое сходство между ними исчерпывается одним только начальным звуком *t*. В компаративном же освещении (т. е. тогда, когда привлекается к делу праязыковое состояние) становится до прозрачности ясным, что *tingo* и *mejo* являются законными (т. е. статистически-нормальными) образованиями от одной и той же древней основы, именно от основы \**meigh*<sup>1</sup>, в первом случае с инфиксом *n* (наличие которого и обусловило — соответственно законам латинской фонетики — сохранность звука *g* в *tingo*), во втором же случае, т. е. в *mejo*, — без этого инфикса.

Несколько серьезнее, на первый взгляд, кажется другое обвинение, предъявляемое за последнее время, с легкой руки Н. Я. Марра, к компаративному языкознанию: оно изучает, дескать, лишь аристократические языки, т. е. языки индоевропейского семейства, и знать не хочет про языки менее культурных народностей. Этот выбор материала диктуется, дескать, не чем иным, как империалистической идеологией творцов компаративистики — науки, следовательно, насквозь буржуазной и империалистической.

Становится немного смешно, правда, излагать это обвинение, которое, разумеется, ничего, кроме смеха, не могло возбудить у современных западноевропейских представителей компаративной лингвистики<sup>2</sup>. Но что поделаться? Раз такие, более чем наивные обвинения высказываются и хором повторяются, их приходится цитировать или пересказывать.

Начнем с того, что я вовсе не думаю отрицать буржуазный характер всей прошлой истории нашей науки. Всякая наука, созданная в буржуазном обществе, может именоваться буржуазной наукой и может обнаружить в себе внутренние признаки этой своей социальной природы. Но ведь никакой другой науки, кроме буржуаз-

<sup>1</sup> Это та самая, между прочим, основа, которую мы найдем и в греческом *-omikhle*, русском *мгла*, сербском *могла* и т. д.

<sup>2</sup> Знаменитому А. Meillet оставалось сказать по этому поводу: если буржуазная наука состоит в том, чтобы видеть факты такими, как они есть, то я принимаю на себя обвинение в буржуазности.



ной, вообще не существовало, а на Западе не существует и до настоящего времени. И это относится и к лингвистике, и к астрономии, и к теории вероятностей, и к орнитологии, и т. д., и т. д. Наша задача состоит в том, чтобы убедиться, что такая-то и такая-то научная дисциплина сумела установить ряд бесспорных положений; и раз мы в этом убеждаемся (для чего необходимо, впрочем, наличие известных знаний в данной специальности)<sup>1</sup>, то мы не только можем, но и должны считаться с этими бесспорными достижениями буржуазной науки, как должны считаться и с формулой  $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ , как должны считаться и с наличием микроскопа, и с наличием всей той бактериологической фауны, которая этим микроскопом была открыта, несмотря на то что изобретатель микроскопа был голландский торговец — существо насквозь буржуазное и идеологически вполне, быть может, нам чуждое. Если же мы, под тем предлогом, что все это — «продукты буржуазной науки», будем строить свою науку без всех указанного рода буржуазно-научных достижений или просто отметая (т. е. не желая знать) их или же отрицая их (потому, что они — продукт буржуазного мира), мы не только не создадим никакой новой, своей науки, но превратимся просто в обскурантов. Все это отлично понимал В. И. Ленин, который не раз предостерегал против авторов такой куцей пролеткультуры и куцей пролетнауки, и мне неоднократно приходилось цитировать его по этому поводу. Вернемся, однако, к реальной сути вышеприведенного обвинения, которое, как мне не раз пришлось слышать, высказывалось даже в следующем виде: «Индоевропейская сравнительная грамматика (или индоевропеистика) изучала только индоевропейские языки, но не изучала таких языков нацменьшинств, как, например, чувашский и тому подобные; в этом и состоит ее аристократический и империалистический характер». Повторяю, что мне действительно приходилось встречаться именно с такой формулировкой протеста против индоевропеистики, несмотря на то что для всякого мало-мальски осведомленного в классификации научных дисциплин эта формулировка звучит как совершенная бессмыслица. Сравнительная грамматика индоевропейских языков по существу дела не может излагать историю каких-либо других языков, кроме данной языковой семьи, т. е. кроме индоевропейских языков; выбор обследуемых языков определяется здесь ведь вовсе не субъективными вкусами исследователя, а действительной историей языкового дробления, имевшей место тысячелетия тому назад; компаративный метод, т. е. метод сравнительно-исторического изучения родственных языков, не может быть применен к произвольной комбинации языков, например, к такой комбинации, которая, по-видимому, удовлетворила

<sup>1</sup> А их отсутствие — если мы позволим себе говорить прямо — у тех послушных, но совершенно несведущих любителей хорового пения, которые хором повторяют вышеприведенное обвинение, и является причиной, почему у нас возможными оказываются такие смешные выпады.

бы наших обвинителей: «индоевропейские + чувашский и т. п. языки». Но требовать, чтобы чувашский или, например, южнокавказские языки включены были бы — по антиимпериалистическим соображениям — в индоевропеистику, т. е. в сравнительную грамматику индоевропейских языков, — это то же, что и требовать, например, чтобы ихтиология включила в орбиту своего рассмотрения тот или другой вид птиц. Не надо быть зоологом, чтобы на последнее требование дать ответ: «Да ведь для птиц есть наука о птицах (орнитология), и их незачем загонять в науку о рыбах». Буквально то же остается сказать и по поводу чувашского, например, языка: для него есть своя сравнительная дисциплина, именно сравнительная грамматика алтайских<sup>1</sup>, и в частности турецких языков. Допустим, пускай, что Бопп был бы самым что ни на есть антиимпериалистическим и пролетарски настроенным интернационалистом и коммунистом (в 1816 г.<sup>2</sup>), и в таком случае он тоже бы не включил в созданную им систему индоевропейской сравнительной грамматики чувашского или татарского языков, просто потому, что им там не отведено места самой историей этих языков. Более того, конкретная история компаративного языкознания обнаруживает как раз обратное тому, что хотят сказать дирижеры вышеприведенного обвинения — будто бы компаративисты не хотели изучать (компаративным путем) колониальных языков. Биография Боппа говорит именно о противоположном: Бопп именно хотел включить в индоевропеистику (в сравнительную грамматику индоевропейских языков) малайские языки (уж на что более подходящий пример для понятия языков колониальных народов!). Но вся суть в том, что, несмотря на настойчивейшее желание, ему не удалось этого сделать в силу указанных объективных причин (отсутствия подлинного родства между малайскими и индоевропейскими языками). Дело в том, что под конец своей жизни, когда Боппом был уже опубликован (начиная с 1816 г.) ряд работ, делавших бесспорным фактом родство индоевропейских языков между собою и возможность компаративного изучения их истории, он совершил крупную принципиальную ошибку, выйдя в поисках материала для сближений с индоевропейскими языками за пределы

<sup>1</sup> В состав алтайского языкового семейства, как ныне — после работ Ramstedt'a, Б. Я. Владимирцева — можно считать установленным, входят турецкие (или «тюркские») языки вместе с чувашским, монгольские (монгольский, бурятский, калмыцкий) и маньчжуротунгусские языки; по моей гипотезе сюда следует отнести также и корейский язык. В основных своих чертах сравнительная грамматика алтайских языков (в вышеуказанном объеме) и в особенности сравнительная грамматика турецких языков (с чувашским) уже в достаточной мере разработаны, чтобы с ними можно (и должно) было считаться как с особыми компаративными дисциплинами (наряду с прочими сравнительными грамматиками других семейств, в том числе индоевропейской, угро-финской, семитской и т. д., и т. д.).

<sup>2</sup> Но ведь и германского империализма в 1816 г. не существовало. Это, в свою очередь, отнимает почву у того обвинения против индогерманистики, которое хочет видеть в ней науку, порожденную германским империализмом.

объективно данных родственных отношений: Боппу казалось возможным найти признаки родства (с индоевропейскими языками) и в малайском<sup>1</sup>.

Само собою разумеется, что эта работа Боппа оказалась произведенной впустую; последующие поколения (да и современники уже) убедились в том, что эти индоевропейско-малайские сближения обнаруживают отсутствие того принципа законообразных, правильно повторяющихся звукосоответствий, который был ценнейшим из достижений Боппа в предшествующих работах и делал именно бесспорно доказуемыми предшествующие сближения — внутри подлинно родственных языков.

Для нас же этот факт из деятельности основателя индоевропеистики интересен здесь именно потому, что он диаметрально противоречит вышеуказанному обвинению против индоевропеистики в том, что она как буржуазно-империалистическая дисциплина умышленно не хотела включить в орбиту своих штудий языки колониальные и неаристократические. Оказывается — отнюдь не хотела, как это видно из попытки Боппа с малайскими языками, но фактически не могла, ибо эта наука о родственных отношениях определенных языков не могла изучать тех родственных отношений, которых на деле не существовало.

Предоставим, однако, дирижерам этого хорового обвинения разбираться в том, что они хотят сказать словами: «индоевропеистика виновата в том, что она не изучала не-индоевропейских языков» (как ихтиология в том, что она занималась рыбами, а не хоровым пением!), и остановимся на том единственно возможном смысле, который можно придать этому обвинению, не впадая в абсурд (как то имеет место при прямом смысле вышеприведенного обвинения).

Именно, остается понять недовольство обвинителей как недовольство тем, что индоевропейские языки изучались по преимуществу, т. е. больше, чем прочие языки, в том числе и языки колониальных народов и нацменьшинств СССР. В статистическом отношении это верно: количество литературы по индоевропейским языкам превышает общее количество лингвистической литературы по всем прочим языковым семействам. Только расовый аристократизм и империализм здесь ни при чем.

Отметая таким образом эту грубо-наивную ссылку на империализм и буржуазный характер «индогерманистики», мы должны, однако, дать взамен объяснение, почему в общем итоге индоевропейское языкознание поглотило более сил и создало большую во всех отношениях продукцию, чем все прочие штудии прочих языковых семейств. Самый простой и естественный ответ на это, казалось бы, должен сам собою возникнуть у каждого, кто без предубеждений по-

<sup>1</sup> Замечу, что по случайному совпадению звуковой состав первых трех числительных (1, 2, 3) в малайских языках оказывается довольно сходным с соответствующими (по значению) индоевропейскими формами.

дойдет к данному вопросу: индоевропейские языки — это ведь прежде всего не что иное, как европейские языки<sup>1</sup>. А мы можем установить общее для многих самых различных областей знания положение, что Европа оказывается изученной (в таком-то и в таком-то отношениях) больше, шире и глубже, чем не-Европа (т. е. Азия, Америка, Африка, Австралия)<sup>2</sup>. Это настолько несомненно и настолько естественно, что можно смело допустить, что то же самое было бы и при любом политическом строе Европы (поскольку центром мировой культуры оставалась бы все же Европа).

Главное же, что нужно поставить на вид авторам вышеприведенного обвинения, это то, что не надо смешивать индоевропеистику с совокупностью лингвистических штудий или — по крайней мере — с описательным и историческим языкознанием в целом. Несмотря на вполне естественное, как мы только что показали, количественное преобладание индоевропейской сравнительной грамматики (и по числу специалистов и по общей численности научной литературы и т. п.), существует ведь не одна только индоевропейская сравнительная грамматика. Буржуазная наука (движимая, между прочим, и импульсом империалистической политики) сумела поставить наряду с ней и ряд других сравнительных грамматик, из которых в первую голову надо поставить семитскую и угрофинскую. Далее идут: сравнительная грамматика турецких и, наконец, алтайских языков, сравнительная грамматика индокитайских (или, как я предпочитаю их называть, тибето-китайских) языков, сравнительная грамматика языков банту и т. д. Таким образом, и «обиженный индоевропеистами» чувашский язык тоже, оказывается, находит себе место в компаративном языкознании, только, разумеется, не в лоне индоевропеистики, которой с ним буквально нечего делать. Старые, но талантливые работы миссионера Золотницкого, с одной стороны, материал компаративных штудий по турецким языкам вообще, с другой стороны, создают, в общем, уже нечто целое, что мы имеем право назвать компаративным обследованием чувашского языка.

И когда мы говорим о компаративном, или — что то же — историческом (потому что оно сравнительно-историческое), языкознании, мы отнюдь не имеем, конечно, в виду одной только сравнитель-

<sup>1</sup> Не забываем, конечно, что финский, венгерский, баскский не принадлежат к индоевропейским языкам, как и то, с другой стороны, что иранские и индийские арийские суть индоевропейские, хотя и азиатские языки. Но и то и другое составляет меньшинство (в первом случае — меньшинство языков Европы, во втором — меньшинство индоевропейских языков).

<sup>2</sup> А поскольку для того, чтобы изучить компаративным методом главные языки Европы, надо было привлечь из азиатских языков именно не какие-либо другие языки, как только родственные с европейскими (т. е. принадлежащие к индоевропейской семье), то естественно, что из языков Индии обращено было внимание именно на арийские (и на древнейший из них — санскрит в первую очередь), а не на дравидские или коларские. Точно по той же причине и угрофинологи у нас, на российской территории, изучали именно финские и угорские языки, а не языки прочих семей (например, кавказские и т. д.).

ной грамматики индоевропейских языков<sup>1</sup>. Никакой «индоевропеистики», методологически отличной от не-индоевропейского языкознания, не существует: есть единая в методологическом отношении наука. И если вы хотите ополчаться против нее, то не делайте при этом подтасовки терминов — не предъявляйте к ней обвинения в отсутствии интереса к не-индоевропейскому материалу и в том, что она этим материалом не занималась.

Нам пора, однако, вернуться к основному вопросу насчет исторического языкознания (или компаративной лингвистики) — к вопросу, в какой мере может эта дисциплина представлять ценность для нас, ставящих в число первых задач не изучение прошлого, а обследование настоящего состояния языков и возможный прогноз языкового будущего, т. е. то именно, что служит материалом для активных мероприятий языковой политики.

Мы занимаемся настоящим, т. е. современным этапом языка, не как трамплином только для скачков в глоттогонические эпохи, а как самым важным, утилитарно важным лингвистическим материалом — нашей оперативной базой, изучить которую необходимо для строительства языковых культур. Но тут мы наталкиваемся на необходимость общего учения об эволюции языка (без него мы не можем сделать шага от настоящего к будущему языковой жизни). Иначе говоря, мы нуждаемся в лингвистической историологии<sup>2</sup>. Но вполне ясно, что для историологии нужна история — изучение прошлых этапов языка (точнее — отдельных конкретных языков и языковых семейств). Вот — первая и, пожалуй, важнейшая точка приложения материала исторического языкознания.

Но прошлые этапы языкового развития, кроме того, представляют для нас известный интерес и сами по себе. Языковое прошлое<sup>3</sup> для нас — история культуры (наравне с памятниками материальной культуры и литературы), и в этом — «филологическом» — направлении наших интересов мы — историки.

Лингвист, таким образом, слагается: 1) из реального строителя (и эксперта в строительстве) современных языковых (и графических) культур, для чего требуется изучение языковой современной действительности, самодовлеющий интерес к ней и — скажу более — любовь к ней; 2) из языкового политика, владеющего (хоть и в ограниченных, пусть, размерах) прогнозом языкового будущего опять-таки в интересах утилитарного языкового строительства (одной из разновидностей «социальной инженерии» будущего); 3) из «общего

<sup>1</sup> Хотя и помним про ее историческое значение для всех других однородных дисциплин: ведь на ее именно (т. е. на индоевропейском) материале был выкован метод, который мы прилагаем к историческому изучению других языковых групп.

<sup>2</sup> Понимаем под историологией общее учение о механизме исторических процессов, и под лингвистической историологией, следовательно, — общее учение о механизме языковой эволюции.

<sup>3</sup> Помимо своего значения для лингвистической историологии, о чем мы только что сказали.

лингвиста», и в частности лингвистического историолога (здесь, в «общей лингвистике», и лежит философское значение нашей науки); 4) из историка культуры и конкретных этнических культур,

Но все вышесказанное, поскольку оно затрагивает вопрос об историческом языкознании и его реальной для нас значимости, касалось в сущности лишь одной стороны этого вопроса: того, как можно было бы использовать накопленные ценности исторического (компаративного) языкознания в том случае, если они действительно оказываются ценностями. А остается еще ответить, следовательно, на сомнения по поводу этой ценности «материалов буржуазной науки» и, говоря прямо, на сомнения в верности установленных компаративистикой фактов и положений.

Иначе говоря, нам надо представить себе без предубеждений подходящего к делу свежего человека, который вправе спросить: «А не окажется ли в конечном счете, что историческое компаративное языкознание<sup>1</sup> (с точки зрения конкретных его достижений) явится не чем иным, как лишь совокупностью гипотез?». «А если так, — вправе будет сказать и далее «свежий человек», — то, может быть, это такого же рода — с точки зрения правдоподобия — гипотезы, как, например, и гипотезы яфетической теории, — только гипотезы противоположные последним по содержанию?». «И если это так, — следует логический вывод, — то мы имеем как будто право выбирать, на какую почву стать, хотя и не будем забывать при этом выборе, что и в том и в другом случае под нами — лишь гипотетическая почва». Допустим еще — уже на основании личного нашего опыта, — что к этому присоединяется еще такое соображение: «Неужели сравнительная грамматика или, в частности, сравнительная грамматика индоевропейских языков целиком во всем своем объеме выдерживает тот идеологический экзамен, которому должна подвергаться каждая из отраслей знания с точки зрения ее приемлемости и неприемлемости для советской науки и марксистского мировоззрения?»

Вот в общем то возражение, с которым мы имеем основания столкнуться, да, откровенно говоря, и сталкиваемся.

Позволим себе, для легкости, начать именно с последнего из вышеприведенных соображений. В той ревизии, в том пересмотре, которому должно подвергнуться все наследуемое советской наукой, бесспорно, много окажется лингвистических теорий и отдельных положений или бесспорно неприемлемых для нас идеологически, или, во всяком случае, требующих переформулировки. Но может ли попасть в эту категорию идеологического «брака», т. е. под обстрел идеологической ревизии языкознания, такой безобидный материал, как голые исторические формулы сравнительной грамматики (будь то сравнительная грамматика индоевропейских языков или какая-либо иная, хотя бы, напр., тибето-китайских языков)?

<sup>1</sup> Включая сюда, разумеется, и индоевропеистику и совокупность всех прочих компаративных штудий по другим, не-индоевропейским языкам.

И неужели же идеологические ревизионеры наши не знают, т. е. не нашли из всего созданного рядом поколений здания европейской лингвистики никаких других отделов (например, из теорий, относящихся к общему языкознанию), которые более нуждались бы в идеологической корректуре, чем такие, напр., формулы звукосоответствий<sup>1</sup>, как «в *bh-ph//ph//f-/d//b//б*»<sup>2</sup> и т. д. Ведь буквально с той же обоснованностью можно было бы критиковать на идеологических основаниях и алгебраическую формулу  $a^2 - b^2 (a + b)(a - b)$  и любую эмпирическую формулу химии.

А между тем надо твердо сказать, что именно таковым<sup>3</sup> и является материал любой сравнительной грамматики (в частности, индоевропейской), и во всяком случае в таком именно виде мы и настаиваем на его включении<sup>4</sup> в орбиту необходимых для современного лингвиста дисциплин; а с другой стороны, именно в таком виде он и является объектом современных возражений, в частности возражений со стороны яфетидологии, именно в таком голом виде он и оказывается достаточным, чтоб на основании его отрицать те построения языковой истории, которые строит яфетидология (вот почему яфетидология и обязана пытаться отрицать историческое языкознание).

Итак, главный вопрос сводится здесь исключительно к следующему: насколько бесспорно, насколько несомненно доказано то, что является вышеуказанным материалом компаративистики (или исторического языкознания), так что мы не только можем, но раз с уверенностью можем, то и должны считаться с данными фактами языковой истории (т. е. с тем, напр., что латинские звуки *f* и *d* в определенных словах<sup>5</sup> восходят к одному и тому же древнему звуку, устанавливаемому вышеприведенной формулой «*bh-ph//ph//f-/d//b//б* и т. д.», или с тем, что в исходном для эволюции каждого

<sup>1</sup> Или, если хотите, формосоответствий.

<sup>2</sup> Формула звукосоответствия между древнеиндийским, греческим, латинским, германским, славянским и т. д., возводимыми к особому индоевропейскому звуку, с большей или меньшей вероятностью определяемому как «б с придыханием».

<sup>3</sup> Т. е. сводящимся к ряду эмпирически установленных формулировок конкретных фактов.

<sup>4</sup> Для полноты оговорим, что такая глава сравнительной грамматики индоевропейских языков (в целях краткости останавливаемся в качестве примера лишь на индоевропейистике), как «Индоевропейские древности», содержащая попытку восстановления доисторического культурного быта по компаративно-языковым фактам, нуждается в пересмотре с точки зрения социологической. Однако «правка» эта должна будет прийти именно на неязыковые объяснения языковых фактов, которые в сущности здесь только и относятся к лингвистике как таковой. В вопросе «об овце в данном доисторическом быту» на долю сравнительной грамматики принадлежит, строго говоря, только соответствие «*avi-h // ois // ovis // avis // овь-ца* и т. д.», а в рассуждениях о том, что собственно делали с овцой предки индоевропейцев, лингвист по сути дела уже перестает быть лингвистом и становится историком материального быта.

<sup>5</sup> В каких именно — это опять-таки строго указывается: в тех, соответствия которым из других языков повторяют данную (вышеприведенную) формулу звукосоответствия.

из данных языков состоянии было слово со значением «овца», звучащее в виде *owi-s*, и т. п.).

Запомним, между прочим, что, признавая справедливость компаративного метода и его достижений, т. е. реконструируемых им фактов, вроде только что указанных, мы необходимо должны отрицать правильность тех построений (по истории звуков, слов и языков в целом), которые выставляет яфетидология, и наоборот.

Итак, есть ли у нас уверенность считать факты, устанавливаемые компаративистикой (индоевропейской или иной), действительно фактами? Ответ: да, мы имеем эту уверенность считать то, что компаративистика устанавливает, истинным — в тех пределах, в которых сама компаративистика определяет это в каждом отдельном случае — как истинное, и вправе считать более или менее вероятным то, что определяется и самой компаративистикой как гипотетическое.

Дело в том, что наряду с вполне очевидными — которые нельзя не признать — фактами в числе реконструируемых для языкового прошлого явлений могут проглядывать и такие, которые при данном состоянии исходного для реконструкции материала (т. е. известных нам позднейших языковых фактов) нельзя еще считать доказуемыми. При этом весьма часто то, что было догадкой для компаративистов прошлых поколений, для нас становится уже уверенностью.

Словом, здесь с соотношением бесспорного и гипотетического дело обстоит так же, как и во всякой другой эмпирической науке, напр, ботанике, палеонтологии и т. д. И это, конечно, нисколько не может служить поводом для сомнений в компаративистике как в целом, поскольку метод ее позволяет точно разграничивать гипотетическое от не-гипотетического (и более того: даже устанавливать степень вероятности и степень приблизительной точности для гипотетически высказываемых положений). Мы, собственно говоря, могли бы поэтому и вовсе не упоминать про наличие гипотетически устанавливаемого, условившись говорить только о том, что определяется как доказуемое.

Нужно ли мне брать здесь на себя громоздкую задачу излагать доказательства того, что компаративный метод дает возможность устанавливать истинную языковую историю и что те факты языковой истории, которые собраны конкретными компаративными дисциплинами, действительно истинны? Доказательства эти изложить было, бы, конечно, нетрудно, хотя это и потребовало бы довольно много места. Думаю, однако, что братья за эту утомительную роль — доказывать, что  $2 \times 2 = 4$ , а  $4 \times 4 = 16^1$  и т. д., не так уж нужно, раз

<sup>1</sup> Ибо столь же очевидным было бы и следующее рассуждение: если дан ряд однозначных слов: др.-инд. *avi-h* // греч. *ois* (более древн. *owis* // лат. *ovis* // лит. *avis* // древнерус. *овь-ца* (или *овь-нь*), и звуковые совпадения между ними не есть случайность, а повторяются в массе рядов других слов в виде тех же звукосоответствий между данными языками, то все однозначные слова данного ряда (т. е. со значением «овца») являются родственными, т. е. восходят к одним и тем же



есть другой способ познакомить с ними — отослать читателя к непосредственному штудированию какой-либо сравнительной грамматики (той же индоевропейской, или финно-угорской и т. д.). Если бы кто-либо стал сомневаться в истинности фактов, собранных в анатомии человека, я полагаю, лучший способ разрушить эти сомнения был бы именно в том, чтобы заняться самому анатомией человека. То же, конечно, и в отношении исторических (в широком смысле) дисциплин, как, напр., сравнительной анатомии, или хотя бы палеонтологии. То же и для лингвистики в целом и для исторической лингвистики.

Итак, вместо трактата о доброкачественности компаративного метода (трактата, который — если только от него требовать достаточной полноты — невольно должен был бы приблизиться к изложению нескольких отделов той или другой сравнительной грамматики) я позволяю себе ограничиться лишь двумя побочными доказательствами или иллюстрациями этой его доброкачественности.

1. Верность компаративных выводов (в области конкретной языковой истории) нередко подтверждается последующими (после данных выводов) находками текстов.

Вот пример из древнегреческой эпиграфики. На основании компаративных данных восстанавливается в качестве промежуточного и диалектического для истории греческого языка этапа некая форма, которая «должна была существовать», хотя нигде, ни в литературных текстах, ни в диалектических надписях, она не встречается (в частности, напр., форма первого лица сослагательного наклонения на *-oa*). Проходит несколько лет или десятилетий, и новая эпиграфическая находка подтверждает наличие этой формы (т. е. действительно обнаруживается написание данной формы).

2. Блестящим примером проверки компаративного метода может, наконец, служить вся грамматика романских языков, праязыком к которым является, как известно, латинский язык. Приложив к словарному и грамматическому материалу романских языков (итальянского, французского и т. д.) аппарат компаративного метода реконструкции, т. е. делая те выводы об исходном (праязыковом) состоянии для данного материала<sup>1</sup>, которые диктуются лингвистической методологией как неизбежные, лингвист получает в итоге совокупность реконструированных (в качестве праязыковых для романских) слов и форм, в которых нельзя не узнать слов и форм латинского языка, и именно той самой так наз. «вульгарной латыни», т. е. разговорного латинского языка определенной эпохи, который и был разнесен в процессе римской колонизации по странам романской Европы и к которому, таким образом, восходят романские языки. Иначе говоря, о латинском языке, о его звуковом со-

явлениям, имевшим место в прошлом состоянии каждого из данных языков (а именно — к наличию формы \**oví-s* со значением «овца» и в предке др.-индийского, и в предке греческого, и латинского, и литовского и т. д. языков).

<sup>1</sup> Т. е. для сопоставляемых друг с другом итальянских, французских, испанских и т. д. слов и форм.

ставе, о словаре и — до известной степени — о его грамматических формах можно было бы составить себе представление и в том случае, если бы, вопреки действительному положению дела, до нас не дошло ни строчки из латинской (римской) литературы и эпиграфики: латынь была бы тогда восстановлена компаративным путем. Тогда же (т. е. теперь), когда, наоборот, мы знаем латинский язык, как таковой, непосредственно, и убеждаемся, что теоретически восстанавливаемые слова и формы действительно совпадают со словами и формами, которые мы встречаем у латинских авторов, это дает нам право сказать, что компаративный метод есть действительно надежный и верный метод.

По поводу только что сделанной нами ссылки на латынь и романские языки нужна, впрочем, некоторая оговорка: в области морфологии сравнительная грамматика романских языков дает нам далеко не полные указания относительно той системы форм, которую мы привыкли находить в грамматиках латинского языка: в частности, не удастся полностью реконструировать латинскую деклинационную систему (систему склонений) благодаря тому, что латинское склонение не уцелело ни в одном из романских языков (уступив свои функции новообразованиям), оставив в них только отдельные падежные формы в виде пережитков (напр., от лат. *homo* во французском уцелели лишь два падежа: именительный в виде *on* и винительный в виде *homme*; от большинства же латинских существительных французский сохранил только одну падежную форму). Оговорка эта несколько, однако, не изменяет нашей принципиальной оценки компаративного метода. Не говоря уже о том, что громадным достижением являлось бы в принципе и восстановление части грамматической системы или даже только восстановление словаря без грамматической системы, надо обратить внимание на следующее: компаративным методом восстанавливается не раннее, а, наоборот, самое позднее состояние того языка, который оказывается праязыком для семьи данных сличаемых между собою языков, т. е. состояние уже в эпоху распада этого языка (иначе говоря, в тот момент, с которого начинается индивидуальная история каждого из языков-потомков). А так как исходным пунктом, или праязыком, для романских языков является именно не книжная или классическая латынь Цезаря и Цицерона, а более поздняя живая речь, то реконструкция возможна, оказывается, лишь в пределах последней. В вульгарной же, позднейшей латыни (на том этапе, когда она уже готова разорваться на ряд языков), несомненно, уже начат был и уже протекал тот процесс утраты склонения, который далее продолжался и в отдельных романских языках<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Тем не менее мы все-таки должны взять на учет то обстоятельство, что на всю совокупность фактов, характеризующих некий язык, восстанавливаемый на правах праязыка некой языковой семьи, мы отнюдь не должны надеяться в результате приложения компаративного метода. Всегда может иметь место такой случай, что некое явление или даже ряд явлений вымрет вдруг во всех членах данного семейства, и потому не окажется данных для его восстановления

3. Исследователю той или иной группы родственных языков нередко выпадает на долю делать предсказания относительно еще неизвестных ему лично фактов одного из этих языков на основании изучения других (или другого). Приведу следующие конкретные случаи из моей личной практики: когда по ряду лингвистических<sup>1</sup> соображений я обратил внимание на возможность родства<sup>2</sup> японского языка с так наз. «аустронезийским» (малайскими -f- полинезийскими + меланезийскими), я вообще еще не был знаком ни с одним из аустронезийских, не знал даже самых употребительных слов ни на каком из малайских (а тем более полинезийских и т. д.) языков. Тем не менее на основании фактов одного лишь японского (восстанавливая древнеяпонские формы на почве сравнительного изучения отдельных японских диалектов) я мог высказать следующего рода положения:

1) если в малайских (и других аустронезийских) языках слово «дерево» звучит в виде *\*kaju* или *\*kauj*, то эти языки — в родстве с японскими;

2) если в малайских (и других аустронезийских) языках слово «огонь» звучит в виде *\*aruj* или, может быть, *\*ari* (из более древнего *aruj*), то эти языки — в родстве с японским;

3) если в малайских (и пр.) есть ставимый перед прилагательными основами префикс *ma*, то эти языки — в родстве с японским.

Повторяю, что о том, как в действительности звучат по-малайски эти слова (или префикс), я не имел понятия. Лишь только тогда, когда эти предположения были высказаны, я обратился к учебнику тагальского языка (одного из малайских) и к книге Габеленца по меланезийским языкам и в действительности нашел в них:

1) «дерево» — по-малайски (тагальски) *kaju*, в известных меланезийских языках — *gaj* (чит. «нгаи»);

2) «огонь» — по-тагальски *aruj*, а в разных полинезийских языках: *ari*, *afi*, *ahi*;

3) префикс *ma* имеется как в малайских, так и полинезийских и пр. (и притом, в частности, и в таких именно конструкциях, какие, на правах единственно уцелевших — из форм с данными префиксами, я нашел в японском языке<sup>3</sup>).

в праязыке (из нуля нельзя восстанавливать качественно определяемых величин). На практике, однако, гораздо более существенной оказывается следующая помеха, ставящая преграды применению компаративного метода: из *n*-ного числа прямых потомков некоего древнего языка (т. е. праязыка данного семейства) уцелевают до нашей эпохи или сохраняются в виде письменных (литературных или эпиграфических) памятников далеко не все, а обычно лишь немногие; остальные вымерли, не оставив после себя никаких следов. И в таких условиях у нас, конечно, гораздо менее ограниченные условия для точности и богатства компаративных выводов.

<sup>1</sup> В частности, антропологических, географических и др.

<sup>2</sup> Хотя частичного (т. е. с допущением гибридного происхождения японского языка).

<sup>3</sup> Именно в так называемых «интенсивах»: яп. *ма-ккуро* («черным-черно») и т. п. — ср. тагальск. *ма-бутингбутинг*, илоканск. *ма-саксакит* и т. д. (Под-

Между тем дело было здесь вовсе не в непосредственном совпадении японских современных языковых фактов (т. е. слов «дерево», «огонь» и т. д.) с названными мною (предположительно) аустроне-зийскими<sup>1</sup>, а в возможности сделать на основании обычных приемов компаративного метода некоторые (в общем, довольно простые) выкладки, чтобы получить то состояние, которое являлось праязыковым для совокупности японских (и рюкюских) говоров и которое, таким образом, должно было бы или совпадать, или быть близким к аустронезийским фактам в том случае, если японские и аустронезийские слова восходят, в свою очередь, к общему источнику.

Как видно из этого примера, мне удалось назвать конкретные слова (и грамматическое явление) из языков, о которых я фактически не имел никакого представления (кроме гипотетической лишь идеи о том, что по географическим и т. п. данным в них есть шансы ожидать встречи с родственниками японского языка). И, конечно, если бы тот метод, которым я в выводе вышеуказанных (предположенных мною) форм руководствовался, был бы неверным методом, не было бы возможности сделать такое «предсказание».

Подобные случаи (случаи «предсказаний» относительно неизвестных еще исследователю слов и форм такого-то и такого-то языка) в компаративно-лингвистической практике оказываются далеко не единичными: каждый из исследователей сталкивался с ними и имел, таким образом, возможность самым осязательным образом убедиться в надежности компаративного метода<sup>2</sup>.

робности об этом — в моей статье «Одна из японо-малайских параллелей» в «Известиях Академии наук», 1919).

<sup>1</sup> Это ясно будет, если я приведу те японские формы, на основании которых мною были сделаны вышеуказанные заключения:

1) «дерево» по-японски — *ки*, в сложных же словах — *ко*; в рюкюском же-(ближайшем родственнике или даже, если хотите, диалекте японского языка) — *ки* (но не *ни*, как должно было бы быть, если бы *ки* было праязыковой формой);

2) «огонь» по-японски — *хи*, в сложных же словах — *хо*, кроме того, имелись в виду еще следующие данные: форма *апи* — в айнском (очевидно, заимствованная из древнеяпонского), форма *аппз* — в «детском языке» в южнояпонских говорах и, наконец, глагол *аог-у* — «веять» — древняя форма *афуг-у* и древнее значение «раздувать огонь», буквально же «огнить»;

3) префикс *ма* имеется в японских «интенсивах», например *ма-куро* — «черным-черно» от *куро* — «черный» и т. п.

<sup>2</sup> Охотно допускаю, что возможность указанного рода «предсказаний» принадлежит не одному только компаративному методу (обращаясь опять-таки к своей личной практике, я могу указать хотя бы на то, что я определил неизвестное мне до тех пор слово турецких языков, именно слово «стрела» в виде *оq* или *иq* на основании не компаративных уже приемов, а просто на основании рассмотрения букв орхонского алфавита, в частности одной из четырех букв К), но именно и можно считать такую возможность «предсказаний» (и предсказаний, локализирующих, разумеется, предполагаемые факты в определенной языковой среде и эпохе) критерием для всякого метода, претендующего на научное значение.

## **ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ РАБОТ**

1.

Наука о человеке как общественном деятеле весь XIX век прошла, поскольку дело касалось отложений в памятниках речи пройденного им пути исторической жизни, под углом зрения индоевропейской лингвистики. Даже те, которые в процессе работы над вещественными памятниками исторической культуры расходились в корне с построениями лингвистов-индоевропейцев, не могли освободиться от основных положений, внушавшихся им теорией или их разысканиями по ней. Достаточно вспомнить крайне отрицательное отношение выдающегося французского археолога Соломона Рейнака (Reinach) к индоевропейской лингвистике, как к своего рода бедствию в изысканиях по доистории, как к одной лишь помехе в деле правильной постановки изучения памятников материальной культуры, и в то же время он же, Рейнак, весь пропитан основными взглядами теории о расовой классификации народов, которую индоевропейцы излагали в качестве достижения общего языкознания, исходя, однако, главным образом лишь из статического сравнительного изучения языков, притом одних индоевропейских языков.

Что же говорить о людях, так сказать, с улицы, как например о пресловутом Чемберлене, которые это «расовое» различие языков с отнесением индоевропейских, разумеется, к высшей от начала веков «расе», точно созданий изначального единого, подразумевая, следовательно, от бога исходящего творчества, использовал и для поддержания своих классовых или так называемых национальных, понятно, европейских интересов, чтобы идеологически оправдать судьбу гонимых племен и народов? Я прекрасно знаю, какие благородные самоотверженные работники лингвисты-индоевропейцы, между тем сама индоевропейская лингвистика есть плоть от плоти, кровь от крови отживающей буржуазной общественности, построенной на угнетении европейскими народами народов Востока их убийственной колониальной политикой. Хотите конкретного доказательства? Вот вам факт: посмотрите, как много сделано всеми европейскими нациями по санскриту, потому что он сроден с европейскими, потому

<sup>1</sup> Настоящие извлечения из работ Н. Я. Марра взяты из книги «Вопросы языка в освещении яфетической теории», составитель В. Б. Аптекарь (ГАИМК, 1933).

что он письменен, древнеписьменен, потому что он великокультурен и выявлял, казалось, великое культурное начало европейских языков, как много сделано в смысле его изучения, сравнительно хотя бы с дравидскими языками все той же Индии.

(«Яфетическая теория».)

## 2.

Мы сейчас не прослеживаем первоисточников недоумения старого учения о языке, и менее всего можем мы его идеологическое убожество ставить в вину или лично специалистам, или самим мертвым языкам, подневольным жертвам их экспериментов. Отрешенная от увязки с живым окружением, их теория соответствует оторванности идеологии господствующих классов от мировоззрений культурно отставших трудящихся слоев своего же европейского мира, пребывавших так же, как население эксплуатируемых колониальных стран, во власти первобытных представлений, а эта оторванность проистекала от сословно-классового расхождения материальных интересов эксплуатирующих и эксплуатируемых, и нам здесь нет надобности останавливаться на том, что подобно глоттогонии, языкотворчеству, теоретические учения о языке — также продукция социальных факторов и их активных сил, т. е. старое учение о языке своими качествами обязано в конечном счете породившей его целиком буржуазной идеологии. Нам важны факты, имеющие прямое отношение к актуальному расхождению, совершенно непримиримому, старого и нового учения о языке. А факт таков: те основные вопросы, которые были поставлены лингвистически впервые новым учением о языке, никогда не ставились старым учением о языке. Или, если хотите, ставились, но отметались как ненаучные, так, например, вопрос о происхождении языка.

Те положения, которые уже незыблемо установлены новым учением о языке, настолько потому-то и не предвидены, что или они действительно противоречат в корне прежнему учению о языке, так называемой индоевропейской теории, заложенной основными линиями своего построения еще в первой половине прошлого столетия, или они особенно противоречат также в корне массовой квалифицированной рабочей силе старого учения, не идущей дальше общепринятых в руководствах и учебниках авторитетов и их взглядов и не всегда знающей даже то, что в самой среде индоевропейцев, т. е. специалистов старой школы, возникли, мало сказать, сомнения в правильности принятого ими и освященного давностью исследовательского направления. Критика этих индоевропейцев-уклонистов перешла пределы здоровой самокритики, обращаясь в червоточину, знаменующую внутренний распад так называемого индоевропейского учения о языке. Такие лингвисты-индоевропейцы, притом часто наиболее яркие и талантливые, как обычно признают все, я же скажу — лишь более осведомленные в языках различного типа,

или глубже ушедшие в анализ собственной живой речи, всегда были единицами, и ныне их становится все больше и больше, так, например, итальянский ученый Асколи, смеживший очи по завершении прошлого столетия (1829 — 1907), австрийский полиглот Шухардт, скончавшийся лишь два года тому назад, и др. Но этого мало. Рядом с индоевропейской лингвистикой стали возникать, исходя из ее формальных приемов, независимые теоретические учения, особенно те, которые выросли в исследованиях языков так называемых примитивов, африканских, американских, исследованиях всегда комплексных, рука об руку с изучением материальной культуры и бытовых мировоззрений, вообще идеологии культурно отсталых народов и племен. Особо значительные успехи в этом кругу представляет лингвистическая школа, возглавляемая австрийским ученым Шмидтом, которого юбилейный (в день его семидесятилетия) сборник только что вышел, составленный из работ 76 авторов на пяти европейских языках (немецком, французском, английском, итальянском, голландском), том большого формата (фолио) в одну тысячу страниц. Первая работа — о субарах-шумерах, о тех субарах у пределов Ванского озера, которые являются, как мы указывали, тезками приволжских суваров, средневековых чувашей, откуда и по сей день название ряда чувашских деревень — Субар — принадлежит нашему венскому последователю Блейхштейнеру. Открывая сборник, во вступительных строках своей статьи автор мотивирует свое подношение чувством преклонения перед широтой взглядов юбиляра, «знаменитого лингвиста» Шмидта, который первый ознакомил Европу с достижениями яфетической теории. Сама индоевропейская лингвистика дала не одну трещину по цельности своего учения, и один такой сильный процесс распада сказался в школе, выдвигающей на первый план живые диалекты в лингвистическом построении. Этого мало. В ней же, индоевропейской лингвистике, возникло новое течение, которое сознает, что эта теория не только устарела, но и зашла в тупик, что неразумно изучать самим так называемые индоевропейские языки так, как они изучались доселе, — в изоляции, т. е. как не имеющая ничего общего с другими группами «особая семья языков»; что нельзя вовсе развивать далее общего учения о языке, исходя из установленных, казалось, незыблемых положений индоевропейской лингвистики, не скрестив их с результатами независимых работ над языками других групп, более того, нельзя выставлять вообще каких-либо положений или законов реального значения, не проработав их на материалах других языковых групп. Однако мы мало верим и в покаянные декларации загнанных в тупик индоевропейцев. Нам опять-таки важны факты. А факты таковы, что по проторенной дороге исследовательски губятся не одни древние кельты и скифы, ныне уже мертвые народы. Тем же гибельным методом за кельтским и скифским языками затемняется истинная природа живой увязанной с ним речи не одного народа.

(«Родная речь — могучий рычаг культурного подъема».)

### 3.

Дело в коренной перемене постановки общего учения о языке, с переходом от формального учения к идеологическому, также сравнительному, но с учетом связи происхождения и роста языка с общественностью, с историей ее хозяйства, ее организационных форм и всех надстроечных ценностей, в том числе и мировоззрения. Отсюда ясно, что не только язык выявился органически увязанным с жизнью и вопрос о его сложении требует дальнейшего своего в этом смысле уточнения и углубления, но и самое языковедное учение оказалось увязанным с современным у нас идущим к реализации в этом смысле текущим социальным строем, его теоретическим обоснованием марксизмом, и возвращаться назад к старому учению нам незачем, когда это схождение явилось независимым, скажу более — неожиданным для нас результатом объективного изучения лингвистических фактов.

За это время, последние восемь лет, особенно пять лет, яфетическая теория вышла в специальных своих изысканиях сначала пространственно и количественно, затем и качественно за пределы интересов к одним кавказским языкам, перешла практически к изысканиям сравнительным вне расклассифицированных старым учением по так наз. «семьям языков», и это изучение перенесло метод, завещанный от подхода к языку как к биологическому, чуть ли не физиологическому явлению, где звуки и формы захватывали все внимание, к материально новой исследовательской обстановке с необходимостью подходить к языку, хочешь не хочешь, как социальному по самому складу своему явлению, где идеология построения речи оказалась органически связанной не с кровью, не с физической природой человеческих группировок, а с хозяйством и с техникой и выроставшим из них и с ними мировоззрением. Сами группировки человеческих существ, коллективные творцы звуковой речи, оказались в зародыше объединениями не родовыми по крови или по физическим данным, а домостроительными по общности хозяйственных и интересов и потребностей обороны и борьбы, независимо от цвета кожи, черепных или иных антропологических характеристик.

(«Постановка изучения языка в мировом масштабе и абхазский язык».)

### 4.

Естественно, за этот долгий исследовательский путь мы вынуждены были расстаться с целым рядом представлений, прежних, как казалось, незыблемых, научных положений, о расовых языках, о существовании кустарно строившегося праязыка, о вне исследуемой лингвистической среды за горами, за долами находившейся прародине тех или иных народов, да еще прародине с райским бытием фантастического праязыка, о межъязыковых китайских стенах, о хронологизации языковых явлений на основании письменных па-



мятников и сосредоточения исследовательского внимания на письменных, особенно мертвых языках, в ущерб и умаление бесписьменных и живых, представляющих громадное значение для науки о языке, об исключительном значении морфологии, о неважности, во всяком случае второстепенности лексического материала сравнительно с грамматикой, о национальной или первородной племенной чистоте языков и т. д., и т. д. Пришлось постепенно расстаться со всем этим абсолютно ненужным, вредным багажом. Пришлось перенести бремя доказательств и направить острие интереса на другие явления и предметы, как-то: изначальное скрещение в звуковой речи вместо простоты и чистоты, система вместо расы, живые языки вместо мертвых в первую очередь, идеологический анализ вместо формального, более того, качественное улучшение исследования формальной стороны идеологическим ее обоснованием, выдвигание вперед значения материальной культуры, хотя бы самой примитивной, вместо художественной стороны.

(«Яфетическая теория».)

## 5.

Оставаясь в кругу теоретических отвлеченностей, в плоскости надстроечного мира, индоевропеистика с яфетическим языкознанием стоят на противоположных полюсах в постановке самого изучения звуковой речи.

Индоевропеистика занята изучением одних общих черт различных языков, представляющих позднейшее достижение человечества, различное в различных его отрезках соответственно социально-экономическим группировкам глоттогонических эпох, и, восприняв эти на поверхности наблюдаемые черты за доказательства первичного физиологического родства, идет в своих изысканиях по подсудному ей отрезку индоевропейских языков, принимаемому за особую изолированную семью, — идет от сложившихся уже в позднейшем историческом бытовании языков к первичному единому праязыку, праиндоевропейскому, который она уже успела создать. Это создание и по технике, и по мысли вымышленное, никогда не существовавшее.

Яфетическая теория в своем изучении учитывает не только сходные по формальным признакам явления различных языков, но и несходные, анализом их функций вскрыв самое содержание каждого лингвистического явления, в первую голову слов и увязав по смыслу как взаимно языки с языками вне так наз. «семей» с вымышленными праязыками, так природу вообще звуковой речи с ее общественной функцией. Она опирается как на непосредственный источник происхождения и дальнейшего развития не на зоологические предпосылки, вроде родительской пары — папы да мамы, не на физиологические предпосылки технической стороны языка, т. е. лишь формально учитываемые звуки, а на явление общественного в истоке порядка,

скрещении языков, зависящее от сближения, общения и объединения хозяйства.

Соответственно, индоевропеистика с яфетическим языкознанием находится на абсолютно непримиримых позициях в определении эпох жизни звуковой речи, подсудных научному изучению.

По учению индоевропеистов, период изучения языка и языковых явлений ограничивается охватом времени развития звуковой речи с момента уже ее вполне сложившегося и стабилизовавшегося в определенном типе состояния, тогда как яфетическое языкознание успело добраться до возможности трактовать самый объект изучения, это орудие социального общения с эпохой, когда оно было не звуковой речью, а речью линейных движений, речью ручной в основе, и мимикой.

Еще в ранние эпохи периода линейной речи возникает потребность замены линейных кинетических (подвижных) символов символами иного порядка — линейными же, но устойчивыми, письменными и звуковыми. О письменных символах, магического вначале значения, в приложении к производительному труду — особо. Что же касается звуковых символов, раньше также трудмагических, то из них-то и возник нынешний язык человечества. Однако звуковая речь оказалась сложившейся в позднейшие эпохи, после того как она выделилась из нераздельного на первых этапах с продолжавшею существовать линейною речью широкого социального потребления, была, следовательно, уже классовой, во всяком случае употреблялась в производственно-социально-дифференцированном человечестве, и соответственно в звуковой речи первичных эпох наблюдаются переводы с линейной или кинетической речи: в технике словообразования и даже морфологии вскрылась система мышления человечества еще с одной ручной речью, например, слово «звать» оказалось в своем первичном восприятии одного происхождения с глаголом «указывать», «манить», оно также восходит к имени «рука», точнее к предметному образу о «руке», орудию производства акта призыва ручным движением.

Однако в качественном восприятии и одной звуковой речи индоевропеистика с яфетическим языкознанием не могут быть в полном разрыве друг с другом и потому, что они, в зависимости от разности и хронологического, и социального ими охвата языков, оказались на различных наблюдательных постах и, естественно, с различными не только горизонтами — это по части увязки различных так наз. родственных исторических эпох языков, но и с различными вертикальными в глубь времен перспективами, у яфетидологов с целым рядом различных стадий развития не одной речи, мышления также, во взаимной увязке как звеньев одной цепи, для индоевропеистов лишь одной стадии, не только без увязки с другими, более древними ступенями стадияльного развития, но без какого-либо представления о существовании и такого стадияльного развития и его ступеней, без осознания первоочередности учета лингвистических явлений на тех ступенях этого стадияльного развития и

тогда, когда источники и материалы для такой работы над ними, вскрыты и, вопреки всем чинимым нам помехам, все-таки разработаны посильно.

Индоевропеисты оказались в роли творцов учения о языке с отправной в изысканиях точкой от исторически документируемых отрезков общечеловеческой звуковой речи, притом исключительно богато представленной в древних письменностях той или иной классовой речи одной позднейшей стадиальной формации, по восприятию самих индоевропеистов изолированной формации одной самостоятельной индоевропейской семьи. Посему все понятия и термины индоевропеистов по истории языка оказались не отвечающими существу дела, и даже в тождественных лингвистических терминах, как-то: «сродство», «палеонтология», «диахронизм», яфетическое языкознание в зависимости от иного их содержания не имеет и не может иметь ничего общего с индоевропеистикой.

Между тем подлинная диахроническая разработка языкового материала по ступеням стадиального развития установила полное, во всех смыслах коренное расхождение яфетического языкознания с индоевропеистикой в самой технике работы. Расхождение в самом принципе восприятия или определения лингвистических протоплазм. Для яфетидолога лингвистический элемент — это значимое слово, т. е. мысль в звуковом воплощении, чем и было положено начало звуковой речи; для индоевропеистов лингвистический элемент — звук, так наз. фонема, осознание которого, как самостоятельной функциональной части первичных слов-элементов, — явление очень позднее, когда у каждой уже стабилизированной группировки языков имелся в наличии лишь определенный подбор таких звуков от двух-трех десятков до восьми — десяти, изолирующий одну систему языков от другой системы, для индоевропеистов — одну семью языков от другой, тогда как по яфетическому языкознанию всего-навсего четыре лингвистических элемента, первичных обязательно значимых слова или, точнее, используемых в определенной обстановке для сигнализации того или иного предмета, resp. группы предметов, самостоятельно отнюдь не имевших такого уточненного, конкретного смысла звуковых комплексов, которые как части языка не подлежат никакому дальнейшему анализу. И эти четыре лингвистических элемента общи у всех языков, они присущи каждому языку, какой бы он ни был формации, в какую бы систему он ныне или в исторически известных эпох ни входил или к какой бы семье языков его ни относил старое учение о языке, учение индоевропеистов.

Четыре лингвистических элемента зародились не в процессе развития такой надстроечной категории, как язык, а в неразрывном двухстороннем еще недифференцированном трудмагическом процессе. Соответственно те же четыре элемента имели функцию значимости, как термины не выделявшейся еще от труда магии. Вообще, если говорить о праязыке, первичном состоянии звуковой речи, то это была речь узкого охвата определенной профессии, маги-

ческая речь, точнее, не речь, а подбор магических выражений трудового процесса, одновременно с частным изменчивым значением, зависимым от производства, и общим, сигнализирующим источник магии, неведомые силы природы, для нас естественно-производительные силы, для ветхого человечества, смотря по эпохам стадийного развития, идя вглубь — «бог», «тотем», конкретно в зависимости от хозяйства, вообще социально-экономической структуры при космическом мировоззрении — «небо», «солнце» и т. п., при ином хозяйстве и социально-экономическом строе культово — в растительном мире — «дуб», «хлеб» и вообще «деревья», «злаки», в животном мире — «орел» или «птица», «птицы» всегда в особой увязке с «небом», как «рыба» с «водой» или «деревья» с «землей», а затем частью в порядке извоза, частью в порядке питания, если не того и другого, то «олень», «собака», «лошадь» и т. п., то «овца», «козел», «корова», «бык» и т. д., и т. д., но с этим мы уже выходим из круга не только трудмагической значимости, но вообще из магической цеховой речи, орудия общения человечества с тотемом, культово-производственной силой, и вступаем в положение, когда эта речь, пройдя или проходя через голое материально-техническое восприятие производства, преобразуется в бытовую; здесь-то и начинается уже процесс развития языка как орудия взаимного общения одного людского коллектива с другим людским коллективом.

Мы по всей суммарно характеризованной линии уже в разрыве не только с индоевропеистикой, девственно невинной в подобной материалистической постановке лингвистических вопросов и совершенно чуждой гносеологии языка, но и с теми материалистически мыслящими обществоведами, которые, интересуясь всерьез происхождением языка, в то же время заняты выяснением вопроса: «что раньше — мысль или язык»? Притом имеют в виду звуковой язык, между тем с положениями яфетического языкознания этот вопрос отпадает во всяком случае в отношении звуковой речи. Звуковая речь возникает тогда, когда человечество имело за собой не только материальную, но и надстроечную культуру, так, между прочим, определенное мировоззрение за время исключительного господства кинетической речи, т. е. почти за весь палеолит.

Следовательно, когда четыре звуковых комплекса (*A, B, C и D*), возникшие в трудмагическом процессе, став лингвистическими элементами, легли в основу вновь складывавшегося звукового общественного языка, то среда была уже социально-дифференцированная и звуковая речь существовала классовая, являясь орудием классовой борьбы и в руках господствующего слоя, как впоследствии письменность.

(«Яфетидология в ЛГУ».)

6.

... Что такое язык? Трудно дать определение, ибо, будучи созданием изменчивой материальной базы, производства, и с нею неразлучного или к ней ближайше примыкающего надстроечного фак-

тора, социальной структуры, язык также есть историческая ценность, т. е. изменчивая категория, и без допущения чудовищного анахронизма нельзя дать его единого определения, ни идеологического, ни технического. Без содрогания нельзя слушать, когда без учета палеонтологии речи обсуждается какой бы то ни было мелкий вопрос по языку генетического порядка.

Функция языка менялась, изменялось обслуживаемое языком пространство, менялся объем охвата внутреннего порядка — количество нареченных предметов, изменилось орудие речевого производства, изменился его процесс и т. д.

(«Язык и письмо».)

## 7.

...язык вообще, следовательно, и линейный, тем более звуковой, есть надстроечная категория на базе производства и производственных отношений, предполагающих наличие трудового коллектива и без языка, особенно без разговорного звукового языка, сложившегося и развившегося позднее.

(«К бакинской дискуссии».)

## 8.

Яфетическая теория учит, что язык, звуковая речь, ни в какой стадии своего развития, ни в какой части не является простым даром природы. Звуковой язык есть создание человечества. Человечество сотворило свой язык в процессе труда в определенных общественных условиях и пересоздаст его с наступлением действительно новых социальных форм жизни и быта, сообразно новому в этих условиях мышлению. Выходит, что натуральных языков не существует в мире, языки все искусственные, все созданы человечеством, и они не перестают быть искусственными по происхождению оттого, что, раз они созданы, наследственно переходят от одного поколения к другому, точно природный дар, как бы впитываемый с материнским молоком в детском возрасте. Корни наследуемой речи не во внешней природе, не внутри нас, внутри нашей физической природы, а в общественности, в ее материальной базе, хозяйстве и технике. Общественность наследует, консервирует или перелицовывает свою речь в новые формы, претворяет ее в новый вид и переводит в новую систему.

(«Яфетическая теория».)

## 9.

...сосредоточивая все свое внимание на внутренних причинах творческого процесса в развитии речи, мы отнюдь не можем процесс этот помещать в самый язык. Язык такая же надстроечная общественная ценность, как искусство и вообще искусство. Мы силой вещей, свидетельством языковых фактов вынуждены проследивать творческий процесс речи, факторы творчества в истории материальной культуры и на ней строящейся общественности и на этой базе слагавшихся мировоззрений.

(«Яфетическая теория».)

**ВВЕДЕНИЕ К КНИГЕ «ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ»<sup>1</sup>**  
**(ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ)**

В записях В. И. Ленина «К вопросу о диалектике» имеется весьма четкое и ясное определение тождества таких противоположностей, как отдельное и общее: «...отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д., и т. д. Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, процессами)»<sup>2</sup>.

В том же положении диалектического тождества находится и общее языкознание по отношению к грамматике каждого конкретно изучаемого языка. Общее учение о языке строится на материалах грамматик отдельных языков и языковых групп и оторванно от них существовать не может. В то же время каждый отдельно взятый язык есть, так или иначе, выразитель части общего процесса языкотворчества, также как и само языкотворчество выявляет часть общего процесса развития человеческого общества. С другой стороны, каждый язык имеет свои специфические особенности, отделяющие его от других языков. Изучение этих специфических особенностей включается в рамки общего языкознания, поскольку последнее не ограничивается описанием строя речи одной какой-либо системы или «семьи» языков, но охватывает собою всю сложность языкового развития в его схождениях и расхождениях, наблюдаемых в отдельных представителях речи. Таким образом, построения общего языкознания покоятся на конкретных материалах отдельно взятых языков, последние же, без выявления в них моментов общего языкознания, остаются непонятными не только в деталях, но и в целом.

<sup>1</sup> И. И. Мещанинов, Общее языкознание, Учпедгиз, Л., 1940. «Введение» приводится с некоторыми сокращениями.

<sup>2</sup> «Философские тетради», 1936, стр. 327.

Общее учение о языке при таких условиях вовсе не отрывается от специальных лингвистических дисциплин, а, наоборот, оно теснейшим образом связывается со специальными исследованиями различных языковых группировок и существует неразрывно с ними. Более того, проблематика общего языкознания разрешается изучением конкретных материалов отдельных языков. Но и сама наука о языке является лишь одной стороной общей науки о человеке.

Я не касаюсь тех построений курсов общего языкознания, которые преследуют цель дать некоторые перспективы по общим вопросам языка и ознакомить читателя с основной языковой терминологией. Это — задача вводного курса. Общее же языкознание не вводит учащегося в основу языковедческой дисциплины, а ведет его на всем протяжении исследовательской работы, сопутствуя занятиям над языком избранной специальности и помогая освоению фактов данного языка. «Изучать язык с лингвистической точки зрения — это значит прийти к построению системы общей лингвистики»<sup>1</sup>. Так говорит Ж. Вандриес, но он же предупреждает о колоссальных препятствиях, стоящих на пути построения общей лингвистики: «Всякому, кто мало-мальски знаком с положением науки о языке, достаточно известно, что нет более опасной задачи. Ученый, который хотел бы успешно выполнить эту задачу, должен был бы быть в состоянии охватить все формы всех известных языков, должен был бы владеть всеми языками земного шара. Существует ли такой идеальный ученый? Вряд ли»<sup>2</sup>. Вандриес, конечно, прав в последнем своем утверждении, но он не прав в основной постановке всего своего высказывания. Он идет от общего к частному.

Общее, при таком требовании, представляет собою лишь сумму частных случаев, тогда как оно не есть только сумма. Общее, в данном случае, есть монизм языкового процесса, а не сумма наличных языков<sup>3</sup>. Этот монизм выявляется в каждом языке и должен в каждом из них изучаться. «Общее существует лишь в отдельном», «отдельное не существует иначе, как в той связи, которая ведет к общему»<sup>4</sup>. И сам Вандриес стал в конце концов на более правильный путь. «Он попытался рассматривать изучавшиеся им факты как отдельные моменты обширной истории»<sup>5</sup>.

Никто не будет отрицать того, что для разрешения общей проблематики требуется накопление фактов и расширение лингвистического кругозора.

<sup>1</sup> Ж. Вандриес, Язык, русский перевод, 1937, стр. 217.

<sup>2</sup> Там же, стр. 17.

<sup>3</sup> Монизм языкового развития не отрицает и Ж. Вандриес: «Не так уже ошибочно утверждение, что существует столько же разных языков, сколько говорящих. Но, с другой стороны, не будет ошибочным и утверждение, что существует только один человеческий язык под всеми широтами, единый по своему существу. Именно эта идея лежит в основе опытов по общей лингвистике» («Язык», стр. 217).

<sup>4</sup> В. И. Ленин, Философские тетради, 1936, стр. 327.

<sup>5</sup> Ж. Вандриес, Язык, стр. 17.

На материалах отдельных языков расширяется общее учение о языке, и выявляемые им факты дают основание правильнее и глубже усвоить изучаемый языковой строй, вскрывающий в то же время новые данные для того же общего языкознания.

Никакие сравнительные грамматики и никакие экскурсы в сторону формальных сопоставлений не выявят основ языкового движения, пока исследовательская работа ограничивается одним только констатированием формального тождества или расхождения. Односторонний анализ формы не есть еще единственная и конечная цель лингвистики.

Ж. Вандриес признает, что «язык есть орудие действия и имеет практическое назначение; поэтому, для того чтобы хорошо понять язык, необходимо изучить его связи со всей совокупностью человеческой деятельности, с жизнью»<sup>1</sup>. Целый ряд лингвистов, в особенности академик Н. Я. Марр, настаивают на необходимости выйти за пределы узкого языковедения, чтобы лучше понять предмет своей специальности — язык<sup>2</sup>. Э. Сепир, равным образом, ставит себе задачу «показать, что есть язык... как он изменяется в пространстве и времени и каковы его взаимоотношения с другими важнейшими человеческими интересами, с проблемой мышления, с явлениями исторического процесса, расы, культуры, искусства»<sup>3</sup>. Он не без остроумия указывает на то, что в «своем огромном большинстве лингвисты-теоретики сами говорили на языках одного и того же определенного типа, наиболее развитыми представителями которого были языки латинский и греческий, изучавшиеся ими в отроческие годы. Им ничего не стоило поддаться убеждению, что эти привычные им языки представляют собою наивысшее достижение в развитии человеческой речи и что все прочие языковые типы не более чем ступени на пути восхождения к этому избранному флективному типу»<sup>4</sup>. Такова, в частности, схема А. Шлейхера.

Эта схема, несмотря на развернувшуюся критику, все же не изжита, и многие воспитанники индоевропейской школы продолжают изучать другие языки, подгоняя к ним нормы своей родной речи. Они как бы свысока смотрят на иносистемные языки, видя в них что-то неравноправное и для общей лингвистики второстепенное. В параллель к этому Э. Сепир с искреннею, казалось бы, ирониею упоминает об одном прославленном американском писателе по вопросам культуры и языка, который во всеуслышание изрек, что, по его мнению, как бы ни уважать говорящих на агглютинативных языках, все же для «флективной» женщины преступно выйти замуж за «агглютинативного» мужчину<sup>5</sup>. И все-таки, те же Вандриес и Есперсен в основу своих работ кладут материалы индоевропейских языков, только вкрапливая, и то в весьма небольшой

<sup>1</sup> Ж. Вандриес, Язык, стр. 217.

<sup>2</sup> См. обратное мнение де Соссюра («Курс общей лингвистики», стр. 207).

<sup>3</sup> Э. Сепир, Язык, стр. 3.

<sup>4</sup> Там же, стр. 96.

<sup>5</sup> Э. Сепир, Язык, стр. 97, Примечание.



доле, данные из других языков мира. Проблематика общего языкознания, в своей основной части, разрешается ими на тех же фактах индоевропейской речи. Когда же голландский ученый Уленбек положил в основу своих исследований индейские языки Америки, он не встретил никакого сочувствия со стороны даже Сепира<sup>1</sup>.

Оказывается, таким образом, что объявленная борьба с узостью лингвистического кругозора не увенчалась успехом. Вопреки высказанному отходу от положений де Соссюра о том, что «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя»<sup>2</sup>, все же язык продолжает изучаться только для себя и внутри себя.

Де Соссюр в свое время (1916) бросил школе компаративистов, охватившей первый период индоевропейской лингвистики, упрек в том, что она не создала «подлинного научного языкознания». «Основной ошибкой сравнительной грамматики, по словам де Соссюра, такой ошибкой, которая в зародыше включала в себя все прочие, было то, что в своих исследованиях, ограниченных к тому же одними лишь индоевропейскими языками, представители этого направления никогда не задавались вопросом, чему же соответствовали делаемые ими сближения, что же означали открываемые ими отношения. Их наука оставалась исключительно сравнительной, вместо того чтобы стать исторической. Конечно, — продолжает де Соссюр, — сравнение составляет необходимое условие для всякого воссоздания исторической действительности. Но одно лишь сравнение не может привести к выводам. А выводы тем более ускользали от компаративистов, что развитие двух языков они рассматривали совершенно также, как естествоиспытатель рассматривал бы произрастание двух растений»<sup>3</sup>. Этот упрек безусловно верен, но он может быть равным образом обращен и к младограмматикам и даже к той новой социологической школе Запада, одним из основателей которой считается сам де Соссюр. Если компаративисты не создали «подлинной научной лингвистики», то и преемники их не дали подлинного исторического освещения языковому процессу. Их работа замкнулась в те же рамки формальных сопоставлений.

Отсутствие подлинного историзма сказалось хотя бы в том, что Вандриес, прослеживая разновидности грамматических категорий в разных языках, смешал их все воедино безо всякого внимания к специфическим особенностям строя речи, наблюдаемым в определенные периоды и в определенных языках. Между тем, хотя характерные признаки языка и меняются, на что совершенно правильно указывает де Соссюр<sup>4</sup>, все же конкретным языкам в конкретные периоды их развития свойственны определенные языковые призна-

<sup>1</sup> С. Uhlenbeck, Le caractère passif du verbe transitif, «Rev. des Etudes basques», XIII, 3, 1922.

<sup>2</sup> Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, стр. 207.

<sup>3</sup> Там же, стр. 30.

<sup>4</sup> Там же, стр. 205.

ки, которые могут отсутствовать в других языках и в тех же самых, но в других периодах их же истории. При таком положении дела можно найти язык, в котором будет отсутствовать языковой признак, уаличный в других языках. Но из отсутствия данного признака в одном языке нельзя делать вывод об отсутствии его вообще. В противном случае можно свести все языковые признаки к нулю. К таким выводам и пришел Вандриес. Беря проблему грамматических категорий в их наличии в разных языках и снимая те из них, которые отсутствуют в каком-либо языке, французский ученый выделяет только две части речи, имя и глагол, к которым сводятся все остальные. «Но, если, — продолжает Вандриес, — мы перейдем от языков индоевропейских к языку семитическим, мы не сможем провести в последних такую же четкую грань. В арабском языке есть немало общих окончаний в склонениях и спряжениях»<sup>1</sup>. Вместо того чтобы рассматривать языки в их изменении в пространстве и во времени (Сепир), Вандриес рассматривает их в общей их совокупности вне пространства и вне времени.

Можно ли назвать такую концепцию подлинно исторической? Сомневаюсь. Грамматическая категория есть исторически изменяющаяся категория. Можно строить диахроническую грамматику, но в таком случае следует учитывать исторический процесс, основанный на трансформационных переходах, на взрывах или скачках и на образовании новых качественных показателей, наличных в определенных языках и в определенных периодах развития речи. Можно строить и синхроническую грамматику, и тогда придется выявлять наличные показатели в конкретно взятых языках, устанавливая эти показатели по их действующему значению в изучаемом языковом строе.

Но и в последнем случае описание действующего строя речи любого языка нуждается в историческом обосновании. Поэтому научная синхроническая грамматика всегда будет в известной степени черпать материал из диахронической, соприкасаясь с нею все же лишь до известной степени. Различие их выявляется в целевой установке проводимой работы. Первая, синхроническая, грамматика трактует о действующем строе языка как исторически сложившегося целого, тогда как вторая, диахроническая, показывает исторический процесс развития языка до современного его состояния. Обычно лишь диахроническая грамматика именуется исторической, по существу же обе грамматики можно было бы назвать историческими, имея в виду, что одна из них затрагивает один исторический этап развития языка, а другая изучает все исторические этапы, пройденные этим же языком. В этом исторически более развернутом исследовании диахроническая грамматика с большей ясностью выявляет те коренные сдвиги в языковом строе, которые пройдены в определенных исторических условиях и которые внешне выразились в изменениях словарного запаса и строя предложения.

<sup>1</sup> Ж. Вандриес, Язык, стр. 116

Такие коренные сдвиги в основных показателях языка легче всего улавливаются именно диахронической грамматикой, в особенности при расширении грамматического очерка сравнительными параллелями из других языков. Исследователь со всею очевидностью устанавливает в этом случае наличие резких расхождений в содержании отдельных языковых показателей, приобретающих иные функции и нуждающихся в особом анализе. Отсюда с неизбежною очевидностью следует вывод о том, что одного общего определения для всех языковых явлений вне времени и пространства нет и быть не может, в связи с чем и общее языкознание вовсе не преследует цели дать такое общее определение.

Следовательно, общее языкознание, с одной стороны, не преследует задач сравнительного очерка всех языков мира, с другой, не берет на себя установления единых языковых признаков, общих для всех языков. Всякие попытки в этом направлении оказались бы безжизненными и никогда не дадут убедительной схемы истории языка, так как они в зародыше дефектны как антиисторические.

Непонимание трансформационного движения в развитии языка, называемого Н. Я. Марром стадияльным<sup>1</sup>, ведет, кроме того, к неизбежной модернизации, выражающейся в переоценке давности норм речи наиболее известных нам языков, которыми в первую очередь конечно, являются индоевропейские. И если де Соссюр признал в свое время изменчивость языковых признаков<sup>2</sup>, то все же он замкнул их в рамки тех же индоевропейских языков и дал схему общего языкознания, построенную лишь на них. Получилось «индоевропейское общее языкознание», тяготеющее до сих пор над мыслью научного работника. Даже Э. Сепир, именно от этого и предостерегающий<sup>3</sup> и в то же время хорошо знакомый с индейскими языками Америки, прошел мимо наличных в них форм, не укладывающихся в нормы европейских языков. Определив речь как «поток произносимых слов»<sup>4</sup>, он тем самым исключил из речи еще сохранившиеся в этих языках инкорпорированные комплексы слова-предложения, не представляющие собою потока слов, но тем не менее все же являющиеся речью, служа средством общения между людьми и выражая непосредственную действительность мысли.

Такая вольная или невольная модернизация упростила подход к языку, упростила тем самым и попытки обобщающих построений. Эти построения, замкнутые в узко взятом материале, с тою же узостью объяснили и исторический процесс языкового развития, дав сравнительное построение меняющихся форм. Что формы меняются, это ясно видел каждый, берущий на себя изучение памятни-

<sup>1</sup> См., например, Н. Я. Марр, Стадия мышления при возникновении глагола *быть*. Избранные работы, III, стр. 85 и сл.

<sup>2</sup> Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, стр. 205.

<sup>3</sup> Э. Сепир, Язык, стр. 96.

<sup>4</sup> Там же, стр. 20.

ков языка различных его периодов, но сами меняющиеся формы брались из того же круга избранных языков и потому, естественно, что причина их изменений свелась к констатированию формальной стороны наблюдаемых перемен. Получилась внешняя формальная история развития языка, история, замкнутая в самом языковом материале. При таких условиях подлинная причина изменений в строе речи осталась невыясненной. Между тем при всех особенностях языка как общественного явления надстроечного порядка язык изменяется его носителем и притом изменяется не случайно и не произвольно. Появляются новые формы, старые формы получают новое осмысление, иногда и новые функции, прослеживается все время диалектическое взаимодействие формы и содержания, что неминуемо обостряет вопрос о взаимодействии между языком и мышлением.

Этот вопрос не нов<sup>1</sup>. Он имеет свою длинную историю, свидетельствующую о попытках подойти к разрешению не только проблем самого языка, но также и связей его с говорящим на нем народом. Все эти попытки, оторванные от исторического материализма, весьма показательны как в своих построениях, так и в своих выводах, неустойчивых и в то же время бессильных вывести языковедение из замкнутого самодовлеющего состояния.

Существовали разные теории о происхождении языка, так или иначе затрагивающие проблему связи языка и мышления. Еще Гумбольдт определял язык как орган, образующий мышление (*das bildende Organ des Gedankens*). По мнению Гумбольдта, язык есть произведение человека и является в то же время даром народу. Разнообразие строя языков представляется, по Гумбольдту, зависимым от особенностей народного духа и объясняется этими особенностями. Язык, зарождаясь в почтенной глубине человеческой истории, является созданием человека, но в то же время не является собственным созданием народов. Он представляет собою дар, доставшийся народам благодаря их внутренним способностям (*durch ihr inners Geschickt*). Язык связан с народом. Таковы высказывания Гумбольдта.

Определенное по тому же вопросу высказывание имеется и у основоположника биологического натурализма в языковедении, у А. Шлейхера. Мысль, по его мнению, невозможна без языка, подобно тому как и дух невозможен без тела. К этим высказываниям, до известной степени, приближается и Беккер, по словам которого «человеку так же необходимо говорить, потому что он мыслит, как необходимо дышать, потому что он окружен воздухом. Как дыхание есть внешнее проявление внутреннего образовательного процесса, а произвольное движение есть проявление воли, - так и язык есть внешнее проявление мысли». Таким путем Беккер приходит к выводу о внутреннем тождестве мысли и языка. Язык, по его словам, «есть только воплощение мысли». Но так как формы мысли, то есть поня-

<sup>1</sup> См. Schuchardt - Brevier, Halle, 1928, стр. 321 — 327.

тий и их сочетаний, рассматриваются в логике, а, с другой стороны, эти же формы проявляются и в грамматических отношениях слов, то грамматика, исследованию которой подлежат эти отношения, находится, по представлению Беккера, во внутренней связи с логикой, из чего, по его же мнению, следует, что грамматика в основном построении своих ведущих элементов тождественна с логикой<sup>1</sup>. К этим высказываниям вплотную примыкает смешение логических категорий с грамматическими у Ф. И. Буслаева<sup>2</sup>.

Сравнительно-историческое изучение языков оказалось само по себе взрывчатым элементом для основных устоев логической, или, как ее иногда называли, философской, грамматики. Историзм в языке заставляет видеть его в движении. Это движение устанавливалось еще Гумбольдтом, по словам которого язык есть не дело ( $\xi\rho\upsilon\nu$ ), не мертвое произведение, а деятельность ( $\epsilon\nu\epsilon\rho\upsilon\epsilon\iota\alpha$ ). Язык есть вечно повторяющаяся работа духа, направленная на то, чтобы сделать членораздельный звук выражением мысли. Язык не есть нечто готовое и обозримое в целом. Он вечно создается<sup>3</sup>. Тот же взгляд, но еще в более детализованном виде, развернут де Соссюром в его уже приведенном выше утверждении о том, что «если кто-нибудь станет предполагать наличие в языке каких-то постоянных признаков, не подвергающихся изменению ни во времени, ни в пространстве, он наткнется на преграду, связанную с основными принципами эволюционной лингвистики. Неменяющихся признаков вообще не существует; они могут сохраняться только благодаря случайности»<sup>4</sup>. Стоя на той же почве гумбольдтовских положений и в значительной степени опираясь на высказывания Штейнталя, А. А. Потебня признал, что для логики словесное выражение ее построений безразлично. Отсюда он приходит к выводу, что грамматическое предложение вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением. Грамматических категорий, по его словам, несравненно больше, чем логических<sup>5</sup>. Из всего этого видно, что область языка далеко не совпадает с областью мысли<sup>6</sup>.

Провал логической грамматики, несомненно, сыграл свою положительную роль, но все же сравнительные грамматики младограмматиков и социологической школы не разрешили дела общего

<sup>1</sup> W. v. Humboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues (Humboldt's gesammelte Werke, VI, S 75, 6, 33, 36 — 38); Schleicher, Die Sprachen Europas, Bonn, 1850; Becker, Das Wort; Becker, Organism der Sprache; Steinthal, Grammatik, Logik und Psychologie, § 5, 14, откуда взяты цитаты из Беккера; W. L. Graff, Language and languages, London, 1932, где дается богатая библиография. Ср. А. А. Потебня, Мысль и язык, изд. 1922 г., стр. 7 и сл.

<sup>2</sup> Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика русского языка, 1881.

<sup>3</sup> W. v. Humboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues.

<sup>4</sup> Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, русский перевод, 1933, стр. 205.

<sup>5</sup> А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I, 1888, стр. 60 — 69.

<sup>6</sup> Его же, Мысль и язык, Спб., 1922, стр. 36.

языкознания. Препятствием к этому оказалось также и неправильное понимание взаимоотношения языка и мышления. Так, еще представитель логической грамматики Беккер, признавая внутреннее тождество мысли и языка и признавая в то же время единство форм мысли для всех народов, должен был неизбежно прийти к выводу о единой грамматике, одинаково обязательной для всех языков. Действительно, если форма мысли одна для всех времен и народов и если язык тождествен мысли, то в языковом строе не может быть разнообразия ни во времени, ни в пространстве. Получился, таким образом, естественный застой. Все же такое разнообразие устанавливается как наличный факт, с которым пришлось считаться и самому Беккеру, который признал в теории допустимость единой грамматики, равно обязательной для всех языков. То же, что не укладывается в законные нормы единой грамматики, он отнес к «уродливости организмов»<sup>1</sup>.

Шлейхер значительно продвинулся вперед, признав изменчивость языка, но он подчинил ее биологическому закону. Младограмматики (Бругман, Сивере, Пауль, Лескин, Фортунатов и др.) отвергли биологический подход к языку. Результаты сравнения они включили в мнимую историческую линию развития, идущую от праязыка.

Потебня, следуя Гумбольдту и Штейнталу, склонился к тому направлению науки, которое «предполагает уважение к народностям, как необходимому и законному явлению, и не представляет их уродливостями, как должно следовать из принципа логической грамматики»<sup>2</sup>. Язык изменчив и пространственно и хронологически. Изменчивость строя речи в понимании Потебни ясно вскрывается в следующих его словах: «Язык есть средство понимать самого себя. Понимать себя можно в разной мере: чего в себе не замечаю, то для меня не существует и, конечно, не будет мною выражено в слове. Поэтому никто не имеет права впадать в язык народа того, чего сам этот народ в своем языке не находит»<sup>3</sup>. Следовательно, в языке может быть выражено то, что понимается народом именно в том виде, в каком оно им воспринимается. К сожалению, Потебня не развил здесь своей мысли до конца и даже, более того, сбился с нее при практическом ее применении к анализу строя речи. Частично приводя слова Беккера и полемизируя с ними, в данном случае только в части определения конкретных грамматических категорий, А. А. Потебня говорит, что «для нас предложение немисливо без подлежащего и сказуемого; определяемое с определительным, дополняемое с дополнительным не составляют для нас предложения. Но подлежащее может быть только в именительном падеже, а сказуемое невозможно без глагола (*verbum finitum*); мы можем не выражать этого глагола, но мы чувствуем его присутствие, мы разли-

<sup>1</sup> Becker, Organism der Sprache, Vorrede, XVIII.

<sup>2</sup> А. А. Потебня, Мысль и язык, стр. 39.

<sup>3</sup> Там же, стр. 118.

чаем сказательное (предикативное) отношение («бумага бела») от определительного («белая бумага»). Если бы мы не различали частей речи, то тем самым мы бы не находили разницы между отношениями подлежащего и сказуемого, определяемого и определения, дополняемого и дополнения, то есть предложения для нас бы не существовало»<sup>1</sup>.

В таком понимании строя речи легко дойти до утверждения, что предложение существует только для прошедших школьную грамматику и что человек неграмотный не использует в своей речи предложения. Формы сознания в их отношении к языку оказываются, в этих условиях, не отражением в речи наличного бытия в данном его общественном восприятии, а ограниченным представлением о действующих грамматических формах.

Столь сбивчивое представление о взаимоотношении языка и мышления, кардинального казалось бы вопроса для общего языкознания, не разъяснилось и после Потебни. В итоге оно выразилось в полном отрицании непосредственного подчинения языка мышлению говорящего (де Соссюр)<sup>2</sup>.

На тех же позициях стоит и ныне господствующая на западе социологическая школа языкознания.

Язык, конечно, находится в движении. Этого не будет отрицать ни один лингвист современности. Но в движении же находятся и нормы сознания: «Люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с данной действительностью также свое мышление и продукты своего мышления»<sup>3</sup>. Эти два движения, языка и мышления, диалектически связаны друг с другом. Не тождество, а диалектическое единство объединяет язык и мышление.

Язык определяется не духом народа, извечно ему присущим (Гумбольдт), не коллективным духом языковых групп, а самим носителем речи, общественным коллективом, племенем, народом, нацией с присущим им психическим складом, исторически ими же созданным и исторически меняющимся. «Люди являются производителями своих представлений, идей и т. д., — но люди действительные, действующие, как они обусловлены определенным развитием своих производительных сил и соответствующим последнему общением, вплоть до их отдаленнейших формаций. Сознание (das Bewusstsein) никогда не может быть чем-либо иным, как сознанным бытием (das bewusste Sein), а бытие людей есть реальный процесс их жизни»<sup>4</sup>. Бытие людей, реальный процесс их жизни, исторически различно, им устанавливаются различные нормы сознания, как осознанного бытия, что неминуемо отражается в языке, как непосредственной действительности мысли.

<sup>1</sup> А. А. Потебня, Мысль и язык, стр. 118 — 119.

<sup>2</sup> «Курс общей лингвистики», стр. 203 — 205.

<sup>3</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идеология, 1934, стр. 17.

<sup>4</sup> Там же, стр. 16.

Чтобы понять действующие в языке нормы, нужно знать основные законы языкового развития, что и ведет к неизбежному стыку проблематики общей лингвистики с задачами изучения языков в отдельности. Где же можно установить основы языкового развития? Конечно, только на материалах конкретных языков в их указанном выше понимании как явления общественного порядка. Если в задачи общей лингвистики входит показ тех путей, по которым идет развитие языков, и если ей предъявляется требование формулировать общие принципы, приложимые ко всякому языку (Вандриес)<sup>1</sup>, и иллюстрировать общие принципы фактами отдельных языков (Сепир)<sup>2</sup>, то в первую очередь мы должны установить тот закон, который заложен во все языки и наличен во всех языковых явлениях. Это будет закон диалектики.

При единстве глоттогонического процесса нет математической точности и тождества в развитии отдельных языковых групп и даже отдельных языков внутри их, так же как и в развитии их структурных особенностей вплоть до отдельных языковых признаков включительно. То, что налично в одном языке, может отсутствовать в другом, а наличное в обоих может быть качественно различным, хотя бы и при тождестве формального выявления как в лексике, так и в синтаксисе. Слова одной основы могут оказаться не однозначными, имя же, согласованное с глаголом, может не оказаться подлежащим.

Человеческое общество, носитель данной речи, создает в ходе истории свои потребности и свое понимание окружающей действительности, что и отражается в языковой структуре, в ее идеологической и формальной сторонах. То, чего конкретный носитель речи, племя, народ, нация, себе не представляют, того и нет в языке. Поэтому внедрение новых понятий влечет за собою появление новых терминов или семантическую смену прежних, а требования в передаче новых выражений и оборотов могут повлечь за собою изменения в строе предложения. В связи с этим не может быть единства и постоянства в выражении грамматических категорий, вовсе не существующих извечно и вовсе не заложенных в языковую структуру раз навсегда. Отвлеченно взятых категорий речи не существует. Пути же развития языков различны, и тем самым монизм языкового историзма выявляется не механистически, а диалектически. Неучет диалектического, скачкообразного развития речи и является основной методологической ошибкой старой лингвистической школы.

Такою же методологической ошибкой общего языкознания оказывается чрезмерный формализм, то есть одностороннее изучение формы в ущерб ее значению, при этом формы не только лексической, но и синтаксической. Благодаря этому далеко не достаточно освещается функциональная ее роль в изучаемой речи и до чрез-

<sup>1</sup> Ж. Вандриес, Язык, стр. 217.

<sup>2</sup> Э. Сепир, Язык, Предисловие, стр. 3.



вычайности облегчается сравнительное формальное сопоставление. Сравнительный метод, замкнутый в этих рамках, делает основной упор на морфологию, на изменение слов, значительно меньше уделяя внимания особенностям синтаксиса, как строя предложения, являющегося равным образом формальной стороной речи. При таких условиях углубленное изучение формальной стороны, что является само по себе положительным фактом, замкнувшись в самом себе, становится уже отрицательным.

При всем разнообразии внешнего выявления диалектических путей движения глоттогонического монизма устанавливаются основные линии и основные элементы, исторически обусловленные в своем появлении и исторически же обусловленные в своем изменении. В числе таких присущих языку основных элементов, по которым легче всего вести прослеживание видоизменяющихся языковых построений, выделяются слово и предложение. Они должны рассматриваться как исторические категории, следовательно, не изначальные, и исследоваться как в отдельности, так и в их взаимосвязи. Слово качественно различно в различные периоды развития речи, предложение же равным образом различно по построению используемых в нем слов.

В заключение позволяю себе уделить несколько строк, непосредственно касающихся настоящей моей работы, посвященной стадильности в развитии слова и предложения. Почему взята эта тема?

Слово и предложение, конечно, не единственная тема для широкой области общезыковедческой проблематики, но эта тема ярко выделяется.

В обширной области общего языкознания наряду с важнейшими вопросами исторической фонетики, происхождения языка и т. д. встает также и вопрос о лексике и синтаксисе. Здесь не менее чем в других темах, оставляемых пока в стороне, выдвигаются основные положения лингвистики: зависимость языкового развития от развития общества, связь языка и мышления. Кроме того, выдвигаемая мною тема, при новых заданиях общего учения о языке, заданиях, ставящих себе целью не отвлеченные суждения, а конкретную помощь расширяющемуся изучению отдельных языков, приобретает в настоящее время весьма действенное значение в практических задачах.

Общие выводы в области лингвистических исследований не охватывают всех деталей всех отдельно взятых языков, тогда как каждый из них, входя в общее русло языкознания, тысячами переходов связан с другими отдельными языками. Все это общее в отдельном и связи между отдельными языками выясняются общим языкознанием на их же материале.

Общее языкознание проникает, таким образом, в проблематику каждого языка, строится на его материалах и в то же время содействует правильному пониманию этого материала, что является необходимым в конкретных заданиях построения грамматик. Между тем

каждая грамматика неминуемо затрагивает проблему слова и предложения<sup>1</sup>. На этом строится вся часть морфологии и синтаксиса.

На указанной проблеме, в разрезе отмеченных выше задач общего языкознания, и сосредоточивается сейчас мое внимание. Выдвигается, таким образом, проблема слова и предложения. Мы видели различные попытки объяснения их взаимосвязи и строящиеся на их основе различные определения действующих в языке элементов речи, в первую очередь частей речи и членов предложения. Рассматривая слово в его отношении к предложению, исследователи пришли к двум диаметрально противоположным схемам. По одной из них (Рис) учение о слове (Wortlehre) противопоставляется учению о словосочетании (Syntax), в первое входит учение о формах и значениях слов, во второе — учение о формах и значениях синтаксических образований<sup>2</sup>. Отсюда следует обособление частей речи от членов предложения. С другой стороны, А. А. Потебня, признавая, что предложение для нас не существовало бы, если бы мы не различали частей речи<sup>3</sup>, приходит к отождествлению частей речи с членами предложений. В основе недоговоренности лежит, очевидно, не вполне ясное представление о взаимоотношениях слова с предложением<sup>4</sup>.

Эти две основные единицы речи неразрывно связаны. Слово практически не существует вне предложения. Оно, выражаясь словами Сепира, «есть один из мельчайших вполне самодовлеющих кусочков изолированного «смысла», к которому сводится предложение»<sup>5</sup>, но слово может рассматриваться обособленно. Предложение же изучается на основе наличных в нем словосочетаний и представляет собою цельную, грамматически оформленную единицу, выражающую непосредственную действительность мысли. Зависимое и в то же время решающее значение слов в предложении (слово, взятое без предложения, и невозможность предложения, взятого без слов) прекрасно подтверждается примерами словарной работы, в которой значение слов (а слово без значения существовать не может) подкрепляется ссылками на соответствующие предложения.

<sup>1</sup> См. Schuchardt-Brevier, Halle, 1928, стр. 275: «Вопрос о взаимоотношении между словом и предложением, который так просто представлен в старых школьных грамматиках, получил значительную неясность...»

<sup>2</sup> J. Ries, Was ist Syntax?, S. 45 — 84, 143. Ср. М. Н. Петерсон, Очерк синтаксиса русского языка, 1923, стр. 3 — 4, 25 — 27.

<sup>3</sup> А. А. Потебня, Мысль и язык, изд. 1922 г., стр. 119,

<sup>4</sup> Я не затрагиваю сейчас, но вынужден буду затронуть в последующих главах вопрос о сочетаниях слов, не образующих предложения, например определителя с определяемым, дополнения с глаголом и т. д. Они образуют собою иногда лексические комплексы («черная собака», ср. в гиляцком), иногда синтаксические и лексико-синтаксические («застрелили чайку», ср. в гиляцком), но не дают значения предложения. Таким образом, в основе остаются только две отмеченные единицы речи.

<sup>5</sup> Э. Сепир, Язык, стр. 28.

**О ТРОЯКОМ АСПЕКТЕ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ И ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ  
В ЯЗЫКОЗНАНИИ<sup>1</sup>**

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ И. А. БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЕ

Совершенно очевидно, что хотя при процессах говорения мы часто просто повторяем нами раньше говорившееся (или слышанное) в аналогичных условиях, однако нельзя этого утверждать про все нами говоримое. Несомненно, что при говорении мы часто употребляем формы, которых никогда не слышали от данных слов, производим слова, не предусмотренные никакими словарями, и, что главное и в чем, я думаю, никто не сомневается, сочетаем слова, хотя и по определенным законам их сочетания<sup>2</sup>, но зачастую самым неожиданным образом, во всяком случае не только употребляем слышанные сочетания, но постоянно делаем новые. Некоторые наивные эксперименты с выдуманными словами убеждают в правильности сказанного с полной несомненностью. То же самое справедливо и относительно процессов понимания, и это настолько очевидно, что не требует доказательств; мы постоянно читаем о вещах, которых не знали; мы часто лишь с затратой значительных усилий добиваемся понимания какого-либо трудного текста при помощи тех или иных приемов.

В дальнейшем я буду называть процессы говорения и понимания речевой деятельностью (первый аспект языковых явлений), всячески подчеркивая при этом, что процессы понимания, интерпретаций знаков языка являются не менее активными и не менее важными в совокупности того явления, которое мы называем языком, и что они обуславливаются тем же, чем обуславливается возможность и процессов говорения.

Обо всем этом неоднократно говорилось лингвистами, и я хотел бы только подчеркнуть то обстоятельство, что поскольку мы знаем из опыта, что говорящий совершенно не различает форм слов и сочетаний слов, никогда не слышанных им и употребляемых им впер-

<sup>1</sup> «Известия АН СССР». Отделение общественных наук, 1931, стр. 113.

<sup>2</sup> Имею в виду здесь не только правила синтаксиса, но, что гораздо важнее, и правила сложения смыслов, дающие не сумму смыслов, а новые смыслы, правила, к сожалению, учеными до сих пор мало обследованные, хотя интуитивно отлично известные всем хорошим стилистам.

вые, от форм слов и сочетаний слов, им много раз употреблявшихся<sup>1</sup>, постольку мы имеем полное право сказать, что вообще все формы слов и все сочетания слов нормально создаются нами в процессе речи в результате весьма сложной игры сложного речевого механизма человека в условиях конкретной обстановки данного момента. Из этого с полной очевидностью следует, что этот механизм, эта речевая организация человека никак не может просто равняться сумме речевого опыта (подразумеваю под этим и говорение и понимание) данного индивида, а должна быть какой-то своеобразной переработкой этого опыта. Эта речевая организация человека может быть только физиологической или, лучше сказать, психофизиологической, чтобы этим термином указать на то, что при этом имеются в виду такие процессы, которые частично (и только частично) могут себя обнаруживать при психологическом самонаблюдении. Но само собой разумеется, что сама эта психофизиологическая речевая организация индивида вместе с обусловленной ею речевой деятельностью является социальным продуктом, как это будет разъяснено ниже. Об этой организации мы можем умозаключить лишь на основании речевой деятельности данного индивида.

Человечество в области языкознания искони и занималось подобными умозаключениями, делаемыми, однако, не на основании актов говорения и понимания какого-либо одного индивида, а на основании всех (в теории) актов говорения и понимания, имевших место в определенную эпоху жизни той или иной общественной группы. В результате подобных умозаключений создавались словари и грамматики языков, которые могли бы называться просто языками, но которые мы будем называть языковыми системами (второй аспект языковых явлений), оставляя за словом «язык» его общее значение. Правильно составленные словарь и грамматика должны исчерпывать знание данного языка. Мы, конечно, далеки от этого идеала, но я полагаю, что достоинство словаря и грамматики должно измеряться возможностью при их посредстве составлять любые правильные фразы во всех случаях жизни и вполне понимать все говоримое на данном языке.

Словарь и грамматика, т. е. языковая система данного языка, обыкновенно отождествлялись с психофизиологической организацией человека, которая рассматривалась как система потенциальных языковых представлений. В силу этого язык считался психофизиологическим явлением, подлежащим ведению психологии и физиологии.

Однако при этом прежде всего забывали то, что все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном опыте (ни в психологическом, ни

<sup>1</sup> Случаи сознательного «выдумывания» слов довольно редки вообще, сознательное же группирование слов свойственно лишь письменной речи, которая все же в целом строится тоже автоматически. Сознательность обыденной разговорной (диалогической) речи в общем стремится к нулю.

в физиологическом) нам вовсе не даны, а могут выводиться нами лишь из процессов говорения и понимания, которые я называю в такой их функции языковым материалом (третий аспект языковых явлений). Под этим последним я понимаю, следовательно, не деятельность отдельных индивидов, а совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы. На языке лингвистов это тексты (которые, к сожалению, обыкновенно бывают лишены вышеупомянутой обстановки); в представлении старого филолога это литература, рукописи, книги.

Само собой разумеется, что все это несколько искусственные разграничения, так как очевидно, что языковая система и языковой материал — это лишь разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности, и так как не менее очевидно, что языковой материал вне процессов понимания будет мертвым, само же понимание вне как-то организованного языкового материала (т. е. языковой системы) невозможно. Здесь мы упираемся в громадную и малоисследованную проблему понимания, которая лежит вне рамок настоящей статьи. Скажу только, что понимание при отсутствии переводов может начинаться лишь с того, что два человека с одинаковым социальным прошлым, естественно или искусственно (научно) созданным, будучи поставлены в одинаковые условия деятельности и момента, возымеют одну и ту же мысль (я имею в виду реальное столкновение двух людей, лишенных каких бы то ни было средств взаимного непосредственного понимания и перевода, например европейского исследователя и, скажем, южноамериканского примитива в естественных условиях жизни этого последнего).

Далее, что еще важнее, система языковых представлений, хотя бы и общих, с которой обыкновенно отождествляют языковую систему, уже по самому определению своему является чем-то индивидуальным, тогда как в языковой системе мы, очевидно, имеем что-то иное, некую социальную ценность, нечто единое и общеобязательное для всех членов данной общественной группы, объективно данное в условиях жизни этой группы (ср. ниже).

Вундт как-то умалчивает об этом затруднении, и его «*Völkerpsychologie*» в конце концов ничем не отличается от простой психологии. Бодуэн пытается выйти из него, создавая понятие «собираательно-индивидуального» (см. «*O 'prawach' glosowych*», отдельный оттиск из *Rocznik slawistyczny*, III, стр. 3 оттиска), что несколько напоминает «среднего человека» Дильтея<sup>1</sup>. Однако, по-моему, это понятие не разрешает затруднений. Принять выход, предлагаемый идеалистами, т. е. признать существование языковой системы как какой-то надиндивидуальной сущности, некой «живой объектив-

<sup>1</sup> Позиции большинства лингвистов и даже Соссюра, ближе других подошедшего к этому вопросу, неясны. Соссюр хотя и различил четко «*parole*» (понятие, впрочем, далеко не вполне совпадающее с моим понятием «речевой деятельности») и «*langue*», однако помещает последний в качестве психических величин в мозг.

ной идеи», чего-то «идеал-реального» (ср., например, Франк, Очерк методологии общественных наук, 1922, стр. 74 и ел.) для меня невозможно в силу инстинктивного отталкивания от всего сверхчувственного. Не могу согласиться и с чистым номинализмом, считающим, что языковая система, т. е. словарь и грамматика данного языка, является лишь ученой абстракцией (такое впечатление производят, между прочим, рассуждения Сепира в первой главе его прекрасной книги «Язык»).

Мне кажется, однако, что разрешение вышеуказанных затруднений можно найти на иных путях. Прежде всего возникает вопрос, в каком отношении находится «психофизиологическая речевая организация» владеющего данным языком индивида к этой выводимой лингвистами из языкового материала языковой системе. Очевидно, что она является ее индивидуальным проявлением. В идеале она может совпадать с ней, но на практике организации отдельных индивидов могут чем-либо да отличаться от нее и друг от друга. Их, пожалуй, можно было бы действительно называть «индивидуальными языками», если бы в подобном названии не крылось глубокого внутреннего противоречия, ибо под языком мы разумеем нечто, имеющее прежде всего социальную ценность. И действительно, если индивидуальные отличия речевой организации того или иного индивида оказываются слишком большими, то уже этим самым данный индивид выводится из общества, как, например, мы это и видим у сильно косноязычных<sup>1</sup>, некоторых умалишенных и т. п. Терминологически, может быть, лучше всего было бы говорить поэтому об «индивидуальных речевых системах».

Что же такое сама языковая система? По-моему, это есть то, что объективно заложено в данном языковом материале и что проявляется в «индивидуальных речевых системах», возникающих под влиянием этого языкового материала. Следовательно, в языковом материале и надо искать источник единства языка внутри данной общественной группы.

Может ли языковой материал быть фактически единым внутри той или иной группы? Поскольку данная группа сама представляет из себя полное единство, т. е. поскольку условия существования и деятельности всех ее членов будут одинаковыми и поскольку все они будут находиться в постоянном взаимном общении друг с другом, постольку для всех них языковой материал будет фактически един: ведь каждая фраза каждого члена группы при таких обстоятельствах осуществляется одновременно для всех ее членов. Для единства грамматики достаточно частичного фактического единства языкового материала. Поэтому грамматически мы имеем единый язык в довольно широких группировках; в области же словаря для единства языка должно быть более полное единство материала, а потому мы видим, что с точки зрения словаря язык дробится на очень

<sup>1</sup> Впрочем, поскольку косноязычный сознает свое косноязычие и знает, как он должен был бы сказать, этот случай не является типичным.

маленькие ячейки вплоть до семьи (единство так называемого «общего языка» в высококультурной среде поддерживается в значительной степени единством читаемого литературного материала). При оценке сказанного надо иметь в виду, что языки, с которыми мы в большинстве случаев имеем дело, не являются языками какой-либо элементарной общественной ячейки, а языками весьма сложной структуры соответственно сложной структуре общества, функцией которого они являются (об этом см. ниже).

Каким образом происходят изменения языка и чем объясняется их единство внутри данной социальной группы? Очевидно, прежде всего, что языковые изменения обнаруживаются в речевой деятельности. Каковы же факторы этой последней? С одной стороны — единая языковая система, социально обоснованная в прошлом, объективно заложенная в языковом материале данной социальной группы и реализованная в индивидуальных речевых системах, с другой — Содержание жизни данной социальной группы. Единство языковой системы обеспечивает единство реакций на это содержание. Все подлинно индивидуальное, не вытекающее из языковой системы, не заложенное в ней потенциально, не находя себе отклика и даже понимания, безвозвратно гибнет. Единство содержания обеспечивает в этих условиях единство языка, и поскольку это содержание внутри группы остается тем же, язык может не изменяться (чего, конечно, никогда не бывает: практически можно говорить лишь о замедлениях и ускорениях процесса).

Но малейшее изменение в содержании, т. е. в условиях существования данной социальной группы, как-то: иные формы труда, переселение, а следовательно, и иное окружение и т. п., немедленно отражается на изменении речевой деятельности данной группы, притом одинаковым образом, поскольку новые условия касаются всех членов данной группы. Речевая деятельность, являясь в то же время и языковым материалом, несет в себе и изменение языковой системы. Обыкновенно говорят, что изменение языковой системы происходит при смене поколений. Это отчасти так, но опыт нашей революции показал, что резкое изменение языкового материала неминуемо влечет изменение речевых норм даже у пожилых людей: масса слов и оборотов, несколько лет тому назад казавшихся дикими и неприемлемыми, теперь вошла в повседневное употребление. Поэтому правильнее будет сказать, что языковая система находится все время в непрерывном изменении.

Наконец, всякая социальная дифференциация внутри группы, вызывая дифференциацию речевой деятельности, а следовательно, и языкового материала, приводит к распаду единого языка.

Я не могу здесь останавливаться на подробном рассмотрении всех факторов, изменяющих речевую деятельность. Укажу кое-что лишь для примера.

Поскольку речевая деятельность, протекая не иначе, как в социальных условиях, имеет своей целью сообщение и, следовательно, понимание, постольку говорящие вынуждены заботиться о том, что-

бы у слушающих не было недоразумений, происходящих от смешения знаков речи, и этим объясняются, например, многие диссимиляции, особенно диссимиляции (вплоть до устранения) омонимов, что так наглядно было показано Жильероном и его школой<sup>1</sup>. Поскольку возможность смешения объективно заложена в определенных местах самой языковой системы, постольку эти тенденции к устранению омонимности будут общи всем членам данной языковой группы и будут реализоваться одинаковым образом.

В языковой системе данной группы объективно заложены в определенных местах ее и те или другие возможности ассимиляции (в фонетике, морфологии, синтаксисе, словаре). Поэтому в силу присущей (в пределах исторического опыта) людям тенденции к экономии труда (не касаюсь здесь генезиса этой тенденции, так как это завело бы меня слишком далеко) эти возможности реализуются одинаковым образом у всех членов группы или по крайней мере могут так реализоваться, а потому во всяком случае ни у кого не вызывают протеста (факты так общеизвестны, что на них нечего настаивать).

Можно сказать, что интересы понимания и говорения прямо противоположны, и историю языка можно представить как постоянное возникновение этих противоречий и их преодоление.

Наконец, капитальнейшим фактором языковых изменений являются столкновения двух общественных групп, а следовательно, и двух языковых систем, иначе — смешение языков. Процесс сводится в данном случае к тому, что люди начинают говорить на языке, который они еще не знают. Языковой материал, которому они стремятся подражать, един; языковая система, которая определяет их речевую деятельность, едина. Поэтому они одинаковым образом искажают в своей речевой деятельности то, чему подражают. Если со стороны другой группы по тем или иным социальным причинам нет достаточного сопротивления, то результаты одинаковым образом «искаженной» речевой деятельности, являясь в то же время и «языковым материалом», обуславливают резкое изменение языковой системы.

Так как процессы смешения происходят не только между разными языками, но и между разными групповыми языками внутри одного языка, то можно сказать, что эти процессы являются кардинальными и постоянными в жизни языков, как это полнее всего относительно семантики и было показано Мейе.

При восприятии одной группой языка другой группы может иметь место не только неполное им овладение, но и изменение и переосмысление его в целях приспособления к иному или новому социальному содержанию. Таковы многие языковые изменения нашей эпохи, особенно ярким примером которых может служить переосмысление хотя бы таких слов, как «господин», «товарищ».

<sup>1</sup> Жюль Жильерон {1854 — 1926) — французский языковед, основатель школы «лингвистической географии», на принципах которой им составлен «Лингвистический атлас Франции». (Примечание составителя.)



Выше было сказано, что изменения языка всего заметнее при смене поколений. Но само собой понятно, что все изменения, подготовленные в речевой деятельности, обнаруживаются легче всего при столкновении двух групп. Поэтому историю языка можно в сущности представить как ряд катастроф, происходящих от столкновения социальных групп.

На этом я останавлиюсь, указав лишь еще раз, что в реальной действительности вся картина сильно усложняется и затемняется тем, что некоторые группы населения могут входить в несколько социальных группировок и иметь, таким образом, отношение к нескольким языковым системам. От степени изолированности разных групп друг от друга зависит способ сосуществования этих систем и влияния их друг на друга. Некоторые из этих сосуществующих систем могут считаться для их носителей иностранными языками. Таковым, между прочим, для большинства групп является так называемый «общий язык», «*langue commune*»<sup>1</sup>. Этот последний, конечно, не надо смешивать с литературным языком, который, хотя и находится с «общим» в определенных функциональных отношениях, имеет, однако, свою собственную сложную структуру. Общий язык всегда и изучается как иностранный с большим или меньшим успехом в зависимости от разных условий. Таких общих языков может быть несколько в каждом данном обществе, соответственно его структуре, и они могут иметь разную степень развитости. Само собой разумеется, что субъективно общий «иностраный» язык зачастую квалифицируется как родной, а родной — как групповой. Это, впрочем, и отвечает структуре развитых языков, где все групповые языки, в них входящие, считаются жаргонами по отношению к некоторой норме — «общему языку», который, целиком отражая, конечно, социальный уклад данной эпохи, исторически сам восходит через процессы смешения к какому-либо групповому языку.

Таким образом, лингвисты совершенно правы, когда выводят языковую систему, т. е. словарь и грамматику данного языка, из соответственных текстов, т. е. из соответственного языкового материала. Между прочим, совершенно очевидно, что никакого иного метода не существует и не может существовать в применении к мертвым языкам.

Дело обстоит несколько иначе по отношению к живым языкам, и здесь и лежит заслуга Бодуэна, всегда подчеркивавшего принципиальную, теоретическую важность их изучения. Большинство лингвистов обыкновенно и к живым языкам подходит, однако, так же, как к мертвым, т. е. накапливает языковой материал, иначе говоря, записывает тексты, а потом их обрабатывает по принципам мертвых языков. Я утверждаю, что при этом получают мертвые словари и грамматики. Исследователь живых языков должен поступать иначе. Конечно, он тоже должен исходить из так или иначе понятого язы-

<sup>1</sup> А зачастую и для всех групп, как, например, французский язык для теперешних французов.

кового материала. Но, построив из фактов этого материала некую отвлеченную систему, необходимо проверять ее на новых фактах, т. е. смотреть, отвечают ли выводимые из нее факты действительности. Таким образом в языкознание вводится принцип эксперимента. Сделав какое-либо предположение о смысле того или иного слова, той или иной формы, о том или ином правиле словообразования или. формообразования и т. п., следует пробовать, можно ли сказать ряд разнообразных фраз (который можно бесконечно множить), применяя это правило. Утвердительный результат подтверждает правильность постулата и, что любопытно, сопровождается чувством большого удовлетворения, если подвергшийся эксперименту сознательно участвует в нем.

Но особенно поучительны бывают отрицательные результаты: они указывают или на неверность постулированного правила, или на необходимость каких-то его ограничений, или на то, что правила уже больше нет, а есть только факты словаря и т. п. Полная законность и громадное значение этого метода иллюстрируются тем, что когда ребенок учится говорить (или взрослый человек учится иностранному языку), то исправление окружающими его ошибок («так никто не говорит»), которые являются следствием или невыработанности у него, или нетвердости правил (конечно, бессознательных), играет громадную роль в усвоении языка. Особенно плодотворен метод экспериментирования в синтаксисе и лексикографии и, конечно, в стилистике. Не ожидая того, что какой-либо, писатель употребит тот или иной оборот, то или иное сочетание, можно произвольно сочетать слова и, систематически заменяя одно другим, меняя их порядок, интонацию и т. п., наблюдать получающиеся при этом смысловые различия, что мы постоянно и делаем, когда что-либо пишем. Я бы сказал, что без эксперимента почти невозможно заниматься отраслями языкознания. Люди, занимающиеся ими на материале мертвых языков, вынуждены для доказательства своих положений прибегать к поразительным ухищрениям, а многого и просто не могут сделать за отсутствием материала.

В возможности применения эксперимента и кроется громадное преимущество, с теоретической точки зрения изучения живых, языков. Только с его помощью мы можем действительно надеяться подойти в будущем к созданию вполне адекватных действительности грамматики и словаря<sup>1</sup>. Ведь надо иметь в виду, что в текстах лингвистов обыкновенно отсутствуют неудачные высказывания, между тем как весьма важную составную часть языкового материала образуют именно неудачные высказывания с отметкой «так не говорят», которые я буду называть «отрицательным языковым материалом». Роль этого отрицательного материала громадна

<sup>1</sup> Я не говорю здесь о технике лингвистического эксперимента: она трудна и требует великого количества всяких предосторожностей. Записывать тексты может всякий; хорошо записывать тексты уже гораздо труднее; для того чтобы быть хорошим экспериментатором, необходим специальный талант.

и совершенно еще не оценена в языкознании, насколько мне известно.

В сущности, то, что я называл раньше «психологическим методом» (или еще неудачнее «субъективным»), и было у меня всегда методом эксперимента, только недостаточно осознанного. Впервые я его стал осознавать, как таковой, в эпоху написания моего «Восточнолужицкого наречия», Спб., 1915 («Записки историко-филологического факультета Петербургского университета», СХХVIII); впервые назвал я его методом эксперимента в моей статье «О частях речи в русском языке» («Русская речь», II, 1927). Об эксперименте в языкознании говорит нынче и Пешковский (статья «Принципы и приемы стилистического анализа художественной прозы» в *Ars poetica*, 1927; ср. еще ИРЯС, 1, 2, 1928, стр. 451), а раньше Thumb (*Beobachtung und Experiment in der Sprachpsychologie. Festschrift Vietor, Marburg i. L.*, 1910), правда, последний в несколько другом аспекте. Впрочем, надо признать, что психологический элемент метода несомненен и заключается в оценочном чувстве правильности или неправильности того или иного речевого высказывания, его возможности или абсолютной невозможности.

Однако чувство это у нормального члена общества социально обосновано, являясь функцией языковой системы (величина социальная), а потому и может служить для исследования этой последней. Именно оно-то и обуславливает преимущество живых языков над мертвыми с исследовательской точки зрения.

В этом ограничительном смысле и следует понимать высказывания моих старых работ о важности самонаблюдения в языкознании. Для меня давно уже совершенно очевидно, что путем непосредственного самонаблюдения нельзя констатировать, например, «значений» условной формы глагола в русском языке. Однако, экспериментируя, т. е. создавая разные примеры, ставя исследуемую форму в самые разнообразные условия и наблюдая получающиеся при этом «смыслы», можно сделать несомненные выводы об этих «значениях» и даже об их относительной яркости. При таком понимании дела отпадают все те упреки в «субъективности» получаемых подобным методом лингвистических данных, которые иногда делались мне с разных сторон: «мало ли что исследователю может показаться при самонаблюдении; другому исследователю это может показаться иначе». Как видно из всего вышеизложенного, в основе моих лингвистических утверждений всегда лежал получаемый при эксперименте языковой материал, т. е. факты языка.

С весьма распространенной боязнью, что при таком методе будет исследоваться «индивидуальная речевая система», а не языковая система, надо покончить раз навсегда. Ведь «индивидуальная речевая система» является лишь конкретным проявлением языковой системы, а потому исследование первой для познания второй вполне законно и требует лишь поправки в виде сравнительного исследования ряда таких «индивидуальных языковых систем». В конце кон-

цов лингвисты, исследующие тексты, не поступают иначе. Готский язык не считается специальным языком Ульфилы, ибо справедливо предполагают, что его письменная речевая деятельность была предназначена для понимания широких социальных групп. Говорящий тоже говорит не для себя, а для окружения. Разница, конечно, та, что в первом случае мы имеем дело с литературной речевой деятельностью, имеющей очень широкую базу потребителей и характеризующейся, между прочим, сознательным избеганием «неправильных высказываний» (о чем см. ниже), а во втором — с групповой речевой деятельностью диалогического характера.

Здесь надо устранить одно недоразумение: лингвистически изучая сочинения писателя (или устные высказывания любого человека), мы можем исследовать его речевую деятельность, как таковую, — получится то, что обыкновенно неправильно называют «языком писателя», но что вовсе не является языковой системой<sup>1</sup>, но мы можем также исследовать ее и как языковой материал для выведения «индивидуальной речевой системы» данного писателя, имея, однако, в виду в конечном счете установление языковой системы того языка, на котором он пишет. Конечно, картина будет неполная из-за недостаточности материала, прежде всего из-за отсутствия отрицательного языкового материала, но многое можно будет установить с достаточной точностью<sup>2</sup>, как показывает многовековой опыт языкознания.

Вообще надо иметь в виду, что то, что часто считается индивидуальными отличиями, на самом деле является групповыми отличиями, т. е. тоже социально обусловленными (семейными, профессиональными, местными и т. п.), и кажется индивидуальными отличиями лишь на фоне «общих языков». Языковые же системы общих языков могут быть весьма различными по своей развитости и полноте, от немного более нуля и до немного менее единицы (считая нуль за отсутствие общего языка, а единицу — за никогда не осуществляемое его полное единство) и дают более или менее широкий простор групповым отличиям.

Строго говоря, мы лишь постулируем индивидуальные отличия «индивидуальных речевых систем» внутри примарной социальной группы, ибо такие отличия, как ведущие к взаимонепониманию, должны неминуемо исчезать в порядке социального общения, а потому никто на них никогда не обращал внимания, даже если они и встречались. Этим-то и объясняется всегда практиковавшееся

<sup>1</sup> Я не думаю, чтобы такое исследование обязательно должно было совпадать с «психологией творчества» или «с психологией языка» (Sprachpsychologie). Мне кажется, что здесь возможны и чисто лингвистические подходы, но я не могу здесь обосновывать свои возражения на этот предмет, так как это потребовало бы особого исследования.

<sup>2</sup> Само собой разумеется, что в дальнейшем, для дополнения и сравнения, совершенно необходимо привлекать сочинения и других писателей, и чем больше, тем лучше. Стилистику без этого нельзя даже и построить, во всяком случае полную стилистику.

отождествление таких теоретически несоизмеримых понятий, как «индивидуальная речевая система» (психофизиологическая речевая организация индивида) и «языковая система», которым более или менее грешили все лингвисты до самого последнего времени.

В сущности можно сказать, что работа каждого неопита данного коллектива, усваивающего себе язык этого коллектива, т. е. создающего у себя речевую систему на основании языкового материала этого коллектива (ибо никаких других источников у него не имеется), совершенно тождественна работе ученого-исследователя, выводящего из того же языкового материала данного коллектива его языковую систему, только одна протекает бессознательно, а другая сознательно.

Возвращаясь к эксперименту в языкознании, скажу еще, что его боязнь является пережитком натуралистического понимания языка<sup>1</sup>. При социологическом воззрении на него эта боязнь должна отпасть: в сфере социальной эксперименты всегда производились, производятся и будут производиться. Каждый новый закон, каждое новое распоряжение, каждое новое правило, каждое новое установление с известной точки зрения и в известной мере являются своего рода экспериментами.

Теперь коснусь еще вопроса так называемой «нормы» в языках. Наша устная речевая деятельность на самом деле грешит многочисленными отступлениями от нормы. Если бы ее записать механическими приборами во всей ее неприкосновенности, как это скоро можно будет сделать, мы были бы поражены той массой ошибок в фонетике, морфологии, синтаксисе и словаре, которые мы делаем. Не является ли это противоречием всему тому, что здесь говорилось? Нисколько, и притом с двух точек зрения. Во-первых, нужно иметь в виду, что мы нормально этих ошибок не замечаем ни у себя, ни у других. «Неужели я мог так сказать?» — удивляются люди при чтении своей стенограммы; фонетические колебания, легко обнаруживаемые иностранцами, обыкновенно являются открытием для туземцев, даже лингвистически образованных. Этот факт объясняется тем, что все эти ошибки социально обоснованы; их возможности заложены в данной языковой системе, и они, являясь привычными, не останавливают на себе нашего внимания в условиях устной речи.

<sup>1</sup> В сущности, это подобный же пережиток, какой можно было наблюдать у Бругмана (и у многих других «младограмматиков»), когда он отрицал возможность искусственного международного языка, называя его вслед за G. Meyer'ом *homunculus*'ом (Karl Brugmann und August Leskien, *Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen*, Strassburg, 1907, S. 26). Но не прав был и Бодуэн, который в разгаре обострившихся философских противоречий утверждал, что нет разницы между живым и мертвым языком, между живым и искусственным языком: достаточно кому-нибудь изучить мертвый язык, чтобы он стал живым (J. Baudouin de Courtenay, *Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen*. *Ostwald's Annalen der Naturphilosophie*, VI). Этого, конечно, мало: для того чтобы стать живым, он должен стать хотя бы одним из нормальных орудий общения внутри какой-либо социальной группы, хотя бы минимальной.

Во-вторых, всякий нормальный член определенной социальной группы, спрошенный в упор по поводу неверной фразы его самого или его окружения, как надо правильно сказать, ответит, что «собственно надо сказать так-то, а это-де сказало случайно или только так слышалось» и т. п.

Впрочем, ощущение нормы, как и сама норма, может быть и слабее и сильнее в зависимости от разных условий, между прочим, от наличия нескольких сосуществующих норм, недостаточно дифференцированных для их носителей, от присутствия или отсутствия термина для сравнения, т. е. нормы, считаемой за чужую, от которой следует отталкиваться, и, наконец, от практической важности нормы или ее элементов для данной социальной группы<sup>1</sup>.

Совершенно очевидно, что при отсутствии осознанной нормы отсутствует отчасти и отрицательный языковой материал<sup>2</sup>, что в свою очередь обуславливает крайнюю изменчивость языка. Совершенно очевидно и то, что норма слабеет, а то и вовсе исчезает при смешении языков и, конечно, при смешении групповых языков, причем первое случается относительно редко, а второе постоянно. Таким образом, мы снова приходим к тому положению, что история каждого данного языка есть история катастроф, происходящих при смешении социальных групп.

Возвращаясь к вопросам нормы, нужно констатировать, что литературная речевая деятельность, т. е. произведения писателей, в принципе свободна от неправильных высказываний, так как писатели сознательно избегают ляпсусов, свойственных устной речевой деятельности, и так как, обращаясь к широкому кругу читателей, они избегают и тех элементов групповых языков, которые не вошли в том или другом виде в структуру литературного языка. Поэтому лингвисты глубоко правы в том, что, разыскивая норму данного языка, обращаются к произведениям хороших писателей, обладающих, очевидно, в максимальной степени тем оценочным чувством («чутьем языка»), о котором говорилось выше. Однако и здесь надо помнить, во-первых, что у многих писателей все же встречаются ляпсусы<sup>3</sup> и, во-вторых, что по существу вещей произведения писателей не содержат в себе отрицательного языкового материала.

<sup>1</sup> Очень часто, особенно при смешении диалектов, норма может состоять в отсутствии нормы, т. е. в возможности сказать по-разному. Лингвист должен будет все же определить границы колебаний, которые и явятся нормой.

<sup>2</sup> Говорю — отчасти, так как отрицательный языковой материал создается не только непосредственными исправлениями окружающих, но прежде всего фактическим непониманием; всякое речевое высказывание, которое не понимается, или не сразу понимается, или понимается с трудом, а потому не достигает своей цели, является отрицательным языковым материалом. Ребенок научается правильно просить чего-нибудь, так как его непонятые просьбы не выполняются.

<sup>3</sup> Приведу примеры: «проникнуть в тайные недопустимые комнат человеческой души» (Куприн, Штабс-капитан Рыбников, III); «из двух шагов один раз нога срывалась с вершины кочки и вязла» (Фет, Мои воспоминания, II, 183) и т. д.

## ОЧЕРЕДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ<sup>1</sup> (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

Одной из основных очередных задач является сравнительное изучение структуры, или строя, различных языков. Насколько подобное сравнительное изучение сможет дать нам историческую картину развития структуры человеческого языка вообще в связи с развитием человеческого сознания, мне, откровенно говоря, неясно. Думается, во всяком случае, что иного пути нет и быть не может. Но я слишком мало самостоятельно думал над этим вопросом, чтобы дольше останавливаться на нем.

Зато мне вполне ясна важность подобного изучения для другой проблемы, с которой, впрочем, вышеуказанная историческая проблема тесно связана. Дело идет о взаимообусловленности отдельных элементов языковых структур. Примером такой взаимообусловленности может служить тот общеизвестный факт, что в латинском языке порядок слов почти не играет никакой грамматической роли, факт, несомненно стоящий в связи с тем, что грамматическая роль большинства слов довольно точно определяется их морфологическими элементами. Богато развитая система согласных фонем некоторых кавказских языков, например абхазского, имеет своим коррелянтом бедность их системы гласных вплоть до потери этими последними самостоятельного фонематического значения. Для абхазского языка, по-видимому, вполне можно постулировать в недавнем прошлом такое состояние, когда фонемой был слог. Семантизация различий по силе артикуляции согласных в грузинском (так называемая «троякая звонкость»), в некоторых германских языках и диалектах, в некоторых финских языках находится, конечно, в связи с уменьшением значения, а то и вовсе с падением противоположения звонкости и глухости согласных во всех этих языках.

Все эти факты, бросающиеся в глаза, лежат, так сказать, на поверхности наблюдаемых явлений, но на очереди стоит еще углубленное, по возможности исчерпывающее изучение относящихся сюда фактов, ибо только на этих путях можно серьезно ставить вопрос о зависимости изменений в знаковой стороне языка от изменений в структуре общества. Сейчас это больше постулат, чем очевидный факт.

Итак, насущно необходимо внимательно изучать структуры самых разнообразных языков. На первый взгляд кажется, что этим всегда и занимались и что никакой специфической проблемы сегодняшнего дня здесь не имеется. Однако если обратить внимание на то, как до сих пор изучалась структура разных языков и как это надо делать, то становится очевидным, что мы действительно стоим перед громадной лингвистической проблемой первоочередной важности...

<sup>1</sup> «Известия АН СССР». Отделение литературы и языка, т. IV, вып. 5, 1945.

...Для того чтобы не исказить строй изучаемого языка, его надо изучать не через переводчиков, а непосредственно из жизни, так, как изучается родной язык. Надо стремиться вполне обладать изучаемым языком, ассимилироваться туземцам, постоянно требуя от них исправления твоей речи. Но этого, конечно, недостаточно: опыт учит, что и в таких условиях у взрослого получается своего рода «нижегородский французский». Со стороны лингвиста при превращении «parole» в «langue» необходима неусыпная борьба с родным языком: только тогда можно надеяться осознать все своеобразие структуры изучаемого языка. Одним это удастся в большей степени, другим — в меньшей, но к этому надо во что бы то ни стало стремиться, если решительно заниматься сравнением структуры языков. Чем полярнее эти структуры языка, тем легче это сделать. В наилучшем положении находятся те языки, в которых хорошие грамматические и словарные описания сделаны туземцем вне какого бы то ни было влияния со стороны иноземных языков. Не знаю только, сколько найдется таких действительно хороших описаний (к сожалению, я не изучал творений Panini и не могу о них судить). Однако несомненно, что во всех подобных туземных описаниях всегда много правды и что необходимо их тщательно изучать, несмотря на возможные недостатки их лингвистического метода...

...Что такое «слово»? Мне думается, что в разных языках это будет разным. Из этого, собственно, следует, что понятия «слово вообще» не существует. Однако если согласиться, с тем, что в «речи» («parole») «слово» не дано и что оно является лишь категорией «языка как системы» («langue»), то «слово» представится нам в виде тех кирпичей, из которых строится наша «речь» («parole») и некоторый репертуар которых необходимо иметь в памяти для осуществления речи.

Во всяком случае, с моей точки зрения, в «язык как систему» («langue») входят «слова», образующие в каждом данном языке свою очень сложную систему (к этому я вернусь ниже), живые способы создания новых слов (а потому и фонетика, точнее фонология, или фономатология), а также схемы или правила построения различных языковых единств — все это, конечно, социальное, а не индивидуальное, хотя и базируется на реальной «речи» членов данного коллектива. К «речи» же («parole») относятся, с моей точки зрения, все процессы говорения и понимания, разыгрывающиеся в индивидууме.

Из этого, между прочим, вытекает, что многие так называемые сложные слова, например немецкого языка или санскрита, являются в этих языках словами лишь по форме, а по существу будут соответствовать тем простейшим единицам «речи» («parole»), которые я называю синтагмами; большинство сложных слов этих языков делается в процессе речи и не входит в репертуар «языка как системы». Само собой разумеется, что такие русские слова, например, как *пароход*, *паровоз* и т. п., в отличие от таких, как *шлемоблещу-*



*ций, русско-французский*, являются сложными словами лишь в исторической перспективе; сейчас это простые слова.

Вообще, при исследовании как проблемы «слова», так и всех других аналогичных проблем необходимо смелее подходить к традиционным понятиям и особенно терминам. Смешно спрашивать: «что такое предложение?»; надо установить прежде всего, что имеется в языковой действительности в этой области, а затем давать наблюдаемым явлениям те или другие наименования. Применительно к европейским языкам, а в том числе и к русскому, мы прежде всего встречаемся с явлением большей или меньшей законченности высказываний разных типов, характеризующихся разнообразными специфическими интонациями: повествование, вопросы, повеления, эмоциональные высказывания. Примеры очевидны. Далее мы наблюдаем такие высказывания, где что-то утверждается или отрицается относительно чего-то другого, иначе говоря, где выражаются логические суждения с вполне дифференцированными S и P (есть в русском языке некоторые и другие случаи, о которых сейчас не буду говорить): *мой дядя — генерал; хороший врач — должен быть прежде всего хорошим диагностом; мои любимые ученики — собрались сегодня у меня на квартире; все эти мероприятия — не то, что надо больному в настоящую минуту* (тире поставлены иногда против правил пунктуации для того, чтобы подчеркнуть двучленность всех этих выражений). Далее мы наблюдаем такие высказывания, посредством которых выражается та или иная наша апперцепция действительности в момент речи, иначе говоря, узнавание того или иного ее отрезка и подведение его под имеющиеся в данном языке общие понятия: *светает; пожар; горим; солнышко прогревает, воробышки чирикают, на прогалинке травка зеленеет; когда гости подъехали к крыльцу, все высыпали их встречать; подъезжая к крыльцу, мы еще издали заметили на нем поджидающих нас хозяев; мы вошли в комнату, где жила целая семья*. (Примеры выбраны так, что все отдельные их синтагмы являются иллюстрациями данного случая.)

При таких обстоятельствах оказывается совершенно неясным, что же имеется в виду, когда мы говорим о «предложении»...

...Говорить о разных формах слова, не придавая термину никакого специального философского значения, можно и должно тогда, когда у целой группы конкретно разных, но по звукам сходных слов мы наблюдаем не только что-то фактически общее, а единство значения. Когда мы наблюдаем, что все эти слова обозначают одни и те же предметы мысли, хотя и в разных его аспектах или с разными дополнительными значениями, то образно мы вполне вправе говорить, что слова этой группы являются различными видоизменениями, различными «формами» одного и того же слова. Собственно говоря, лучше бы не употреблять слово «форма» в этом простецком значении: слишком оно многозначно, но подобное, хотя, может быть, и не всегда до конца осознанное, словоупотребление

так укоренилось в нашем языке, что с ним трудно было бы вест» войну<sup>1</sup>

Как бы то ни было, но называть сейчас слово *шарманщик* «формой» слова *шарманка* совершенно условно и исключительно с формальной точки, конечно, можно, но, по-моему, как-то противоестественно, тем более что подобное словоупотребление в конце концов только запутывает довольно ясное в общем положение вещей. *Трубач* трудно называть формой слова *труба*, так как трудно даже подумать, чтобы слова *труба* и *трубач* считать за одно слово, за разные формы одного и того же слова: *трубач* есть название человека, который трубит, а *труба* — название предмета, в который он трубит. Точно так же *труба* и *трубка* нельзя считать формами одного и того же слова, так как они обозначают разные предметы. Но вот слова *трубка* и *трубочка* в определенных случаях можно считать за формы одного и того же слова: *трубочка* может называться уменьшительной формой слова *трубка* в определенных значениях. Такое словоупотребление вполне отвечает нашей словарной традиции, где зачастую уменьшительные и ласкательные формы, если они не дают новых значений, вовсе даже не приводятся в предположении, очевидно, что они подразумеваются грамматической теорией. Другой пример: *прыгать* и *перепрыгнуть*, конечно, не являются формами одного и того же слова, так как имеют разное значение, отвечая совершенно различным вещам в объективной действительности. Например, глаголы *перепрыгнуть* и *перепрыгивать* можно считать формами одного и того же слова, так как оба имеют в виду совершенно одно и то же конкретное действие и только подходят к нему по-разному.

<sup>1</sup> Многие не признают важности и принципиальности противоположения словообразования и формообразования, сваливая все это в одну кучу морфологии. Это находится отчасти в связи с крайним разнообразием понимания техники «формы».

Я не люблю спорить с чужими мнениями, считая, что если я хорошо обосновал собственное, то через это страдают другие, с моими несогласные по крайней мере элементы, противоречащие моим положениям (добросовестные научные мнения, хотя бы и неправильные в конечном счете, всегда содержат в себе зерна истины). Однако некоторые недоразумения так вкоренились в нашу литературу вплоть до учебников, что придется сказать несколько слов по поводу некоторых традиционных утверждений.

Я никак не могу называть, вслед за Фортунатовым, формой способность слова. Конечно, в научной терминологии можно, а иногда и необходимо изменить традиционные, общеязыковые значения слов; однако все же не следует этим злоупотреблять, и называть способность к чему-либо формой кажется мне противоестественным. В применении же к данному случаю такое словоупотребление только запутывает дело.

Это может быть справедливо в отношении предполагавшегося раньше особого периода индоевропейского праязыка .когда якобы существовали как самостоятельные единицы «основы», которые и «оформлялись» разными словообразовательными и формообразовательными элементами. Не говоря уже о том, что существование какого-либо подобного периода языка является более чем сомнительным, для этого-то постулируемого периода семантически как будто нельзя ставить на одну доску, например, название самого деятеля по действию и приписывание этого действия кому-либо, хотя бы тому же деятелю (3-е лицо).

## VII. К МАРКС, Ф. ЭНГЕЛЬС и В. И. ЛЕНИН О ПРОБЛЕМАХ ЯЗЫКА

Марксистское языкознание исходит из философии диалектического материализма и характеризуется принципиально новым подходом к изучению явлений языка.

Классики марксизма-ленинизма, кроме создания общеметодологической основы для исследования языка, дают непосредственное разрешение ряда важнейших специальных проблем языкознания.

В настоящем разделе приводятся самые существенные высказывания классиков марксизма-ленинизма, имеющие прямое отношение к вопросам языкознания. В целях более точного и полного понимания указанные высказывания даются по возможности в широких контекстах.

Основные и принципиальные положения марксистского языкознания по проблемам предмета и методических основ научного исследования устанавливают, что язык обслуживает общество в качестве важнейшего средства общения, обмена мыслями и средства понимания. Вместе с тем он есть орудие мышления. Не образуя тождества, язык и мышление неразрывно связаны друг с другом и не могут существовать друг без друга. Тем самым определяются две основные функции языка: функция общения (коммуникативная функция) и функция воплощения мысли.

Из приведенных предпосылок вытекают главные направления изучения языка. Язык должен изучаться в связи с развитием общества и в единстве с мышлением. Основу развития языка составляет развитие общества во всей совокупности экономических, политических и культурных его аспектов.

Изменение языка происходит по внутренним законам его развития, которые, с одной стороны, характеризуют специфические особенности языка в целом, а с другой стороны, определяют особенности, свойственные конкретным языкам.

Эти общие положения марксистского языкознания создают основу для разрешения частных проблем науки о языке.

# I.

## К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС

### 1.

Лишь теперь, после того как мы уже рассмотрели четыре момента, четыре стороны первоначальных исторических отношений, мы находим, что человек обладает также и «сознанием»<sup>1</sup>. Но и им человек обладает в виде «чистого» сознания не с самого начала. На «духе» с самого начала лежит проклятие — быть «оттягощенным» материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков — словом, в виде языка. Язык так же древен, как и сознание; язык *есть* практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми<sup>2</sup>. Там, где существует какое-нибудь отношение, оно существует для меня; животное не «относится» ни к чему и вообще не «относится»; для животного его отношение к другим не существует как отношение. Сознание, следовательно, с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди. Сознание, конечно, есть вначале осознание *ближайшей* чувственно воспринимаемой среды и осознание ограниченной связи с другими лицами и вещами, находящимися вне начинающего сознавать себя индивида; в то же время оно — осознание природы, которая первоначально противостоит людям как совершенно чуждая, всемогущая и неприступная сила, к которой люди относятся совершенно по-животному и власти которой они подчиняются, как скот; следовательно, это — чисто животное осознание природы (обожествление природы).

Здесь сразу видно, что это обожествление природы или это определенное отношение к природе обуславливается формой общества, и наоборот. Здесь, как и повсюду, тождество природы и человека обнаруживается также и в том, что ограниченное отношение людей к природе обуславливает их ограниченное отношение друг к другу, а их ограниченное отношение друг к другу — их ограниченное отношение к природе, и именно потому, что природа еще почти не

<sup>1</sup> Пометка Маркса на полях: «Люди имеют историю потому, что они должны *производить* свою жизнь, и притом *определенным* образом. Это обусловлено их физической организацией так же, как и их сознание». Ред.

<sup>2</sup> Далее в рукописи перечеркнуто: «Мое отношение к моей среде есть мое сознание». Ред.

видоизменена ходом истории; но с другой стороны, сознание необходимости вступить в сношения с окружающими индивидами является началом осознания того, что человек вообще живет в обществе. Начало это носит столь же животный характер, как и сама общественная жизнь на этой ступени; это — чисто стадное сознание, и человек отличается здесь от барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт, или же, — что его инстинкт осознан. Это баранье, или племенное, сознание получает свое дальнейшее развитие благодаря росту производительности, росту потребностей и лежащему в основе того и другого росту населения. Вместе с этим развивается и разделение труда, которое вначале было лишь разделением труда в половом акте, а потом — разделением труда, совершившимся само собой или «естественно возникшим» благодаря природным задаткам (например, физической силе), потребностям, случайностям и т. д., и т. д. Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение материального и духовного труда<sup>1</sup>. С этого момента сознание *может* действительно вообразить себе, что оно нечто иное, чем осознание существующей практики, что она может *действительно* представлять себе что-нибудь, не пред\* ставляя себе чего-нибудь действительного, — с этого момента сознание в состоянии эмансипироваться от мира и перейти к образованию «чистой» теории, теологии, философии, морали и т. д.

К. Маркс и Ф. Энгельс, *Немецкая идеология*. Сочинения, изд. 2, т. III, стр. 29 — 30.

## 2.

«...Если приходится вступать в соглашение и в словесное общение, то Я, разумеется, могу воспользоваться только *человеческими* средствами, которые находятся в Моем распоряжении, поскольку Я являюсь вместе с тем человеком» (т. е. экземпляром рода).

Таким образом, *язык* здесь рассматривается как продукт рода. Однако тем обстоятельством, что Санчо говорит по-немецки, а не по-французски, он обязан вовсе не роду, а обстоятельствам. Впрочем, в любом современном развитом языке естественно возникшая речь возвысилась до национального языка отчасти благодаря историческому развитию языка из готового материала, как в романских и германских языках, отчасти благодаря скрещиванию и смешению наций, как в английском языке, отчасти благодаря концентрации диалектов в единый национальный язык, обусловленной экономической и политической концентрацией. Само собой разумеется, что в свое время индивиды целиком возьмут под свой контроль и этот продукт рода.

К. Маркс и Ф. Энгельс, *Немецкая идеология*. Сочинения, изд. 2, т. III, стр. 427.

<sup>1</sup> Пометка Маркса на полях: «С этим совпадает первая форма идеологов, *попы*». Ред.

3.

Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой. Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яковом. Точно так же и в денежных названиях фунт, талер, франк, дукат и т. д. изглаживается всякий след отношения стоимостей. Путаница относительно сокровенного смысла этих кабалистических знаков тем значительнее, что денежные названия выражают одновременно и стоимость товаров и определенную часть данного веса металла, денежного масштаба. С другой стороны, необходимо, чтобы стоимость, в отличие от пестрых в своем разнообразии тел товарного мира, развилась в эту иррационально вещную и в то же время чисто общественную форму.

К. Маркс, Капитал, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 107 — 108.

4.

...Хотя наиболее развитые языки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми, но именно отличие от этого всеобщего и общего и есть то, что составляет их развитие.

К. Маркс, К критике политической экономии, Госполитиздат, 1953, стр. 195.

5.

*Постоянная тенденция к разделению* коренилась в элементах родовой организации; *она усиливалась тенденцией к образованию различия в языке*, неизбежной при их (т. е. диких и варварских племен) общественном состоянии и *обширности занимаемой ими территории*. Хотя *устная речь* замечательно *устойчива по своему лексическому составу и еще устойчивее по своим грамматическим формам*, но она не может *оставаться неизменной*. *Локальное разобщение* — в пространстве — вело с течением времени к появлению *различий в языке*; это приводило к обособлению интересов и к полной самостоятельности.

К. Маркс, Конспект книги Льюиса Г. Моргана «Древнее общество», Архив Маркса и Энгельса, IX» 1941, стр. 79.

6.

*Человек* есть непосредственный предмет естествознания, ибо непосредственной *чувственной природой* для человека является непосредственно человеческая чувственность (или — что то же самое — *другой*, чувственно данный для него человек, ибо его собственная чувственность существует для него, как человеческая чувственность лишь через *другого* человека). Но *природа* есть непосредственный предмет *науки о человеке*; первый предмет человека — человек — есть природа; подобно тому как чувственность и особенные чувственные человеческие сущностные силы находят свое предметное осуществление только в *естественных* объектах, так они приходят к своему

самопознанию только в науке о природе. Даже основной элемент мышления, элемент, в котором выражается жизнь мысли — *язык* — чувственной природы.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Подготовительные работы для «Святого-семейства», Сочинения, изд. 1, т. III, стр. 630.

## 7.

Мы делаем нашу историю сами, но, во-первых, мы делаем ее при весьма определенных предпосылках и условиях. Среди них экономические являются в конечном счете решающими... Прусское государство возникло и развивалось также благодаря историческим и в конечном счете экономическим причинам. Но едва ли можно, не сделавшись педантом, утверждать, что среди множества мелких государств Северной Германии именно Бранденбург был предназначен для роли великой державы... причем это было предопределено именно только экономической необходимостью, а другие моменты не оказывали также влияния... Едва ли удастся кому-нибудь, не сделавшись смешным, объяснить экономически существование каждого маленького немецкого государства в прошлом и в настоящее время или объяснить экономически происхождение верхненемецкого передвижения согласных, расширившего географическое разделение, образованное горной цепью от Судетов до Таунуса, до настоящей трещины, проходящей через всю Германию.

Ф. Энгельс, Письмо к Иосифу Блоху от 21 — 22 сентября 1890 г.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, 1952, стр. 468.

## 8.

*Поляризация.* Еще Я. Гримм был твердо убежден в том, что всякий немецкий диалект должен быть либо верхненемецким, либо нижненемецким. При этом у него совершенно исчез франкский диалект. Так как письменный франкский язык позднейшей каролингской эпохи был верхненемецким (ведь верхненемецкое передвижение согласных затронуло франкский юго-восток), то франкский язык, по взглядам Гримма, в одних местах растворился без остатка в древневерхненемецком, а в других — во французском. При этом оставалось абсолютно необъяснимым, откуда же попал нидерландский язык в старосалические области. Лишь после смерти Гримма франкский язык был снова открыт: салический язык в своем обновленном виде в качестве нидерландского, рипуарский язык — в средне- и нижнерейнских диалектах, которые отчасти сместились в различной степени в сторону верхненемецкого, а отчасти остались нижненемецкими, так что франкский язык представляет собою такой диалект, который является как верхненемецким, так и нижненемецким.

Ф. Энгельс, Диалектика природы, Госполитиздат, 1952, стр. 171.

9.

Значение *названий*. В органической химии значение какого-нибудь тела, а, следовательно, также и название его не зависит уже просто от его состава, а обусловлено скорее его положением в том *ряду*, к которому оно принадлежит. Поэтому, если мы находим, что какое-нибудь тело принадлежит к какому-нибудь подобному ряду, то его -старое название становится препятствием для понимания и должно быть заменено *названием, указывающим этот ряд* (парафины и т. д.).

Ф. Энгельс, Диалектика природы, Госполитиздат, 1952, стр. 237.

10.

Филологией подрастающего гражданина будущего не будут особенно доносить. «Мертвые языки совершенно отпадают... а изучение живых иностранных языков останется... как нечто второстепенное». Только там, где сношения между народами выражаются в передвижениях самих народных масс, иностранные языки должны быть сделаны, в меру надобности, легко доступными каждому. Целям «действительно образовательного изучения языков» должна служить своего рода всеобщая грамматика, и притом на «материи и форме родного языка». Национальная ограниченность современного человека все еще слишком космополитична для г. Дюринга. Он хочет уничтожить и те два рычага, которые при современном строе дают хотя бы некоторую возможность стать выше ограниченной национальной точки зрения, — он хочет упразднить знание древних языков, открывающее, по крайней мере для получивших классическое образование людей различных национальностей, общий им, более широкий горизонт. Одновременно с этим он хочет упразднить также и знание новых языков, при помощи которых люди различных наций могут объясняться друг с другом и знакомиться с тем, что происходит за их собственным рубежом. Зато грамматика родного языка должна стать предметом основательной зубрежки. Но ведь «материя и форма родного языка» становятся понятными лишь тогда, когда прослеживается его возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, если оставлять без внимания, во-первых, его собственные омертвевшие формы и, во-вторых, родственные живые и мертвые языки. Таким образом, мы снова попадаем в запретную область. Но раз г. Дюринг вычеркивает из своего учебного плана всю современную историческую грамматику, то для обучения языкам у него остается только старомодная, выкроенная в стиле старой классической филологии, техническая грамматика со всей ее казуистикой и произвольностью, обусловленными отсутствием исторического фундамента. Ненависть к старой филологии доводит его до того, что самый скверный продукт ее он делает «центральным пунктом действительно образовательного изучения языков». Ясно, что мы имеем дело с филологом, никогда ничего не слышавшим об историческом языкознании, которое получило в последние 60 лет такое



мощное и плодотворное развитие, — и поэтому-то г. Дюринг отыскивает «высоко образовательные элементы» языкознания не у Боппа, Гримма и Дитца, а у блаженной памяти Гейзе и Беккера.

Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1953, стр. 303 — 304.

## 11.

Наши обезьяноподобные предки, как уже сказано, были общественными животными; вполне очевидно, что нельзя выводить происхождение человека, этого наиболее общественного из всех животных, от необщественных ближайших предков. Начинаясь вместе с развитием руки, вместе с трудом господство над природой расширяло с каждым новым шагом вперед кругозор человека. В предметах природы он постоянно открывал новые, до того неизвестные свойства. С другой стороны, развитие труда по необходимости способствовало более тесному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали более часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности и стало ясней сознание пользы этой совместной деятельности для каждого отдельного члена. Коротко говоря, формировавшиеся люди пришли к тому, что у них явилась *потребность что-то сказать* друг другу. Потребность создала себе свой орган: неразвитая гортань обезьяны медленно, но неуклонно преобразовывалась путем модуляции для все более развитой модуляции, а органы рта постепенно научались произносить один членораздельный звук за другим.

Что это объяснение возникновения языка из процесса труда и вместе с трудом является единственно правильным, доказывает сравнение с животными. То немногое, что эти последние, даже наиболее развитые из них, имеют сообщить друг другу, может быть сообщено и без помощи членораздельной речи. В естественном состоянии ни одно животное не испытывает неудобства от неумения говорить или понимать человеческую речь. Совсем иначе обстоит дело, когда животное приручено человеком. Собака и лошадь развили в себе благодаря общению с людьми такое чуткое ухо по отношению к членораздельной речи, что, в пределах свойственного им круга представлений, они легко научаются понимать всякий язык. Они, кроме того, приобрели способность к таким чувствам, как чувство привязанности к человеку, чувство благодарности и т. д., которые раньше им были чужды. Всякий, кому много приходилось иметь дело с такими животными, едва ли может отказаться от убеждения, что имеется немало случаев, когда они свою неспособность говорить ощущают *теперь* как недостаток. К сожалению, их голосовые органы настолько специализированы в определенном направлении, что этому их горю уже никак нельзя помочь. Там, однако, где имеется подходящий орган, эта неспособность, в известных границах, может исчезнуть. Органы рта у птиц отличаются, конечно, коренным образом от соответствующих органов человека. Тем не менее птицы являются единственными животными, которые-

могут научиться говорить, и птица с наиболее отвратительным голосом, попугай, говорит всего лучше. И пусть не возражают, что попугай не понимает того, что говорит. Конечно, он будет целыми часами без умолку повторять весь свой запас слов из одной лишь любви к процессу говорения и к общению с людьми. Но в пределах своего круга представлений он может научиться также и понимать то, что он говорит. Научите попугая бранным словам так, чтобы он получил представление о их значении (одно из главных развлечений возвращающихся из жарких стран матросов), попробуйте его затем дразнить, и вы скоро откроете, что он умеет так же правильно Применять свои бранные слова, как берлинская торговка зеленью. Точно так же обстоит дело при выклянчивании лакомств.

Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг, который, при всем своем сходстве с обезьяньим, далеко превосходит его по величине и совершенству. А параллельно с дальнейшим развитием мозга шло дальнейшее развитие его ближайших орудий — органов чувств. Подобно тому как постепенное развитие речи неизменно сопровождается соответствующим усовершенствованием органа слуха, точно так же развитие мозга вообще сопровождается усовершенствованием всех чувств в их совокупности. Орел видит значительно дальше, чем человек, но человеческий глаз замечает в вещах значительно больше, чем глаз орла. Собака обладает значительно более тонким обонянием, чем человек, но она не различает и сотой доли тех запахов, которые для человека являются определенными признаками различных вещей. А чувство осязания, которым обезьяна -едва-едва обладает в самой грубой, зачаточной форме, выработалось только вместе с развитием самой человеческой руки, благодаря труду.

Развитие мозга и подчиненных ему чувств, все более и более проясняющегося сознания, способности к абстракции и к умозаключению оказывало обратное воздействие на труд и на язык, давая обоим все новые и новые толчки к дальнейшему развитию. Это дальнейшее развитие с момента окончательного отделения человека от обезьяны отнюдь не закончилось, а, наоборот, продолжалось и после этого; будучи у различных народов и в различные эпохи по степени и по направлению различным, иногда даже прерываясь местными и временными движениями назад, оно в общем и целом могучей поступью шло вперед, получив, с одной стороны, новый мощный толчок, а с другой стороны — более определенное направление благодаря тому, что с появлением готового человека возник вдобавок еще новый элемент — *общество*.

Ф. Энгельс, Диалектика природы, Господитиздат, 1952, стр.  
134 — 136,

## II.

### **В. И. ЛЕНИН**

#### 1.

Во всем мире эпоха окончательной победы капитализма над феодализмом была связана с национальными движениями. Экономическая основа этих движений состоит в том, что для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе. Язык есть важнейшее средство человеческого общения; единства языка и беспрепятственное развитие есть одно из важнейших условий действительно свободного и широкого, соответствующего современному капитализму, торгового оборота, свободной и широкой группировки населения по всем отдельным классам, наконец — условие тесной связи рынка со всяким и каждым хозяином или хозяйчиком, продавцом и покупателем.

Образование *национальных государств*, наиболее удовлетворяющих этим требованиям современного капитализма, является поэтому тенденцией (стремлением) всякого национального движения. Самые глубокие экономические факторы толкают к этому, и для всей Западной Европы — более того: для всего цивилизованного мира — *типичным*, нормальным для капиталистического периода является поэтому национальное государство.

В. И. Ленин, О праве наций на самоопределение. Сочинения, т. 20, стр. 368 — 369.

#### 2.

NB стр. 481 — о значений *слов* по Эпикуру:

«Каждый предмет получает благодаря впервые ему присвоенному названию свою очевидность, энергию, отчетливость» (Эпикур: Диоген *Лаэртий*, X. § 33).

И Гегель: «Название есть нечто всеобщее, принадлежит мышлению, делает многообразное простым» (481).

«Ленинский сборник», XII, 1931, стр. 251.

Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка (=понятия) с нее *не есть* простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, *включающий в себя* возможность отлета фантазии от жизни; мало того: возможность *превращения* (и притом незаметного, несознаваемого человеком превращения) абстрактного понятия, идеи в *фантазию* (в последнем счете=бога). Ибо и в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее («стол» вообще) *есть* известный кусочек *фантазии*.

«Ленинский сборник», XII, 1931, стр. 339.

4.

тонко и  
глубоко!

Логика похожа на грамматику тем, что для начинающего это — одно, для знающего язык (и языки) и дух языка — другое. «Она есть нечто иное для того, кто только приступает к ней и вообще к наукам, и нечто иное для того, кто возвращается к ней от них».

«Ленинский сборник», IX, 1931, стр. 33. (Выписка из Гегеля с пометкой В. И. Ленина на полях рукописи.)

5.

?

Язык богаче в неразвитом, первобытном состоянии народов, — язык беднеет с цивилизацией и образованием грамматики.

«Ленинский сборник», XII, 1931, стр. 155. (Выписка из Гегеля со знаком вопроса на полях рукописи.)

6.

история  
мысли =  
история  
языка

Связь мышления с языком (китайский язык м[ежду] пр[очим] и его неразвитость: 11), образ[ование] существительных и глаголов (11). В немецком языке иногда слова имеют «противоположное значение» (12) (не т[оль]ко «различные», но и *противоположные*) — «радость для мысли»...

«Ленинский сборник», IX, 1931, стр. 15,

7.

NB  
Глубоко  
верно!  
NB

«Человек отделяет в мышлении прилагательное от существительного, свойство от сущности... И метафизический бог есть не что иное, как краткий перечень, или совокупность наиболее общих свойств, извлеченных из природы, которую, однако, человек посредством силы воображения, именно таким отделением от чувственного существа, от материи природы, снова превращает в самостоятельного, субъекта или существа» (355).

«Ленинский сборник», XII, 1931, стр. 117.

8.

NB

[366 — 370]. Очень хорошее место (хорошая цитата из Гассенди): особенно [368] бог=собрание: слов прилагательных (без материи) о конкретном и абстрактном.

«Ленинский сборник», XII, 1931, стр. 119.

9.

Еще добавить о Горгии:

Излагая его взгляд, что нельзя передать, сообщить сущее:

NB  
ср.  
Фейербах

«Речь, посредством которой должно быть сообщено о том, что есть, не является тем, что есть, — то, что сообщается, это не самый предмет, а только речь». (Секст Эмпирик. «Против математиков». VII. §83 — 84), стр. 41 — Гегель пишет: «Сущее постигается также не как сущее, а его постижение есть превращение его во всеобщее» (42).

...«Это единичное совершенно не может быть высказано» (42)...

Всякое слово (речь)  
уже *обобщает*  
ср. Фейербах

чувства показывают реальность мысль и слово — общее
---

«Ленинский сборник», XII, 1931, стр. 217 — 219.

10.

Хорошо  
сказано!

В чем же в таком случае заключается различие между рассудком и чувством или способностью к ощущениям? Чувственное восприятие дает *предмет*,

НВ  
Хорошо  
сказано!

рассудок — *название* для него. В рассудке нет того, чего бы не было в чувственном восприятии, но то, что в чувственном восприятии находится фактически, то в рассудке находится лишь номинально, по названию. Рассудок есть высшее существо, правитель мира; но лишь по названию, а не в действительности. Что же такое название? Служащий для различения знак, какой-нибудь бросающийся в глаза признак, который я делаю представителем предмета, характеризующим предмет, чтобы припомнить его в его целостности (195).

«Ленинский сборник», XII, 1931, стр. 141. (Выписка из Фейербаха с пометками В. И. Ленина на полях.)

## 11.

По поводу софизмов «куча» и «лысый» Гегель повторяет переход количества в качество и обратно: диалектика (стр. 139 — 140);

почему нельзя назвать отдельного? один из предметов данного рода (столов), именно отличается от остальных тем-то

НВ  
в языке есть  
только *общее*

143 — 144. Подробно о том, что «язык выражает в сущности лишь всеобщее; но то, что думают, есть особенное, отдельное. Поэтому нельзя выразить на языке то, что думают».

(«Это»? Самое общее слово)

«Ленинский сборник», XII, 1931, стр. 223.

## 12.

### ОБ ОЧИСТКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

(Размышления на досуге, т. е. при слушании речей на собраниях)

Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?

Конечно, когда человек, недавно научившийся читать вообще и особенно читать газеты, принимается усердно читать их, он невольно усваивает газетные обороты речи. Именно газетный язык у нас однако тоже начинает портиться. Если недавно научившемуся читать

простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя, Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?

Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), то некоторые ошибки пишущих в газетах совсем уже могут вывести из себя. Например, употребляют слово «будировать» в смысле возбуждать, тормошить, будить. Но французское слово «bouder» (будэ) значит сердиться, дуться. Поэтому будировать значит на самом деле «сердиться», «дуться». Перенимать французски-нижегородское словопотребление — значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но, во-первых, не доучился, а во-вторых, коверкал русский

Не пора объявить войну коверканью русского языка?

В. И. Ленин, Сочинения, т. 30, стр. 274.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ...	3
I. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЯЗЫКА XX ВЕКА ...	5
А. Марти. О понятии и методе всеобщей грамматики и философии языка ...	7
А. Гардинер. Различие между «речью» и «языком» ...	13
К. Бюлер. Теория языка (Извлечения) ...	21
Структурная модель языка ...	27
II. ГЛОССЕМАТИКА ...	37
В. Брёндаль. Структурная лингвистика ...	40
Л. Ельмслев. Понятие управления (Извлечение) ...	47
Метод структурного анализа в лингвистике ...	48
Язык и речь ...	56
III. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА (ПРАЖСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КРУЖОК) ...	67
Тезисы Пражского лингвистического кружка ...	69
В. Матезиус. Куда мы пришли в языкознании ...	86
В. Скаличка. Копенгагенский структурализм и «Пражская школа» ...	92
Б. Трнка и др. К дискуссии по вопросам структурализма ...	100
IV. ДЕСКРИПТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА ...	111
Ф. Боас. Введение к «Руководству по языкам американских индейцев» (Извлечения) ...	114
Л. Блумфильд. Язык (глава «Употребление языка») ...	125
Ряд постулатов для науки о языке ...	144
З. Хэррис. Метод в структуральной лингвистике (раздел «Методологические предпосылки») ...	153
V. ЭТНОЛИНГВИСТИКА ...	172
Э. Сепир. Положение лингвистики как науки ...	175
Язык ...	182
Б. Уорф. Отношение норм поведения и мышления к языку ...	198
VI. СОВЕТСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ В 20-е И 30-е ГОДЫ ...	225
А. М. Пешковский. Объективная и нормативная точки зрения на язык ...	231
Г. О. Винокур. О задачах истории языка ...	243



Е. Д. Поливанов. Историческое языкознание и языковая политика ...	263
Н. Я. Марр. Извлечения из работ ...	279
И. И. Мещанинов. Введение к книге «Общее языкознание» ...	288
Л. В. Щерба. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании ...	301
Очередные проблемы языковедения (Извлечения) ...	313
VII. К. МАРКС, Ф. ЭНГЕЛЬС и В. И. ЛЕНИН О ПРОБЛЕМАХ ЯЗЫКА ...	
317	
К. Маркс и Ф. Энгельс ...	318
В. И. Ленин ...	325